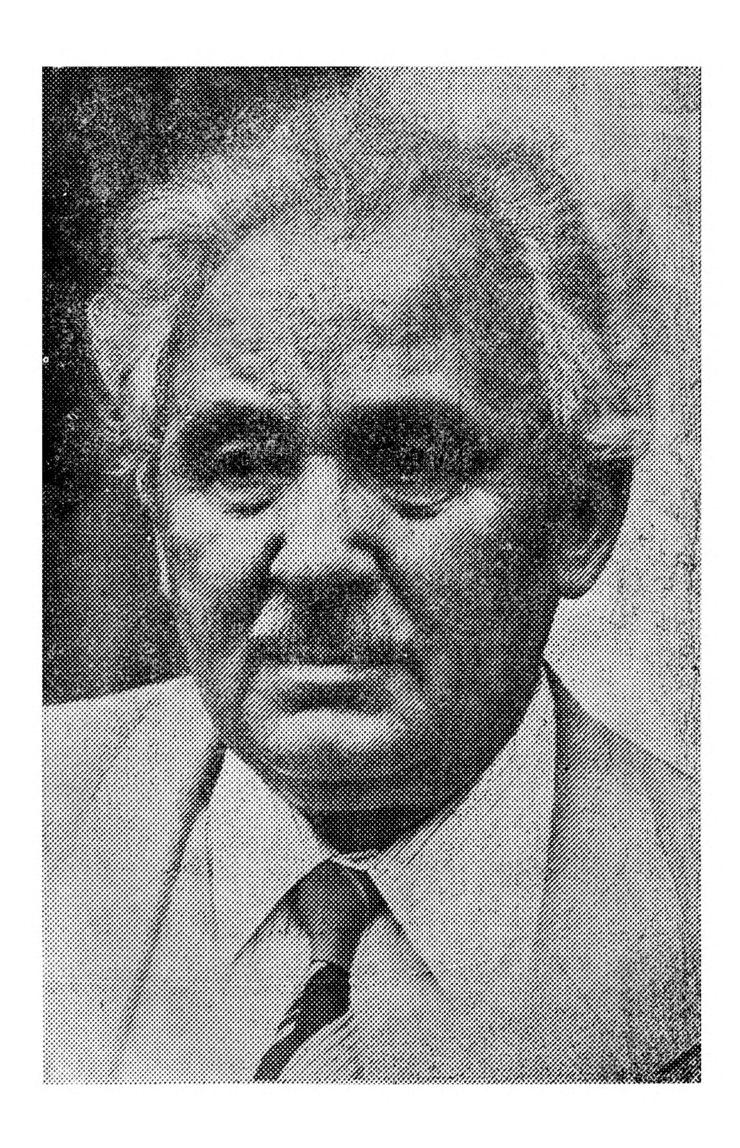
иван стаднюк / исповедь сталиниста

иван
стаднюк

исповедь
сталиниста


50
ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
FOR THE
ANNIVERSARY
OF THE
GREAT VICTORY



иван стаднюк

исповедь сталиниста

Воспоминательная повесть

МОСКВА
«ПАТРИОТ»
1993

ББК 84.Р7
С11

Редактор *Т. А. Соколова*

Художник *И. А. Нечаев*

Федеральная целевая программа книгоиздания России.

Стаднюк И. Ф.

С11 Исповедь сталиниста: Воспоминательная повесть.— М.: Патриот, 1993.— 415 с.

Основу новой книги известного писателя составляют, кроме его удивительной биографии, сенсационные факты, связанные с событиями второй мировой войны, полвека скрывавшиеся под строгой завесой секретности.

Для массового читателя.

$С \frac{4702010201-017}{072(02)-93}$ КБ—11—3—93

ББК 84.Р7
Р2

ISBN 5-7030-017-1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Писать о самом себе? Зачем? Ведь прожитая жизнь не отличается от жизни моих уцелевших в войне сверстников, юность которых расцвела в радужных надеждах, в поисках своих грядущих дорог. Мы были преисполнены глубокой веры, что являемся свидетелями и участниками созидания нового, самого прогрессивного общества. Под влиянием лозунговой атмосферы того времени мы находили оправдание всему трагическому, сопутствовавшему тем героическим дням и деяниям народа, и жаждали подвигов — рвались в Испанию, на Халхин-Гол, в снега Финляндии. Глядели в будущее с верой и восторженной надеждой, не подозревая, что ждут нас тяжелейшие военные испытания, а потом потрясения в послевоенные десятилетия. Ведь, наблюдая день сегодняшний в его материальной и духовной облеченности, с гримасами и перекосами нашего бытия, с его правдой и ложью, иногда хочется закричать так, чтоб голос долетел до Бога, если он есть, чтоб боль души захлебнулась в этом вопле, чтоб прошлое высветилось в лучах не мнимой истины, а подлинной, заплутавшейся в чернолесье нашей непростой истории. Именно поэтому писать о пережитом — не блажь, а потребность всмотреться в него чуть просветленным взглядом и заново переболеть о несбывшемся, поблагодарить судьбу за моменты ее благосклонности и особенно за то, что она уберегла нас от многих заблуждений, предвзятостей, а более от поступков, которые тиранили бы сейчас совесть, хотя

нельзя утверждать, что дурных поступков у нас не было вовсе. Они были, навеянные злыми ветрами времени и лживыми деяниями наших былых, больших и малых, пастырей. Но главное в другом: мы прожили честную трудовую жизнь, наполненную верой и борьбой во имя добра для нашего народа, частичкой которого являемся. Об этом и хочется написать, написать о своем «я», исповедаться перед самим собой, моими читателями — друзьями и недругами. Но ничего не переиначивать из былого, не приспосабливаться к сегодняшнему дню с расхристанностью его многолозунговой атмосферы. И с твердой верой, что придет Новый, настоящий День, которому можно будет посмотреть в глаза с чувством своей правоты и с радостью, что не менял своих убеждений.

КНИГА ПЕРВАЯ

1

Если бы в пору моей ранней молодости мне предложили написать о своей жизни, я, наверное, размахнулся бы на обширное полотно. Это, пожалуй, был бы сплав преувеличений, юношеской фантазии с реальными, ничем особым не выдающимися событиями. Истины ради замечу, что действительно на мое детство и на юность выпали нелегкие испытания, связанные с сиротством, страшным голодом 33-го, гонениями за репрессированных родственников, а с началом войны — с трагическим положением, в которое попал я вместе с войсками 10-й армии Западного фронта, прикрывавшими границу.

Писать о самом себе, если это не заполнение по служебной необходимости анкеты, всегда трудно, ибо приходится ворошить память, в которой напластовано великое множество хорошего и плохого, при этом скорбеть о чем-то душой, печалиться о несбывшемся и невольно засматривать в будущее, ничего доброго с течением возраста не сулящее. А иногда веселят воспоминания о забавных ситуациях, подчас нелепых и трагикомичных.

Эти строки о своей жизни взяли начало в ответе красным следопытам из моего родного села, которые в шестидесятые годы пожаловались в журнал «Огонек» на мое якобы нежелание написать для их клуба свою биографию (в 1965—1972 годах я работал заместителем главного редактора журнала). Сейчас, будучи «сво-

бодным художником», развертываю ее в нечто более широкое по событиям и рождаемым ими размышлениям.

Родился я селе Кордышивке бывшего Вороновицкого (ныне Винницкого) района Винницкой области будто бы в начале 1921 года (точная дата мне неизвестна), однако во всех моих документах значится, что родился я в Женский день, 8 марта 1920 года. Помнится, эти «уточнения» сделал мой земляк Григорий Павлович Юрчак в 1936 году, когда я брал у него, как секретаря сельсовета, «метрику» для поступления в Винницкий строительный техникум и мне не хватало возраста, а документов, свидетельствующих о том, что я вообще когда-нибудь родился, не было; ретивые комсомольские «активисты» села к этому времени сожгли церковные бумаги, да и саму нашу церковь разрушили.

Разумеется, нашли меня не в капусте. Как и все дети, имел я родителей. Мать — Марину Гордеевну (девичья фамилия Дубова) и отца — Фотия Исихиевича. Слышал от старшей сестры, что моей повивальной бабкой была известная в селе мастерица своего дела старая Фотина, а крестил меня священник Думанский — кордышивский батюшка. Мать помню смутно (она умерла в 1928 году, и даже ее фотографии не осталось). Мать была глубоко верующей и считала, что фотографироваться — великий грех, однако мне кто-то говорил, что видел мою мать на коллективном снимке у кого-то из кордышивских Дубовых. Если бы разыскалась эта фотография, для меня не было бы более драгоценного подарка.

Помню, как мать учила меня молитвам и по утрам, а также вечерами перед сном велела молиться Богу, водила в церковь на богослужения и сама пела в церковном хоре. Однажды вступила в «конфликт» с батюшкой (священником Васильковским), который, исповедуя меня, спрашивал: сквернословлю ли, забираюсь ли в чужие сады, дерусь ли на улице, ворую ли яички из птичьих гнезд и т. д. На все вопросы священника отвечал я охотно и утвердительно и в итоге услышал его повеление: «Отбей, сын мой, за грехи свои, сорок поклонов». Мать тут же кинулась ему в ноги: «Батюшка, да побойтесь Бога! Оно же дите малое, глупое, какие у него грехи?! Да оно еще не умеет и пальцы на руке сосчитать. А вы «сорок поклонов»...

Тем не менее уходил я из церкви с синим лбом, весело размышляя о том, как буду хвастаться на улице перед хлопчиками, что я самый великий грешник в селе.

Церковь оставила в моей душе неизгладимый след. Размышляя об этом, я прихожу к выводу, что приобщение к духовному миру в детстве (именно в детстве!) побуждает в зрелом возрасте, независимо, остаешься ли ты верующим или делаешься атеистом, часто обращаться мыслью и чувством к самому себе — правильно ли ты живешь? Человек, сверяющий свои поступки со своей совестью, с пониманием другого человека, есть истинный человек, проникнутый добром, доброжелательностью и особенно любовью к детям; он всегда мысленно благословляет каждого встречного ребенка на счастливую судьбу.

Да, детство закладывает фундамент духовных свойств человека. Не знаю, кому принадлежит мысль, что человеческая душа, звучащая в лепетании ребенка, с возрастом человека звучит в его чувствах и поступках, несущих свет.

* * *

...Еще помню, как белила мать домотканое полотно, расстилая дорожки на нашем затравелом подворье, и мы с ней вдвоем носили на коромысле из «Юхтымовой криницы» по одному ведру воды (мать уже была тяжело больной, хотя ей к тому времени не исполнилось и пятидесяти лет).

Отец — Фотий Исихиевич, участник русско-японской войны — был человеком крутоватого нрава, но справедливым. До коллективизации считался середняком, работал, как и все крестьяне, денно и нощно, а осенними и зимними вечерами еще и сапожничал. Одним из первых вступил в колхоз, тяжело расставаясь с Карьком, слепым на один глаз конем, и с телегой на железных осях, для приобретения которой долго копили деньги. Карько был радостью и бедой отца. Любил он коня за добрый нрав, безотказность в работе и в выездах, но тяготился его слепотой. Да и мать попрекала отца: у всех хозяев кони как кони, а у нас без глаза. И в один из базарных дней батька отвел Карька на торговицу в местечко Вороновица, наш райцентр... Продал... А в очередной базарный

день пошел в городишко Немиров покупать более молодого коня и неожиданно на лошадином торге наткнулся на Карька. Конь учуял близость своего бывшего хозяина и по-лошадиному так закричал, заплакал, что отец без колебаний вновь купил его, переплатив три рубля. Возвращение Карька домой на всю жизнь осталось для меня радостным воспоминанием, о чем я и написал в романе «Люди не ангелы».

По рассказам старшего брата Якова знаю, что мое рождение было для родителей крайне желанным: нужен был наследник, который бы со временем взял на себя хозяйство. Дело в том, что из восьмерых детей в нашей семье трое умерло. Еще в детстве умерли Архип и Явдоха, а в 1919 году умер семинарист Демьян. Из сыновей оставались Яков и Борис. Но Яков «выбился в люди» — выучился и пошел учительствовать, а Борис после женитьбы отделился на садыбу *. Сестра Фанаска вышла замуж и переселилась на хутор Арсеновка, а сестра Афия поступила на рабфак. Таким образом, мне была уготована участь принять от родителей хозяйство, девять десятин земли и стать хлеборобом.

С душевной болью и непониманием вспоминаю о своем раннем детстве и тогдашнем деревенском быте. Жила наша семья будто и не бедно: хватало хлеба (но белый пекли только к религиозным праздникам), в чулане было сало, постное масло из конопли, сахар, полученный за сдачу свеклы на Степовский сахарный завод, мука, в погребе — картошка и соленья. Но главной едой за обедом в будни был почему-то чаще всего борщ и на второе пшенная или гречневая каша. Ели из одной глиняной миски. В собственности каждого члена семьи — своя «персональная» ложка... А как и где мы, дети, спали? До сих пор недоумеваю. Ни постоянной постели, ни одеяла, ни собственной подушки, хотя на кровати они высились до потолка. Засыпал там, где смаривал сон, чаще на топчане с соломенной подстилкой, покрытой рядном, зимой — на печке или лежанке. Накрывали меня свиткой или старым кожухом, под голову — фуфайку. О доме тоже тяжело вспоминать: глинобитный пол, устланный зимой соломой, слепые от наморози окна, под босыми ногами скользкий в наледи порог се-

* Садыба — клин земли, примыкающий к огородам села (*укр.*).

ней, с которого справлялась малая нужда... Что же это была за жизнь, по которой мы нередко плачем в своих воспоминаниях?.. Еще бы! Были, конечно, вёсны с белой кипенью садов. Были вечерние песни хлопцев и девчат... Были сенокосы, пастушье приволье... На виду преображалась природа, созревали овощи, ягоды, фрукты. Для нас уже с малолетства не было никаких тайн: мы знали, откуда берутся телята, поросята, лошадки, котята, щенки. Загадкой являлись только куриные яйца: как они оказывались в скорлупе? И еще: взрослея, начинали стесняться «детского языка», на котором разговаривали с нами родители (хлеб — папа; вода — апа; молоко — мони; яйцо — коко, мясо — кика, поцелуй — цёми; длинная рубашка — лёля; щенок — цюця и т. д.).

Я долго не верил в смерть матери, хотя видел ее лежавшей в гробу, видел на кладбище, как гроб закапывали в землю. Детским умом не мог себе представить, что ее больше никогда не будет. Часто приходила она ко мне в сновидениях. А однажды, проснувшись ранним утром на печке, увидел над собой, среди трещин глинобитного потолка, ее лицо; мать смотрела на меня немигающими глазами и виновато улыбалась. Я не испугался, даже ощутил острое желание протянуть руку и прикоснуться к ее губам, но не смог и пошевельнуться. Когда на печку проник дневной свет, лицо мамы Марины растворилось в трещинах потолка.

Последний раз видел я мать в небе, когда вместе с другими хлопчиками пас коров. Это было в Черном яру, примыкающем к нашему лесу. Улегшись на спины, мы всматривались в белые кучевые облака, радостно обмениваясь друг с дружкой сообщениями о том, кто что в них видит. Увидеть же в изменчивости облаков можно многое: забавные фигуры людей, их лица — бородатые, горбоносые, вытянутые, плоские; диких зверей, животных, птиц... А я вдруг увидел, как одно облако, причесанное поднебесным ветром, обратилось в лицо моей матери; она смотрела прямо на меня, а рот о чем-то кричал. Я облился слезами, стыдливо пряча их от хлопчиков...

В ту осень 1928 года поступил в начальную школу, которая стояла на бугре, рядом с окруженной высокими елями церковью. Когда-то это была «попова хата». В двух просторных ее комнатах училось по два класса. На все четыре класса у нас был только один

учитель — Зискин Ефим Моисеевич. Но звали мы его Прошу (так обращались к нему, подняв руку), и многие полагали, что это его имя. Все мы любили своего первого учителя, изо всех сил старались заслужить его похвалу; весной он водил нас в лес и будто заново открывал перед нами мир, рассказывая о растениях, деревьях, птицах. Зискин пророчил мне будущность художника, так как на уроках, которые иногда давал нам сельский живописец Иван Емельянович Стаднюк, по прозвищу Казанский, у меня очень хорошо получались кувшин, графин и красноармеец. Правда, красноармейца мы с Федей Стаднюком тайком скопировали, кажется, из календаря.

2

Мне всегда хочется узнать, откуда произошла фамилия Стаднюк. У нас в Кордышивке их великое множество, и не все они связаны родственными узами. Стаднюков-родственников по-уличному дразнили (а может, и сейчас дразнят) Салабаями. Что это такое, я не знаю, но оскорблялся на прозвище смертно и бросался в драку безоглядно. В школе дразнили меня еще Рябой квочкой. Рябой — от обилия веснушек, а квочкой — от имени отца; Фоть-Квоть — плод творчества кого-то из моих школьных товарищей.

И все-таки откуда пошла фамилия Стаднюк? Если перевести ее на русский, то она будет звучать примерно — Пастухов. В 1989 году в «Огоньке», а потом в газете «Советская Россия» я споткнулся о фамилию Стаднюк. Принадлежит она активному деятелю фонда милосердия, настоятелю Богоявленского собора протопресвитеру Матвею Саввичу. И вдруг вспомнилось, как после войны со своим братом Яковом мы гостили в моем родном селе Кордышивке у Ивана Исихиевича Стаднюка — младшего брата нашего покойного отца. Яков и дядька Иван разговорились о дореволюционном прошлом (Яков — 1902 года рождения), стали вспоминать о самом старшем сыне деда Исихия — Василии; о нем до этого я и не слышал. Не знаю, за какие заслуги, но Василий якобы был почетным гражданином Винницы и почему-то из-за этого не имел права на наследство отца.

Но когда умер Исихий, Василий потребовал себе свою долю хозяйства и земли. А сыновей у Исихия было много: Платон, Карпо, Фотий, Иван да две дочери — Наталка и Серафима. На семейном совете они отказали Василию в его доле наследства и рассорились с ним. Он подал в суд, но тоже получил отказ, после чего переселился на жительство в Польшу, благо язык польский был близок украинцам Подолии, когда-то подвластной Речи Посполитой.

Для меня это было неожиданным и неприятным открытием: ведь знай, что где-то в Польше с дореволюционных времен обитает мой родной дядя, я обязан был, каждый раз заполняя анкету, писать в ней об этом. Сие значило б, что вся моя судьба могла сложиться по-иному, в худшую сторону, или оказаться вовсе перечеркнутой. Слава Богу, минули те времена...

И вот в наши дни узнал я, что среди высокого духовенства страны значится Матвей Саввич Стаднюк. Нет, не только воспламенился я примитивным человеческим любопытством. Вспомнился мне давно умерший страх, что могли меня обвинить в сокрытии «криминального» факта: родной дядя живет за границей...

Через Моссовет, где я был депутатом пять созывов, узнал номер телефона Матвея Саввича Стаднюка и, преодолевая смущение, позвонил ему. Весьма приветливо встретил он мое телефонное вторжение, кажется, не удивился звонку и сказал, что его тоже спрашивают, не в родственных ли отношениях он с писателем Иваном Стаднюком. И когда в разговоре я услышал, что Матвей Саввич родом из Тернопольской области (бывшей польской территории), а он узнал, что мой старший дядя где-то после русско-японской войны переселился в Польшу, оба мы заинтересовались этим обстоятельством: действительно, не родственники ли? Вскоре я и моя жена Наталия Александровна сидели в гостях у высокого духовного лица. Услышали от Матвея Саввича, что свою родословную дальше деда он не помнит, а имя его деда ничего нам не говорило. Загадка пока остается загадкой. Матвей Саввич обещал ее со временем разгадать.

Итак, вернемся во времена моего начального обучения.

Однажды учитель Зискин, сам того не ведая, внес разлад в мои отношения с отцом. На одном из уроков

он разъяснил нам, что земля наша круглая, как тыква, и на противоположной от нас ее стороне живут американцы. Прибежав из школы домой, я с гордостью поделился с отцом интереснейшей новостью. Отец сидел на низеньком желобообразном стульчике и чинил сапог. Выслушав меня, он сдвинул на лоб очки и ответил: «Скажи своему Прошу, что он городит бессмыслицу! Как же те американцы могут ходить с той стороны земли?.. Как мухи по потолку ползают?»

Такой простой вопрос поставил меня в тупик: действительно, как можно ходить вниз головой?.. Отец, поразмышляв, вновь обратился ко мне: «Еще до революции наш кордышанин Никита Галаган уехал в Америку на заработки. Потом писал оттуда, что устроился на фабрику, которая мастерит подтяжки для мужских штанов... Так для какого беса тем американцам нужны подтяжки, если они ходят вверх ногами? Штаны же через голову не спадут?»

Отец поверг меня в полную растерянность. Я с нетерпением дождался следующего дня и на первом же уроке, обратившись к учителю, довольно обстоятельно, ссылаясь на мух и на брючные подтяжки, опроверг его вчерашнее объяснение о форме нашей планеты Земля. Но был не рад этому. Наш любимый Прошу будто сошел с ума: он так неистово хохотал, держась за живот и обливаясь слезами, а вслед за ним стали дружно ржать все четыре класса в двух комнатах бывшей «поповой хаты», что я схватил свою торбу (холщовую сумку) с учебниками и кинулся к дверям.

Ефим Моисеевич перехватил меня и, вдруг посерьезнев, спросил:

— Ты с дерева падал?

— С груши,— уточнил я.

— Так вот, ты падал потому, что тебя притягивает земля. Она обладает силой магнетизма.

Ничего не понял я из этих новых объяснений учителя, будучи уверенным — падал ведь с груши потому, что подо мной обломилась ветка. Но голова пухла от размышлений...

Домой пришел в слезах и накинулся на отца с упреками:

— Шо вы, тату, дурнем выставылы мене перед всиею школою?! В землю нашу хтось закопав дуже велыкий

магнит, и як впаде зи стола ложка, то той магнит притягае ложку до земли...

Зискин запомнился мне и моим сельским сверстникам еще и тем, что откуда-то привез мешок еловых шишек и мы, расчистив опушку леса близ села, ровными рядами посадили шишки в землю, а в последующие весны ухаживали за проклюнувшимися саженцами, оберегая их от бурьянов... И трудно поверить, на той опушке шумят сейчас высокие и толстые ели как память о нашем первом учителе и нашем детстве. Недавно я бродил между этими елями, поднял с земли несколько шишек, чтоб посадить их на подмосковном дачном участке в Переделкине.

Детство мое похоже на детство всех кордышивских сверстников: во время весенней и осенней пахоты ходил за погоныча, получал кнутом по спине от отца, если плохо держал Карька в борозде, а летом пас Комету — корову брата Бориса, иногда и коровы соседей, за что к осени вознаграждался отрезами материи «на штаны» и «на сорочку». Многое из картин детства широко использовано мной в романе «Люди не ангелы», первая книга которого вышла в свет еще в 1962 году.

Весна 1932 года яростно окатила Украину беспощадным голодом. А тут еще не сложились семейные отношения у отца с очередной моей мачехой Ганной. До нее отец приводил в дом уже не одну вдовицу, но никого из них я не мог называть мамой, и это решало их судьбу... Женщины возвращались на свои прежние обиталища. Ганна же проявила упрямство и не стала покидать наш дом. Да и я привязался к ней. Тогда отец, отвыкший от верховенства женщин, велел старшей сестре Анастасии переезжать с семьей с хутора Арсеновка в село, в родительскую хату, принимать на себя хозяйствование, опекать меня, а сам уехал в Киев на заработки.

Первыми в селе умирали от голода мужчины. Потом дети. Затем женщины... Начала опухать и наша сборная семья (у Фанаски было четверо детей). На какое-то время нашлось спасение: Прокоп, муж Фанаски, случайно обнаружил на чердаке нашей хаты полмешка свекольных семян. Стали их толочь и смешивать с комками крахмала, который добывали из гнилой картошки, попадавшейся в земле при перекопке огорода. К тому же Прокоп тайком приносил с машинного двора колхоза,

где ремонтировал комбайн, понемножку тавота — смазки для металлических частей агрегата. На нем жарили «бурячаны» — черные, горькие, тошнотворные...

Пастушество мое прекратилось. Коров в селе почти не осталось. А у кого сохранились, их держали в хатах, чтобы уберечь от бандитских шаек; на пастбищах уже охотились не только за скотом, но и за пастухами. По селу поползли слухи о людоедстве. Одна мать съела ребенка и сошла с ума... На кладбище обнаружена вскрытая свежая могила... Пропал без вести мой взрослый двоюродный брат Степан Билый... Потом я услышал от людей, что его убила молодая вдовушка, спекла в печке и кормила своих двоих детей и себя.

Трагическую судьбу Степана я стал было описывать в первой книге романа «Люди не ангелы», но до гибели его не довел; он, в образе Степана Григоренко, понадобился мне для дальнейшего развертывания сюжета.

Весна не избавляла крестьян от голода. Я еле волочил опухшие ноги. И, спасаясь от неминуемой смерти, уехал в Чернигов к брату Якову, который был там на партийной работе. К тому времени я уже закончил четырехлетку. В Чернигове тоже было голодно. Чувствуя себя лишним ртом в семье брата, я ползимы проучился в пятом классе школы № 4 имени Коцюбинского, а потом сбежал в свою родную Кордышивку, хотя там голод еще свирепствовал в полную силу. Вторую половину зимы ходил в школу Степановского сахарного завода — за четыре километра от нашего села.

Голод, как говорят, не тетка. Вновь пришлось проситься к Якову, но уже в город Нежин, где он работал директором библиотечного техникума. В Нежине, в школе № 1, успел закончить шестой класс, после чего оказался в безвыходном положении: Якова сняли с работы и исключили из партии. На заседании бюро райкома он отказался сдать партийный билет («Не вы мне его вручали, не вам отнимать...»), вырвался из рук накинувшихся на него членов бюро, выбежал на улицу и скрылся. Не заходя домой, пешком ушел в Киев. Написав там апелляцию в ЦК КПУ, жил в подполье, пока через год его жена — Мария Ивановна Чумак, тоже переехавшая в Киев, не получила извещение о восстановлении Якова в партии.

Но все это случилось потом. А мне-то куда было по-

даваться из Нежина?... И взяла меня в нахлебники сестра Афия, ставшая к тому времени учительницей. Вначале учительствовала она в селе Старая Басань Бобровицкого района Черниговской области, а выйдя замуж за милицейского работника, переехала в село Тупичев (тогда райцентр) Черниговской области. В Старой Басани я проучился ползимы в седьмом классе, заканчивал же семилетку в Тупичеве, после которой поступил в Винницкий строительный техникум. Проучился в нем одну зиму и убедился, что строителя из меня не получится: туго давались алгебра и химия. Зато преподаватель по русской и украинской литературе Мовчан на одном из уроков, где разбирались сочинения первокурсников на вольную тему, обронил мысль, что мне надо искать себя в литературе, особенно в жанре юмора. Понравилось ему мое описание того, как я дрессировал домашнюю свинью, чтоб носила на себе самодельное седло с веревочными стременами, катала меня, и это окончилось тем, что в одном «забеге» по подворью она так резко остановилась у корыта, что я перелетел через ее голову и шлепнулся в свиное хлебово... Впрочем, и в нежинской школе учительница по литературе, Ксения Константиновна, когда мы, шестиклассники, изложили своими словами рассказ Марко Вовчка «Горпина», прочитала мою работу, увеличившуюся по сравнению с авторским текстом вдвое, и сочла необходимым ознакомить с ней другие классы, даже старшие, пророча мне писательское будущее. Я действительно был взволнован трагедией Горпины — героини рассказа, которая, идя в жатву на панщину, напоила дите отваром из головок мака, чтобы оно крепко спало в ее отсутствие, а вернувшись, застала ребенка мертвым. Я буквально обливался слезами, пересказывая в школьной тетрадке чужой сюжет, мысленно видя все по-своему... В итоге меня прозвали в школе Горпиной...

Строительный техникум пришлось бросить. Расставаться с Винницей было тяжело. Слова, сказанные преподавателем Мовчаном, что мне следует искать себя в литературе, запульсировали в моих мыслях. Я зачастил в Дом-музей Михайла Коцюбинского, поражаясь, что именно здесь, в Виннице, в двадцати пяти километрах от моей Кордышивки, родился такой великий писатель. Впрочем, как слышал я тогда от старых людей (а позже узнал из книг), и в самой нашей Кордышивке

восемь лет жил классик украинской драматургии Михаил Петрович Старицкий... Стала разгораться дерзкая мыслишка: а почему бы мне не попробовать писать? Но понимал: надо учиться. И вновь поехал к сестре на Черниговщину — в Тупичев.

Там меня ждало новое открытие. На одном из уроков по украинской литературе наш самый любимый учитель Петр Данилович Варлыго, обращаясь к классу, сказал:

— Выхвостовцы должны гордиться тем, что являются внуками и правнуками героев романа «Фата-Моргана». По вашему селу когда-то хаживал Михайло Михайлович Коцюбинский...

Как же я раньше не знал, что недалекий Выхвостов, откуда ходят в тупичевскую десятилетку столько хлопцев и девчат, и есть то самое село, которое изображено в известнейшем романе Коцюбинского? И будто по-другому стал смотреть на своих соучеников — Миколу Таратына, братьев Мысников, Ивана Мамчура, Катю Желдак... Ведь их предки — из «Фата-Моргана»!

А Петр Данилович, усевшись на краешек стола, с таким упоением рассказывал о творчестве Коцюбинского, что все мы будто воочию видели героев книг писателя и жили их давно отшумевшей жизнью. Слова и размышления учителя вливались в наши души светом и добром, любовью и жалостью к крестьянам. Мы постигали тайны писательского мастерства Коцюбинского, задумывались над тем, с какой любовью к Украине он изобразил далеко не простой характер ее людей — лиричный и мускулистый, непреклонный и нежный, песенно-печальный... Сердца наши рвались из груди оттого, как пронзительно, с пониманием тончайших сложностей человеческой натуры всматривался Коцюбинский в душу простолюдина и как находил, кажется, единственно точные слова, краски и их оттенки, чтобы выразить любовь или ненависть, скорбь или радость, боль, восторг, надежду — все многообразие наполняющих жизнь чувствований и их контрастов, показывал, что забитый бедностью, темнотой и каторжным подневольным трудом селянин способен страдать или испытывать возвышенные чувства не менее глубоко и остро, чем те просвещенные и власть имущие «человеки», на которых он гнул спину. А чувство протеста крестьянина против неправды и социальных уродств, порывы его души к сво-

боде и свету? А его неповторимый быт, национальные обычаи, его трудовая и мудрая своей значительностью, пусть внешне незатейливая, повседневность?.. Всем этим проникнуты творения писателя-демократа.

Да, мы стали понимать, что Михайло Коцюбинский — это кричащая от негодования душа порабощенного в прошлом украинского трудового народа, трубный глас, протестующий против царившего социального зла и несправедливости. И роман «Фата-Моргана» являет собой лучший образец воинствующего творчества художника-страстотерпца.

Петр Данилович не учил нас, а беседовал с нами, как мудрый отец, и волновался от своих слов, как и мы...

Запомнилось его красивое, мужественное лицо, манера раскрывать при разговоре один уголок рта шире другого... В моей жизни это был прекрасный учитель, которому я, как писатель, многим обязан и сейчас.

Когда Украину захлестнула кровавая волна арестов, в ней утонул и наш дорогой Петр Данилович Варлыго. Не могу вспомнить подробностей, последовательность событий. Помню только момент, когда я, услышав эту тяжкую весть, обратился к мужу моей сестры, бывшему тогда начальнику тупичевского районного отделения милиции, с вопросом:

— За что арестовали нашего учителя Варлыго?

— Обвиняется в украинском национализме,— хмуро ответил он.

А сестра, присутствовавшая при этом, горько заплакала и сказала:

— Завистники оболгали его!.. Он лучший педагог в районе, если не во всей области!

— Мое дело отвечать за охрану и конвой. А статьи шьет районное НКВД. И не спрашивайте больше ни о чем подобном! А то и меня под статью подведете!..

Но как было не спрашивать?.. Ко мне вскоре обратился мой соученик Н., один из моих близких друзей:

— Отца арестовали... Помоги узнать, что с ним.

Беспокоить неприветливого родственника я не осмелился, и мы с Н. решили сами подсмотреть, что делается в районных НКВД и милиции, располагавшихся среди райцентра в одном здании, окруженном высоким забором, вдоль которого росли вековые липы. Две ночи просидели мы с Н. на липах. Видели сквозь зарешечен-

ные окна только одну камеру, битком набитую мужиками, и кабинет с черным диваном, на котором сидел, как мне казалось, учитель Варлыго. Возле дивана стоял охранник, и как только Петр Данилович сонно ронял голову, тормошил его, заставлял подниматься на ноги и вновь садиться.

Это был, как я узнал позже, способ многосуточного допроса — пытка. Отсюда и родился у меня в романе «Люди не ангелы» черный диван и томившийся на нем главный герой книги Платон Ярчук...

Мой родственник вместе с первым секретарем райкома партии увлекались утиной охотой. Иногда приглашали меня — в качестве коновода и «охотничьей собаки» (я должен был доставать из болота или озера подстреленных ими уток). И однажды, когда охотники выпивали и закусывали, я нечаянно подслушал их разговор, ужаснувший меня:

— Ругает нас областное начальство, что слабо ищем у себя врагов народа,— говорил секретарь, хрустя соленым огурцом.— Городнянский и Щорский районы обогнали нас... К концу месяца требуют арестовать еще хотя бы десяток человек.

— А куда помещать их? — послышался вопрос моего родственника.— Своей тюрьмы у нас нет, а городнянская битком набита.

— Решения «тройки», говорят, можно приводить в исполнение при перевозке из Тупичева в Городню.

— Способ известный: при «попытке к бегству». Но мне за плохую организацию охраны грозятся голову отсечь. Область уже знает о случае прошлой недели.

— Каком случае?

— Трое арестованных выпрыгнули в лесу из грузовика и пытались убежать... Сопровождающие милиционеры тут же уложили их...

— Кого именно?

Среди услышанных мной фамилий прозвучала и фамилия отца моего дружка Н. Фамилия звучная и редкая. Не называю ее по причинам, которые станут читателю ясны гораздо позже.

Памятной была та охота... Когда я вернулся домой, увидел в нашем дворе Н. Он помогал моей сестре колоть дрова. Набрав охапку дров, сестра скрылась в доме, а Н. таинственно спросил у меня:

— Пойдем сегодня в ночное на милицейские липы?

Что мне было ответить другу? Сказать правду — страшно. Чувствовал себя так, будто стал соучастником преступления, совершенного на лесной дороге между Тупичевом и Городней. И подленько увильнул от прямого ответа. Предложил пойти к Савелию Харченко (продавцу винной лавки) и выпить ликеру на полученный мной в районной газете маленький гонорар: мол, очень продрог на охоте. Пошли, выпили...

Не понимал я тогда, что даже слабая надежда есть хлеб несчастливца; как она ни обманчива, отнимать ее у человека одним рывком не следует... Направились мы прогуляться в сад, окружавший нашу школу, спели вдвоем «Ой наступала та чорна хмара», и потом я, с похолодевшим сердцем, сказал Н., что у него нет больше отца...

У меня не стало друга. Более того, я приобрел бескомпромиссного врага, не будучи перед ним лично повинным ни в чем.

3

А случилось недели через две вот что. Мы, группа старшеклассников — парней и девчат, пошли в лес за черникой. Возвращались порознь из-за того, что разбрелись по Замглаю (так называется тот лес), да и потому, что Тупичев — село огромное, а дома наши были в разных его концах. Вместе с Н. шел я по узкой полевой дорожке, юлившей сквозь обширное поле дозревавшей ржи. Друг мой был молчалив. На потемневшем его лице выпирали скулы. Я пытался развлечь Н. каким-то разговором и обронил нелепую фразу, смысл которой в том, что он доведет себя до полного истощения, если будет так переживать; отца, мол, все равно не вернешь.

— Не истощусь! Я сильнее тебя! — сказал мне Н. и будто в шутку предложил бороться.

Тут же, на полевой дороге, я дважды великодушно позволил Н. уложить себя на обе лопатки. Это вдохновило его, и он объявил новый вид соревнования — «припинание» к земле жгутами ржи: кто из нас сумеет освободиться от жгутов. Я не знал способа такой привязки и предложил начать опыт с меня. Мы зашли поглубже в рожь, где она была наиболее тучной, я улегся

спиной на землю, а Н., собирая вокруг меня пучки ржи, не выдергивая их из земли, закручивал в перевясла. Привязывал ими мои раскинутые руки, затем ноги. Заподозрив неладное, я стал вырываться, но было уже поздно. Последний жгут Н. завязал у меня на горле...

— Недельки через две тебя дохлого подберут комбайнеры,— зло сказал Н. Сорвав с моей головы фуражку, он выдрал из нее подкладку и затолкал ее мне в рот. Затем ушел...

Все мои попытки высвободиться из жгутов были тщетны. Мне стало ясно, что гибель неминуема, если не произойдет чуда. И оно произошло. На рассвете я проснулся от ударивших по моему лицу крупных капель дождя. Небо полыхало молниями. Разразилась шквальная гроза, и с каждой ее минутой я чувствовал, как от напряжения моих мышц ослабевает цепкость корней ржи.

Утром я появился дома с распухшим, изъеденным комарами лицом.

— В лесу заблудился,— ответил на тревожный вопрос сестры: «Где пропадал?».

Благодарю судьбу, что хватило у меня разума не пожаловаться на Н., хотя кипел от жажды мести, которую видел в том, чтоб встретить его и крепко избить. Но он не был дураком: догадался, что гроза спасла меня, и исчез из села. Об этом я пока не знал. Через несколько дней, когда лицо мое обрело нормальный вид, пошел к нему домой. В комнате застал одну мать — постаревшую, жалкую, с красными от слез глазами.

— Нет его дома,— упредила она мой вопрос немощным голосом.— Понес в Городню, в тюрьму, передачу для отца и где-то запропастился.

Мое сердце полоснула невыносимая жалость к этой женщине: сын скрыл от нее, что отца расстреляли... И почему-то стало стыдно. С трудом я произнес слова:

— Мы поругались... Передайте, что зла на него не держу. Пусть не прячется... Передайте мое честное слово...

Потом наступил очередной учебный год. Мы продолжали учиться с Н. в параллельных классах, делая вид, будто ничего плохого между нами не случилось, хотя оба были настороже друг к другу. Полагали, что закончим десятилетку и каждого из нас позовут разные дороги. Но у судьбы свои, непредвиденные для человека,

законы. В будущем меня и Н. ждала последняя наша встреча — немыслимая и страшная. Рассказ об этом впереди.

4

Жить на «чужом хлебе» было нелегко, и я все время стремился куда-то пристроиться, чтоб никому не быть в тягость. Прослышав, что идет набор в военные училища, помчался к райвоенкому майору Гавриленко и заполнил бумаги для поступления в Краснодарскую школу летчиков-наблюдателей. Вскоре в военкомате мне и моему соученику из Выхвостова Ивану Белану вручили засургученный пакет с нашими документами, и мы поехали в Краснодар. Там пошли по указанному на пакете адресу, и только после сдачи документов узнали, что нас прислали не в летную школу, а в пехотное училище имени Красина. Пришлось смириться с коварной уловкой военкома (тогда все ребята нашего возраста рвались в летчики) и надеть общевойсковую курсантскую форму. А через месяц учебы меня вызвал начальник училища и объявил, что на запрос мандатной комиссии по месту моего рождения председатель Кордышивского сельского Совета Арийон Мельничук прислал сведения, которые не позволяют мне оставаться курсантом: среди репрессированных в Кордышивке крестьян оказались мой дядька, двоюродный брат и два брата жены моего брата Бориса. Да и отец, о чем я узнал впервые, какое-то время был церковным старостой. В дополнение к этому в бумаге сельсовета были перечислены все другие респрессированные Стаднюки, с которыми я в родственных отношениях не был (в нашем селе был репрессирован каждый восьмой крестьянин).

С трудом перенес я тот тяжкий и позорный по тогдашнему пониманию удар, почти случайно удержался от самоубийства. Горел желанием поехать на Винничину и сжечь в Зарудинцах, соседнем селе, дом председателя сельсовета. Но уже стояла глубокая осень, а военную форму после исключения из училища пришлось сдать и одеться в легкую измятую одежонку, в которой приехал в Краснодар. Появляться в таком виде среди земляков было стыдно, а главное — «воинское требование» на железнодорожный билет было выписано до станции

Городня. Пришлось вернуться в Тупичев к сестре и продолжить учебу в девятом классе.

Но чем я мог дома и в школе объяснить отчисление меня из военного училища? Знал, что, если скажу правду, мой родственник обязан будет по своим «милицейским» правилам развестись с моей сестрой или подать рапорт об увольнении из «органов». И пришлось лгать — объяснял, что получил отсрочку на год по состоянию здоровья... А со временем, после больших колебаний, написал жалобу в Москву, Сталину, и, зная, что на тупичевской почте наверняка ее перехватят, отправил заказное письмо из Чернигова. В своей жалобе я ссылался на его же, Сталина, слова: «сын за отца не отвечает». Почему же я должен отвечать за дальних родственников, которые в пору моего сиротского малолетства и голода не поддержали меня даже куском хлеба? К сожалению, это была правда...

Ответ из Москвы не приходил. Я уже заканчивал девятый класс, как вдруг Черниговский пединститут объявил набор учеников десятых классов на десятимесячные учительские курсы (со стипендией и предоставлением общежития). В газетном объявлении указывалось, что приглашаются на курсы и учителя начальных школ, кто успешно сдаст вступительные экзамены, но не указывался возраст допускаемых к экзаменам. И я загорелся желанием поступить на курсы: шутка ли — через десять месяцев учебы можно стать преподавателем украинского и русского языков и литературы! Самостоятельным человеком, не чьим-то нахлебником!

Кинулся за советом к своему ближайшему другу-однокласснику Виктору Романенко (нашему признанному школьному поэту, отличнику и оратору). Он не только поддержал мою идею, но и сам загорелся желанием поступать на курсы; предстоящие экзамены нас почему-то не пугали.

Взяли в школе справки, написанные от руки секретарем, что учимся «в IX классе Тупичевской средней школы», и поехали в Чернигов, не утаив, однако, цель поездки от нашего общего приятеля Миколы Таратына. Разыскали пединститут, комиссию, формировавшую курсы. Но уже в коридоре перед кабинетом, где заседала комиссия, разведали, что девятиклассникам дают «от ворот — поворот» — даже документов не принимают...

Ой, как тошно было возвращаться в Тупичев, особен-

но мне, не в свой дом, на чужой хлеб, выслушивать упреки сестры по поводу того, что я решительно отказывался носить в детские ясли ее дочурку Люсю — считал стыдным (уже воображая себя «кавалером»), тащиться через весь райцентр на виду у людей с ребенком на руках, а потом терпеть в школе обидную кличку «нянька». Хотелось скорее стать независимым, чтоб иметь хотя бы собственные монеты для покупки билетов в кино — себе и, как полагается, девушке, за которой ухаживал.

Удрученные и растерянные, сидели мы в скверике институтского двора, размышляя над тем, как жить дальше. Искать в чужом городе работу без паспортов (тогда сельским жителям их не выдавали), без приюта?.. И неожиданно кому-то из нас пришла шальная мысль «подправить» наши справки: трудно ли цифру «IX» превратить в «А» X, что могло значить «А» десятый класс. Пусть и нелепо, но на справках есть штампы, гербовые печати, подпись завуча школы... А для пущей убедительности в своих заявлениях с просьбой о приеме на курсы тоже написали, что учимся в «А» X классе.

Явились в комнату приемной комиссии, подаем бумаги, трепеща от страха и сгорая от стыда. И, конечно, тут же последовал вопрос:

— Что, завуч у вас неграмотный или спьяну писал справки? Надо — в десятом «А»!.. Почему же в «А» X?

— «А» — класс лучший по успеваемости, а «Б» — на втором месте,— нашелся Романенко.

— Мы и в своих заявлениях тоже так написали,— добавил я.

— Ну, ладно. «А» так «А». Посмотрим, как с вашим «А» сдадите экзамены...

Экзамены по всем предметам сдали мы на «отлично» и, получив справки, что приняты на учительские курсы, помчались в Тупичев за своими вещичками.

В школе мы появились «гоголями», но решив до поры до времени держать в тайне, что мы уже не ее ученики. Но тайна все-таки не была соблюдена (проболтались Миколе Таратыну), и случилось непредвиденное: на второй день почти половина нашего девятого класса не явилась на уроки — уехала в пединститут поступать на курсы... (И Таратын тоже. Сейчас он пенсионер, директор литературного музея М. Коцюбинского в селе Выхвостов на Черниговщине.) К своему ужасу, мы с Виктором поняли, что грядет непоправимая беда: нас

разоблачат, отчислят с курсов, а в школе после такого позора хоть не появляйся. Возмездие было неотвратимо, а распаленная фантазия изображала его в самых мрачных красках. Комсомольцы же!

И мы, никому ничего не говоря, ринулись навстречу опасности: вновь поехали в Чернигов, чтобы покаяться в своем грехе перед ректором института (кажется, фамилия его Ильяшенко), надеясь на прощение,— ведь экзамены сдали на «отлично». В крайнем случае, надо было забрать свои документы.

На удивление, к ректору я попал беспрепятственно (Виктор так нервничал, что остался дожидаться меня в сквере). Руководитель института встретил меня очень сурово. Я, сгорая от стыда, выслушал целую лекцию о чести и совести, о порядочности и о том, как полагается молодым людям входить в жизнь. Стыдил и корил он меня беспощадно. А под конец спросил:

— Ну, что ты скажешь в свое оправдание?

Я ответил встречным вопросом:

— Когда вы учились в десятилетке, у вас были отец и мать?

— Были. Что из этого следует?

— Был свой дом и в достатке еда?.. Обходились вы круглый год, а то и два одной парой ботинок, как я, одними брюками и одной рубахой, на которые самому надо заработать деньги? Да и одними дамскими чулками вместо носок — чтоб время от времени можно было ножницами укорачивать чулки?

— Расскажи о себе подробнее.

Рассказывать было трудно — душили слезы. Возможно, и сам себя чрезмерно разжалобил.

Жесткие складки на лице ректора смягчились, перестали хмуриться брови. Он закурил папиросу и нажал на краю стола кнопку. Тут же вошла секретарша.

— Наталия Степановна, вчера я подписывал бумагу в Тупичевскую школу,— не глядя на нее, сказал ректор.— Если не отправили — верните ее мне.

— Вчера же и отправила — заказным письмом.

Секретарша вышла. Ректор вздохнул и вновь строго посмотрел на меня:

— Ушли ваши документы в Тупичев... Пусть как следует пропесочат вас там на комсомольском собрании — умнее будете.

Сейчас смешно вспоминать о тех переживаниях, которые мы с Романенко испытали тогда. Особенно остро страдал Виктор. Он считался в нашей школе среди учеников самой заметной личностью, и вдруг оказаться в таком позорном положении. Гордость его не могла перенести этого. И уже на попутном грузовике, когда возвращались мы в Тупичев, твердо условились: в школе пока не появляться, а в учебное время отсиживаться в колхозном сенном амбаре (гумне) за машинным двором МТС. И главное, сейчас думать: как без позора выйти из трагической ситуации, которая осложнялась еще и тем, что моя сестра Афия была учительницей нашей школы: преподавала язык и литературу во вторую смену в пятых — седьмых классах. Объясняться с ней мне не хотелось, но и трудно было предполагать, что у нее не спросят, почему я отсутствую на уроках.

Словом, много было сложностей. Мы со всей обстоятельностью начали обсуждать их с Виктором на второй день, забравшись на сеновал под крышу амбара. В самом деле, какой искать выход? Виктор вполне серьезно предложил: вешаться!.. Прямо здесь, в амбаре.

— На чем? — заинтересовался я, пряча улыбку.

— Принесу веревки, на которых мать белье сушит.

— А они выдержат? Толстые?

— Толстые.

— Но толстые долго душить нас будут.

— Могу принести и потоньше, но тоже крепкие.

— От тонких будет очень больно,— притворно засомневался я.— И найдут нас тут не раньше весны. Нависимся до отвала! Да еще на тонких веревках.

Разумеется, в нашей болтовне было немало горькой бравады, ерничанья, юмора сквозь слезы. Но и ощущалась такая безысходность, что оба при всей своей юношеской инфантильности, понимали: беды не миновать. Важно было угадать ее степень — чтоб не наделать глупостей и не проявить отъявленной трусости; ведь, ко всему прочему, я был председателем ученического комитета школы.

Но непредвидимы гримасы судьбы. Случилось так, что в это время по деревянной крыше, прямо над нашими головами, забарабанили капли дождя и я поднялся с сена, чтобы закрепить одну из полуоторванных дранок, образовавших щель, сквозь которую на меня капало. В щель увидел машинный двор МТС и недалеко

от амбара велосипедиста. Узнал в нем почтальона Зайчика. Так его все звали в райцентре за небольшой рост, красивое полудетское личико с голубыми глазами и за мальчишескую наивность.

Тут же, еще не осознав своего намерения, я оторвал дранину совсем, раздвинул другие и, заложив два пальца в рот, засвистел — по-своему, по-пастушечьи.

Зайчик услышал свист, остановился и, соскочив с велосипеда, стал глядеть по сторонам. Я еще стал свистеть и, просунув в дыру в крыше руку с фуражкой, замахал ею. Наконец Зайчик увидел, что сигналят именно ему, подъехал к амбару, а мы с Виктором тут же скатились с сеновала и затянули почтальона в амбар.

Виктор смотрел на меня с недоумением: что, мол, задумал? А я начал «спектакль»:

— Заяц, будь другом, помоги нам в беде.

— Я готов! — искренне отозвался Зайчик.

— Только это великая тайна.— Разговор велся на украинском языке.— Не проболтаешься?

— Да у меня полный мешок тайн! — Он похлопал по кирзовой почтальонской сумке.— Доверяют!

— Смотайся на велосипеде домой к Виктору... Знаешь, где он живет?

— Еще бы не знать, где живет агроном Андрей Иванович Романенко,— это шла речь об отце Виктора.

— Попроси у его матери, тети Полины, две бельевые веревки...

— Зачем?

— Понимаешь, с нами случилась непоправимая беда, и мы решили повеситься...

— Да вы что, хлопцы, сдурели? Что за беда?!

И тут вступил в «игру» Виктор. Собственно, он не играл, а искренне стал рассказывать Зайчику все, что произошло с нами в Чернигове, неимоверно преувеличивая грозящую нам кару. Когда же Зайчик услышал о заказном письме из пединститута в школу, он заорал на нас, как на недорослей:

— Дураки! С этого бы начинали! — и раскрыл почтальонскую сумку. Порылся в ней, затем швырнул в Виктора толстым конвертом.— Получайте вместо веревок! А я уж как-нибудь выкручусь!.. А то вешаться вздумали! Идиоты!..

На второй день мы с Виктором появились в школе, изображая себя ни в чем не повинными. На нас тут же

накинулись с упреками одноклассники, которые ездили в Чернигов поступать на курсы. Со смехом мы начали отбрехиваться:

— Лопухи, мы пошутковали! — Виктор хохотал без удержу. (Это он умел!)

— Возили в областную газету стихи,— вдохновенно врал я.— Скоро напечатают.

— Скоро ваши поддельные документики пришлют из института! — пригрозил наш одноклассник Кузьма Тупик, который тоже ездил в Чернигов поступать на курсы.

— Ну-ну, жди! Может, дождешься.

И действительно, школа ждала... Сестра Афия сказала мне, что и в учительской шепчутся по этому поводу. Более того, кажется, даже послали запрос в институт.

Мы с Виктором опять встревожились — притихли, не задирались, старательно готовили уроки.

Вскоре сестра сказала мне по секрету:

— Пришла бумага из института,— подписана лично ректором. В ней сказано, что «В. Романенко и И. Стаднюк на учительские курсы не зачислялись». И больше ничего...

Это был тяжкий и болезненный урок мне на всю жизнь.

5

А нужда заставляла искать заработки. В школе я числился хорошо успевающим учеником, особенно по гуманитарным предметам, и вскоре мне доверили одновременно с учебой преподавать на курсах трактористов при Тупичевской МТС русский язык. Не могу без улыбки вспоминать уроки, даваемые мной парням и девушкам с начальным образованием, которые не были сильны даже в украинской грамматике, как я — в русской. Непродолжительное время был инструктором районо по ликвидации неграмотности.

Будучи комсомольцем, числился в райкоме комсомола активным агитатором, особенно еще в период обсуждения первого Избирательного закона и первой Конституции СССР. А потом неожиданно привлек к себе внимание тем, что из Москвы наконец пришел в райвоенкомат ответ на мое письмо И. В. Сталину. В нем без всяких

мотивировок указывалось, что мне открыты дороги в любое, по моему выбору, военное училище И тут я попал в затруднительное положение: райвоенком майор Гавриленко требовал немедленно выбирать училище, получать проездные документы и убывать из Тупичева. А меня глодала мысль о том, что ведь совсем немного осталось времени до окончания десятилетки и получения «аттестата зрелости». Да и родилась новая мечта — стать журналистом. Более того, редакция тупичевской районной газеты «Сталінський шлях», в которой в летние каникулы после девятого и после десятого классов работал я литсотрудником (писал заметки, репортажи, фельетоны), рекомендовала меня для поступления в Украинский Коммунистический институт журналистики (город Харьков)... Вопреки настояниям райвоенкома я после окончания десятилетки сбежал в Харьков. Выдержав там нелегкие конкурсные экзамены, был принят в институт.

В мае 1939 года, еще учеником десятого класса, меня, как активного комсомольца, приняли (кстати, вместе с Виктором Романенко) кандидатом в члены КПСС, а через год, уже курсанта Смоленского военно-политического училища,— в члены КПСС. Виктор Андреевич Романенко погиб в боях под Харьковом в 1943 году.

Из института журналистики осенью 1939 года я был призван в армию. Окончил ускоренный курс сержантской школы 19-го запасного артиллерийского полка в городе Калинине, около двух недель командовал семидесятишестимиллиметровым орудием на финском фронте, а затем был откомандирован в Смоленское военно-политическое училище, которое окончил в конце мая 1941 года. Будучи курсантом училища, опубликовал в смоленской областной газете «Рабочий путь» свои первые рассказы, которые прошли через добрые руки поэта Николая Грибачева, руководившего училищным литературным кружком, и поэта Николая Рыленкова — заведующего литературным отделом. Это обстоятельство сыграло в моей судьбе очень важную роль. Начинающий поэт Евгений Панков и я были приглашены на совещание молодых красноармейских писателей Западного особого военного округа. Повез нас из Смоленска в Минск Николай Грибачев. Никогда не забыть этих предвоенных дней 7 и 8 мая 1941 года.

...Зал окружного Дома командиров. В президиуме —

Якуб Колас, Янка Купала, Кондрат Крапива и другие выдающиеся деятели литературы Белоруссии, представители командования, а в зале — красноармейцы, курсанты полковых школ и военных училищ, сержанты, молодые командиры и политработники. Все они сделали первые робкие шаги на трудной стезе прозы, поэзии или драматургии — начинающие красноармейские писатели. Правду сказать, слово «писатель» для большинства из нас было определением довольно условным, ибо я, например, или известный, ныне уже покойный, военный прозаик Геннадий Семенихин, тогда замполитрука, к тому времени напечатали всего лишь по нескольку рассказов. Однако совещание было для нас огромнейшим событием, ибо с высокой трибуны мы услышали оценку своих первых произведений, услышали наставления мастеров белорусской литературы... Никто из нас, участников этого совещания, не ведал тогда, что стоим мы на пороге великих и тяжких испытаний и что не скоро постигнутое здесь станет нашим творческим подспорьем. Большинству вообще не пришлось больше браться за перо...

И вот 30 мая 1941 года нам присвоили воинские звания «младших политруков» и разослали по разным военным округам. Я попал в Особый Западный. Приехал в Минск, где в отделе кадров политуправления округа меня уже ждал пакет с назначением в воинскую часть. Взглянув на название должности, на которую определен, я не поверил своим глазам: «политрук противотанковой батареи». Счастью моему не было предела: ведь в прошлом я артиллерист, командир орудийного расчета! Уходил из отдела кадров, не чуя под собой ног... И вдруг, когда буквально летел по коридору, из кабинета вышел батальонный комиссар в кавалерийской форме. Я узнал в нем инструктора по печати политуправления округа Матвея Крючкина, с которым совсем недавно познакомился на писательском совещании (после войны с поэтом Матвеем Абрамовичем Крючкиным мы многие годы сотрудничали в комиссии по военно-художественной литературе Союза писателей СССР). Осведомившись о причине моей радости, батальонный комиссар Крючкин почти силой отнял у меня пакет с предписанием и безапелляционно изрек: «В округе голод на журналистов! Поедешь секретарем дивизионной газеты!..»

Трудно было мне расставаться с заветной мечтой... И вот грянула война. Наступили дни тяжелейших испытаний. Реальность оказалась весьма далекой от картин, которые недавно рисовало мое восторженное воображение. Но в этой жуткой реальности образ комиссара и политрука нисколько не лишился созданного воображением восхищающего ореола. Более того, юношеская фантазия оказалась беднее всего происходившего.

Я глубоко убежден, что еще не оценена по достоинству та грандиозная роль, которую сырали политработники в начальный период Великой Отечественной войны, особенно политработники старшего звена — комиссары. Являясь участником трагических событий, которые разыгрались в июне 1941 года западнее Минска, я вынес оттуда такое ощущение, что, не будь с нами комиссаров, все обернулось бы во сто крат трагичнее. При этом нисколько не хочу умалять роль командиров, которым в кромешной неразберихе и кровавой сумятице хватало работы по выяснению непрерывно меняющейся обстановки и организации отпора врагу. Однако, поскольку уже в первые дни немалая часть наших войск оказалась разобщенной, очень важно было, как выяснилось, видеть впереди контратакующих цепей не только политруков рот, а комиссаров батальонов и полков. Понимая, что главная задача — задержать врага, замедлить темпы его наступления на восток, они останавливали людей и спокойно, но с определенной категоричностью приказывали (даже командирам) развертываться в боевые порядки вправо и влево от магистралей и окапываться. При этом сами оставались тут до конца, продолжали наращивать силы, помогали командирам приводить людей в боевое состояние.

Кажется, не было оживленного перекрестка, переправы через речку, не было заслона, который выбрасывался навстречу врагу, где бы не слышался голос человека с красной звездой на рукаве. Ко всему они были причастны, везде находили себе неотложное дело.

Помню даже такой необычный случай. Штаб нашей 209-й мотострелковой дивизии закопался в землю на лесных высотах близ городишка Кресты в Западной Белоруссии. Командир дивизии полковник А. И. Муравьев, начальник отдела политпропаганды полковой комиссар Маслов и начальник особого отдела (фамилию не помню) сидели возле штабной палатки и выслуши-

вали доклады командиров подразделений из разбитых частей, отступавших на восток и задержанных развернувшимися впереди нашими штабными подразделениями. Я, в то время желторотый секретарь дивизионной газеты, вертелся поблизости, снедаемый труднообъяснимым любопытством: хотелось взглянуть на сидевшего в окопе под охраной военфельдшера штабной санчасти, с которым до войны (три дня назад) в местечке Ивье жил по соседству; военфельдшер был приговорен военным трибуналом к расстрелу «за членовредительство» (прострелил себе ногу) и ждал утверждения приговора в вышестоящем штабе. В это время на высоту к палатке приконвоировали задержанного на дороге майора. Майор предъявил начальству документы и объяснил, что следует с двумя грузовиками, в которых сидят его саперы, на восток для выполнения задания по охране мостов. А я, оказавшись свидетелем этого объяснения, был потрясен: в майоре узнал недавнего курсанта Смоленского училища; два года подряд наши роты ежедневно в одном коридоре, а затем по соседству, в Ворошиловских лагерях, выстраивались на утренние осмотры и вечерние поверки. Всего лишь три недели назад мы вместе закончили училище, и вдруг вижу в петлицах своего однокашника не два кубика младшего политрука, а две шпалы, да еще на рукавах золотые шевроны строевого командира. А «майор» между тем, получив разрешение следовать дальше, отдал начальству честь, четко повернулся кругом и... увидел меня. Побледнел, отвел в сторону глаза и зашагал к дороге. Я окликнул его по фамилии, но он будто не слышал. Я еще раз окликнул. На мой взволнованный голос обратил внимание полковой комиссар Маслов и тоже крикнул:

— Товарищ майор!..

«Майор» остановился, устремив притворно-недоумевающий взгляд на полкового комиссара.

— Вы что, знакомы? — спросил у меня Маслов.

— Да.— И в двух фразах все объяснил.

— Ошибаетесь, товарищ младший политрук,— растянул губы в подобие улыбки «майор».

— Ну как же? — Я сбивчиво начал что-то говорить, а «майор» тут же с дьявольской усмешкой на бледном лице все опровергал.

Полковой комиссар Маслов смотрел то на меня, то на

«майора». К нам уже подходили комдив и начальник особого отдела.

— А не являетесь ли вы, младший политрук, засланным провокатором? — сурово спросил, не спуская с меня глаз, полковой комиссар.— Ведь вы у нас новичок?

Я остолбенел от неожиданного поворота событий, видя при этом, как рука Маслова скользнула к кобуре и выхватила пистолет.

— Руки вверх! — скомандовал полковой комиссар, но приказ был обращен не ко мне, а к «майору», и вовремя, потому что «майор» тоже схватился за оружие. Его успели скрутить, затем не без трудностей и не без потерь обезоружили солдат в двух грузовиках, которые оказались переодетыми фашистами.

В моем сознании никак не укладывалось, что в нашем училище пребывал среди нас враг — с чужим именем и чужой биографией. Но речь о полковом комиссаре Маслове. В несколько секунд он осмыслил ситуацию и принял единственно правильное решение: обрати он первые слова не ко мне, а к «майору», кто знает, кому бы раньше удалось выхватить оружие!

Попутно вспоминается мне, что именно заместитель Маслова — батальонный комиссар Дробиленко — раскрыл секрет подделки немцами документов. Он обратил внимание, что все наши документы были прошиты обыкновенной, ржавеющей от пота и времени проволочкой, оставляющей на бумаге рыжие следы, а тут вдруг стали встречаться партбилеты и удостоверения, сверкающие хромированной проволочкой... Просчитались немцы на мелочи, и этот просчет обнаружили политработники.

6

Находясь в первые недели войны в 209-й мотострелковой дивизии (17-й механизированный корпус, 10-я армия), я с лихвой почерпнул «материала» для написания повести «Человек не сдается» и первой книги романа «Война», разумеется, дополнив виденное и пережитое некоторой долей вымысла, как и полагается в художественном произведении.

На войне пробыл от первого и до последнего дня. Из них наиболее тяжкими были июнь — август 1941 года. Окружения, атаки, контратаки, стычки с диверсантами,

первые ранения без должной медицинской помощи. Сказать обо всем этом — легко. Но передать те потрясения, которые мы пережили, почти невозможно. Все было: страх, паника, растерянность, ярость от беспомощности и от непонимания, почему все происходило именно так, когда при необыкновенном упорстве, высокой выучке наших наземных войск мы все-таки отступали, а порой бежали. А как забыть холодившие душу горькие вопросы белорусских крестьян: «Куда вы отступаете?..» Как потушить в памяти их укоряющие, тоскливые взгляды?.. И не забыть знобкого восторга наших первых победных контратак... В моем архиве бережно хранится документ, свидетельствующий о том, что крестьяне деревни Боровая Дзержинского района Минской области после войны избрали меня своим почетным гражданином. Близ этой деревни в ночь на 28 июня 1941 года наша часть разоблачила в своей сборной, расстянувшейся километров на пять колонне крупную группу немецких диверсантов и уничтожила их, тоже понеся потери. В те дни смертельные схватки велись на обширных пространствах Западной Белоруссии. Наши войска, изо всех сил отбиваясь от атакующего врага, пятились на восток. Никто из нас еще не знал, что 28 июня немцы уже захватили Минск и мы вели бои в полном окружении. Не знали об этом, видимо, и многие переодетые в нашу форму абвергруппы немцев, дерзко продолжая действия по расчленению войск Красной Армии.

В то утро, после схваток с диверсантами, наша автоколонна двинулась в направлении Дзержинска и тут же вновь наткнулась на засаду противника. Спешившись, все мы, кто ехал на грузовиках, развернулись вправо от дороги и пошли в атаку. Цепь растянулась на несколько километров. Когда смяли заслон вражеского десанта, к месту схватки подоспела группа немецких танков, и многие из нас, не успев вернуться к своим машинам, рассеялись по полю, а автоколонна, чтоб не попасть под удар, устремилась по маршруту.

Я оказался рядом с помощником по комсомолу начальника отдела политпропаганды дивизии Сергеем Полищуком (он тоже был в звании младшего политрука). Спасаясь от танков, мы кинулись к ближайшей рощице, затем перебрались через болотистый луг и вышли к перекрестку полевых дорог. Здесь на обочине увидели тридцатьчетверку и рядом с ней танковый эки-

паж во главе с двумя майорами-танкистами. Они сидели на разостланном брезенте и закусывали.

Мы с Сережей предупредили танкистов о близкой опасности и попросили взять нас на броню. Танкисты согласились, но предложили прежде выпить с ними по глотку водки и перекусить. Такое гостеприимство нас не столько тронуло, сколько удивило...

Вскоре мы мчались на танке в сторону Дзержинска. Ехали, пока не наткнулись на хвост огромной автоколонны, застывшей перед разрушенным мостом, который восстанавливали саперы.

Мы с Сергеем Полищуком побежали вдоль машин вперед — вдруг найдем своих? Так и случилось...

В это время сзади вспыхнула стрельба. Минут через десять, вернувшись к знакомому танку, чтобы попрощаться с танкистами, я с ужасом увидел их тела, лежащие на обочине дороги. Два майора тоже были убиты. Оказалось, что они — переодетые немецкие диверсанты, чем-то выдавшие себя в наше отсутствие... Почему же тогда диверсанты не уничтожили меня и Полищука? Могли ведь еще там, на перекрестке!.. Вероятнее всего, мы им были нужны как «маскировочное» прикрытие.

Разумеется, я ощутил тогда мерзкий страх. Но не потому, что понял, в сколь опасной ситуации недавно находился. Стало страшно оттого, что я и Сергей по чистой случайности не лежали расстрелянными рядом с диверсантами. Задержись мы с ним у танка на несколько минут после того, как настигли колонну, нас могли сгоряча посчитать врагами и порешить заодно... Нам, тогда юношам, это казалось самым ужасным — погибнуть, ничего не совершив, не узнав, как закончится война... А тем более погибнуть по недоразумению, от руки своих, быть неузнанными и погребенными в одной яме с фашистами — от такой мысли волосы шевелились на голове... До сих пор живет этот страх в моем сердце...

Вспоминая о войне, я часто обращаюсь мыслью к засланным тогда на нашу территорию немецким диверсантам. Что это были за люди, кто они? Отлично владевшие русским языком, знавшие порядки в Красной Армии, храбрые и дерзкие, нередко шедшие на самопожертвование, расстреливая в упор наших генералов и командиров, особенно старших политработников. До сих пор не могу объемно ответить на этот вопрос, хотя под-

робно описал в романе «Война» биографию диверсанта Глинского (Птицына). Ведь многих из них перебросили на нашу территорию еще до начала войны. Об этом мне стало известно в последних числах июня или первых числах июля сорок первого, когда вокруг меня, умевшего читать немецкие топографические карты (наши были весьма приблизительными), знавшего после выучки в военном училище и самое элементарное — как безошибочно пользоваться компасом и прокладывать для маршрута «ломаный» азимут, сколотился отряд в девяносто шесть человек и мы сквозь леса и болота пробивались на восток. Удручало, правда, одно обстоятельство: в отряде были строевые командиры в воинском звании выше моего, но никто почему-то не хотел брать на себя командование... Помню в своем поведении и некоторую браваду, которая выражалась в том, что строго придерживался уставного порядка движения: «головной походной заставой», с головным и боковыми дозорами, ядром и прикрытием тыла, хотя пробирались мы главным образом через глухомань, куда немцы и носа не совали. Движение затруднял опечатанный железный ящик, снятый с политотдельской машины; его тащили на самодельных носилках в ядре и берегли пуще глаза: кто-то обронил мысль, что в ящике упаковано боевое знамя нашей 209-й мотострелковой дивизии. Надо было обзавестись для транспортировки ящика лошадью. И вот в ближайшую из ночей дозорные задержали на лесной тропе всадника. Как потом выяснилось, он оказался председателем одного из приграничных колхозов. При нем — мешок с крупной суммой денег. Потребовали объяснений и услышали удивительный рассказ, подтвержденный потом другими задержанными колхозными активистами. Суть его поразительна: за несколько дней до начала войны в конторе колхоза появились два командира Красной Армии, приехавшие на мотоцикле. Заявили, что имеют приказ «откупить» дальний колхозный луг для военных маневров. Тут же оформили документы, заплатили сумму денег, которую потребовало правление артели за потравленное сено, и строго предупредили: к лугу никому не приближаться, он будет оцеплен охраной... А ночью на луг стали садиться транспортные самолеты с советскими опознавательными знаками. Из них (как подсмотрели сельские пастушки) начали выгружаться немецкие танкетки, бочки с горю-

чим, ящики с боеприпасами и группы военных и советской форме... Это и были немецкие диверсанты, которые потом причинили нашим войскам тяжелые бедствия.

Кстати, о железном ящике: в нем оказались чистые бланки партийных билетов, двенадцать тысяч рублей денег (партийные взносы) и политотдельская печать...

Мне известны два случая разоблачения абверовцев уже после войны. По подложным документам они прижились в одном нашем штабе и, видя неотвратимость поражения фашистской Германии, затаились. Даже были повышены в воинских званиях, награждены, один из них обзавелся семьей. Но не учли одного: у них, как и у многих членов партии из наших разгромленных воинских частей, не оказалось партийных учетных карточек. После войны начали приводить в порядок партийные документы, заполнять новые карточки и сверять их с отчетными, хранившимися в Центральном Комитете. И обнаружились разные фотографии на новой учетной и старой отчетной карточках...

7

Но вернемся в начало июля 1941 года, когда велись бои на прорыв из окружения южнее Минска, распыленный выход (мелкими группами) на Березину, где занимали оборону наши малочисленные войска, подошедшие из глубины бывшего Западного особого военного округа. С Березины нас (командиров и политработников) отправляли в Могилев, где напряженно функционировал проверочный пункт. В Могилеве мне повезло — во дворе школы, в которой находился пункт проверки, я увидел майора Маричева (начальника инженерной службы нашей дивизии), сквозь форточку окна докричался до него и тут же получил «вотум доверия»: тогда важно было, чтобы кто-нибудь подтвердил твою довоенную причастность к Красной Армии. Мне даже удалось познакомиться с членом Военного совета фронта дивизионным комиссаром Д. А. Лестевым и рассказать ему, а затем написать об обстоятельствах разгрома диверсантами штабной колонны 209-й мотострелковой дивизии.

Из Могилева нас, группу политработников, отвезли в лес под Чаусы — в резерв политуправления Западного

фронта, где мы получили назначение в 64-ю стрелковую дивизию полковника А. Я. Грязнова. До войны она дислоцировалась в Смоленске, успела прославить себя в боях с немцами при обороне Минска. А в эти июльские дни дивизия занимала оборону на рубежах речек Царевич и Вопь, изматывая врага частыми атаками в направлении Духовщины.

Штаб 64-й, куда нас, группу политработников, привезли на грузовике из фронтового резерва, располагался в овражистом лесу северо-западнее деревень Старые и Новые Рядыни. Там же находилась и редакция дивизионной газеты «Ворошиловский залп», куда меня назначили старшим литсотрудником. Газета пока не выходила из-за того, что во время бомбежки была разбита печатная машина. Редактор газеты старший политрук Михаил Каган метался по ближайшим райцентрам — искал замену.

На фронте у политработников праздного времени не бывало. Начальник отдела политпропаганды дивизии полковой комиссар Пятаков, когда я представился ему как новый работник «Ворошиловского залпа», временно включил меня в группу политотдельцев, которая отправлялась в полки, готовившиеся к очередному наступлению: там, мол, и материал для газеты соберешь.

По существовавшему тогда обычаю, политруки, комиссары, командиры всех степеней вплоть до командиров полков обязаны были «личным примером обеспечивать успех атаки стрелковых батальонов». Дорого нам обходился этот «обычай» первыми выскакивать из траншей. Немцы знали о нем, их снайперы и пулеметчики с началом каждой нашей атаки умело выбирали главные цели... Поэтому и потери в командно-политическом составе в первые месяцы войны были неоправданно велики. Точно не помню когда, но вскоре приказом наркома обороны эту «практику» отменили, особенно по отношению к командному составу, которому предписывалось управлять полками, батальонами и ротами со своих командно-наблюдательных пунктов, а «личным примером» поднимать бойцов в атаки только в исключительных, оправданных обстановкой, случаях.

Многое, виданное и испытанное мной в те летние месяцы 1941 года под Ярцевом, я передал своему собирательному литературному герою Мише Иванюте (роман «Москва, 41-й»), сюжетно сместив и изменив неко-

торые события во имя композиционного построения романа.

Особенно запомнился один непридуманный день, когда в лесу под Рядынями по приговору военного трибунала расстреливали начальника артиллерии 64-й дивизии майора Гаева, который якобы надлежаще не организовал артиллерийскую поддержку наступления стрелковых полков, что в зачитанном нам приговоре квалифицировалось как «беспечность, граничащая с предательством». Только спустя более тридцати лет, когда ко мне на дачу в Переделкино приехал бывший комиссар нашей 64-й (потом она стала 7-й гвардейской) стрелковой дивизии А. Я. Гулидов, я узнал от него, что майора Гаева расстреляли безвинно, ибо дивизия к тому времени не по его вине была не обеспечена средствами проводной связи и артиллерийские дивизионы и батареи оказались неуправляемыми. Но трибунал выполнил свою страшную «функцию», как меры устрашения для всех нас — по приказу высшего командования. Никакие телеграммы-протесты командира дивизии полковника А. С. Грязнова Военному совету фронта не помогли.

Тяжко видеть расстрел человека, пусть до этого он и не был мне знаком. А каково его друзьям, давним сослуживцам? Краем глаза я видел, как тряслись губы и катились по лицу слезы у майора Селезнева, стоявшего в строю неподалеку от меня. (До войны, как потом я узнал, Селезнев и Гаев жили в Смоленске в одном доме, дружили семьями.)

...Когда все было кончено и подана команда разойтись, я последовал за Селезневым, зная, что сейчас он начнет допрашивать трех пленных немцев, которых, как я видел, приконвоировали к его землянке,— надеялся записать что-либо интересное в блокнот для газеты. Я, новичок в дивизии, полагал, что майор Селезнев возглавлял разведотдел, и даже написал так в «Правде», в статье, посвященной сорокалетию Смоленского сражения. На статью откликнулась жена Селезнева и сообщила мне, что он был интендантом. Почему же занимался с пленными, не знаю до сих пор.

Но вернусь в тот страшный день. Я шел в десятке метров сзади майора Селезнева, видел, как он вытирал платком слезы, и мне тоже хотелось плакать. Да и чувствовал, что делаю что-то не то и не так. Зачем лезу

к человеку со своими журналистскими делами в такую трагическую минуту?.. Спустились в овраг, поднялись на его противоположную крутизну, к землянке, где сидели под сосной пленные немцы, а их караулили два вооруженных бойца. Навстречу майору вскочил со складного стульчика лейтенант-переводчик в очках — доложил, что к допросу готов. Тут я и сунулся к майору: попросил разрешения присутствовать в качестве представителя газеты. Селезнев, высокий, крупнотелый, посмотрел на меня печальными, покрасневшими от слез глазами и вдруг разразился матерной бранью, посылая меня ко всем чертям.

Я был ошеломлен, оскорблен... Взыграло самолюбие. Круто повернувшись кругом, побежал искать комиссара дивизии Гулидова. Не нашел. Землянки политотдела тоже были пусты: большинство политработников во главе со старшим политруком Аркадием Поляковым уже уехали в полки «обеспечивать» завтрашнее наступление. Я опоздал к машине, и теперь надо было идти на передовую пешком.

В это время налетели «юнкерсы»...

После бомбежки, когда проходил близ землянки майора Селезнева, увидел такое, что вспоминать страшно. От прямого попадания бомбы погибли все — и майор, и переводчик, и пленные, и бойцы-конвоиры... С тяжким сердцем вышел я из леса и напрямик, через поле неубранной ржи, побрел в сторону передовой, усыпая путь золотыми слезами зерна. Они падали на серую колчеватую землю, как только рука прикасалась к колоскам. Это плачущее поле усиливало лежавшую на душе тяжесть. Думал я и о том, что майор Селезнев прогнал меня от гибели.

В штабе полка, замаскировавшемся в заросшем мелколесьем овражке, узнал, что прибыло пополнение — несколько маршевых рот московских ополченцев — и что сейчас перед ними выступает полковой комиссар А. Я. Гулидов. Через минуту я уже был в недалеком перелеске, где ждали ночи ополченцы. Гулидов тут же приказал мне с наступлением темноты отвести две роты ополченцев в батальон и «отвечать за них головой». Вид ополченцев меня несколько смутил: многие были с бородами, в очках; все они казались мне, двадцатилетнему, стариками.

Но когда на второй день на рассвете после короткой

артподготовки мы устремились к задернутой туманом речке, ополченцы показали себя молодцами. Они вплавь и вброд перебирались через Царевич, четко выполняли команды и обходили оживавшие пулеметные немецкие гнезда. В атаку поднимались дружно и бесстрашно...

Уже на четвертый день боев в батальоне я остался единственным кадровым политработником, а среди командного состава — несколько сержантов. Положение усугублялось еще и тем, что начались ливневые дожди, затруднявшие подвоз боеприпасов и продуктов, а также эвакуацию раненых. Наступление захлебнулось.

Не могу не вернуться к тем чувствам, которые вызвал первый услышанный нами залп «катюш». Помню, когда поднялись в очередную атаку, вдруг сзади что-то могуче и оглушающе загрохотало и над нашими головами к вражеским позициям, исторгая пламя, с ревом устремились невиданные длинные снаряды. От неожиданности мы упали на землю.

Когда вернулся в штаб дивизии, узнал, что к нам прибыл еще один газетчик — политрук Касаткин, назначенный секретарем «дивизионки». Его тоже послали «обеспечивать атаку» батальона, и с передовой он уже не вернулся...

Наконец приехал старший политрук Михаил Каган с печатной машиной, закрепленной в крытом кузове грузовика, и мы (пока вдвоем) стали выпускать солдатскую многотиражку «Ворошиловский залп». Началась ничем особым не примечательная работа фронтового газетчика, неразрывно связанная с боевой судьбой 7-й гвардейской стрелковой дивизии.

Вскоре появился у нас еще один сотрудник. Я буквально нашел его в лесу: случайно наткнулся на красноармейца, который сидел на пне и играл сам с собой в шахматы. Увидев меня, он испуганно вскочил, поднял лежавший рядом карабин, повесил на плечо, заправил под ремнем гимнастерку и виновато заулыбался.

— Кто такой? — спросил я, глядя в его широкое крестьянское лицо, настороженные серые глаза.

— Красноармеец Вересов! Посыльный медсанбата седьмой гвардейской!

Разговорились. Оказалось, что он известный белорусский шахматист — мастер спорта или даже гроссмейстер.

Спросил его, смог бы ли он работать в дивизионной

газете. Дело, мол, нехитрое: ходить на передовую, собирать «материал» о боевых событиях на фронте, писать заметки, репортажи, статьи... С ответом Вересов не торопился. Предложил мне сыграть партию в шахматы. Я сознался, что почти не умею играть, хотя знаю, как ходить каждой фигурой.

— Я буду подсказывать,— пообещал он.

Начали играть. Мне приятно было вслушиваться в утонченно-интеллигентный говор Вересова. Временами он чуть заикался, употребляя слова, какие я встречал только в книгах русских классиков. Словом, я почувствовал, что передо мной образованнейший человек, мысленно поражаясь, что не нашли ему на фронте более серьезного дела, чем быть посыльным медсанбата. И очень удивился, что зовут его совсем просто — Гаврилой (правда, он сказал — Гавриил). Вспомнился мне один сельский «зачуханный» мужичишка, пастух Гаврило — тощий, оборванный, всегда полупьяный. И я будто обрел больше уверенности: стал двигать фигуры активнее, пытаясь предугадать последующие ходы мастера. Вересов заметил это и начал умышленно, как я понял, «играть в поддавки». Увлекшись игрой, мы не заметили, как к нам подошли трое мужчин: двое со знаками различия военных врачей, а третий — хорошо мне знакомый комиссар медсанбата батальонный комиссар Михайлов.

Мы с Вересовым испуганно вскочили, приняв стойку «смирно». Михайлов тут же стал отчитывать своего посыльного, что он занят в «рабочее» время посторонним делом. Тогда я не без ехидства позволил себе выразить майору Михайлову недоумение, что в политотделе дивизии не хватает людей, а он держит в роли посыльного известного гроссмейстера Белоруссии, образованнейшего человека. Один из врачей, всмотревшись в шахматную доску на пне, насмешливо сказал;

— Не вижу почерка гроссмейстера.

Тогда мы вновь присели к шахматам, и Вересов в три хода поставил мне мат.

Через несколько дней Гавриил Николаевич Вересов был назначен литсотрудником «Ворошиловского залпа». Он оказался довольно способным газетчиком, хотя в военном отношении не очень был подкован: не всегда мог отличить гаубицу от пушки, определить калибр миномета, прочитать топографическую карту. Зато отли-

чался храбростью, граничившей с неосмотрительностью: в дневное время, бывало, ползал в боевое охранение, вызывая на себя огонь немецких снайперов и осуждающие окрики с наших наблюдательных пунктов.

Не помню, когда и куда отозвали Вересова из редакции или убыл он по ранению. Знаю только, что война пощадила его. Где-то в шестидесятых годах он работал в Минске чуть ли не председателем республиканского комитета по культурным связям с зарубежными странами. А когда приезжал в Москву, звонил мне по телефону, приходил в гости (несколько лет назад он умер). Видимо, рассказывал о своей дальнейшей фронтовой судьбе, но моя память сохранила только его размышления о том, что на фронте каждая войсковая часть имела свою судьбу, как и каждый человек.

Нашу 7-ю гвардейскую дивизию сняли с боевых позиций на Царевиче и Вопи, погрузили в воинские железнодорожные эшелоны буквально за сутки до того, как немцы завершили окружение советских войск в районе Вязьмы, и повезли в тыл. Для меня это была загадка на многие годы, пока я не прочитал документ, свидетельствующий о том, что Сталин был весьма уверен в прочности оборонительных рубежей Западного фронта и приказал начальнику Генерального штаба маршалу Шапошникову взять у Конева две наиболее боеспособные дивизии в резерв Ставки *. Одной из них оказалась наша 7-я гвардейская.

Да, действительно, судьба... Полки и штаб 7-й гвардейской, чуток передохнув в Воронеже и получив пополнение, вновь были погружены в железнодорожные эшелоны, которые двинулись на юг. Конечный пункт их выгрузки держался в строгом секрете. Вновь волновал всех вопрос: куда едем? А тут еще непрерывные налеты немецких самолетов... Кто испытал бомбежки, находясь в железнодорожных эшелонах, тот знает, что это такое. И еще бомбежки в лесу. Очень страшно, когда не видишь, куда пикирует «юнкерс» и в какие мгновенья из-под его брюха выпадают бомбы. Ощущаешь полную беспомощность. Вся надежда на господина Случая — авось, пронесет...

Миновали Ростов. Секрет маршрута начал рассеи-

---

* В приказе написано: «...в резерв Генерального штаба».— *Примеч. авт.*

ваться, по эшелону пополз слушок, что везут нас в Новороссийск для погрузки на пароходы, оттуда — в Одессу для обороны города.

«В Одессу так в Одессу,— беспечно размышлял я.— Начальству виднее... Да и моря еще никогда не видел и на пароходе не плавал...»

Но, наверное, спасать Одессу было уже поздно либо на Западном фронте обстановка сильно обострилась. Дальше Батайска нас не повезли: эшелоны дивизии направились в обратный путь, навстречу новым бомбежкам.

Выгрузились где-то севернее Курска, и дивизия вступила в бой за Фатеж.

Наша редакция расположилась на кирпичном заводе южнее Фатежа и начала выпускать газету. Гавриил Вересов у нас уже не работал, и приходилось мотаться между передовой и кирпичным заводом почти ежедневно. Но ничего особенного из тех осенних дней не запомнилось, кроме ведущей к Фатежу разбитой дороги, вдали дымящегося пожарами городишка, артиллерийских дуэлей и немецких танковых атак нашей обороны.

Не знаю, то ли не устояла наша дивизия под напором немецких танков у Фатежа, то ли потребовалось спешно укреплять подступы к Москве, но полки внезапно были выведены из боя и вновь стали грузиться в железнодорожные эшелоны. Маршрут — на Серпухов...

Наш эшелон шел под прикрытием двух счетверенных противозенитных пулеметов. В вагонах — отделы штаба и политотдел дивизии, батальон связи, еще какие-то штабные подразделения; на платформах — спецмашины, два грузовика и автобус с нашим полиграфическим хозяйством. Стоял ясный осенний день. Хорошая видимость позволяла не опасаться внезапной бомбежки, тем более что на платформах эшелона две счетверенные пулеметные установки. Беды никто не ждал...

На одном полустанке недалеко от Курска эшелон почему-то задержался. Справа и слева — поля, чуть вдали — кустарники, лес. На левой обочине путей — высокие и длинные бурты сахарной свеклы, приготовленные для погрузки.

— Иван,— обратился ко мне старший политрук Каган,— прогуляйся по эшелону и поговори с народом.

Может, что-нибудь интересное расскажут о боях под Фатежом. Газету ведь надо выпускать.

На одной из платформ я разговорился с красноармейцем, охранявшим фургон с радиостанцией. Он оказался из последнего (воронежского) пополнения. По привычке записал в блокнот фамилию, имя, отчество: Тулинов Филипп Яковлевич.

— Чем занимались на гражданке?

— В газете работал.

— В какой?!

— В «Воронежской коммуне». Был там ответственным секретарем.

Я ахнул: «Секретарь областной газеты — в рядовом звании!» Невольно вспомнил Вересова...

— А у нас в дивизионке некомплект! — сказал я и начал перебираться на свою платформу, чтобы доложить Кагану о Тулинове.

В это время с эшелона заметили, что вдалеке от железной дороги шли на бреющем полете три самолета. Чьи?.. Никто определить не мог. Кто-то из командиров пытался рассмотреть их в бинокль, но тщетно. Самолеты прошли стороной и скрылись за гребенкой леса. Все успокоились, но ненадолго: самолеты появились вновь, пересекая в нескольких километрах впереди железную дорогу, кажется, не обращая внимания на полустанок. Они вновь скрылись из нашего поля зрения и вдруг появились со стороны солнца, устремившись на эшелон. Это были немецкие бомбардировщики. Издали они ударили из пулеметов по двум установкам наших счетверенных «максимов». Началась паника: люди под пулеметным шквалом посыпались с платформ и из вагонов, многие уже оставались лежать, а сотни разбегались по полю, устремляясь к недалекому кустарнику. Жуткое это зрелище — расстрел с бреющего полета беззащитных и беспомощных... На платформы с машинами обрушились бомбы... Меня и на этот раз спас случай. Застигнутый, как и все, врасплох, я запутался в проволочных расчалках, которыми наш грузовик был прикреплен к бортам платформы, и не сумел спрыгнуть в ту сторону насыпи, которая могла укрыть от пулеметного огня. Сиганул навстречу «юнкерсу» в тот момент, когда он сбросил бомбу Она упала по другую сторону насыпи. Погибли почти все, кто туда спрыгнул. (Запомнил печатника Беляева из Воронежа, ленинград-

ца-наборщика Худякова, которому оторвало руку, секретаря политотдела Попова, раненного в живот.)

Бомбежка и обстрел, казалось, длились вечность. Я отлеживался между высоким буртом сахарной свеклы и колесом платформы... Кто мог подсчитать, какие мы понесли тогда потери? У нас в редакции вместе с полиграфистами и шоферами до этого было двенадцать человек, а уцелело меньше половины.

Самолеты улетели. Полуразбитый эшелон местами горел. Вокруг вопили раненые и обожженные пламенем бензина из взорвавшихся бочек. К полустанку с опаской брели по полю уцелевшие бойцы и командиры.

8

Через какое-то время из Курска пришел санитарный поезд. А мы таскали на железнодорожный путь запасные шпалы и строили помост, чтобы стащить с платформы машины и ехать дальше своим ходом...

Многое уже позабылось, но помню, что мы оказались наконец в Серпухове, где получили от кого-то приказ разместиться за Окой в деревне. Вскоре к нам в редакцию хлопотами Кагана прислали из батальона связи Филиппа Яковлевича Тулинова, назначив его секретарем газеты и со временем присвоив воинское звание «младший политрук». Потом оказалось, что он среди нас троих наиболее квалифицированный журналист да к тому же еще и поэт. А держал себя застенчиво, будто стеснялся своей одаренности.

Наша 7-я гвардейская вошла в подчинение 49-й армии и вступила в оборонительные бои. Мы, работники дивизионной газеты «Ворошиловский залп», как-то не умели со своей невысокой вышки ощутить всю трагичность происходившего, видя, как спокойно и уверенно держали себя командир дивизии полковник Грязнов, комиссар Гулидов, командиры и комиссары полков. Не мыслили, что немцы могут ворваться в Москву, и были поражены, что нас внезапно снимают из-под Серпухова, где наша дивизия после переброски сюда из-под Курска не уступила врагу ни пяди земли. И вот приказ — полкам дивизии занять оборону по обе стороны Ленин-

градского шоссе от Крюкова до деревни Льялово (там сейчас вырос Зеленоград — район Москвы).

Только после войны, когда вышли в свет мемуары Г. К. Жукова, я понял причины нашей переброски под Москву. Вспоминая в своей книге конец ноября 1941-го, когда наша 16-я армия отошла от Солнечногорска и на ближних подступах к Москве сложилось катастрофическое положение, маршал писал: «Необходимо было во что бы то ни стало задержать противника на этом опасном участке до прибытия сюда 7-й гвардейской стрелковой дивизии из района Серпухова...»

Во время этой переброски было промозгло, студено, сине. На дорогах — сплошной гололед, а нам предстояло вести типографские машины из-под Серпухова, через Москву в Химки... Перед этим при бомбежке у нас опять погибло несколько человек из типографии, в том числе один шофер. И мне, поскольку я еще под Ярцевом чуть-чуть научился держаться за руль, пришлось взяться за управление автобусом с наборными типографскими кассами. Решиться на такое можно было только от отчаяния и... самоуверенности. Но передний грузовик (с печатной машиной) вел наш весельчак и «доставала» москвич с замашками одессита Аркаша Марголин — прекрасный водитель.

В общем, добрались мы до деревни Бутаково, что рядом с Химками, более или менее благополучно, однако после этого я старался без крайней надобности больше не садиться за руль машины, переключив свою страсть к самодвижущейся технике на трофейные мотоциклы.

На склоне того же дня по приказу редактора газеты старшего политрука Михаила Кагана я поехал на полуторке с шофером Захаровым в сторону Солнечногорска искать штаб дивизии, чтобы доложить начальству: редакция «Ворошиловского залпа» прибыла в назначенный пункт и занимается выпуском очередного номера. Задание было выполнено — к утру газета отпечатана; старший политрук Каган на той же машине повез часть ее тиража на командный пункт дивизии... И больше в редакцию не вернулся: линия фронта за ночь передвинулась ближе к Москве, и шофер, не заметив «маяков», охранявших Ленинградское шоссе, проскочил в расположение противника. Машину встретили два выстрела из противотанковой пушки в упор...

Газету было поручено подписывать мне: «За редактора политрук И. Стандюк»,— что я и делал почти до окончания боев под Москвой. Однако двадцатилетнему политруку не решились доверить газету «насовсем», а может, я и редактировал ее недостаточно качественно, и вскоре к нам на должность редактора прибыл батальонный комиссар А. Г. Кормщиков — настоящий газетный волк и очень хороший человек.

Когда завершилась Московская битва, 7-ю гвардейскую стрелковую дивизию перебросили на Северо-Западный фронт, где она участвовала в окружении Демянской группировки противника и в боях под Старой Руссой.

Немцы то и дело пытались вырваться из «мешка», нанося встречные удары из Демянска и Старой Руссы. В один из зимних дней их танки протаранили нашу оборону и устремились к деревне Ново-Рамушево, разделенной с деревней Рамушево рекой Ловать. В Ново-Рамушеве находились тылы 7-й гвардейской стрелковой дивизии и какие-то штабные отделы. Появление противника оказалось для нас полной неожиданностью. Защищаться было нечем, и началась паника: все кинулись в бегство по льду на другую сторону Ловати — на машинах, на санях, верхом на лошадях, а большинство пешедралом. Наша редакция и типография тоже устремились к Ловати, кроме одного грузовика — полуторки с рулонами газетной бумаги: куда-то запропастился шофер. И я по дурости решился сесть за руль, благо мотор машины недавно был прогрет. Вначале все у меня получалось: грузовик послушно шел по колее вслед за автобусом — наборным цехом. Но при съезде с высокого берега на лед я не удержал руля, неумело воспользовался тормозами, и машину развернуло поперек спуска. Пока выравнивал ее и ставил в колею, потерял время. А пулеметные очереди и пальба пушек немецких танков все приближались.

Противоположный берег Ловати тоже был высок и скользок. Поэтому на льду реки надо было набрать максимальную скорость. Прикинув расстояние до берега, я почувствовал, что не сумею взять подъем — где-то на его середине надо переключить скорость с четвертой на третью или даже вторую. Получится ли?.. Не получалось. На подъеме при неумелом переключении скорости мотор у меня глох и машина сползала на лед.

Пришлось давать задний ход, вновь набирать скорость... И так несколько раз. А три немецких танка, выйдя на берег, расстреливали из пулемета бегущих через Ловать и карабкавшихся на крутизну берега людей. Я слышал, как пули секли рулоны бумаги, ждал, что вот-вот будут продырявлены колеса. Выскакивать из кабины машины уже было поздно. И я решился последний раз попытать счастья. На середине подъема, когда переключал скорость, почувствовал, что машину толкнула вперед какая-то неведомая сила, мотор у меня не заглох... Решив, что меня толкнул танк, я, почти потеряв рассудок, нажал на газ и выбрался на противоположный берег. Панически мчал без остановки к деревне Кобылкино, затем к Черенчицам... А немецкие танки сойти на лед не решились.

В Черенчицах мы обнаружили, что в рулоны бумаги попали два снаряда-болванки и застряли в ней так, что пришлось кромсать бумагу пилой и топорами. Они-то, болванки, и вытолкнули машину на берег. Эпизод почти мюнхгаузенский, но свидетелями ему были многие и налицо — болванки.

Потом продолжались тяжкие бои в болотистых приильменских лесах. Весной 1942 года в распутицу передний край местами превратился в очаговую (не сплошную) линию фронта, что позволяло нашим разведчикам и «маршевым агентам» глубоко проникать в тылы фашистских войск, а немецким разведчикам — в наши тылы. Бойцы переднего края чувствовали себя неуютно. Особенно опасной стала работа связистов, посыльных, связных. Все были настороже.

В один из таких дней мне «дался в руки» сюжет для повести «Следопыты». Случилось это при обыденных обстоятельствах. В сопровождении автоматчика штабного подразделения шел я по лесу в один из батальонов полка. Автоматчик, молоденький солдат, на удивление, оказался очень разговорчивым Я сделал ему замечание, что, мол, идти надо тихо и быть наготове: из-за любого куста на нас могли навалиться немцы.

— А мне очень трудно молчать! — со смешком ответил солдат.— Наговориться хочется! До двенадцати лет я ведь был немым, а теперь без умолку болтаю...

Такое признание меня заинтересовало, и я уже сам попросил бойца объясниться подробнее.

— Ну, был немым — от рождения. Все слышал, по-

нимал, а заговорить не умел. Мог только свистеть,— стал рассказывать солдат.— А однажды, когда мне уже было двенадцать лет, забрались мы в чужой сад за яблоками. Я стоял на карауле, но хозяина сада прозевал. Все хлопцы удрали, а меня он поймал. И так выпорол ремнем!.. В слезах прибежал я домой и стал жаловаться маме, что избили меня ни за что. Заговорил вдруг! Немота исчезла!..

Когда парень возвращался из батальона в штаб полка, его захватили в плен немецкие разведчики. Об этом как-то стало известно сразу же. Была срочно перекрыта системой секретов линия фронта на участке полка и в поиски включилась полковая разведка, в которой служил один сибиряк-следопыт. Он сумел в лесной чащобе по только ему известным приметам обнаружить следы немцев и окружить их. Парнишку спасли...

9

Остро врезался в память и другой случай той голодной весны сорок второго. Собрав материал для газеты в полку, который держал оборону под районным центром Залучье, я стал искать возможность вернуться в редакцию на попутных машинах. Но удачи не было: мешала распутица, автотранспорт был парализован. До штаба дивизии, располагавшегося в полусожженной деревне Козлово, надо было добираться пешком, кажется километров двенадцать, а от штаба во второй эшелон дивизии — еще километров восемнадцать — двадцать (в деревню Сущево). И никакой гарантии, что в штабе найдут транспорт... Посмотрел на свою топографическую карту и крикнул, что от Залучья до Сущева напрямик через лесные топи намного ближе. Правда, смущало, что между лесом и Сущевом протекала Робская Робья — не широкая, но глубокая речка. Зато от нее до редакции было всего лишь метров триста. И решился: начертил на карте линию азимута, снял с предохранителя трофейные автомат, «парабеллум» и двинулся в путь. Знал бы, что ждет меня впереди, пошел бы дальней круговой дорогой: лес был почти непроходим и так заболочен, что местами пришлось брести по пояс в воде или болотной тине. Но главное в другом. Выбившись окончатель-

но из сил, я уже почти приблизился к Робской Робье, как вдруг натолкнулся в лесу на сбитый Ю-52 — немецкий транспортный самолет. Вначале испугался, полагая, что экипаж его жив. Но увидел в обломках мертвые тела, а из разломавшегося напополам самолета вывалились ящики и картонные коробки... Это были продукты... Десятки фашистских транспортников ежедневно снабжали ими воинство окруженной нашими войсками в районе Демянска 16-й немецкой армии фельдмаршала фон Буша. И наши зенитные части непрерывно охотились за «юнкерсами».

Я был настолько голоден, что тут же разбил о рваный край обшивки самолета банку с мясными консервами и буквально проглотил. Ел все подряд: галеты, шоколад, жесткую вяленую колбасу. Затем выбросил из сумки противогаз и набил ее продуктами — помнил, что ребята в редакции и типографии тоже сидят на голодном пайке.

Пометил на карте место нахождения самолета, чтоб доложить о нем по начальству, и уже в наступившей тьме поспешил к Робье. Но шел не долго: вдруг в моем животе будто взорвалась граната — почувствовал ужасную резь. Начало тошнить... К речке добрался с трудом и понял: она в таком моем состоянии непреодолима. А невдалеке за ней светились плохо замаскированные окна нашего типографского автобуса и был слышен треск движка, дававшего свет. Я решил привлечь к себе внимание и открыл стрельбу из автомата, благо его обоймы были заполнены трассирующими пулями. Но вызвал в редакции панику, и в мою сторону обрушился шквал ответного огня — автоматного и ружейного. Понял, что помощи не дождусь и, скрючившись, побрел вдоль берега влево — там, у села Старые Дегтяри, проходила дорога и был мосток через Робскую Робью и там же — тылы и медсанрота соседней танковой бригады.

Тяжкая была для меня эта ночь. Помню жгучий стыд перед девчонками — медсестрами роты, промывавшими мне желудок... Потом на рассвете в парусиновой палатке, где я отлеживался, появился редактор газеты А. Г. Кормщиков, за которым я послал в Сущево санитара, одарив его банкой трофейных консервов. Отдал Кормщикову сумку с продуктами и карту с обозначением места сбитого «юнкерса». Тогда дивизия из-за

распутицы голодала, и надо было немедленно известить о сбитом самолете наших снабженцев...

А днем, когда я отоспался и готов был убежать из медсанроты в редакцию, меня вдруг навестил старший лейтенант из особого отдела нашей 7-й гвардейской. Моего возраста, тощий, как и все мы в то время, он заговорил со мной начальственным тоном:

— Мне поручено снять с вас дознание...

Я опешил:

— Меня в чем-то обвиняют?

— Вами вчера обнаружен сбитый немецкий транспортник?

— Мной.

— Что вы изъяли из него?

— Взял немного жратвы — отдал сумку редактору газеты...— Я еще не знал, что пока Кормщиков посылал связного к начальнику тыла дивизии с запиской, в которой указывались координаты сбитого «юнкерса», у самолета уже побывали наши редакционные шофера и наборщики. Разумеется, чуток «пошерстили» трофеи.

— Часы у летчиков снимали?.. Может, авторучки, пистолеты?

Я ахнул про себя от досады, что упустил возможность обзавестись наручными часами, которых у меня не было, да и авторучка — мечта для фронтового газетчика...

Ответить мне было нечего, и я поступил самым неразумным образом: схватив с самодельной тумбочки графин со слабым раствором марганцовки, с яростью запустил им в старшего лейтенанта. Но он натренированно уклонился от удара и выскользнул из палатки. Потом все-таки пришлось мне подписать протокол, в котором отмечалось, что я оказал «физическое сопротивление» во время «производства дознания». Однако главный нагоняй от начальства получил батальонный комиссар Кормщиков, преждевременно разгласивший в редакции местонахождение сбитого «юнкерса» и не обеспечивший в полной мере сохранность трофейных продуктов. Мне же «досталось» позже и по другому поводу.

Филипп Яковлевич Тулинов, старше меня лет на десять, был моим задушевным собеседником. Однажды, когда в центральной печати появились очередные публикации о проблемах открытия нашими союзниками

«второго фронта», я, демонстрируя свои знания, почерпнутые в недавно оконченном военно-политическом училище, высказал Тулинову свою точку зрения на сей счет. Я сказал ему, что законы классовой борьбы подсказывают непреложную истину: даже в условиях угрозы фашизма порабощением всех стран мира империалисты Великобритании и США придут на помощь Советскому Союзу только в одной из трех ситуаций: первая — когда увидят, что Советский Союз стоит на грани гибели и близится черед Англии познать фашистскую агрессию; вторая — когда союзники начнут опасаться сепаратного мира между СССР и Германией; и третья — когда Красная Армия поставит фашистскую Германию на колени и начнет вторжение на ее территорию.

Тулинов некоторое время размышлял над моими словами, а затем с одобрением сказал:

— Логично мыслишь... Оказывается, ты неплохо политически подкован... Не ожидал. Философ!.. Только попридержи эту философию при себе. Не болтай. Сейчас мы пока ходим в потемках.

Но я возгордился. Еще никто так не хвалил меня и так серьезно не вникал в мои суждения, хотя они и не были лично моими, а слагались из прочитанного. И мне не терпелось еще и еще обнародовать свою «политическую образованность».

И «доигрался». Когда дорога между тылами дивизии и ее штабом малость подсохла, я подсел в грузовик, шедший в Козлово. В кузове на груде брезентов сидели уже знакомые мне старший лейтенант-особист и работник военной прокуратуры дивизии, в петлицах которого не было знаков различия. Старший лейтенант, кажется, не держал на меня зла, закурил вместе со мной, спросил, не обзавелся ли я часами. И черт меня дернул за язык ответить: «Часами будем обзаводиться, когда союзники откроют «второй фронт»... А откроют они его ни раньше, ни позже...» И я, пока в Пинаевых Горках шофер копался в моторе грузовика, эффектно и самоуверенно изложил свою «теорию».

По приезде в Козлово заспешил в политотдел к политруку Коновалову — читать политдонесения из частей дивизии, чтоб определиться, в каком полку вероятнее всего ждет меня интересный «материал» для газеты. Вскоре на столе Коновалова зазуммерил телефон. Сняв трубку, он что-то выслушал и коротко ответил: «Есть!»

Потом обратился ко мне: «Беги к начальнику политотдела. Вызывает!»

Аркадия Полякова я знал еще по боям под Ярцевом. Он тогда был старшим политруком, инструктором политотдела, мы обращались друг к другу на «ты», вместе ходили на передовую. На Северо-Западном фронте Поляков стал полковым комиссаром и начальником политотдела дивизии, и наши отношения обрели строго официальный характер.

В просторной землянке Полякова я увидел кроме него нашего политотдельца — полкового комиссара Д. К. Кравченко и... двух своих недавних попутчиков — работника прокуратуры и старшего лейтенанта из особого отдела. Сердце у меня дрогнуло, но я четко доложил, что явился согласно приказанию. В ответ — тягостное молчание. Его наконец нарушил Поляков:

— Сними снаряжение с оружием,— приказал он,— и положи на стол партбилет.

Не понимая, что происходит, я послушно разоружился, затем стал доставать из нагрудного кармана гимнастерки партбилет, но... его там не оказалось. Мелькнула страшная догадка: я потерял партбилет, его кто-то нашел и сейчас надо держать ответ. Ведь случалось в те времена, что кое-кто, опасаясь попасть в плен, умышленно избавлялся от партийных документов.

Я панически стал потрошить свои карманы, кинулся к полевой сумке, пристегнутой к снаряжению, лежавшему на столе. Но меня опередил старший лейтенант, стал ощупывать нагрудные карманы моей гимнастерки и... обнаружил партбилет: карман вместе с ним заломился вверх...

Я обрадованно вздохнул, не подумав, что инцидент еще не исчерпан. И тут услышал от Полякова:

— Тебе предъявляется обвинение в распространении пораженческих настроений... Расскажи-ка нам, что ты болтаешь о наших союзниках и о том, что они не откроют «второго фронта».

Я понял, что меня толкают на край пропасти: за распространение на фронте пораженческих слухов лишали воинского звания, исключали из партии и посылали в штрафную роту. Но, не чувствуя за собой вины, спокойно пересказал то, о чем говорил в машине по пути в Козлово, держа, однако, главные козыри в мыслях.

Мне было известно, что Поляков перед войной закончил Военно-политическую академию имени Ленина, и верилось, что он наверняка согласится с моими суждениями. Тишину в землянке никто не нарушал. И я взорвался, почти со слезами стал орать на всех:

— Вы что, политически неграмотные люди?! Не коммунисты?! Мне два года втолковывали в училище теорию марксизма-ленинизма!.. Вы не верите товарищу Сталину?! Я почти наизусть помню его «Краткий курс истории партии»!

И наобум, называя страницы учебника, стал «шпарить» цитатами, в которых звучали проблемы сосуществования двух миров — социализма и капитализма.

Все слушали меня в растерянности. Поляков, поразмыслив, приказал старшему лейтенанту принести «Краткий курс», а я, опасаясь, что пересолил с цитированием Сталина, переключился на работы Ленина «Государство и революция» и «Философские тетради», будучи уверенным, что этих-то трудов наверняка не найдется в штабе дивизии. Но не нашлось и «Краткого курса» — старший лейтенант вернулся с пустыми руками.

Поляков посмотрел на меня долгим, укоряющим взглядом, видимо, не решаясь — «казнить меня или миловать». Потом недовольно сказал:

— Выйди, философ, из землянки, покури... Позовем, когда понадобишься.

Я выскочил во двор сгоревшего дома и столкнулся с двумя автоматчиками — молодыми пареньками. Увидев меня без пояса, они тут же взяли оружие на изготовку, кося глазами на землянку, полагая, видимо, что сейчас кто-то выйдет оттуда и отдаст им распоряжение о конвоировании...

Меня бил озноб. Усевшись на обломок бревна, я достал папиросы, но спичку зажечь не мог — ломалась. Один из конвоиров дал мне прикурить от самодельной зажигалки. Выкурив одну папиросу, я взялся за другую, и в это время из землянки послышался зов Полякова:

— Стаднюк, заходи!

Вскочив в землянку, я увидел, что полковой комиссар Кравченко улыбался. Чуть отлегло у меня от сердца. Лицо же Полякова было строгим и непроницаемым.

— Ну, вот что, «философ»,— недовольно заговорил он, подняв голову.— Забирай свой партбилет, оружие и

занимайся тем, чем тебе положено. А будешь еще болтать...

— Не буду! — поспешно заверил я.

— То-то же! «Второй фронт» не нам с тобой открывать!

...Как, оказывается, мало надо, чтобы сделать человека счастливым. Ведь не чувствовал я за собой вины и никакого «пораженчества» в мыслях не держал. Более того, относился к категории тех самонадеянных, воспитанных на лозунгах и политических догмах молодых людей, которые даже в пору прорыва немецких войск к Москве были уверены в незыблемости Советской власти, а происшедшее на фронтах оценивали как случайность, временный недосмотр нашего командования или даже осмысленный стратегический замысел Сталина.

10

Покинув землянку полкового комиссара Полякова, я почувствовал себя будто заново родившимся. По дороге на Залучье, тоже подсохшей, машины днем не ходили (дорога просматривалась немцами и простреливалась насквозь), и я заспешил в батальоны, идя вдоль дороги по опушке леса. Но радость вскоре сменилась печальными размышлениями о том, что происшедшее со мной могло обернуться поиному... А сколько в жизни бывает подобных случаев, сколько ломается человеческих судеб по недоразумениям, злостным или глупым наветам. Но бывает вина непростительная...

На второй день, когда возвращался в Козлово с передовой, я столкнулся за шлагбаумом контрольно-пропускного пункта со своими «знакомцами», в руках которых вчера была моя судьба; это зрелище буквально парализовало меня. Я увидел, как два молодых автоматчика и старший лейтенант из особого отдела конвоировали «вчерашнего» прокурора (он был без ремня и оружия) к дому, в котором размещался военный трибунал дивизии. Что же случилось?

А случилось, как услышал я в политотделе от инструктора по информации политрука Коновалова, трагическое... На войне ведь всякое бывало: случаи трусости, дезертирства, паникерства, побеги к противнику, маро-

дерство, самострельство. Тех, кого уличали в преступлении, отдавали под суд военного трибунала. И вот в канун этого дня трибунал приговорил к смертной казни бойца, прострелившего себе руку. Смертная казнь приводилась в исполнение перед строем военнослужащих или без «свидетелей» — на рассвете, но обязательно в присутствии представителя прокуратуры. Сегодня же представитель прокуратуры из-за плохого самочувствия не смог присутствовать при исполнении приговора и поручил командиру комендантского взвода сделать это самостоятельно. Тот на рассвете спустился в землянку, где содержалось под арестом несколько человек, бывших под следствием, выкрикнул фамилию осужденного. Первым вскочил очумевший от сна боец — житель одной из наших среднеазиатских республик, плохо знавший русский язык. Его вывели из землянки и расстреляли. А потом выяснилась ошибка, за которую и несет сейчас ответственность представитель прокуратуры.

Рассказ Коновалова ошеломил меня. Подумалось: а если бы я оказался в той землянке, возможно, не случилось бы такой беды... Было очень жаль, что безвинно погиб красноармеец. А стоило ли жалеть прокурора?.. И его, конечно, жалко...

Но так и не узнал я, какой приговор вынес военный трибунал работнику прокуратуры. В политотделе меня ждали телеграмма о присвоении мне звания «батальонный комиссар» и приказ о назначении старшим литсотрудником информации газеты «Мужество» 27-й армии, которая формировалась заново по другую сторону Рамушевского коридора.

Покидать дивизионную газету очень не хотелось. Все полки 7-й гвардейской стрелковой дивизии стали для меня родными. Закрепились дружеские связи со многими людьми переднего края, работать было очень интересно, материалы для газеты буквально сами плыли в руки. Но приказов в армии не оспаривают. Да и убедился потом: верна мудрость народная — «что ни делается — всё к лучшему».

Прежде чем попасть в расположение 27-й армии, пришлось по лесному бездорожью пройти несколько сот километров к Осташкову, огибая озеро Селигер. Шли мы вместе с полковым комиссаром Кравченко Давидом Карповичем, бывшим до войны, как я узнал от него в

дороге, секретарем райкома партии в Белоруссии. Его назначили секретарем партийной комиссии 27-й армии. С нами была одна лошадка, несшая два наших «сидора» (вещмешка). Шли не без приключений — попадали в трясины, отстреливались из автоматов от шайки изголодавшихся дезертиров... Из Осташкова, отдав тыловикам лошадь, на попутных машинах приехали в Валдай, разыскали политуправление фронта. Там, к нашей радости, вручили нам первые боевые награды: мне — орден Красной Звезды, Кравченко — медаль «За отвагу».

В расположение 27-й армии под Старую Руссу добирались тоже на попутных машинах, но уже по знакомым нам дорогам: Ленинградское шоссе, за деревней Зайцево поворот влево на Лажины, Мануйлово... По этому маршруту в конце января 1941 года шла наша 7-я гвардейская дивизия в составе 1-го гвардейского стрелкового корпуса, сокрушившего оборону противника в направлении Рамушево — Залучье... Теперь же дивизия находилась там, откуда мы с Кравченко держали путь — по ту сторону Рамушевского коридора, который с тяжкими потерями продолбили немцы из Старой Руссы к своей окруженной в районе Демянска группировке. На мое место в «Ворошиловский залп», как я узнал позже, пришел Михаил Семенович Бубеннов, будущий известный писатель.

Редакцию газеты «Мужество» разыскал в лесу над Ловатью близ деревни Мануйлово, попав вначале в небольшое скопление машин с полиграфическим оборудованием, принадлежавшим редакции другой газеты — «Знамя Советов», 11-й армии. В лесу было малолюдно, и мое появление с вещмешком за спиной заметил человек среднего роста, улыбчивый и чуть губастый, с проницательным взглядом серых глаз. Одет он был в красноармейскую форму, с интендантскими петлицами, в которых, если не изменяет память, было по две зеленые «шпалы». Расспросив меня, кто я, откуда, «с чем меня едят» и почему здесь оказался, он тут же объяснил, что типография редакции газеты «Мужество» располагается рядом, за лесной дорогой, но людьми пока не укомплектована. Ее редактором назначен бывший заместитель редактора их газеты, старший батальонный комиссар Евгений Поповкин. Сейчас он у редактора «Знамени Советов», полкового комиссара Б. В. Фарбе-

рова, на «прощальном» обеде. Появляться мне там пока не полагается по законам субординации. Надо ждать Поповкина здесь. (Евгений Ефимович Поповкин после войны стал известным прозаиком, главным редактором журнала «Москва».)

— А пока давай сыграем в шахматы,— предложил мне незнакомец (потом выяснилось, что это известный белорусский поэт Аркадий Александрович Кулешов).

Я заколебался.

— Что, не умеешь?

— Чуток умею... Однажды выиграл у чемпиона Белоруссии Вересова.

Кулешова будто ужалили. Он резко повернулся ко мне всем телом и посмотрел так, будто я сморозил невероятную глупость.

— С Гавриилом Вересовым? — с недоверием прозвучал вопрос.

— Да, с Гавриилом Николаевичем.

— Где ты мог с ним встречаться?

— Работали вместе в седьмой гвардейской дивизии.— И я обстоятельно рассказал все, что знал о Вересове.

— Значит, жив курилка! — обрадованно заключил Кулешов.— В Минске мы сражались с ним до посинения. Выиграть у него не так просто...

Через минуту мы сидели на расстеленной плащ-палатке и расставляли на шахматной доске фигуры. При розыгрыше первого хода Кулешову выпало играть белыми. А мне было все равно, кому начинать игру, ибо я так и не научился даже простейшим комбинациям, малейшему рассчитыванию ходов. И стал двигать фигуры, старательно копируя ходы Кулешова: сдвинет он пешку, я двигаю соответственно свою, возьмется он за коня, и я готов поставить своего коня так же.

К нам подошел один «болельщик» — высокий, с рыжей шевелюрой; на небритых щеках пробивалась рыжая щетина. Выделялся он еще длинным носом и почти бесцветными веками (это был московский поэт Игорь Чекин). Понаблюдав за нашей игрой, он со смешком спросил:

— У вас турнир или дуракаваляние?

— У товарища особая манера игры, нестандартная,— серьезно ответил Кулешов.

Сделав еще несколько ходов, он кинул на меня ост-

рый, озабоченный взгляд и надолго задумался, не отрывая глаз от шахматной доски. Я тоже напряженно пялил глаза на фигуры, не понимая, что озадачило моего партнера. Чекину надоела эта затянувшаяся пауза, и он куда-то исчез, а Кулешов, сокрушенно покачав головой, вдруг сказал мне:

— Хитер, комиссар! Видна выучка Вересова. Ладно, давай сойдемся на ничьей и начнем новую партию.

Я обалдел до того, что казалось, лес надо мной качнулся: никак не мог понять, почему Кулешов прекращает игру. Потом меня начал душить дурной смех, но я многозначительно молчал, не выдавая своего непонимания ситуации на шахматной доске. Кулешов воспринял мое молчание как отказ от ничьей и наконец сказал:

— Ладно, сдаюсь,— и начал заново расставлять фигуры.

Вот тут я и допустил непростительную ошибку, согласившись продолжать игру. Кулешов был шахматистом высшего класса, и то ли нарочно проиграл мне эту партию, то ли случайно сделал какой-то опрометчивый ход, который при понимании законов игры лишал его шансов на выигрыш. Но с моей стороны ничто не грозило моему партнеру. Это он понял уже при второй партии, сделав мне мат в несколько ходов. Потом мы играли «вслепую»: Кулешов, улегшись на спину, не смотрел на шахматную доску, диктовал мне свои ходы, я ему называл ответные и... неизменно проигрывал.

— Как же с тобой мог играть сам Вересов?

— Он тренировался на мне...

С Аркадием Кулешовым на фронте я больше не встречался. Судьба вновь свела и крепко сдружила нас только после войны, когда в пятидесятых — шестидесятых годах он был главным редактором киностудии «Беларусьфильм», где тогда экранизировалась моя повесть «Человек не сдается», и Аркадий курировал фильм как его редактор. К этому времени класс моей игры в шахматы заметно поднялся, у нас было с ним много поединков, но, увы, ни одной победы в них я не одержал.

Из глубины леса к нам подошли полковой комиссар Фарберов и старший батальонный комиссар Поповкин — о том, что это были именно они, я догадался сразу. Оба с раскрасневшимися лицами, в новеньком, не обмятом обмундировании, затянутые в лоснящиеся, будто наво-

щенные, ремни с портупеями. Фарберов — небольшого роста, подтянутый; жестикулируя обеими руками, он, кажется, давал Поповкину какие-то напутствия. Поповкин — грузноватый, с чуть заметным брюшком под гимнастеркой, немножко курносый. Он широко улыбался толстоватыми губами, его темные маслянистые глаза тоже светились улыбкой. Я почувствовал в нем доброго и веселого человека.

Мы с Кулешовым уже стояли «в струнку», а я еще и «ел» начальство глазами. Когда оно приблизилось, я шагнул навстречу и лихо продемонстрировал свои знания уставных правил. Вначале обратился к Фарберову, вскинув правую руку к козырьку фуражки:

— Товарищ полковой комиссар, разрешите обратиться к старшему батальонному комиссару Поповкину!

— Обращайтесь...

— Товарищ старший батальонный комиссар!.. Гвардии батальонный комиссар Стаднюк прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы на должности старшего литсотрудника группы информации газеты «Мужество»!

Улыбка с лица Поповкина не сходила. Кажется, он больше смотрел на мой новенький орден и нашивки о трех ранениях, чем мне в лицо. Пожав руку, сказал:

— Ну, что ж, нас уже двое в редакции. Пойдем знакомиться и решать, как начнем выпускать газету. Приказано не медлить.

Мы ушли с Поповкиным за лесную дорогу, где стояло несколько машин с полиграфическим оборудованием для газеты «Мужество». До сих пор не знаю, откуда они взялись и кто потом успел так быстро укомплектовать типографию специалистами. Улеглись на траве, закурили.

— Какое образование? — это был первый обращенный ко мне вопрос.

— Десятилетка, чуток института журналистики, полковая артиллерийская школа и военно-политическое училище,— ответил я, как на экзамене.

— На фронте давно?

Я начал рассказывать, стараясь не выглядеть хвастуном, но и давая понять, что побывал в таких переплетах, из которых выбрался чудом.

— За что получил орден?

— Не знаю, наградного листа не читал,— я говорил

правду.— Думаю, за то, что уцелел в приграничных боях... А вот еще награда,— и достал из полевой сумки свою фотографию под боевым знаменем 7-й гвардейской стрелковой дивизии.— А вот вырезка очерка из газеты «Красный гвардеец» первого гвардейского стрелкового корпуса (от 11 мая 1942 года). В нем корреспондент газеты капитан Елизаров (погиб на Северо-Западном фронте в том же 1942 году), не без явных преувеличений, повествовал о «моих подвигах» на переднем крае при сборе материалов для дивизионной газеты.

Поповкин внимательно читал очерк, и я чувствовал, как возвеличивался в его представлении мой «молодецкий облик». Внутренне ликуя, не догадывался, что скоро грядет позорный провал моего авторитета...

11

Через несколько дней мы выпускали первый номер армейской газеты «Мужество». Я дежурил по номеру — отвечал за его соответствие подписанному редактором в печать. На первой полосе публиковался Указ о присвоении звания Героя Советского Союза кому-то из разведчиков нашего фронта. Указ как указ. Подписанный М. И. Калининым и секретарем Президиума Чадаевым. На этой фамилии я и споткнулся. Почему, собственно, «Чадаев»? — мелькнуло у меня сомнение. Ведь есть фамилия Чаадаев, с двумя «а». Ее носил друг Пушкина — Петр Яковлевич, знаменитый публицист XIX века, участник войны 1812 года, декабрист... И я, довольный своими познаниями, решительно исправил фамилию на «Чаадаев», проследив, чтобы метранпаж сделал поправку.

К утру газета была напечатана, отправлена на полевую почту, а потом над моей головой разразилась гроза: Поповкин то рыдал, то хохотал до слез. Ждал вызова к начальству и ругал меня последними словами.

К счастью, на ошибку никто не обратил внимания, но я потерял доверие редактора и длительное время был у него в немилости.

Редакция наша пополнялась новыми работниками. В ней, правда, в разное время и разную продолжительность времени, работали будущие писатели Сергей Сергеевич Смирнов, Семен Глуховский, Анвер Бикчентаев,

Вениамин Горячих, Юрий Смирнов, украинский поэт Давид Каневский и белорусский критик Алесь Кучар. Все они имели высшее литературное образование, опыт журналистской работы, и я чувствовал себя среди них жалким провинциалом, неумехой. Но все же старался держаться уверенно, понимая, что есть у меня и некоторые преимущества — моложе всех и выше в воинском звании, наличие военного образования и боевого опыта, о чем свидетельствовали три нашивки о ранениях. И орденоносцем был я пока единственным в редакции, да еще гвардейцем. Объективности ради скажу, что «боевые» материалы давались мне легче, нежели профессиональным литераторам. Что же касается их языка, стиля, формы, эмоциональных нагрузок, то мне надо было многому учиться у своих коллег, что я и делал неутомимо. Помню, с какой тщательностью простивший потом меня Евгений Поповкин редактировал мой рассказ «Сын», печатавшийся с продолжением в нескольких номерах «Мужества». После войны этот рассказ лег в основу повести «Это не забудется». Давид Каневский учил соблюдать чувство меры в использовании украинизмов в русской прозе, объяснял с присущей ему деликатностью элементарные, как мне сейчас ясно, законы создания художественного образа, характера, учил подбору деталей, придающих объемность повествованию. У Анвера Бикчентаева, мастера ярких новеллистических зарисовок, учился сюжетным построениям. А Семен Глуховский был моим постоянным советчиком по всем проблемам, связанным с профессией журналиста.

Поскольку я занимал в «Мужестве» должность старшего литсотрудника группы информации, мне полагалось находиться не в редакции, а в первом эшелоне штаба армии — поближе к оперативному и разведывательному отделам, которые ориентировали меня и корреспондентов фронтовой газеты «За Родину» (вначале Марка Гроссмана, а затем Абрама Розена), в какую дивизию в каждый конкретный день устремляться нам за материалами для своих газет. Имелась у меня в первом эшелоне землянка, именовавшаяся корреспондентским пунктом армии. В нем находили прибежище редкие гости из Москвы — писатели, художники, кинооператоры. Запомнились там встречи и беседы с «живыми» именитыми художниками слова Евгением Габриловичем, Кузьмой Горбуновым, Михаилом Матусовским, киноопе-

раторами Головней и Рубановичем. Не раз ночевал в этой землянке и Лев Копелев, ведавший в политуправлении фронта контрпропагандой.

Для меня, молодого журналиста, это была пора неистребимой жажды печататься. А «площадь» армейской газеты маленькая. Поэтому «самочинно» посылал корреспонденции о боевых событиях в полосе 27-й армии во фронтовую газету «За Родину», в «Комсомольскую правду», «Военное обучение». Последние две газеты утвердили меня своим внештатным корреспондентом и прислали удостоверения, которые я храню до сих пор. Удостоверения центральных газет давали мне право пользоваться военным телеграфом любого штаба, и, забегая вперед, скажу, что это позволило мне первым сообщить в редакцию «Правды» о трагедии Бабьего Яра, которая стала известна мне, Семену Глуховскому и Давиду Каневскому на второй день после освобождения Киева. Газета «Мужество» первой опубликовала мою статью об этой страшной трагедии.

Но вернусь на Северо-Западный фронт, в гиблые заболоченные приильменские леса, а зимой — в метровые снежные толщи... Наша 27-я армия занимала фронт протяженностью в сто двадцать шесть километров — по восточному берегу озера Ильмень до реки Ловать в районе села Рамушево. Много там пролилось крови — с пользой и без пользы. Иногда, когда воюющие стороны, не решив своих задач, обоюдно выдыхались, на передовой наступало затишье. Искать «боевой» материал становилось трудно, а редакция непрерывно требовала «горючего». Приходилось что-то изобретать. Так, помнится, в феврале 1943 года ввалился я в землянку командира армейского 642-го авиационного полка ночных бомбардировщиков По-2 майора Н. П. Карасева и попросил у него разрешения полетать в качестве штурмана в тыл к немцам на бомбежку. Карасев потребовал согласия на это начальника политотдела армии полковника С. Д. Хвалея... Согласие было получено, и я стал летать вначале с лейтенантом Гусевым Николаем Андреевичем, а потом с младшим лейтенантом Головкиным Александром Ивановичем. Моя задача была проще простого: наблюдать за воздухом, а над целью по команде летчика дергать шарики, соединенные тросами с держателями бомб. Делали мы налеты на немецкие воинские эшелоны на станциях Тулебля, Шимск, бом-

8 Зак. 1387

били огневые позиции немецких минометных батарей. А когда, возвращаясь на аэродром, перелетали полосу фронта и оказывались над Ловатью в районе известного «северозападникам» фанерного завода, я просил Гусева «покатать» меня... У обоих была ума палата... Гусев, бравируя перед корреспондентом, начинал бросать самолет в крутое пике, делать «горки», крутые виражи, пока я не взмолился, что больше ен выдерживаю. Но главным было другое: в нашей газете на некоторое время утвердилась громко звучавшая рубрика «На ночном бомбардировщике» (первая публикация — 26 февраля 1943 года).

Привожу образчики моих былых писаний:

«Ночь выдалась ясная. Луна высоко поднялась в звездное небо, и под ее лучами снег сверкает мириадами искр. На белое поле аэродрома выруливают груженные бомбами самолеты.

В кабину машины, в которой я сегодня выполняю роль штурмана, садится младший лейтенант Николай Гусев... Взревел мотор. Через минуту самолет в воздухе. При лунном свете даже с большой высоты земля видна ясно. По дороге бегут автомашины, змейкой извивается небольшая речушка.

Сделав круг над аэродромом, самолет ложится на курс.

— Истребитель противника справа! — слышится в трубке голос Гусева.

Внимательно всматриваюсь в звездное небо, но ничего не вижу.

«Пугает»,— решил я. В этот миг на землю посыпались трассирующие пули — стервятник обстреливал дорогу. Было видно, как наши беспечные шоферы быстро тушили зажженные фары.

Впереди местность затемнения — там притаился враг.

— Под нами линия фронта,— поясняет Гусев.

Хорошо видны красные вспышки стреляющих минометов и пушек. Трассирующие снаряды медленно описывают дугу и скрываются в лесу, их взрывов не видно. Фашисты часто бросают ракеты — белые, красные... Когда горящая ракета падает на землю, снег под ней озаряется сыпучим блеском. Светлые линии трассирующих пуль устремляются в небо, на высоте они теряют свой строй, будто сбиваясь в стайки, и, ярко вспыхивая, тухнут.

Слева замечаю самолет. По силуэту угадываю — вражеский. Докладываю Гусеву. Летчик спокойно поворачивает голову и всматривается. Немецкий самолет дает сигнал бортовыми красными огнями и идет к земле. Ему отвечают с земли серией ракет. Вскоре блеснул красный огонь на фюзеляже второго стервятника... Ясно — здесь немецкий аэродром. Хорошо бы кинуть на него «гостинцы», но у нас другое задание.

Далеко в стороне темнеет Старая Русса. Он нее по разным направлениям бегут дороги. Одна из них — под нами. Изредка по ней идут автомашины, бросая впереди себя тонкие, еле заметные полоски синего света. Видны с воздуха и те, которые движутся вслепую,— совершенно затемненные.

Железная дорога видится как тонкая ровная линия.

— Станция Тулебля! — кричит в трубку Гусев и указывает пальцем.

Вижу ровные квадратики построек, образующих один большой прямоугольник. Здесь фашисты сосредоточили склады с военным имуществом, продовольствием, боеприпасами и горючим. Известно, что станция прикрыта многочисленными противовоздушными средствами, и нашим самолетам приходится преодолевать плотную пелену огня зениток, пулеметов, встречаться с ночными истребителями противника.

Младший лейтенант Гусев обходит цель далеко слева н, приглушив мотор, планирует на нее. В стороне проносятся прерывчатые нити трассирующих пуль. Это фашисты бьют по другим, уже отбомбившимся, самолетам. Нашей машины они еще не обнаружили.

— Приготовиться, приготовиться! — сдерживая волнение, командует мне летчик.

Самолет, планируя на цель, все ниже над ней.

— Бросай! — слышится в трубке нетерпеливый голос.

Дергаю рычаги. Две стокилограммовые бомбы ныряют из-под крыльев вниз. Перегнувшись за борт, вижу, как они, все уменьшаясь, несутся к земле.

Гусев умело уводит машину в сторону, дает мотору полный газ, и самолет взмывает вверх. Высунувшись из кабины, смотрю на темные квадратики станции. Ничего не видно...

Вдруг яркие вспышки взрывов озарили станционные постройки. Клубы черного дыма бросают на снег резкую, кажется живую, тень.

Блеснули прожекторы, их гигантские мечи нервно заметались по небу, но самолет уже недосягаем: зенитные снаряды рвутся где-то высоко над нами, а снопы трассирующих пуль, выпущенных из крупнокалиберных пулеметов, проносятся в стороне.

Пролетаем над захваченной врагом территорией, минуем линию фронта и благополучно садимся на свой аэродром.

К машине подбегают техники, осматривают ее, подвешивают новые бомбы, и мы снова уходим на боевое задание.

Так каждую ночь летчики авиационного полка майора Карасева наносят врагу ощутимые бомбовые удары, разрушают его технику, взрывают склады, уничтожают живую силу...»

«Сегодня младший лейтенант Головкин Александр Иванович совершает 316-й боевой вылет.

Светлая, лунная ночь позволяет нам хорошо рассматривать покрытую снегом землю. На фронте оживление. Там и здесь вспыхивают залпы орудий и минометов, описывая кривую, проносятся трассирующие снаряды. В небо устремляются сотни пуль.

Впечатляющую картину представляют собой залпы наших минометных батарей. Свет разрывов их снарядов покрывает большие площади, бросая кровавый отблеск в небо.

Под нами линия фронта. На белом фоне снега резкими контурами выделяются проволочные заграждения первой и второй линий немецкой обороны. На опушке небольшой рощи сверкают вспышки фашистской минометной батареи. Головкин заходит на цель и дает мне команду бросать бомбы.

Дергаю за рычаги, самолет чувствительно вздрагивает, и десятки мелких бомб устремляются вниз.

Машина делает крутой поворот и уходит в сторону. Место на земле, откуда только что стреляла немецкая минометная батарея, покрыто многочисленными вспышками—разрывами наших бомб.

В это время по самолету открывает огонь немецкая зенитка. Снаряды тусклыми вспышками рвутся вверху. Головкин делает круг, внимательно высматривает новые цели...»

12

Фронтовые дороги разлучили нас с Гусевым и Головкиным. По слухам, я считал их погибшими. Но иногда создаются в жизни ситуации совершенно непредвиденные и неправдоподобные. В канун 40-летия нашей Победы меня попросили из «Литературной газеты» написать что-либо о себе в полосу, посвященную фронтовым журналистам. Перебрав в памяти все, что со мной случалось на войне, я не вспомнил никаких особых своих личных подвигов и написал заметку о ночных полетах в тыл немцев на Северо-Западном фронте. Вскоре мне принесли для визирования гранку (я тогда работал секретарем Московской писательской организации). И когда я у себя в кабинете вычитывал столбик типографского набора, на моем столе зазвонил телефон.

— Иван Фотиевич? — услышал я незнакомый голос.

— Да.

— Это говорит Гусев Николай Андреевич!

Я стал вспоминать писателей, носящих фамилию Гусев, но Николая Андреевича, увы, вспомнить не мог.

— Простите, это кто из Гусевых?

— Не помните? На Северо-Западном я возил вас в тыл к немцам!

Я онемел: передо мной на столе лежала гранка с описанием тех полетов. Подумалось, что, наверное, кто-то из друзей моих прочитал ее в редакции «Литературки» раньше меня и разыгрывает... Или подленько проверяет, не нахвастался ли Стаднюк. Ведь давно известно, что никогда столько не врут, как после войны. Но кто же это? Вспомнил «полосу писательских розыгрышей» пятидесятых годов, когда однажды меня «возвели» в ранг лауреата Нобелевской премии (но об этом позже).

— Если вы тот самый Гусев, то скажите, что мы делали, когда перелетали Ловать?

— Вы просили «покатать», и над фанерным заводом я вытряхивал из вас душу!

— Как нашли меня?

— Прочитал в «Правде» вашу статью к сорокалетию Смоленского сражения, позвонил туда, спросил ваш телефон...

Поразительно!.. Оказалось, что живет Николай Андреевич Гусев в городе Дзержинском близ Москвы; теперь

мы часто с ним встречаемся, снимались вместе на телевидении (в программе «Ты помнишь, товарищ?») и даже ездим на рыбалку на его «Жигулях».

Четыре года пребывания в действующей армии дают возможность почти каждому фронтовику, особенно военному корреспонденту, воскрешая в памяти лично виденное и пережитое, написать объемную книгу, если к этому есть желание. У меня оно родилось еще на фронте, ибо впечатления накапливались стремительно. К сожалению, нам строго запрещалось вести дневниковые записи. Но я надеялся на свою память и уже в конце 1945 года засел за работу. Однако первый, скороспелый вариант повести «Человек не сдается» в полной мере не получился ни документальным, ни художественным, о чем речь впереди. Ведь предстояло еще продолжить образование, уяснить для себя истинную сущность художественного творчества, осмыслить войну в историко-социальных, политических и дипломатических аспектах, понять ее законы, выйдя за межи личностного миропонимания. И если быть откровенным, даже для книги об «окопной» войне с ее солдатскими тяготами недостаточно только собственных впечатлений и переживаний, хотя без них достоверная книга вообще не может получиться. Произведение о войне с изображением поэшелонного ее течения от (Ставки Верховного Главнокомандования до переднего края включительно) тоже должно в значительной мере опираться на постигнутый опыт и личные восприятия происходившего на фронте. Более того: даже «собственное видение» войны, как уяснил я со временем, должно содержать понимание того, что все происходившее и происходящее в мире пребывает в тесной взаимосвязи, словно линзы бинокля; нельзя не задумываться над тем, что современность несет в себе будущность (какую?). И отсюда следует: надо понимать современность, исходя из знаний — откуда она пришла, где ее истоки и причины пульсации их родников, то есть надо знать историю.

13

Когда проникаешь мыслью в глубь того, что содержится в читательских письмах, когда соизмеряешь свои, легшие в роман, замыслы с теми чувствами, которые они вызвали у читателей, и

начинаешь ощущать единство своего видения и оценок прошлого с видением и оценками читателей — это ли не самая большая награда для писателя! Мне особенно дороги те строки, в которых бывшие фронтовики, определяя отношение к роману «Война», вспоминают свои военные дороги и своих фронтовых побратимов. А разве не вздрогнет сердце при мысли, что, может быть, написанное о войне (не только мной, а и моими коллегами) побудит молодых читателей пристальнее всмотреться в героическую сложность и трагичность тех будто бы и далеких, а для нас, фронтовиков, всегда близких лет, заставит глубже задуматься над величием советского человека, который во имя будущих поколений (уже пришедших в сегодняшнюю жизнь) без колебаний решался на полное самоотречение. Ведь стоит только напомнить иному читателю, что в годы войны были, прямо скажем, иные мерки жизни, иные оценки достоинств человека как воина или труженика, что было иное суждение о человеческих радостях, горестях и в целом — о человеческом счастье, стоит начинающим жизнь юноше или девушке задуматься над этим, как воспламеняется великая очистительная сила — их совесть — и начинает быть строгим судьей, взыскательным наставником и надежным врачевателем.

Но это лишь один из многих аспектов, которые, может даже подсознательно, тревожат писателей военной темы, когда они садятся за свою очередную книгу. Главное же, смею заметить по собственному опыту, гнетет забота, как выстроить и наполнить повествование большой правдой жизни, судеб и характеров, чтобы книга привнесла что-то новое, важное, хоть в какой-то мере обогащающее уже существующую литературу о Великой Отечественной войне. И, разумеется, всегда тревожит мысль, чтобы написанное тобой вплелось, пусть маленькой веточкой, в вечно живой венок народной памяти на надгробии погибших героев, коих миллионы...

Сейчас, конечно, легко из звучных слов слагать цветистые фразы. А вот тем людям, которые первыми испытали страшную сумятицу чувств, вызванных внезапным нападением врага, было очень нелегко. Я говорю об этом с пониманием всей трагичности сложившейся в приграничных районах ситуации, потому что в ту пору сам находился там. Как развертывались приграничные

ные сражения, сейчас хорошо известно по документам, учебникам, мемуарным и художественным произведениям. Но тогда, в июне 1941 года, даже для тех, кто руководил первыми сражениями, многое было неясно, не говоря уже о нас, рядовых и командирах начальных звеньев. Каждому из нас тогда казалось, что ты находишься на самом трудном участке, в центре событий, и всех нас не покидала мысль: остановить врага, выстоять, а если погибнуть, то успеть бы прежде узнать, что происходит...

Погибли многие тысячи, так ничего и не узнав. Многие, умирая, полагали, что началась не война, а вооруженная пограничная провокация. И вышестоящим штабам, вплоть до Генерального штаба, в первые дни войны, видимо, очень трудно было оценивать обстановку, хотя бы и потому, что заброшенные в наши прифронтовые тылы переодетые в форму командиров Красной Армии, милицейских работников и в иные одеяния немецкие диверсанты разрушали линии связи, применяя изуверскую хитрость, истребляли на дорогах наших так называемых в то время делегатов связи.

Казалось, гитлеровские дивизии смогли с ходу сломить сопротивление наших войск и торжественным маршем устремиться в глубь советской территории.

Адольф Гитлер на это, между прочим, и рассчитывал.

За три дня до нападения Германии на СССР, 19 июня 1941 года, германское верховное главнокомандование поторопилось издать директиву № 32, в которой излагались задачи гитлеровских войск после победы над Советским Союзом. Вот их суть: завоевание Средиземного моря, Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока при одновременном возобновлении «осады Англии». Вслед за этим нацистскому руководству казалось возможным порабощение Индии и перенесение боевых действий на территорию США.

Первые успехи немецко-фашистских войск, их выход в южные районы Эстонии, к Пскову, на рубеж среднего течения Северной Двины и Днепра, были расценены гитлеровским руководством как полный выигрыш войны против Советского Союза.

Вот что заявил 4 июля 1941 года Гитлер на совещании в ставке: «Я все время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже про-

играл. Хорошо, что мы разгромили танковые и военно-воздушные силы русских в самом начале. Русские не смогут их больше восстановить».

Это, повторяю, было сказано Гитлером 4 июля 1941 года.

Так что же случилось в наших приграничных областях? Кто сдержал гитлеровские армии, дав возможность нашему командованию подтянуть силы из глубины страны? Ведь действительно наши войска прикрытия оказались в отчаянном положении из-за нарушения снабжения боеприпасами, горючим, при полном господстве немцев в воздухе.

Если ответить на эти вопросы краткой общей формулой, то надо повторить известную истину, что на вооружении войск прикрытия Красной Армии оказалось в полной боевой готовности такое оружие, как ВЕРА в наши идеалы, как ВЕРНОСТЬ своей Родине и Коммунистической партии. И это не просто красивые слова, это реальные понятия, ибо со словами любви к Родине, партии наши полки шли в штыковые атаки и эти слова многих тысяч бойцов были последними в их жизни...

А если эту общую формулу развернуть картинно, то надо обстоятельно рассказывать, как все было. И многие писатели уже рассказывали — одни с большей мерой достоверности, другие с меньшей.

При всем этом нельзя забывать, что роман или повесть — не коробка с игрушками, в которую можно бросать без разбора всё, вспыхивающее в памяти. Великая Отечественная война для многих из нас равна целой жизни, очень богатой трагическими событиями, потрясениями, случаями, происшествиями. Не все из них годится для художественного произведения, ибо не все может «работать» на творческий замысел и стройность композиции. Ну, а если каждое отдельно взятое событие несет в себе важные черты времени, является ярким осколком кровавой панорамы войны или этапным моментом твоей биографии? Замечу, что только с 27-й армией, в редакции газеты «Мужество», я прошел с июня 1942 года путь: Старая Русса, Орел, Курск, Ахтырка, Киев, Корсунь-Шевченковский, Бухарест, Будапешт, Балатон, юг Словакии, север Югославии, Вена, Грац... Сколько же видели мои глаза и что испытало сердце! Если даже учитывать, что в закромах памяти многое не удержалось, все равно есть чему будоражить

чувства, воспламенять творческое воображение, мысленно перекидывать мостки из прошлого в сегодняшний день. Читатель может обратить внимание на то, что некоторые эпизоды, о которых я здесь вспоминаю, явились основой отдельных глав из моих военных романов. Они, эти эпизоды, в большинстве относятся к 1941 году. Впереди — целая война. Хотелось бы довести героев своих книг до Победы. Но такая мечта несбыточна: для работы нужно еще не одно десятилетие. Поэтому я и решился, в ряду с главной задачей, успеть написать эту фрагментарную, в своем роде исповедальную книжицу, чтобы, пусть бегло, пройтись в ней по военным путям-дорогам, трудным послевоенным годам, достигнуть сегодняшних дней, связав все, в меру возможного, чему посвятил жизнь.

В романе «Меч над Москвой» столкнулись судьбы моих литературных героев Алеся Христича, Миши Иванюты и Ирины Чумаковой. В главах о них придумана только «орнаментовка», обогащены и смещены во времени обстоятельства — в целях усиления драматургии романа. Все было проще и сложнее, повлиявшее и на мою личную судьбу. Судилось мне, видимо, после службы в армии жить на Украине, стать украинским писателем или журналистом. Однако тот же господин Случай вторгся в естественные, казалось, предназначения...

14

Произошло это снежной осенью 1942 года. В штабе армии не получил я никакой оперативной информации и не знал, в какую часть лучше держать путь. В разведывательном и оперативном отделах штаба встретили меня нелюбезно — все были заняты какой-то срочной работой, о которой газетчикам знать не полагалось. Заместитель начальника оперативного отдела майор В. А. Игнатенко (ныне генерал-майор в отставке) так мне и заявил об этом.

Раздосадованный, я решился идти к командующему армией генерал-лейтенанту Трофименко. Несколько раз он меня уже принимал, давал толковые разъяснения, но я по своей наивности тогда не предполагал, что мне просто везло: у командующего как раз были свободные минуты, да и озадачивала его моя самоуверенность,

граничившая с нахальством. Я действительно чувствовал себя в штабе армии на особом положении, как представитель печати, и считал, что могу беспокоить своими вопросами кого хочу. (В этом, возможно, был виноват первый наш командарм, генерал-майор Ф. П. Озеров, охотно беседовавший с газетчиками.) И очень уж нравилось мне представляться:

— Товарищ генерал-лейтенант! Беспокоит начальник корреспондентского пункта армии...— И называл свое звание и фамилию.— Мне поручено получить от вас информацию об оперативной обстановке...

Трофименко столбенел при моих появлениях, какое-то время отмалчивался (я полагал, что он мысленно отбирает для меня нужную информацию и, как бы между прочим, напоминал о «Комсомольской правде» и «Военном обучении», куда я тоже писал. А позже понял, что он колебался, выгонять меня сразу или перетерпеть мою неучтивость). Когда я потом докладывал Поповкину, что был «на приеме» у командующего, Поповкина трясло как в лихорадке: он, редактор газеты, никогда не позволял себе такой дерзости! Выше начальника политотдела полковника Хвалея для него никого не существовало в армии. Да и без разрешения Хвалея он не решался обращаться к командарму. А мне сходило с рук.

Вот и в тот день «пробился» я в «апартаменты» генерала Трофименко, облицованные изнутри фанерой. Он, не дослушав моего трафаретного представления, сердито перебил меня, сказав, что у него есть дела поважнее, и приказал убираться вон. Оскорбленный, я выскочил из кабинета командующего и в приемной столкнулся с полковником Шатиловым Василием Митрофановичем, командиром 182-й стрелковой дивизии нашей армии (в 1945 году его 155-я стрелковая дивизия будет штурмовать в Берлине рейхстаг). Я бывал в 182-й дивизии, знал Шатилова в лицо, но лично знаком с ним не был. Трясущимися руками прятал я в полевую сумку блокнот и на его вопрос: «Что случилось?» — пожаловался: «Командующий, когда его беспокоят корреспонденты «Правды» или «Красной звезды», готов с ними по целым ночам чаи гонять, а своему газетчику не смей к нему ногой ступить...» (Этот случай В. М. Шатилов, уже генерал-полковник в отставке, опишет в 80-х годах в своей книге «А до Берлина было так далеко»,

страницы 223—224.) Выслушав меня, Шатилов посоветовал направиться в его дивизию, назвал номер полка и сказал, что вчера там было горячо...

Добравшись на попутных машинах до штаба названного мне полка, я направился на передовую. Шел по лесной тропинке, проложенной в снежной толще связистами. Кроны деревьев, покрытые кристаллами изморози, сказочно сверкали, роняя на землю искрящиеся пылинки. Белое убранство леса постепенно тускнело, ветки все больше обнажались, а снег под деревьями чернел закопченными воронками. Было ясно, что недавно здесь был сильный минометно-артиллерийский обстрел: немцы охотились за нашей кочующей минометной батареей, огневую позицию которой я старался разыскать. Там у меня был надежный корреспондент «Мужества», командир расчета сержант Артюхов.

Тропинка точно вывела на обширную поляну, где выстроились на приличном расстоянии друг от друга четыре миномета из полкового дивизиона. На передовой было затишье. Чуть в тылу от минометов, где виднелись ящики с минами и пустая «тара», увидел столпившихся бойцов и сержантов. Подошел к ним и увидел, что сержант Артюхов сидит на ящике и что-то пишет по подсказкам окруживших его минометчиков.

— Что сочиняем? — спросил я.— Письмо запорожских казаков турецкому султану, именуемому Гитлером?

Артюхов, узнав меня, вскочил, но лицо его не засветилось, как обычно, приветливостью.

— Тут сложная история, товарищ батальонный комиссар,— сказал он, когда мы пожали друг другу руки.

Дальнейших его слов не помню, но рассказ сержанта, к которому активно подключились и другие минометчики, сводился к следующему: в одном из ящиков с минами бойцы обнаружили записку от московских девушек, изготовлявших мины; это было краткое патриотическое письмецо. В нем девушки призывали фронтовиков бить фашистов, не жалея мин, и обещали производить их столько, сколько надо. В записке был адрес заводского комитета комсомола. Этим адресом воспользовался красноармеец Кудрин, родом из Белоруссии. Он написал девушкам ответ и попросил чью-либо фотографию и разрешения переписываться, ибо чувствует он себя очень тоскливо, так как его родная Белоруссия оккупирована врагом. И вот от одной из москвичек при-

шел адресованный Кудрину ответ. Сержант Артюхов достал из конверта и протянул мне фотоснимок. На нем была запечатлена миловидная девчонка с толстой косой, перекинутой на грудь. На обороте надпись: «Незнакомому бойцу Кудрину от Тони Крупеневой. Ждем вас, дорогие воины, с победой». Письмо ее было кратким, но наполненным искренними патриотическими чувствами, добрыми пожеланиями и с обратным домашним адресом. (Потом я узнал, что это письмо девушки сочинили на комсомольском собрании сообща и уполномочили быть его автором Тоню Крупеневу.)

— А в чем проблема? — спросил я, уже догадываясь, что услышу самое страшное. И не ошибся.

— Погиб Кудрин от осколка немецкой мины,— скорбно ответил Артюхов.— Вчера похоронили... Вот и пишем ответ в Москву...

Черный хлеб истины диктуется нам логикой или интуицией; чаще — тем и другим вместе. Я понял, что не могу оказаться в стороне от этой драматической истории, что в моих руках обжигающий душу, редкостный материал для газеты. Сложное то было чувство или неосознанное предчувствие. Окончательное решение подсказал мне сержант Артюхов:

— Может, возьмете письмо, напишете Тоне от нашего имени?..

Я взял конверт, побывал еще у разведчиков, артиллеристов и направился в редакцию, находившуюся в лесу близ деревни Лажины, в землянках с бревенчатыми надстройками и покрытиями. На свой корреспондентский пункт заезжать не стал, понимая, что добытый мной материал надо готовить к публикации коллективно и срочно. Мысленно видел первую полосу газеты с портретом Тони Крупеневой в центре, с ее письмом бойцу Кудрину, с ответом ей минометчиков, со стихами Давида Каневского, броской «шапкой» и чем-то еще другим, что придумает старший батальонный комиссар Поповкин и вся наша редакционная братия, кто окажется на месте.

Через два дня, 7 октября 1942 года, вышел очередной номер нашей газеты, первая полоса которой целиком была посвящена минометчику Кудрину и Тоне Крупеневой (в романе «Меч над Москвой» — Алесю Христичу и Ирине Чумаковой). Номер действительно удался на славу, вызвав много откликов из частей ар-

мии и высокую похвалу начальства. Поповкину позвонил даже генерал-лейтенант Трофименко и сказал добрые слова в адрес редакции. Поповкин, говорили мне потом, что при разговоре с командармом чуть не потерял дар речи, а я несколько дней ходил в героях.

Через некоторое время после выхода удавшегося номера «Мужества» меня вызвал из первого эшелона в редакцию Поповкин и приказал вместе с нашим фотокорреспондентом Сергеем Репниковым отправиться в столицу, разыскать завод, где работает Тоня Крупенева, и собрать материал для газеты, который можно было бы озаглавить: «Фронт и тыл — едины»,— рассказать, как, в каких условиях московские девушки работают для фронта.

Сергей Репников, высокий, краснолицый, с орлиным взглядом и горбинкой на носу, был по профессии кинооператором. На фронт призван из Москвы и воспринял поручение редактора как награду. В Москве у него жила семья, он копил для нее продукты (экономил дополнительный офицерский паек). И мне он посоветовал кроме продовольственного аттестата запастись продуктами (Репников хорошо знал, что москвичи жестоко голодали).

До Валдая мы добрались на попутных машинах, а там сели на товарный поезд...

Не помню последовательности событий, однако мы разыскали небольшой заводишко, приспособленный во время войны под расточку корпусов мин. Там работали девушки, подростки, старики. С Тоней встретились у ее станка. Она была в фуфайке, валенках, пуховом платке. Показалась совсем не столь симпатичной, как выглядела на фотографии,— чумазая, тощая, с заострившимися от недоедания чертами лица. Другие девушки выглядели не лучше Я стал записывать имена и фамилии девушек, брать у них интервью. Расспрашивал старика-мастера о технологии изготовления мин, условиях работы. Репников же был в растерянности: «Не тот антураж, не то освещение»,— сетовал он, щелкая затвором фотоаппарата.

Потом поехали к Тоне домой на Ярославское шоссе, чтобы еще сфотографировать ее в кругу семьи. Жила она в деревянном доме, на втором этаже в коммунальной квартире. Нас встретила только что вернувшаяся с фабрики «Большевичка» ее мать, Нина Васильев-

на. Она очень всполошилась при нашем появлении, полагая, видимо, что нам надо будет предоставить ночлег и чем-то покормить нас. Кинулась на кухню кипятить чайник, Тоня закрылась в ванной, а мы с Сережей осматривались в единственной их комнате. Я тут же опустошил свой рюкзак, выложив на стол банки с американской свиной тушенкой, именовавшейся тогда «второй фронт», сливочное масло, сахар, галеты, сухари, две плитки шоколада — все, что получил авансом на две недели вперед для себя и что сумел «сгрести» у коллег по редакции. В это время зашла в комнату Нина Васильевна, неся морковную заварку вместо чая и тарелку с розовым свекольным суфле. Увидев на столе продукты, она чуть не лишилась чувств, не могла выговорить ни слова.

— Это презент от нашей редакции,— стал успокаивать ее Репников.— Свою долю я уже отвез к себе домой.

Нина Васильевна ахала, охала, вытирала фартуком слезы, а у меня в мозгу заклинилось слово Репникова «презент». Что это такое? Почему он так назвал продукты?.. В свои двадцать один или двадцать два года я еще во многом пребывал в дремучем невежестве.

В комнату вдруг вошла чернобровая, красивая девушка в темно-голубом платье с тяжелой косой, перекинутой через плечо на грудь, тонкими чертами лица. Она смущенно улыбалась, а мы с Репниковым, раскрыв рты, смотрели на нее, как на чудо... Это была с трудом узнаваемая Тоня.

Репников тут же засуетился, стал готовить для фотографирования «кадр», сунул Тоне в руки фотоснимок отца, Митрофана Яковлевича, находившегося на фронте. Засверкал «блиц», защелкал фотоаппарат...

Потом мы сидели за столом, ужинали, пили морковный чай. К нам приобщилась пришедшая с работы младшая сестра Тони — Зина. Все были будто чем-то смущены. Хозяйки дома стеснительно прикасались к еде, хотя видно было, как они голодны. А нам с Репниковым было совестно, что мы на фронте уже с лета не испытывали особенного недостатка в продуктах...

Я вдруг обратил внимание, что в простенке между шкафом и диваном стоят несколько желтых бумажных мешков, чем-то наполненных. Тоня перехватила мой взгляд и пояснила:

— Это все письма с фронта. Вы же напечатали в газете мой домашний адрес!?

— Беда с этими письмами,— Нина Васильевна засмеялась весело и по-молодому заразительно (ей, оказалось, было всего лишь тридцать семь лет).— Не то что отвечать на них, а читать не успеваем!

— Ничего,— Тоня тоже засмеялась.— Половину я отдаю подружкам, пусть отвечают. Зина с мамой помогают.

— Но почтальонша сердится,— сказала Нина Васильевна.— Не под силу таскать.

— А я связала из шерсти и подарила ей варежки,— Тоня, кажется, чувствовала себя виноватой.— Что-нибудь еще подарю.

— Для газеты ничего из писем не пригодится? — заинтересованно спросил я.

— Недели не хватит читать их,— Нина Васильевна вновь засмеялась.— Самые интересные те, в которых женихаются к Тоне. Там и фотографии есть. Такие орлы при орденах! Предлагают руку и сердце.

Я почувствовал, как орден на моей груди будто потяжелел. Сердце коготнула ревность. Смущенно покосился на Репникова, потом на Нину Васильевну и, стараясь придать своему голосу шутливую интонацию, с веселой дерзостью спросил у Тони:

— А можно, я тоже буду писать тебе письма?

После неловкой паузы Тоня ответила:

— Как же я смогу отличить их от других? Вдруг отдам кому-нибудь из моих подружек?

— Я буду ставить красным карандашом крестик в левом углу конверта...

— В синем кружочке,— пошутила Тоня, и я понял, что она согласна на переписку.

Все засмеялись, но смех тот был многозначительным... Нина Васильевна перевела разговор на другое, начав рассказывать свою крестьянскую родословную, главная суть которой была в том, что она с мужем и детьми бежала в Москву из села Облезки, Починковского района Смоленской области, когда началась коллективизация и раскулачивание. Их дед Василий с бабкой уже были куда-то сосланы, но хлопотами Митрофана Яковлевича, отца Тони, который чудом пробился к всесоюзному старосте Калинину, родителям разрешили вернуться в Смоленскую область... Сейчас Нина

Васильевна работала председателем профсоюзного комитета швейной фабрики «Большевичка».

15

В редакцию газеты «Мужество» на Северо-Западный фронт я вернулся один. Сережа Репников на несколько дней задержался в Москве, чтобы в своей домашней лаборатории проявить снимки и сразу же сделать в цинкографии «Красной звезды» клише.

Доложил я Поповкину о выполнении задания, но так неумело, что он, бывалый человек, с ходу спросил меня: «Влюбился в Тоню Крупеневу?» И чем больше я доказывал ему, что он ошибается, тем веселее улыбался Поповкин, убеждая меня: никакого, мол, греха в этом нет; чем чаще человек влюбляется, тем скорее созревает его мудрость, ибо, как известно, в сердечных страданиях куется мужской характер и быстрее познается смысл жизни.

Пока приехал Репников, у меня все материалы для «московского» номера газеты были готовы. Но столько в них, как я понял потом, оказалось высокопарности, восторгов «трудовым героизмом» Тони и ее подруг, что секретарь редакции майор Валентин Аристов схватился за голову и сказал, что если все это напечатать, то бойцы на передовой будут прикладывать нашу газету к своим ранам и, пожалуй, схлопочут заражение крови.

Номер газеты с полосой о единстве фронта и тыла вскоре вышел. Особого впечатления ни на кого не произвел, хотя лично мне все материалы полосы очень нравились. На летучке, когда обсуждался номер, я обидчиво сказал коллегам: «Если б вы жрали не «блондинку» (так у нас называлась пшенная каша) с американской тушенкой, а буряковое суфле, которым питаются москвичи, то понимали бы, что им там в тысячу раз труднее, чем вам, пребывающим во втором эшелоне штаба армии!.. А нашими походами на передовую гордиться не надо: мы чаще ходим туда, где безопаснее...»

Мои слова вызвали бурю негодования, ибо я действительно не во всем был прав. Ведь многие еще до «Мужества» хлебнули немало трагического при отступлении на восток наших войск: Валентин Аристов со своей женой-корректоршей Татьяной в Прибалтике, Семен

Глуховский под Ржевом, Миша Семенов, Василий Будюк, Алеша Александров, Нафанаил Харин тоже успели так нанюхаться пороха, что не могли прочихаться...

Страсти улеглись после того, как во время летучки Поповкина вызвал к телефону начальник политотдела армии полковник Хвалей и одобрительно отозвался о работе редакции. Особенно отметил последний номер. Поповкин вернулся в землянку, где мы заседали, сияющим...

Фронтовые будни продолжались. Я вернулся на командный пункт армии в свою телефонизированную землянку и оттуда, как и раньше, делал «набеги» в батальоны переднего края за газетным материалом. С нетерпением ждал ответного письма от Тони, после того как послал в Москву несколько экземпляров «Мужества» с полосой, посвященной ей и ее подругам. Почтой в редакции ведал экспедировавший газету красноармеец Шумилов, которого мы именовали «почтмейстером». Я попросил Шумилова немедленно позвонить мне на корпункт, как только поступит на мое имя откуда-либо письмо. Вскоре он позвонил:

— Вам послание из Москвы...

Через час-другой я был в редакции, где уже все знали, что мне пришло письмо от Тони Крупеневой. Взяв у Шумилова конверт, увидел, что он уже распечатывался, но на нем стоял штамп: «Просмотрено военной цензурой», и укорять «почтмейстера» не было оснований. Тоня благодарила меня за экземпляры «Мужества» и передавала поклоны от подруг, от мамы и сестры Зины, желала доброго здоровья и просила беречь себя. Я был безмерно рад письму, перечитывал его, спрятавшись в кабину грузовика. Здесь меня разыскал Поповкин.

— Ваня, я слышал, что ты получил письмо от Тони Крупеневой. Это правда?

— Правда! Но почему об этом осведомлена вся редакция?

— Не военная же тайна,— засмеялся Поповкин.— У меня к тебе просьба.

— Слушаю, Евгений Ефимович.

— Напиши Тоне: не сможет ли она подыскать нам корректора и радиста?

О том, что у нас не хватало корректоров, я знал. А о радисте, который принимал тассовские передачи для газет, услышал впервые: у нас был опытный радист

воентехник Шилин, обаятельный, всегда улыбающийся человек с прокуренными до желтизны зубами, темным скуластым лицом и прищуренными глазами. По возрасту он мне казался самым пожилым в редакции.

— А где же наш Шилин? — удивился я.

— Арестовали вчера,— хмуро ответил Поповкин.— Какая-то сволочь настучала в особый отдел, что он по ночам слушает немцев, а потом якобы рассказывает содержание их радиопередач.

Забегу вперед и скажу, что Шилин провел в лагерях много лет. После войны, не будучи на свободе, переписывался, кажется, с бывшим нашим военным цензором майором Михаилом Семеновым, которому сообщил, что его оговорила какая-то «рыжая сука» из тыловых отделов армии. Вскоре после возвращения из лагерей (жил он где-то на Урале) Шилин умер, и подробности его трагической участи остались для нас тайной.

Разговор с редактором получился невеселым. Он еще сказал, что радиста временно заменяет шофер Саша Каменецкий, благо прием тассовской информации дело нехитрое...

В этот же день я написал Тоне письмо, на которое вскоре получил ошеломивший меня ответ: «Я сама готова приехать на фронт. Грамотности для корректорской работы у меня хватит...» Тоня перед войной закончила десятилетку, поступила в Бауманский институт, потом ее мобилизовали на оконные работы... Словом, учеба была прервана...

Я кинулся в землянку Поповкина, дал ему прочитать письмо, и, пока он размышлял над ним, мне чудилось, что время остановило свой бег.

— Как ты относишься к этому предложению? — Темные, маслянистые глаза Евгения Ефимовича откровенно смеялись.— Ведь ты единственный холостяк в редакции, а войне конца-краю не видно.

— В огороде бузина, а в Киеве дядька,— обидчиво ответил я.— Нам нужен корректор, и было бы логичным послать меня за ним в Москву.

— Неразумно,— уже серьезно сказал Поповкин.— Сейчас Репников и начальник издательства майор Яскин получают в Москве нужные нам шрифты и оборудование для цинкографии. При них полуторка. Надо дать телеграмму Репникову...

Мне пора было уезжать на свой корпункт, но я под

разными предлогами продолжал околачиваться в редакции, тем более что мой репортерский блокнот казался неисчерпаемым: в нем было множество записанных на переднем крае рассказов солдат, сержантов, офицеров о подвигах, интересных эпизодах и ситуациях. Под каждым из них — роспись рассказчика, что по тем временам давало право писать заметки, статьи, репортажи от их имени. Оккупировав землянку Репникова, я неутомимо трудился над материалами для газеты, хотя знал, что в таком количестве они, тем более устаревшие, не нужны.

В один из ближайших дней в лес, на территорию редакции, въехал грузовик. Пока он разворачивался, чтобы стать под деревья, из землянок, домиков, из машин-цехов высыпал весь редакционный люд. Еще бы: Яскин и Репников привезли новые шрифты, оборудование для цинкографии и новую корректоршу, всем известную по нашей газете Тоню Крупеневу.

По долгу «старого знакомого» я помог Тоне выбраться из кузова грузовика и передал ее нашим девушкам — наборщицам Кате и Наде Анисимовым (сестрам), корректорше Наташе Легздинг, машинистке, поварихе (имен последних не помню). Они тут же увели Тоню устраиваться в свой женский домик, а я демонстративно отбыл на корреспондентский пункт.

Тоню всей редакцией откармливали, урезая свои пайки. Я бросил курить, чтобы, как полагалось, вместо папирос получать плитку шоколада на неделю...

Корректором Тоня оказалась пока не ахти каким. В первом же номере газеты, которую она вела вместе с Наташей Легздинг, оказались перепутанными подписи под тассовскими фотографиями. Под снимком, на котором подростки изучают автомобильный мотор, утверждалось: «Телята на казахстанских пастбищах». А под телятами: «Фезеушники познают тайны автомобильной техники». Вину за такую оплошность взял на себя метранпаж сержант Саша Кулешов, сказав, что во время правки полосы перепутал местами клише.

Это, напоминаю, был декабрь 1942 года. А в апреле 1943-го нашу 27-ю армию начали перебрасывать с Северо-Западного фронта в Степной военный округ, который в скором времени стал Степным фронтом.

16

Наш «политотдельский» эшелон, в который погрузились редакция и типография «Мужества», на неделю задержался на железнодорожных путях подмосковной станции Сходня. С разрешения Поповкина мы с Тоней поехали в Москву навестить ее мать и сестру Зину. Они к этому времени переехали на Можайское шоссе в капитальный многоэтажный дом, но опять же в коммунальную квартиру.

Нина Васильевна меня не узнала и встретила встревоженным взглядом. Лицо у меня было темное от загара и обилия веснушек, густая шевелюра отливала рыжиной, и был я уже не батальонным комиссаром, а, после введения погон и переаттестаций, капитаном.

— Мама, не узнаешь? — спросила Тоня у Нины Васильевны.— Это Ваня Стаднюк... тот самый... Мы решили пожениться...

Нина Васильевна села на диван и горько заплакала.

— Мама, мне девятнадцатый год! Я самостоятельный человек,— Тоня обняла маму за плечи.

— А загс? — прошептала Нина Васильевна.

— Какой на фронте загс?!

— Сейчас же идите в загс, иначе видеть вас не хочу!

Мы с Тоней вышли на Можайку. Где же искать загс? Спрашивать у прохожих было стыдно: война, люди получают похоронки, а мы, как придурки, озабочены загсом.

Подошел я к постовому милиционеру и со смущением спросил, как пройти к ближайшему загсу. Он засмеялся и сказал:

— Шутите, товарищ капитан?! А если всерьез, то не знаю.

С трудом, испытывая жгучую неловкость, разыскали мы загс Свердловского района Москвы (кажется, на улице Герцена, ближе к Манежу). В комнате, куда мы зашли, сидел за столом пожилой мужичок с бородкой и в очках.

— Вы прописаны в нашем районе? — спросил он у меня, выслушав просьбу.

— Я вообще нигде не прописан!

— И вы тоже не из нашего района? — обратился он к Тоне, рассматривая ее паспорт.

— Не из вашего, но я москвичка.

— Расписать вас не могу. Инструкция.

Я стал объяснять старичку, что мы из воинского эшелона, который идет на фронт, и нам надо зарегистрировать брак.

— Не имею права. Не положено.

Я медленно начал расстегивать кобуру нагана, хотя и понимал, что глупее ничего придумать было нельзя.

— Вы что?! — всполошился старичок.— Ненормальный?!

— Вы ненормальный, как и ваши инструкции!.. Вот наши документы, и сейчас же расписывайте!

Старичок нервно заскреб пальцами в бороде, повздыхал, потом с нудной медлительностью сделал запись в журнале и вручил нам удостоверение о зарегистрированном браке.

Было это 27 апреля 1943 года.

Мы вернулись на Сходню в свой эшелон. Я показал удостоверение Поповкину. Он, прочитав его, посмотрел на меня долгим укоряющим взглядом. Потом сказал:

— Ну, давай будем варганить свадьбу.

— Давайте! Денег на самогонку у меня хватит.

— А закуску обеспечит старшина Дмитриев.— Поповкин вдруг рассмеялся и пояснил причину своей веселости: — Теперь нашу газету будут называть не «Мужество», а «Замужество». Ведь Давид Каневский тоже собирается жениться — на Наташе Легздинг.

Вечером в школе, здание которой стояло у самой железной дороги, мы справляли фронтовую свадьбу, осветив помещение десятком керосиновых ламп, взятых из типографских цехов. Посаженым отцом у меня был Давид Карпович Кравченко, секретарь партийной комиссии при нашем политотделе. Нина Васильевна почему-то на Сходню не приехала...

Свадьба была в разгаре, когда прерывисто загудел один из паровозов: сигнал тревоги... К нам вбежал дежурный по эшелону капитан Черномордик — комиссар армейского батальона связи.

— Всем по вагонам! — зычно объявил он.— Эшелон отправляется!..

Допивая на ходу самогонку, мы заспешили к эшелону. Но никто не вспомнил о лампах... Спохватились только в Раненбурге (с 1948 года город Чаплыгин), где выгрузились из вагонов и начали выпускать газету. Не помню, зачем были нужны нам лампы и почему так горевал о них старшина Дмитриев. Ведь имелся у нас

электродвижок Л-2, дававший энергию для освещения автобуса, машинных фургонов и для приведения в действие печатной машины.

В Раненбурге мы продолжили нашу с Тоней свадьбу, объединив ее со свадьбой поэта Давида Каневского и Наталии Легздинг, высокой, в противоположность Давиду, блондинки. (Давид погиб в горах Румынии вместе с самолетом По-2 в декабре 1944 года. Наташа в пятидесятых годах вышла замуж за польского писателя Ежи Путрамента и уехала в Варшаву.)

В Степном округе наша армия пополнялась новыми силами. Войска учились боевым действиям в условиях безлесой всхолмленной местности. Газету наполнять интересными материалами стало трудно. К тому же Половкин по своему усмотрению расставил редакционные кадры. Не испытывая потребности в заместителе, он поручил майору Николаеву (заместителю редактора) исполнять обязанности ответственного секретаря. Я по документам уже числился ответственным секретарем, но исполнял обязанности начальника отдела армейской жизни. Эта «кадровая чехарда» принесла нам вскоре серьезные неприятности.

А пока каждый из нас делал свое дело, исходя из того, что происходило в войсках. Я всецело был занят изучением по документам нового немецкого танка «тигр» и новой могучей самоходной пушки «пантера», бегал за советами в штаб артиллерии и писал «инструктивные» статьи. По ним была выпущена специальная листовка с рисунками «тигра» и «пантеры», с обозначениями на них уязвимых мест.

Вскоре наш округ стал фронтом. Армия начала боевые действия. Все мы почувствовали, что в степной местности куда сложнее и опаснее пробираться на передний край. Редакция начала нести потери Ранены были капитан Василий Будюк, старший лейтенант Алексей Александров, без вести пропал капитан Иван Петрушин...

Зато появилось и пополнение. Семен Глуховский познакомился в одной из дивизий с командиром зенитного пулеметного взвода. Лейтенант окончил Литературный институт имени Горького. Это был Сергей Сергеевич Смирнов. Глуховский дал ему задание подготовить материалы на газетную полосу о боевых подвигах комсомольцев, заручился на свой страх и риск согласием Смирнова перейти к нам на работу в редакцию. Попов-

кин, услышав об этом, добился перевода к нам Сергея Сергеевича, тем более что написанные им материалы оказались весьма добротными.

А у меня возникла своя забота: пора было отправлять беременную Тоню в Москву. Обратился за советом к Поповкину. К моему удивлению, он тут же согласился, чтобы я отвез ее лично, однако поставил условие:

— Возьми с собой наш трофейный автобус «вольво».

Я знал, что мотор у пассажирского «вольво» сломан: поршень пробил стенку блока.

— Как же я его доставлю в Москву?

— Думай сам. А вместо автобуса привези из Москвы легковую машину. Автобус дороже стоит, чем эмка...

Выхода у меня не было, и я поставил встречное условие: дать мне убедительные документальные полномочия, чистые бланки с печатями (для непредвиденных обстоятельств) и кроме нашего с Тоней продовольственного пайка пяток буханок хлеба и десять пачек махорки.

На второй день нас с автобусом отбуксировали на погрузочную платформу станции Казаки. Но свободных железнодорожных платформ там не нашлось. Наконец за полбуханки хлеба одну платформу отцепили от остановленного товарняка. За вторую половину буханки автобус был затолкан на платформу и прикреплен к ее бортам проволочными растяжками...

Если б я предполагал, какие ждут меня испытания с тем «вольво», повел бы Тоню в Москву пешком... Еще полбуханки хлеба — и платформа была прицеплена к эшелону. Он продвигался в сторону Москвы, то и дело останавливаясь и пропуская встречные воинские эшелоны. Они шли непрерывным потоком: готовилась Орловско-Курская операция. Часто на какой-либо станции платформа с автобусом оказывалась отцепленной и затолканной в тупик. Я все больше постигал порядки работы на железной дороге, уже точно знал, кому из дежурных диспетчеров совать хлеб или махорку.

Наконец мы оказались на путях Павелецкого вокзала Москвы. Тем же манером добился, чтобы платформу с «вольво» поставили под разгрузку. Где-то разыскал я грузовик, шофер которого за последнюю буханку хлеба согласился отбуксировать нас на Можайское шоссе. Мне пришлось сесть за руль автобуса...

17

И вот автобус во дворе Тониного дома. Что с ним делать дальше? Кому он нужен с бездействующим мотором? Решили: утро вечера мудренее. Но утро оказалось для меня трагическим: ночью кто-то срезал в автобусе покрытия почти всех сидений и спинок — я даже не догадывался, что они кожаные. Кинулся к домоуправу. Он посмотрел на изувеченный салон машины и сказал:

— Ничем помочь не могу. Срежь оставшуюся кожу.

— Я лучше ночевать буду в автобусе.

— Значит, прирежут тебя самого.

Покрытия с уцелевших сидений я снял так, чтобы их можно было натянуть на каркасы вновь. И начал искать в чужой мне Москве людей, кто бы помог обменять автобус на легковую машину. Первым делом обратился к Михаилу Сергеевичу Хайку, другу Поповкина. Евгений Ефимович передал со мной письмо Хайку (он работал тогда в газете «Военное обучение»). Всемогущий Хайк, как отзывался о нем Поповкин, первым делом послал меня на «Мосфильм» — им, мол, нужен всякий заграничный хлам. Поехал я на студию с большой надеждой, зная, что ее директором недавно назначен кинооператор Головня, который на Северо-Западном фронте несколько раз находил ночлег в моей землянке. Но Головня отказался помочь, тем более дать за автобус легковую машину.

По просьбе Хайка осмотрел мотор «вольво» какой-то старейший автомобилист Москвы. Сделал он это в мое отсутствие. И каково же было мое удивление, когда, подняв капот над мотором, я не обнаружил дырки в стенке блока. На ее месте чуть горбилась вьюшка от обычной печной плиты, прижатая краем гайки к стенке блока! (Рядом с пробоиной, к счастью, был нарезной штырь.) Забрызганная маслом и припорошенная, она воспринималась загадочной деталью мотора.

Дома (квартиру Тони я уже считал своим домом) меня ждали указания Хайка: приедет смотреть автобус инженер из автобатальона ГУАС НКВД (что такое ГУАС, не знаю до сих пор); будь на месте.

И верно, в этот же день приехал инженер — очень важный мужчина в шляпе и при галстуке, осмотрел автобус, его мотор и сказал, что он согласен взять «вольво», но только в обмен на грузовой автомобиль, который

на днях выходит из капитального ремонта. Выбора у меня не было, другие перспективы тоже не предвиделись, и я по военному телеграфу запросил разрешения на такой обмен у Поповкина. Ответ пришел немедленно. Шутливый: «Меняй на что угодно, но чтобы оно ехало». А также сообщал, что мне присвоено звание «майор» (даже указал номер и дату приказа). Разумеется, я тут же помчался в магазин военторга за покупкой майорских звезд и погон с двумя полосками.

Через два дня в двухъярусном гараже на Бутырском валу я осматривал капитально отремонтированный грузовик, ничего толком не понимая в моторе. Больше оглядывался по сторонам: меня поразило то, что машины по спиральной дороге можно загонять на второй этаж гаража. Подписали нужные документы, хотя я был убежден, что никто и нигде спрашивать их у меня не станет. Главное, как доставить грузовик на фронт? Самому садиться за руль было боязно. Да и где взять бензин?

В автобатальоне попросил у начальства дать мне шофера, чтоб он отвел автомобиль на Можайское шоссе. В кабину сел плотный крепыш в темном, испятнанном маслом комбинезоне. Оказалось, что это он делал капитальный ремонт ЗиСу. Фамилия его — Сайченко.

По дороге на Можайку я выяснил, что работает Сайченко в батальоне по вольному найму. Одинок, живет в общежитии. И я закинул удочку:

— Поедем со мной на фронт. Станешь военным водителем, будешь чувствовать себя куда лучше!

— Посадят! — уверенно ответил Сайченко.— За дезертирство.

— За дезертирство на фронт? Ты слышал, чтоб кого-нибудь судили за бегство на фронт?..

Короче говоря, на второй день, захватив сумку с инструментами и кое-какими собственными вещичками, Сайченко появился у нас на Можайском шоссе. Я простился с Тоней, и мы выехали со двора.

— Как же будем с бензином? — тревожно спросил я у Сайченко.

— Моя забота,— хмуро ответил он.— Важно, чтоб сегодня не хватились меня в батальоне.

Далее все было просто. Доехали до Даниловского рынка, остановились. Машину сразу обступили женщины: «Подвезите, Бога ради...»

Сайченко о чем-то перешептывался с ними, кое-кого подсаживал в кузов. Потом выехали за город, остановились на обочине. Сайченко начал изымать у женщин «калым» — бутылки с водкой или самогонкой. Я накинулся на него с упреками, а он, махнув на меня рукой, как ничего не смыслящего, начал «голосовать» перед проходившими по трассе бензовозами. Короче говоря, водку стал менять на бензин...

К исходу второго дня мы уже были в редакции — в селе Кириковке на берегу реки Ворскла, недалеко от Ахтырки. В редакции царила тревога: к Ахтырке прорвалась крупная группа немецких танков, и редакция получила приказ быть наготове к броску за Ворсклу. Типография свернула работу цехов, офицеры и вольнонаемные грузили в машины свои вещички. Мое возвращение из Москвы осталось почти незамеченным. Когда я доложил Поповкину о том, что доставил грузовик и шофера, которого надо зачислить в штат, он отмахнулся от меня:

— Подробно доложишь потом! А насчет штата — это сейчас не так просто. Я уже «хлебаю» за штаты!

Очень жаль, что я не знал причины раздражения Поповкина, а он в царившей суматохе не нашел возможным объяснить мне ее.

Оказалось, что в политотделе армии работала комиссия из Москвы или политуправления фронта. Проверялась в эти дни и работа редакции «Мужество». А у нас, как я уже говорил, была чехарда с расстановкой кадров. Но в мое отсутствие все, кто, числясь на более высоких должностях, исполняли не свои обязанности, по подсказке Поповкина сговорились играть «спектакль» — представляться проверяющим по должностям, какие значились в документах, в том числе и в платежных ведомостях.

Ответственный секретарь редакции, каким я числился после отъезда на академические курсы майора Аристова,— это своего рода «начальник штаба», от которого во многом зависит лицо и содержание газеты. И когда я вышел от Поповкина, меня тут же пригласили в дом, где до моего возвращения из Москвы располагался секретариат во главе с майором Николаевым. Там встретил меня строгий подполковник в очках — член комиссии вышестоящего политуправления. Первое, о чем он меня спросил, было:

— В чем вы видите, товарищ майор, главную задачу ответственного секретаря редакции?

— В том, чтобы заставить каждого работника делать то, что ему положено по должности, делать качественно. Из поступающих в секретариат материалов выбирать самые интересные, литературно шлифовать их и увязывать тематику с теми задачами, которые решает армия,— бойко ответил я.

— Правильно,— согласился подполковник.— А еще?

— Еще многое: работа корректоров, наборщиков, метранпажа. Назначение дежурств по редакции, отправка корреспондентов на передовую... Но дело в том, что я — не ответственный секретарь...

— Как это?! — изумился подполковник.

Мне и в голову не приходило, что предаю я Поповкина и своих товарищей. Изумление же подполковника воспринял как заинтересованность такой «мудрой» расстановкой кадров в редакции. Слово за слово, фраза за фразой, и проверяющий имел уже полную картину — «кто есть кто» в редакции «Мужества». Но главное, что он пришел к неожиданному выводу:

— Поповкин сделал эти перестановки для того, чтобы самому не покидать редакцию, не ездить на передовую. Мол, заместителя у него нет, газету не на кого оставлять... Так?

— Не так! Неправда! — воскликнул я, поняв наконец, что произошло.— Поповкин дружит почти со всеми начальниками политотделов дивизий! Не они же приезжают к нам, а он к ним ездит! А в траншеях и блиндажах переднего края редактору армейской газеты делать нечего!

Потом в политотделе армии подводились итоги работы проверочной комиссии. Поповкин получил выговор, и ему приказали навести порядок в редакции — чтоб все исполняли свои обязанности согласно должностям.

Я попал в немилость к Евгению Ефимовичу.

— С завтрашнего дня приступай к секретарству! — сердито приказал мне Поповкин, вернувшись с совещания.

— Мне не по зубам быть секретарем газеты! Завалю работу! — взмолился я.

— Завалишь — откомандирую в отдел кадров! Оттуда пошлют в стрелковый батальон комиссаром.

Верно говорят: язык мой — враг мой. Я обиженно отпарировал:

— Посчитаю за честь быть комиссаром! Только не

стрелкового батальона, а артиллерийского дивизиона! Я по профессии артиллерист. Но для начала давайте обсудим на партсобрании вопрос: кто и для каких целей сделал в редакции должностные перестановки.

Это с моей стороны была дерзость неслыханная. Поповкин взъярился до крайности. Пригрозил мне наказанием за то, что я не выполнил его приказа: привез из Москвы не легковую машину, а грузовую.

— У меня сохранилась ваша телеграмма,— отпарировал я.

В наш разговор вмешался зашедший в дом майор Яскин, начальник издательства.

— Шофер Сайченко не только водитель, но и автомеханик! — с радостью объявил он.— Это же колоссальное приобретение для издательства!

Судьба Сайченко была решена (он прослужил в «Мужестве» до конца войны), а моя в то время оставалась в неизвестности. Я попросил у Поповкина разрешения: напоследок, прежде чем сесть в секретарское кресло и «завалить» работу, съездить один раз на передовую. Смилостивился редактор... Может, потому, что на передовой в эти дни было пекло. Немцы крупными танковыми силами контратаковали, пытаясь вновь захватить Ахтырку...

Поехал я в какую-то из дивизий вместе с Семеном Глуховским и Давидом Каневским. Помню, отлеживались мы в тени сада, пережидая бомбежку, ели крупные переспевшие сливы. Семен и Давид начали наставлять меня:

— Не бойся ты секретарской работы! Это проще и безопаснее, чем мотаться по передовой. Но не старайся все делать сам, обращайся к нам за помощью...

18

Вскоре вернулся я в редакцию, разыскав ее уже в Ахтырке, от которой противник был отброшен. Обосновался в доме, отведенном под секретариат, начал работать. Оказалось, что давняя годичная моя учеба в строительном техникуме с его важным предметом — черчением — пригодилась и в газетном деле. У меня неожиданно стали получаться весьма оригинальные макеты полос с точно симметричным расположением статей, репортажей, заметок, фотографий.

В Ахтырке приблудился к редакции полусирота — двенадцатилетний Ваня Слипченко. Поповкин по моей

просьбе назначил его моим «адъютантом» — посыльным при секретариате. Ваня был веселым, сообразительным и энергичным пареньком, быстро усвоил обязанности посыльного, облегчив мне работу. Как только понадобится броская шапка для полосы, четверостишие в «шпигель» (окошко справа от заголовка газеты), занимательная подпись под фотографией — я тут же посылал Ваню с запиской к Семену ли, к Давиду, к Сереже, к другим «мужественникам». Очень украшал газету миниатюрными новеллами Анвер Бикчентаев. Я их заверстывал на самое видное место, разнообразил шрифтами и шириной набора.

На летучках, к неудовольствию Поповкина, мою работу начали осторожно похваливать. А через некоторое время в «Красной звезде» или во фронтовой газете был опубликован обзор печати, и в нем наше «Мужество» упоминалось как одна из лучших армейских газет. Поповкин был сломлен, пригласил меня на обед, и мы возродили былую дружбу...

Не считаю нужным описывать боевые действия нашей армии, ибо книжка не об этом. Главное, что мы шли на запад, враг отступал, открыла нам объятия родная мне Украина. Мы с Поповкиным (он наполовину был украинцем) упивались разговорами с крестьянами на украинском языке. Но чем ближе оказывались к Днепру, тем больше замечали, как бедно жили в оккупации украинцы, сколь ограблена врагом была земля и ее обитатели. Мы испытывали скудность в питании — снабженцы армии не успевали за стремительно наступающими войсками или надеялись на доставшееся нашим передовым частям трофейное продовольствие. Постепенно вступал в силу и «бабушкин аттестат»: это значило, что местное население подкармливало родную, освобождавшую его от вражеского ига армию. Но прокормить все эшелоны армии крестьянам было не под силу, и нам, «тыловикам», приходилось потуже затягивать ремни — со снабжением нас продуктами были перебои

В середине сентября 27-я армия совершила марш из-под Опочек через Зеньков, Гадян, Лохвицу в район Переяслав-Хмельницкого. А с 25 сентября с рубежа Козинцы начала форсировать Днепр для захвата Букринского плацдарма. Редакция «Мужества» расположилась в приднепровском селе Цыбля, жила впроголодь. И вот

однажды старшина Дмитриев доложил Поповкину, что на огородах близ редакции бродит в поисках кормежки бык. Чей он — неизвестно. А вдруг отбившийся от стад, которые немцы угоняли на запад?

— Мог бы и не докладывать,— сердито ответил старшине Поповкин.— Наступят сумерки — прикончи его — и в котел.

Дмитриев с шоферами проворно выполнили приказ. Редакция начала отъедаться свежим говяжьим мясом. Но старшина, будучи хозяйственным человеком, перестарался Он не мог решиться закопать в землю бычью шкуру и развесил ее на веревке сушиться...

В эти дни Поповкина вызвали в Москву, в управление кадров Главпура на переговоры. Как редактора лучшей армейской газеты его решили повысить в должности — назначить редактором четырехполосной газеты Отдельной Приморской армии. Газета по своему статусу приравнивалась к фронтовой, и Евгений Ефимович не мог отказаться от такого лестного предложения.

А в его отсутствие в редакции разыгрались драматические события. Во двор, где сушилась на солнце шкура быка, зашел председатель местного колхоза, осмотрел ее, сердито потрепал за хвост и изрек:

— Была единственная тягловая сила в колхозе, и ту съели. От немцев сохранили, а от своих не уберегли...

Об этом я узнал только после того, как Военный совет армии обсудил письменную жалобу председателя колхоза и поручил армейской прокуратуре завести уголовное дело.

Судебная машина завертелась с особой активностью: как раз в это время был обнародован суровый приказ Сталина о сохранении колхозной собственности. В нем было буквально сказано, что за убой колхозного скота виновных судить военным трибуналом, определяя меру наказания вплоть до расстрела.

Старшина Дмитриев, когда его вызвал военный следователь, вину от себя отвел: он выполнил приказ редактора газеты подполковника Поповкина. Член Военного совета генерал-майор Шевченко и начальник политотдела полковник Хвалей дали санкцию на арест Поповкина и на судебное разбирательство в военном трибунале. Мол, есть приказ товарища Сталина и надо с кого-то начинать приводить его в действие. Судебные власти колебались только в одном: арестовать Поповкина в Моск-

ве или дождаться его возвращения в нашу армию, где ему предстояло сдавать дела...

В редакции, кроме меня и Дмитриева, еще никто ничего не знал. Надо было что-то предпринимать. У меня в голове, кажется, хрустело от панических мыслей, сердце не покидал холодок. Тиранило воображение: я представлял себе, как будут расстреливать Поповкина перед строем командиров и политработников, вспомнил другие расстрелы, свидетелем которых был. Сказать, что это ужасно,— значит, ничего не сказать.

Сидел я над макетом очередного номера газеты. За соседним столом печатала чью-то статью машинистка Таня Курочкина, которую Поповкин «мобилизовал» в Воронеже, дав ее начальству «в обмен» четыре килограмма бумаги.

Зашла хозяйка дома, «оккупированного» нами под секретариат. Меня вдруг пронзила дерзкая мысль, и я с притворной сердитостью накинулся на пожилую женщину с упреками:

— Поверили мы вам, что бык, которого мы зарезали, отбился от немецкого стада, а теперь беда.

— Я говорила?! Ничего я не говорила! А какая беда?

— Разве не вы? — мы разговаривали с ней по-украински.— Кто же мне это говорил, дай Бог памяти? А теперь Поповкина ждет расстрел. Так требует приказ Сталина.

— Да вы что?! — ужаснулась хозяйка.— Застрелить человека за скотину? Да еще такого человека, как Евген Ефимович?

Таня Курочкина тоже окаменела за пишущей машинкой.

— Это правда? — спросила она почти шепотом.

— Правда, но пока секрет. Может, действительно подтвердится, что бык — трофейный.

— Подтвердится непременно! — затараторила хозяйка.— Я вам и Евгену Ефимовичу сама говорила! Соседи говорили! Вся наша улица подтвердит! Разве можно убивать человека за скотину? Да тому быку всего три года! Я помню, как он родился!

— Ничего вы не помните! — Про себя я уже хохотал, подсчитывая в уме, какая разница в возрасте у быка и у Поповкина. Но разговор продолжил: — Бык из стада, которое немцы гнали за Днепр! Если люди подтвердят, то трибунал может решить по-другому.

Свои «карты» я раскрыл полностью...

— Подтвердят! Все подтвердим! — Женщина выбежала из хаты, и ее белый платок замаячил уже на улице. Заработал «сельский телеграф»...

Но я не знал, что за убой даже «трофейного» скота полагается строгое наказание, если мясо не оприходовано по весу у военных снабженцев, которые затем на какое-то время снимают обладателей «трофея» с положенного «мясного довольствия».

Редакция обычно получала продукты на складе административно-хозяйственной части штаба. Я тут же помчался к ее начальнику капитану Урывскому, с которым был хорошо знаком. Застал Урывского в расстроенных чувствах: его «терзали» работники особого отдела за то, что без их ведома взял на работу в офицерскую столовую трех девушек из числа репатриированных (освобожденных из немецкого плена и отправляемых в тыл). Как мог успокоил я Урывского, а потом рассказал об опасности, нависшей над Поповкиным.

— Чем же я могу помочь? — удивился он.

— Мясо убитого быка ты взвесил и снял редакцию с довольствия. Дай мне накладную, датированную задним числом.

— Но это же надо все последующие накладные переподшивать!

— Я готов сделать это сам. Главное — нужен документ, и человек будет спасен. Не собственной же корысти ради приказал он зарезать быка.

— Ладно, давай пожульничаем вместе. Тем более с мясом у меня плохо...

Вернулся я в редакцию с накладной в кармане и застал в секретариате следователя армейской прокуратуры. Он сидел за моим столом, а перед ним лежала папка с надписью: «Дело Е. Е. Поповкина». Хозяйка нашего дома и две ее соседки в один голос доказывали следователю, что они считали быка ничейным, что он съедал на сельских огородах свеклу. Вот и попросили Поповкина избавить их от такой напасти.

— А почему вы меня ни о чем не спрашиваете? — со спокойной нагловатостью обратился я к следователю.— Все-таки майор Стаднюк здесь своего рода начальник штаба. Многие документы проходят через мои руки.

— Какие документы? — насторожился следователь.

— Да хотя бы об этом быке. Всё мы сделали по закону,— и положил перед ним накладную об оприходовании в АХЧ мяса и снятии редакции с мясного довольствия, кажется, на три месяца.

Следователь даже побледнел, когда понял, что «Дело Е. Е. Поповкина» лопнуло. А ведь о нем уже было донесено во фронтовую прокуратуру...

19

На второй день вернулся из Москвы Поповкин — довольный, сияющий, иронично настроенный: Главпур уже назначил его редактором газеты Отдельной Приморской армии, воевавшей на левом, самом южном крыле советско-германского фронта. Пришлось омрачить его настроение рассказом о происшедшем и готовить для предстоящего объяснения с начальством, которому он должен был представляться в связи со сдачей должности. Потом Евгений Ефимович с присущим ему чувством юмора рассказывал, как он, опираясь на нашу «тайную» версию, виртуозно врал полковнику Хвалею о том, что за счет «трофейного» быка снизил нехватку продовольствия в армейском штабе.

Устроили мы Поповкину прощальный обед, сфотографировались на память всей редакцией и типографией. Все было бы хорошо, да сманил Евгений Ефимович моего «адъютанта» Ваню Слипченко ехать с ним на юг. И будто лишил меня рук. Никакие мои уговоры не действовали: что мы освобождаем Украину от тех самых фашистов, которые столько пролили крови в родной Ванюше Ахтырке, что впереди нас ждет заграница. Не убедил: «Поеду с паном редактором». Прощаясь со своим «адъютантом», я пригрозил ему, что судьба накажет его за вероломство. И словно напророчил. По прибытии в Отдельную Приморскую армию, как узнал я потом из письма Поповкина, Ваня объелся «шипучки» — содово-сахарных трофейных брикетов, которыми немцы подслащивали и газировали воду. Сжевав с десяток брикетиков, Ваня почувствовал странную жажду. Попив воды, и его тут же чуть не разорвало. Реакция была настолько мощной, что на Ване чуть не лопнул брючный ремень, а изо рта, ноздрей и еще откуда-то ударили струи пены. Эту ситуацию я использовал в романе «Война», переклю-

чив ее на нелюбимого мной майора Рукатова, а еще раньше — в юмористическом рассказе «Шипучка».

История с «трофейным» быком часто вспоминалась «мужественниками» после войны, при наших встречах в застольях. А однажды, это было в 1959 году, повидались мы с полковником Хвалеем. Я тогда, в связи со съемками по моему сценарию художественного фильма «Человек не сдается», проводил с семьей лето в Белоруссии, сняв дачу в Ждановичах на берегу Минского моря. Уйдя утречком в «море» на рыбалку, сидел я в лодке и ловил окуней. Помню, часов в двенадцать увидел подплывающую ко мне плоскодонку. На корме сидел мой одиннадцатилетний сынишка Юра, а на веслах — какой-то мужчина в белом парусиновом костюме. Когда подплыли ко мне, я чуть не лишился чувств: за веслами сидел Хвалей. Дело в том, что лет за пять до этого бывший заместитель Хвалея подполковник И. А. Рассказов, приехав из Риги в Москву и навестив меня, сказал, что Хвалей умер. Мы даже помянули его, выпив по рюмке не чокаясь. И вдруг — вот он!.. Какая могла быть дальше рыбалка?! Я снял лодку с якоря, приплыли мы в Ждановичи, зашли в наш дом. Тоня уже успела накрыть стол: ведь она тоже знала Хвалея по фронту.

Хвалей, живя в Минске, оказывается, услышал по белорусскому радио о съемках моего фильма, позвонил на киностудию, и ему объяснили, где меня можно разыскать. Начались, по обычаю, воспоминания, взаимная исповедь. И я возьми да и расскажи ему историю про быка так, как написал о ней выше. Хвалей смеялся, но сквозь слезы. Потом объяснил, что из-за Поповкина имел колоссальные неприятности от фронтового начальства. Шутка ли: чуть безвинно не расстреляли редактора армейской газеты, писателя (Поповкин в то время уже был автором повести «Большой разлив»). Что-то еще, как я чувствовал, сквозило в реакции Хвалея на мой рассказ, но он не стал больше ни о чем говорить.

Но вернемся в ноябрьские дни 1943 года, когда продолжалась Киевская наступательная операция. Наш Воронежский фронт уже был переименован в 1-й Украинский, и его войска севернее и южнее Киева форсировали Днепр. Вместе с 3-й танковой армией и другими соединениями 27-я армия пыталась прорвать оборону немцев с Букринского плацдарма, захватив его на правом берегу Днепра южнее столицы Украины. Плацдарм

шириной в одиннадцать и глубиной в шесть километров был изрезан глубокими оврагами, за которыми на высотах прочно укрепились немецкие войска. Непрерывными контратаками они пытались сбросить наши части в Днепр. И стало ясно, что Букринский плацдарм непригоден для успешного удара в направлении Киева, зато был весьма полезен для отвлечения крупных сил врага, и это отвлечение было поручено осуществлять нашей 27-й армии, в то время как 3-я танковая армия, 23-й стрелковый корпус, 7-й артиллерийский корпус прорыва и ряд других соединений тайно, со строжайшей маскировкой, были переброшены на Лютежский плацдарм, что севернее Киева.

Но столь просвещенными мы, газетчики, стали гораздо позже: от нас, как и от многих других, не причастных к передвижению войск, скрывался замысел высшего командования, и наши надежды войти в Киев с передовыми частями армии не сбылись. 6 ноября Киев был освобожден от врага ударом войск фронта с севера...

Как тут было удержаться не найти повода немедленно устремиться в Киев? Поповкин к этому времени уже отбыл в Отдельную Приморскую. Обязанности редактора «Мужества» исполнял майор Николаев — спокойный, сговорчивый человек. Семен Глуховский, Давид Каневский и я кинулись к нему...

Короче говоря, в ночь на 7 ноября попутными машинами мы добрались к Днепру в районе Дарницы. По понтонному мосту, который наши инженерные части навели рядом с взорванным железнодорожным мостом, вошли в Киев. По крутому спуску, что рядом с Киево-Печерской лаврой, поднялись на улицу Кирова. И были удивлены: нигде никаких разрушений; кругом пустынно. Отзвуки боя доносились со стороны Голосиево.

Спустились к Крещатику, но вместо него, взращенного историей, увидели гигантские развалины. Главная улица великого города — «матери городов русских» — лежала мертвая. Под глыбами камня были погребены тротуары, проезжая часть. Среди обломков стен вихляла узкая тропинка. Она привела нас к углу улицы Ленина, по которой мы стали подниматься вверх, в направлении оперного театра. Справа и слева кровянились затухающие пожары Я предложил друзьям остановиться на ночлег у моего дальнего родственника — дворника дядьки Палаша, вряд ли эвакуировавшегося из Киева.

Жил он по улице Ленина. Но когда приблизились к его дому, увидели сквозь пустые окна полыхающий внутри огонь.

Давид Каневский предложил идти к писательскому дому, который находился в конце улицы за оперным театром. Когда подошли к нему, увидели, что он цел. Но ни в одном окне дома не виделось света. Зашли в подъезд, стали подниматься по лестнице, присвечивая себе электрическими фонарями. Рассматривали на дверях квартир медные таблички с надписями. Читали (не помню порядка и за точность не ручаюсь): «Иван Ле» — «Петро Панч» — «Павло Тычина» — «Максим Рыльский» — «Леонид Первомайский»... Еще и еще звучные имена. Каждое из них ударяло в сердце. Я чувствовал, что вступил в святой храм родной украинской литературы. Не верилось, что это не дивный сон, что здесь обитали люди, написавшие книги, которые боготворила Украина... Где эти художники слова сейчас, куда разметали их злые, железные ветры войны? Даже в голову не могла прийти мысль, что с иными из них я потом повстречаюсь на фронте или буду иметь честь познакомиться лично после войны и общаться на беспокойных литературных перекрестках в Москве и Киеве...

Вернулись на Крещатик, пошли по Красноармейской в направлении костела. Там, по запомнившемуся мне адресу, была квартира Ивана Григорьевича Грицюка — моего земляка и дальнего родственника, будущего министра мясо-молочной промышленности Украины. Предполагал, что в Киеве его нет, но очень хотелось взглянуть на дом, в котором он жил до войны... Увидели дом догорающим. Среди пылающих развалин разглядел знакомую железную кровать с металлическими шарами по углам спинок...

Ночевали в покинутом доме близ Бессарабского рынка. А утром началась свободная «охота» за материалом для газеты — надо было рассказать, как жил Киев под немецким владычеством. Выйдя на стык бульвара Шевченко и улицы Ленина, начали останавливать киевлян и затевать разговоры. Вскоре к нам подошел высокий крупнотелый мужчина в желто-зеленой румынской шинели с подпаленными полами, в разбитых ботинках на толстой подошве. От него пахло горелым.

— Товарищи командиры,— обратился он к нам,— где можно записаться в Красную Армию?

— Кто вы, откуда?..

Это был Яков Андреевич Стеюк, бежавший накануне освобождения Киева из Бабьего Яра, где его ждало уничтожение.

— А что такое Бабий Яр?

И тут мы услышали рассказ, от которого прошибало холодным потом.

20

Бабий Яр — место массовых расстрелов гитлеровцами мирных жителей Киева, особенно еврейской национальности. Он был завален трупами десятков тысяч советских людей... Трудно вспомнить детали рассказа Якова Стеюка, поэтому я обращаюсь к фрагментам своей не очень профессионально написанной статьи, напечатанной после моего возвращения из Киева в нашей газете «Мужество»:

«В городе был устроен «лагерь принудительных работ». 18 августа из числа заключенных в этом лагере немцы отобрали сто человек, надели им на ноги кандалы и пригнали в Бабий Яр — к месту расстрелов советских людей в сентябре 1941 года. Здесь невольников ждала команда гестаповцев во главе со штурмбанфюрером СС Топайде.

Заключенным дали лопаты, указали место и заставили рыть землю.

Разрывая землю, заключенные наткнулись на слой хлористой извести. Выбросив еще полметра песку, они обнаружили трупы...

Железными прутами трупы вытаскивались из ямы и обыскивались. Немцы забирали часы, золотые вещи, монеты, вырывали золотые зубы.

Попадающиеся среди трупов очки, костыли, палки свидетельствовали о том, что среди расстрелянных много было стариков и инвалидов. Часто можно было видеть трупы женщин, сжавших в объятиях своих детей. В одной яме было подсчитано две тысячи трупов красноармейцев.

Когда к Киеву стала приближаться канонада, гитлеровцы заторопились. Из лагеря смертников была пригнана еще группа людей. Таким образом, триста двадцать три человека работали на этих страшных раскопках.

Скорость раскопок вручную не удовлетворяла фашистов. Они привезли экскаватор и начали им черпать

землю. Когда ковш экскаватора раскрывался, из него сыпались земля, песок и трупы людей. Трупы подхватывались крюками и складывались на специальных площадках.

Площадки были построены из камней, рельсов и листового железа. Трупы на них укладывались слоями крест-накрест. Между каждым слоем клали слой дров, который обливали отработанным маслом. Когда на площадку укладывались пять тысяч трупов, их зажигали.

Огонь не полностью сжигал человеческие кости. Чтобы не оставить никаких следов, немцы заставляли сгребать эти кости на отдельные площадки и дробить их в специальных ступах. Истолченные кости просеивались через решетки (фашисты искали золотые монеты), разбрасывались на песке и лопатами перемешивались с ним.

С 18 августа 1943 года по 23 сентября немцы сожгли в Бабьем Яру сорок шесть тысяч трупов ранее расстрелянных советских граждан.

К этому страшному месту каждый день подъезжали машины-«душегубки». Они вытряхивали еще теплые тела задушенных советских людей со следами страшных пыток. Зверски умерщвленных мужчин, женщин, детей провозили из гестапо, которое находилось на улице Короленко, дом № 33.

27 сентября штурмбанфюрер Топайде приказал гестаповцам взять пятьдесят невольников и пойти в психиатрическую больницу. Там закованным в кандалы людям приказали сжечь пятьсот трупов больных, расстрелянных немцами.

После этого невольников снова пригнали в Бабий Яр, они увидели новую площадку для сжигания. Так как выкапывать трупы их больше не заставляли, все поняли, что площадка эта предназначена для них самих. Фашисты решили окончательно замести следы своих зверств.

Наступила тревожная ночь. Невольники Яков Стеюк, Леонид Кадомский и другие решили бежать. Подобранными у экскаватора ключами, плоскогубцами и зубилами они расковали себя и еще тридцать товарищей. Ночью группа заключенных, сняв часового, вырвалась из землянки. Люди разбежались в разные стороны.

Свидетель гнусных злодеяний гитлеровцев Яков Андреевич Стеюк обо всем этом рассказал нам.

Никогда не удастся фашистским извергам спрятать концы в воду, замести следы своих черных преступлений. Гестаповец Топайде, гауптвахтмайстер жандармерии Иоган Меркль из Мюнхена, гауптвахтмайстер жандармерии Фогг из Лейпцига, ротенфюрер СС Ребер и другие фашисты, запятнавшие себя невинной кровью советских людей, не уйдут от возмездия...»

Первое, что я сделал, услышав и записав страшный рассказ Якова Стеюка,— послал по военному телеграфу информационную телеграмму в Москву, в редакцию газеты «Правда». Потом, возвратясь в расположение «Мужества», написал статью. Экземпляр газеты с этой статьей входит сейчас в одну из экспозиций Украинского государственного музея Великой Отечественной войны в Киеве.

Освобождение советскими войсками Украины продолжалось. Наша 27-я армия во второй половине ноября получила дополнительный участок фронта — южнее Обухова, пополнившись 47-м стрелковым корпусом. И с этого времени у нас образовались два обособленных боевых участка: на Букринском плацдарме и на южных подступах к Киеву. Нам, журналистам, было приказано в своих публикациях не раскрывать разорванности боевых порядков армии. Но это была излишняя предосторожность, ибо мы, во-первых, и не догадывались об этой разорванности, а во-вторых, нас так ограничивал цензорский надзор, что из всего печатаемого армейской газетой самый опытный разведчик ничего не мог извлечь: населенный пункт Н., за который велись бои, командир подразделения С. (если подразделение не выше батальона), плацдарм на берегу реки Х. Эти обстоятельства порождали и некоторую безответственность военных корреспондентов. Она проявилась еще на Северо-Западном фронте, когда фронтовая газета «За Родину» усилиями военного газетчика стала прославлять одного истребителя немецких танков, мастерски использовавшего бутылки с зажигательной жидкостью. Его пример породил массовое «движение зажигателей». Действительно, немецкие танковые части начали нести все большие и большие потери: бойцы во всех дивизиях фронта стали подражать прославленному газетой герою. На это обратило внимание командование фронта и распорядилось представить главного истребителя вражеских танков к званию Героя Советского Союза. И тут выяс-

нилось, что «истребитель» прядуман корреспондентом. Не помню, чем завершилась вся эта скандальная история, принесшая в конечном счете полезные результаты, но редакции солдатских газет получили строгие указания не допускать публикации боевых эпизодов, родившихся усилиями фантазии газетчиков. Возникшую сложность решили просто: при сдаче в набор рукописей надо было указывать нумерацию дивизии, полка, батальона, роты и даже взвода, где произошло событие. Но тут встревожилась военная цензура: заведись в редакции или типографии вражеский разведчик — и боевой состав армии будет вскрыт за самое короткое время. Тогда придумали другой способ контроля за достоверностью публикаций: наиболее яркие эпизоды корреспонденций время от времени сверять с политдонесениями, поступавшими из дивизий в политотдел армии...

28 декабря наша 27-я армия перешла в наступление на обоих участках фронта, и к 9 января 1944 года войска, действовавшие из района Киева и на Букринском плацдарме, соединились. Сии подробности я почерпнул из архивных документов, а вот в какое точно время наша редакция перебазировалась с левобережья Днепра на его правый берег, вспомнить трудно, а в документах это не фиксировалось. Знаю, что одно из первых сел, приютивших нас, были Житнегоры. Дорога к нему оказалась непростой. Песчаные участки с разбитыми колеями, местами она протискивалась между глубокими песчаными карьерами. И вот в одном месте, между карьерами, забарахлил мотор грузовика-фургона, в кузове которого были кассы со шрифтами армейской типографии. Автоколонну, как уже было принято, вел я, сидя в кабине ЗиСа, в кузове которого закреплена печатная машина. Водитель сержант Федор Губанов первым заметил, что колонна отстала, и дал машине задний ход. Подошел я к затормозившему движение грузовику и увидел, что шофер Поберецкий копается в моторе. Потом выяснилось, что в моторе сгорела бабина и машина не могла сдвинуться с места. В это время с хвоста колонны подошел незнакомый подполковник — высокий, упитанный и, судя по строгому взгляду, самоуверенный. Возраст — свыше тридцати лет. Убедившись, что поломка мотора нашего грузовика не сулит скорого продвижения машин вперед, он безапелляционно приказал: столкнуть машину в карьер. Я возмутился:

— Вы отдаете себе отчет, что это типография армейской газеты?

— Плевал я на вашу газету! Мне надо в войска! Я начальник штаба дивизии! — и назвал номер соединения, который мне был неизвестен.

Не хватило у меня рассудительности предложить подполковнику самому сталкивать грузовик в карьер. А может, повлияло то, что я заметил,— подполковник был в добром подпитии. И стал наивно уразумлять его, что газета наша — это орган большевистской печати и никто не вправе так скоропалительно распоряжаться целостностью его типографии. И не опомнился, как подполковник влепил мне оплеуху. Это — на виду у всех собравшихся около злополучной машины наших шоферов, наборщиц, корректоров. Трудно передать полыхнувшую во мне обиду, стыд и ярость. Потеряв самоконтроль, я нанес ответный удар обидчику снизу в челюсть, от которого он рухнул наземь. Тут подоспели адъютант подполковника и шофер его эмки. У адъютанта был автомат в руках. Прогрохотала очередь в воздух. Началась свалка. Пока я отнимал у подполковника пистолет, которым он пытался воспользоваться, наши шофера и наборщики обезоружили его «свиту». В это время автоколонна двинулась вперед — сломанный грузовик со шрифтовыми кассами был взят на буксир. Теснина между карьерами освободилась. Подполковник с вздувшейся отметиной на подбородке и отрезвевший, молча забрал у меня свой пистолет, выматерился, сверкнул яростным взглядом, сел в подъехавшую эмку и умчался вперед.

Надо было ждать беды. Полагалось написать начальству рапорт, что я и сделал. Но в рапорте не мог указать ни фамилии подполковника — не знал, ни номера дивизии — не запомнил. Потянулись тревожные дни. Я почти потерял сон — трусил, фантазия рисовала заседание военного трибунала...

Через несколько дней мне было приказано явиться в первый эшелон штаба, к начальнику политотдела армии. Штаб располагался в селе Баранье Поле (когда-то именовалось — Бранное Поле).

Разыскал хату полковника Хвалея. Зашел и доложил, что явился по вызову. Лицо начальства ничего доброго не предвещало. Хвалей взглянул на меня холодными серыми глазами, скулы его сердито шевельнулись.

— Газета вышла? — строго спросил он.
— Так точно, вышла. А могла и не выйти...
— Расскажи, как все случилось.

Пересиливая волнение, я стал рассказывать, да с такими подробностями, что тот драчливый подполковник выглядел совсем ненормальным.

— Вы же могли перестрелять друг друга! — сердито перебил меня Хвалей.— Вот было бы чрезвычайное происшествие.

— Вполне, товарищ полковник. Но я к своему оружию не притрагивался.— И перешел в наступление: — Как бы вы поступили, если бы вам в присутствии ваших подчиненных врезали по морде?!

— А если б даже без подчиненных? — Хвалей засмеялся, и лицо его подобрело.— На твоем месте я поступил бы точно так же... Но за взаимный мордобой офицеров полагается вас обоих понизить в воинском звании.

— Меня и так уже понизили: на Северо-Западном фронте я был батальонным комиссаром. Если помните, при введении погон мне вместо майора дали капитана. Сейчас опять будете разжаловать? Это при трех моих ранениях и двух орденах?

Хвалей задумался. Смотрел на меня с укором и досадой. Наконец сказал:

— Вот твой рапорт,— и протянул мне знакомую бумагу.— Я его не видел... Но если этот подполковник окажется из нашей армии и поступит от него рапорт, в чем я сомневаюсь, напишешь объяснительную записку. В ней сделай акцент на том, что подполковник был пьян, и назови всех свидетелей происшествия.

— Слушаюсь!..

Вернулся я в редакцию с тяжелым сердцем: предстояло еще какое-то время жить в тревоге. Лучше бы уж сразу все решилось. В атаки было ходить проще, чем томиться перед неизвестностью, зная, что человеческая мстительность при отсутствии здравого смысла бывает беспредельной. А офицер, поднявший руку на другого офицера, пусть младшего по званию, да еще не в экстремальной обстановке, не мог быть порядочным человеком. Впрочем, рукоприкладство на фронте не являлось редкостью. Пример этому подавали даже иные именитые генералы высоких званий и находившиеся на высших командных должностях. Свои поступки они оп-

равдывали остротой боевых ситуаций и необходимостью повысить расторопность и находчивость исполнителей приказов. Вот и допускали унижение человека и насилие над ним. Но пользы от этого не было. Только — озлобление...

В редакции я застал приехавшего из Москвы нового редактора — подполковника Ушеренко Якова Михайловича. Выше среднего роста, полнотелый, розово-круглолицый. Темные глаза его смотрели пронзительно, чуть из-подо лба. Полные губы, родинка на щеке рядом с крупным носом, густая черная шевелюра. Угадывался в нем совсем невоенный человек. До приезда на фронт он был редактором газеты Московского военного округа «Красный воин», а до войны — редактором «Правды» по разделу литературы. Все мы сразу же почувствовали в новом редакторе человека высокого интеллекта и большой эрудиции. Поначалу даже робели при разговоре с ним.

Представляясь новому редактору, я попросил его перевести меня с должности ответственного секретаря на «боевую» работу — в армейский отдел или группу информации. Объяснил это тем, что имею военное образование, боевой опыт и желание чаще бывать на передовой. Действительно, мне очень хотелось писать самому, а не редактировать чужие материалы, составлять макеты и вычитывать гранки.

— Позвольте, но ведь вы и рассказы пишете? — Оказалось, что Ушеренко при назначении его редактором «Мужества» листал в Москве, в отделе печати Главпура, подшивку нашей газеты.

— Да так, балуюсь,— снисходительно к самому себе сказал я.

— В литературе баловаться нельзя,— назидательно изрек Ушеренко.— Или серьезно надо писать, или не браться за писательство. Увлечетесь, а способностей может не оказаться, и сломаете себе судьбу.

Я был озадачен, даже обескуражен, ибо был уверен, что, окажись у меня много свободного времени, я смогу писать хоть романы. Это было приятное заблуждение, ибо даже элементарных понятий о законах художественного творчества, теории литературы у меня не было Писал интуитивно, не различая, где я пересказываю события, а где изображаю их. Все эти постижения окажутся для меня впереди.

Разговор продолжался. Яков Михайлович стал вспоминать о своей работе в «Правде», встречах и сотрудничестве с именитыми писателями. Называл такие фамилии, что у меня дыхание перехватывало, и я уже смотрел на редактора как на человека совсем необыкновенного.

Мне везет в жизни на неординарные случаи и совпадения. Вот и во время нашего с Ушеренко разговора раздался стук в дверь. На пороге просторной горницы встал улыбающийся капитан Давид Каневский. Неумело отдал честь и доложил:

— Товарищ подполковник, к нам в редакцию приехал гость...

Вслед за Каневским вошел высокий мужчина с бледноватым лицом, кустистыми с проседью бровями, на вид лет под пятьдесят. В моем тогдашнем понимании — глубокий старик...

— Писатель Иван Ле,— спокойно представился мужчина.

Ушеренко поднялся ему навстречу, начались рукопожатия, не обошедшие и меня, ошалевшего от неожиданности.

— Здравствуйте, Иван Леонтьевич! — Ушеренко довольно посмеивался.— Мы с вами знакомы... Раздевайтесь.

Боже! Тот самый Иван Ле, творчество которого мы изучали в десятилетке как классика украинской литературы! У меня были свежи в памяти его повесть «Юхим Кудря», «Роман межгорья»... Происходящее казалось неправдоподобным. Я пришел в себя только после того, как Каневский достал из-под шинели бутылку с самогонкой и поставил ее на стол, а Ушеренко, взглянув на меня и кивнув головой на дверь, приказал: «Позаботьтесь о закуске».

Разыскав старшину Дмитриева, я передал ему распоряжение редактора и объяснил, что скупиться нельзя...

Вернуться в дом редактора не посмел, а приглашения не последовало.

Вечером я сидел за какой-то работой и прислушивался к шумам с улицы. Почему-то надеялся, что Давид Каневский и Иван Ле придут ко мне. Даже купил у соседей бутылку самогонки, а хозяйку дома, где я был на постое, попросил сварить картошки и достать из погреба соленых огурцов, какими она меня уже угощала. Загре-

мела дверь в сенях, затопали сапоги, в комнату зашли желанные гости. Давид с ходу обратился с просьбой:

— Майор Стаднюк, есть мнение, чтобы ты уступил свою хату Ивану Леонтьевичу. Она поприличнее других.

— Согласен, если писатели окажут честь и выпьют в этой хате по чарке горилки.

Возражений не было. Мы перешли на украинский язык. Я имел счастье впервые в жизни сидеть в застолье с известным писателем, не подозревая, что впереди нас ждут еще многие встречи.

21

Ушеренко не отпускал меня с секретарской должности. Может, потому, что у меня была провинциальная привычка всему удивляться с чрезмерностью. Это его развлекало, и, когда мы оставались вдвоем, он с умыслом рассказывал что-либо необыкновенное из довоенной московской жизни, из приключений «правдистов», что меня, к его удовольствию, потрясало до икоты.

Но однажды и я его подразвлек. Случилось это там же, на Правобережной Украине, когда редакция, следуя за армией, переехала в очередное село. Войдя в отведенную для секретариата хату, я, как обычно, стал рассматривать образа, в которых мало что понимал, затем многочисленные фотографии на стенах, взятые под стекло в одной общей раме. Мое внимание привлекла самая нижняя коллективная фотография военных, над которыми было развернуто знамя. Присмотревшись к фотографии, я ахнул: узнал свою курсантскую роту из Смоленского военно-политического училища! Фотографировались мы на наружных ступеньках здания училища в день присвоения нам звания «младший политрук». Догадался, что на фотографии наверняка есть кто-то из этого дома. Кто же это?.. Вошла со двора хозяйка и поставила на скамейку ведро с водой. Не выдавая своего нетерпения, спросил у нее:

— Тут кто-нибудь из ваших есть? — и указал на фотографию.

Вытирая фартуком руки, женщина подошла к простенку, где висела рама с фотоснимками.

— Прятала их от немцев, как от огня,— она тяжело вздохнула и указала пальцем.— Вот сыночек мой.

— Вася Петренко?! — воскликнул я.

— Да... Вася...— женщина смотрела на меня широко раскрытыми глазами, губы у нее тряслись.

— Чего вы заволновались? Вот чуть справа я стою!.. Узнаете?

Женщина всмотрелась в фотографию, всплеснула руками и обессиленно опустилась на табуретку.

— Господи! — прошептала она.— Вы друг нашего Васи?!

— Два года вместе учились, в одной казарме спали,— мы не заметили, что у порога стоял неслышно вошедший Ушеренко.— Я только не помню, в какой округ получил он назначение.

— В Одесский... Перед самой войной письмо от него получили, в отпуск ждали... Не слышали ничего о Васе? — Она опять заохала, запричитала.

— Под Одессой там проще было,— уклончиво отвечал я.— У румын меньше техники, чем у немцев. Так что ждите писем. Вася, конечно, уже знает, что родные места освобождены.

Забегая вперед, скажу, что этот случай я несколько по-иному изобразил в своем романе «Война», перенеся события на пылавшую в войне Смоленщину и передав «свою роль» моему литературному герою старшему лейтенанту Ивану Колодяжному.

Ушеренко, вслушиваясь в наш разговор, решил, что я валяю дурака, и рассердился.

— Так не шутят, товарищ майор! — упрекнул он меня. Но когда всмотрелся в фотографию, изумленно воскликнул: — Потрясающе!.. Если бы кто рассказал о подобном — не поверил бы.

...Вечером было застолье. Откуда что взялось? Жареная курица, сало, картошка, соленья и литровая бутылка самогона. Мы сидели с Яковом Михайловичем в красном углу и дивились изобилию: ведь передовые войска сильно поубавили крестьянские запасы. В хату набились соседи. Оказалось, что они, прослышав о необыкновенном постояльце, сообща собрали столь богатую по тому времени снедь.

Угощая нас, мать Васи Петренко просила рассказывать все, что помню о ее сыне из училищной жизни. И я стал рассказывать, как ее Вася выводил меня на стрель-

бище за руку из дальнего оцепления, где от безделья и по дурости я посмотрел в бинокль на солнце, обжег себе глаза и на время ослеп, как мы с ним в санчасти настукивали на термометрах температуру, чтобы хоть день-два отдохнуть от утомительных занятий на лютом морозе, приписывал Васе участие во всяких занимательных событиях, которые случались в училище. Словом, пошли в ход и небылицы: хотелось угодить расчувствовавшейся женщине. А у самого закрадывалась тревога — так обычно вспоминают о покойниках...

До сих пор не знаю о судьбе Васи Петренко. Из училища нас выпустили в конце мая 1941 года полторы тысячи человек (три батальона политработников). А после войны по картотеке партучета Политуправления Сухопутных войск я выяснил, что из них уцелело всего лишь около двух десятков. Кое-кто побывал в немецком плену.

Итак, привычка рассматривать в каждом новом доме фотографии на стенах закрепилась у меня, как у пса условный рефлекс. Переехав в очередное село и обосновавшись в доме, отведенном под секретариат редакции, я пытливо изучал все, висевшее на стенах, хотя на новую неожиданность не надеялся. Однажды обратил внимание на два крупных, очень сильно и неумело отретушированных фотопортрета в рамках над кроватью. Нетрудно было догадаться, что на них запечатлены молодожены. У него — лицо с сильным, квадратным подбородком, широко открытыми нагловатыми глазами, у нее — растерянная, в чем-то жалкая улыбка, висячие сережки в ушах, гладко причесанные волосы. Узнал в ней состарившуюся хозяйку дома. И спросил у нее, показывая на портрет:

— Муж воюет?

— Да, на фронте... Как освободила нас Красная Армия, так сразу всех хлопцев и мужиков, кто оставался в оккупации, мобилизовали,— и заплакала.

— Чего же плачете? — спросил я, ощутив неприязнь к ее мужу из-за того, что он до сих пор отсиживался дома.

— Их сразу в окопы погнали — кто в чем был одет... Говорят — начальство придумало им такое наказание за то, что в армии не служили и в партизаны не подались.

Верно, мне приходилось видеть целые колонны на-

правлявшихся на передовую мужиков и молодых парней, одетых кто во что — в свитки, кожухи, фуфайки... К этому времени уже крепко залегла зима.

— Переоденут в полках, не беспокойтесь,— не очень уверенно ответил я плачущей хозяйке.— И ничего с вашим мужем не случится,— я еще раз всмотрелся в фотопортрет.

Перехватив мой взгляд, хозяйка вытерла уголком платка, которым была повязана, слезы и настороженно спросила:

— А вы что, умеете угадывать?

— Трошки умею,— внутренне развеселившись, я взял для пущей важности ее руку и посмотрел на ладонь.— Ну, может, рану получит. Небольшую.

Действительно, еще в первые месяцы войны, находясь на передовой, я со страхом обнаружил в себе способность угадывать, кто из окружавших меня людей может погибнуть в назревавшей атаке, в очередном бою. Угадывал по их глазам с пустоватым взглядом, по проступавшей землистости на лице, заторможенности мысли и даже по замедленным жестам. Когда сбывались мои предсказания, а сбывались они почти всегда, я всматривался в крохотное зеркальце на свое лицо... Никому не сознавался в способности предчувствовать да и не был уверен, что оно действительно во мне присутствовало более, чем у других (подозревал, что не я один обладаю такой способностью). Но говорить об этом в окопах было не принято. И понимал, что прослыть вещуном — значит породить к себе неприязнь и боязнь. Тем не менее перед каждым боем с замиранием сердца всматривался в свое отражение в зеркальце, которое всегда носил с собой.

На фотографии же я видел пышущее здоровьем лицо мужика, поэтому и позволил себе успокоить хозяйку дома, не подозревая, что это приведет к неожиданным последствиям.

Через несколько дней случилось вот что. Возвращался я на попутном грузовике в редакцию с передовой или из первого эшелона штаба армии. При въезде в село, где располагался второй эшелон, машина остановилась перед шлагбаумом у контрольно-пропускного пункта. Пока проверяли документы, я глядел на группку мужчин в гражданской одежде и с белеющими повязками; понял — легкораненые идут в госпиталь, который

находился по соседству — в ближайшем селе. Вдруг в одном из них узнал хозяина хаты, в которой располагался наш секретариат. У него была забинтована правая рука, не просунутая в рукав. В моей памяти «сработала» фотография! И не трудно было догадаться, что по пути в госпиталь он зайдет домой.

Машина тронулась с места, поехала по улице, вдоль которой километра на три раскинулось село. Я остановил грузовик против дома, соседствовавшего с редакцией отдела снабжения политотдела, решил с его начальником майором Шерстинским какие-то дела, а затем потопал к себе. Войдя в дом секретариата, увидел, что хозяйка растапливает лежанку.

— Топите получше,— весело посоветовал я ей,— а то придется, наверное, хозяина отогревать.

Женщина вопросительно уставилась на меня испуганными глазами. А в меня будто бес вселился: я взял ее руку, внимательно стал рассматривать ладонь.

— Верно, скоро будет,— сказал я.— Почти уже на пороге хаты... Только не пугайтесь, он ранен... Не пойму, в левую или правую руку... Кажется, в правую. Вижу белую повязку...

— Ой, не обманывайте меня! Хотя бы похоронка не пришла, и то слава Богу,— женщина почти причитала.— Знаете, сколько уже в селе похоронок?!

— Хотите верьте, хотите нет,— сказал я и отлучился из хаты в наборный цех.

А когда вернулся, увидел сидевшего на лежанке счастливо улыбающегося хозяина. Возле него стояла жена, заплаканная и потрясенная. Обернулась ко мне, и я увидел в ее глазах такое, что испугался: крайнее изумление, даже ужас...

Стал оправдываться: мол, не ворожей я. Просто увидел хозяина на въезде в село и пошутил.

— Не морочьте мне голову,— приходя в себя, сказала хозяйка.— Вы еще два дня назад сказали, что он появится дома.

— Ну и что? Совпадение!

— А не очень тяжелая рана — тоже совпадение?

— Конечно! — И я опять начал шутить: — Звезды подсказали! Если ночью со знанием дела смотреть в небо — там все видно....

Почти целую ночь пропадал я в наборном и верстальном цехах. Спать лег на рассвете — после того, как был

подписан в печать очередной номер газеты и пока не захлопала железными внутренностями печатная машина. Но спать долго не пришлось. Ранним утром проснулся от непонятного галдежа за окном хаты. Донесся приглушенный голос хозяйки:

— Тихо, жинки, товарищ майор еще спят!

Я выглянул в окно, однако оно были замуровано морозными узорами. Почувствовав неладное, быстро оделся. И, зная обычаи украинского села, стал догадываться, что произошло.

Скрипнула дверь, вошла хозяйка. Увидев, что я уже застегиваю на себе шинель, она оживленно затараторила:

— Хотела проводить своего в госпиталь, а их целый двор набился!

— Кого?

— Да я же говорю — баб! Прослышали, что мой появился дома и что наворожил о такой оказии квартирант... А у всех же в селе кто-то на фронте! Муж, сын, брат, батька... Выйдите к ним, будь ласка! Хоть в шутку что-нибудь погадайте.

Мне уже было не до шуток. А хозяйка настаивала:

— Да не задаром же. Принесли — кто бутылку, кто яички, сальце, орехи...

— Сенная дверь на скотный двор открыта? — спросил я со всей строгостью.

— Открыта...— Хозяйка была в растерянности.

— Я уйду из хаты через нее, а вы скажите бабам, что никакой я не ворожей! Случайно все получилось! Я и с вами шутил! — Тут же кинулся в сени, а из сеней к хлевам и через огород к типографским машинам.

Хорошо, что в селе не знали меня в лицо. И хорошо еще, что старшина Дмитриев раньше времени не прослышал о «налете» женщин на дом секретариата, а то непременно собрал бы богатый «оброк».

22

Во время Корсунь-Шевченковской битвы, в которой участвовала наша 27-я армия, редакция «Мужества» располагалась в селе Лука. Страшные это были дни. Немецкая группировка, состоявшая из десяти дивизий, одной бригады, несколь-

ких артиллерийских, танковых и инженерных частей, вначале была окружена не сплошным кольцом. Враг нащупывал разрывы и пробивался на юг, юго-запад, на север. Двенадцатого февраля у нас объявили тревогу: стало известно, что в направлении Луки движутся немецкие танки. Приказ был жестким: всеми наличными силами устроить танкам засаду. Нам еще придавалась трофейная рота. Об этом эпизоде впечатляюще рассказал Яков Ушеренко в АПНовской многотиражке 24 апреля 1975 года, в дни подготовки к тридцатилетию Победы. Но что мы, газетчики, полиграфисты, шофера и трофейщики, могли сделать, зарывшись в осевший снег с бутылками зажигательной жидкости, противопехотными гранатами, винтовками и автоматами? Этим слабосильным отрядиком командовал я с полным пониманием нашей беспомощности. Да и как было угадать, где пойдут танки?.. Слава Богу, они не появились вовсе. Потом мы узнали, что то был отвлекающий маневр немцев, а главный их удар наносился в направлении Лисянки с целью соединения со своими танковыми дивизиями, яростно атаковавшими наш внешний фронт. Но продвижение врага извне было приостановлено, а из «котла» он пробился в район Шендеровки, сократив расстояние к линии внешнего фронта до десяти — двенадцати километров. В эти дни наша 27-я армия была переподчинена командованию 2-го Украинского фронта. Она с 10 по 12 февраля отбивала в районе Шендеровки, Стеблево упорные, местами психические, атаки пехоты и танков неприятеля, который пытался прорваться через шендеровский коридор и соединиться со своими частями, атаковавшими из района Франковки и Бужанки.

Середина февраля... Погода была изменчивой: то резкая оттепель с туманами, то ударял морозец, создавая крепкий снежный наст. По нему, по насту, покинув место нашей засады, мы скатывались с увала, высоко поднимающегося над Лукой... Именно прочность наста спасла в эти дни от гибели Семена Глуховского, который из-под Шендеровки возвращался в редакцию напрямик по бездорожью, не подозревая, что шагает по минным полям.

А тем временем редакция «Мужества» оказалась в полной изоляции Телефонная связь не работала. Мы не знали обстановки в войсках. О чем писать в передовых статьях, к чему призывать наших окопных читателей,

какие давать «шапки»? Наши корреспонденты, находившиеся в районах боев, не давали о себе ничего знать.

Подполковник Ушеренко приказал мне «седлать» шофера Поберецкого и на его полуторке съездить в Баранье Поле, где находился командный пункт армии. Надо было хотя бы разыскать Сергея Сергеевича Смирнова, Семена Глуховского и побывать в политотделе. Впрочем, искать корреспондентов в боевых порядках войск, да еще во время жестоких боев,— дело безнадежное. Пути их были неисповедимы.

В Бараньем Поле зашел в политотдел. Инструктор информации майор Филин дал мне полистать политдонесения из дивизий за прошлый день. Читать их было страшновато: в донесениях виделись не бои, а мясорубка. И понял, что надо ехать в село Джурженцы — там оперативная группа командарма Трофименко, и кое-что, отражавшее ход боевой операции, можно узнать там.

Увиденное по пути в Джурженцы леденило кровь. Справа и слева от дороги, сколько видел глаз, вповалку лежали мертвые немцы, лошади, топорщились стволами искореженные и раздавленные пушки, темнели остовы сгоревших танков и грузовиков. Снег и проталины были черны от копоти... Действительно, война — самое кровавое слово. Это подтверждали каждый метр бугристой местности и дымящиеся в пожарищах села...

В воздухе было полное превосходство нашей авиации. По разбитым колеям растянулась вереница саней и машин. Не было привычной настороженности. Навстречу шли санитарные автобусы, ехали пароконные розвальни с ранеными. При въезде в Джурженцы (о, чудо!) я увидел «голосующего» на обочине дороги Сергея Смирнова. Шофер Поберецкий затормозил полуторку и окликнул его. Смирнов скорыми, широкими шагами обрадованно подошел к машине. Шапка-ушанка на нем не была подвязана, и ее поднятые «уши» болтались в такт шагам. Ремень с полевой сумкой и пистолетом на расстегнутой шинели сползли вниз. Во всем его виде проглядывал человек сугубо гражданского покроя.

— Зачем ты приперся сюда? — со смешком спросил у меня Сергей Сергеевич.

— За материалом.

— У меня полный блокнот этого добра!

— Ну, начальству показаться... Доложить...

— Поехали назад! Начальству не до нас...— Смирнов, став на колесо и ухватившись за борт кузова, легко перекинул свое долговязое тело в машину. С подножки грузовика я увидел, что Сергей Сергеевич тут же занялся делом: телефонным кабелем начал прикручивать оторвавшуюся подметку.

— Кругом полно убитых,— подсказал я ему.— Сними нужного размера сапоги. Зачем такие страдания?

— Не могу,— понуро ответил он.— Да и для моих ножищ долго искать придется.

Джурженцы были заполонены различными штабами. На окраине села — огневые позиции артиллерии и минометов. Недалеко от узла связи замаскировались «катюши». Близился трагический для гитлеровских дивизий финал Корсунь-Шевченковской битвы, названной историей «вторым Сталинградом». Не вняли фашистские генералы предложениям нашего командования приказать немецкому воинству сложить оружие и понапрасну не проливать своей и нашей крови...

Воистину: когда слепнет дух, разум лишается силы...

Драматическое действие (по Гегелю) должно состоять из ряда подвижных и преемственных картин, в которых изображается борьба между живыми мирами, добивающимися противоположных целей. Сию верную формулу надо помнить каждому, кто пишет о войне. Но как ее придерживаться, если «драматическое действие» боевой операции полыхает на огромном пространстве, а ты находишься, в лучшем случае, на одном из тысяч огненных пятачков, пусть он и представляется тебе самым главным в сражении. Только фантазия да последующее обозрение поля боя могут помочь представить степень накала отгремевшей битвы и ее слагаемые. Именно в таком положении оказывались фронтовые газетчики: видели кусочек поля боя, кое-что постигали от старших командиров и генералов, оснащали свои статьи, корреспонденции эпизодами, рассказанными солдатами и сержантами. И все равно о проведенной операции в целом имели смутное представление.

Мне лично взглянуть в целом на ход Корсунь-Шевченковской операции удалось только после войны в адъютантской аудитории. И будто заново стал переживать виденное на фронте.

...27-я армия, взаимодействуя с 4-й гвардейской ар-

мией, 15—16 февраля безуспешно пыталась уничтожить окруженную группировку противника в районе Шендеровки и Стеблево. Немцы сосредоточили там основную массу своих войск и, неся огромнейшие потери, непрерывно контратаковали, пытаясь вырваться из котла. Это была чудовищно кровавая битва. В ночь на 17 февраля гитлеровское командование, поставив в авангарде дивизию СС «Викинг», за ней мотобригаду «Валлония» и наиболее боеспособные части двух пехотных дивизий, обрушило эту мощную силу на позиции нашей 180-й стрелковой дивизии, пробиваясь к Джурженцам. Дивизия и поддерживавшие ее части ударили по атакующему врагу из всех видов оружия. Залпы с открытых позиций наших пушек проламывали сквозные бреши в густых, многоэшелонных цепях врага. Каждую минуту сражения гибли целые немецкие роты... И все-таки врагу удалось прорваться сквозь наши боевые порядки и выйти в лес южнее и юго-западнее Комаровки. Окруженные надеялись соединиться со своими войсками, штурмовавшими нашу внешнюю оборону. Тщетная это была надежда: командующий 27-й армией генерал-лейтенант Трофименко со своим штабом сумел вовремя перегруппировать силы и нанести неотразимый удар по врагу с двух направлений.

Тогда немцы решились уже на полное безрассудство: построившись в колонны и обняв друг друга, они ринулись в последнюю «психическую» атаку — на бившие по ним прямой наводкой наши «катюши», стрелявшие картечью пушки, на лобовой пулеметный шквал. Это была предсмертная агония обреченных. Мокрая снежная пурга, яростно ворвавшаяся на поля битвы, накрывала их погребальным саваном. Оставшиеся в живых поднимали руки... Корсунь-Шевченковская битва закончилась.

Весна 1944 года была бурной и яростно нетерпеливой. Ночные заморозки обессилели уже в феврале, а в начале марта вовсе растворились во влажном воздухе. Реки залпами орудий разрывали на себе ледяной панцирь: он чернел, бугрился и вздыбливался. Колеи дорог теряли очертания, наполнялись водой и, раскисая, становились непроезжими. Освободились из-под снега зеленя и тут же покрылись черными и рваными полосами — по ним пытались пробиться на запад грузовики и танки. Первенство было за американскими студебек-

керами — они шли по пашням, будто мощные катера по ледяному крошеву вскрывшейся реки. Танки оставляли за собой наиболее глубокие следы, в которые тут же с журчанием набиралась вода. В один из таких следов, выбирая дорогу для наших типографских машин, ступил шофер Новиков и оказался по пояс в болотной жиже.

Продолжала наступление 27-я армия. Во взаимодействии со 2-й танковой и 5-й гвардейской танковой армиями она смела оборону врага на участке Рубаный мост, Чемеринское, Чижовка и вышла на берега речки Горный Тикич. Пехота форсировала речку на подручных средствах, танки переправлялись вброд, иногда всем корпусом ныряя под воду. Пушки перетаскивались на противоположный берег тоже по дну реки тросами, концы которых крепились за хвостовые крючья танков и студебеккеров. Это была невиданная еще переправа! После нее наши войска стали преследовать немцев в направлении Умани, Христиновки и дальше на запад. Решительно сбивали их с очередных оборонительных рубежей, форсировали Южный Буг, а затем и Днестр....

23

Типографские машины продвигались по раскисшей дороге с черепашьей скоростью. Справа и слева нас обгоняли шедшие пешком, увязая по колени в грязи, женщины, подростки, старики. Кажется, от горизонта до горизонта растянулись черные ожерелья людей. В мешках, в платках, завязанных за спиной, или просто в руках они несли в направлении фронта снаряды, мины, ящики с патронами и гранатами. В этом скорбном шествии нередко виднелись навьюченные лошади и пароконные повозки. После войны я узнал, что более шести тысяч местных жителей помогали снабжать по бездорожью нашу 27-ю армию.

Нелегко было сидеть и рядом с шофером в кабине грузовика, непроизвольно напрягаться, чувствовать, как надрывается мотор, буксуют колеса, а дифер скребет размокший грунт между колеями. Водитель Федя Губанов то и дело переключал скорость, раскачивал останавливающуюся машину, вытирал рукавом фуфайки взмокший лоб. Сержант Губанов — чернобровый, смуг-

лолицый красавец, скупой на слова. Помню, что родом он из смоленских краев, и не забываю его — спокойного, доброго нрава, его безотказности и старательности во всем. Хорошие люди всегда оставляют след в душе. И еще помню трудягу Сайченко, которого я сманил из Москвы на фронт, помню рыжего силача Новикова, тощего Поберецкого, проворного в деле Гулая... В эти дни они были у нас главными фигурами. Но не помог их энтузиазм. Наши машины намертво влипли в черноземные хляби полевой дороги.

Что же делать?.. Положение казалось безвыходным. Подполковник Ушеренко даже почернел лицом от душевной сумятицы. Собрал «военный совет» в автобусе наборного цеха. Заменивший майора Яскина на посту начальника издательства капитан А. С. Турков убеждал всех, что, если он даже сумеет упросить обгонявших нас танкистов взять машины на буксиры, ничего не получится. Машины будут разорваны. Развернуть типографию в поле невозможно да и бессмысленно. Нужен был свежий материал для газеты, а главные его поставщики Семен Глуховский, Анвер Бикчентаев, Нафанаил Харин и Давид Каневский на броне попутных танков умчались в сторону Днестра. Продовольствие у нас тоже кончилось.

В совещании кроме Ушеренко, Туркова, старшины Дмитриева и меня участвовали заболевший ангиной Сергей Смирнов, военный цензор Михаил Семенов и задержанный в редакции для особых поручений Вениамин Горячих. Все согласились на единственно разумное решение: бросить машины, оставив при них шоферов во главе с начальником издательства капитаном Турковым, а всем остальным идти пешком на запад, в направлении Христиановки, а потом Вапнярки, от которой пролегала шоссейная дорога к Могилев-Подольску, куда мы должны были прибыть. В Вапнярке нетрудно будет сесть на попутные машины... А в Могилев-Подольске, возможно, уцелела районная типография, отыщется какое-то количество бумаги и там удастся пронолжить выпуск нашей газеты «Мужество», пока не подсохнут дороги и не вырвутся из болотного плена ее типографские машины.

Итак, навьючившись самым необходимым, двинулись мы в пеший путь по полному бездорожью. Каждый километр, а их впереди более трехсот, мы преодолевали

пока примерно за час. Цепочка газетчиков, девушек-наборщиц, корректоров, печатников, других специалистов (радист, машинистка, экспедитор) растянулась на несколько сот метров. Шли по залитым водой следам, оставленным студебеккерами, чтобы к нашим сапогам меньше приставало чернозема. Но сапоги все равно были пудовыми. Через каждые десять — пятнадцать метров мы останавливались и, яростно дрыгая ногами, чуть-чуть отряхивали с них липкий груз. Вокруг была голая степь. А у людей появлялась то малая, то большая нужда — нигде не укроешься. Мужчины с малой нуждой управлялись без особой трудности: тайком, откинув полу шинели, брызгали впереди себя. А девушки и женщины?.. Мы, с офицерскими погонами, будто придурки, почему-то не озадачивали себя этим. После войны Герой Советского Союза писательница Ирина Левченко (я был редактором в Воениздате ее первой книги) со смущением рассказывала мне, что и при крупных передислокациях войск, на привалах колонн, особенно зимой, иные командиры не догадывались подать команду: «Мужчинам направо, женщинам налево»... или наоборот. И санитаркам, военным фельдшерицам (Ирина Левченко была танкистом) от безвыходности приходилось мочиться прямо в ватные штаны.

Не знаю, сколько километров раскисшей земли измесили мы в первые дни нашего похода. Местами я старался вести наш пестрый отряд напрямик, по азимуту, чтоб сокращать расстояния. Помню, прошли по полям, возвышавшимся над лежавшим в низине огромным селом Стеблев... Через какое-то время оказались на окраине Моринец и сделали там привал. Я почувствовал себя как во сне. Ведь Моринцы — село, где в 1814 году родился великий кобзарь Тарас Шевченко! Верилось и не верилось. Тут он сделал первые шаги по земле босыми ногами, недалеко отсюда, на полях Кирилловки, пас скот, батрачил, потерял мать, а потом отца, учился грамоте у сельского дьячка Богорского. Возможно, именно здесь появилось в душе и мыслях Тараса многое из того, что легло потом в его «Кобзарь»... Боже!... А, может, отсюда родом и «Катерина», о судьбе которой в детстве я и мой отец пролили столько слез... Все Тарасово началось здесь — и «Думы мои», и «Наймичка» и «Гайдамаки», и «Тарасова ночь», «Иван Под-

кова», «Марина»... Сердце мое было готово разорваться от нахлынувших чувств, а в памяти роились стихи Шевченко, будто написанные для сегодняшнего дня.

...Минають дні, минае літо,
А Україна, знай, горить;
По селах голі плачуть діти —
Батьків немае. Шелестить
Пожовкле листя по діброві;
Гуляють хмари, сонце спить;
Нігде не чуть людської мови;
Звір тільки вие по селу,
Гризучи трупи...

Стихи, стихи... Золотые зерна правды! Огнем пекут в груди знакомые, златокрылые строки и переливаются родной музыкой. Будто слышу звон струн бандуристов, плач души Украины, стон поруганной земли и боевые кличи запорожской вольницы...

Моринцы, святое место на земле, сейчас удручали убогостью и пустынностью. Черная, покрытая лужами улица, истолченная трава вдоль поваленных плетней, черные стрехи крыш, черные пожарища и будто обугленные деревья... Казалось, никогда не теплилась здесь жизнь и не на этой земле прорвались на волю родники шевченковской поэзии, ударив потом в набат, призывавший к свободе и братству...

Это о Тарасе через сто лет после его рождения произнесет удивительные слова Иван Франко:

«Он был крестьянский сын и стал князем в царстве духа. Он был крепостным и стал великой силой в совокупности человеческих культур».

Уходили мы из омертвевшего села Тараса молча. Я плакал в душе, хотя верил, что бессмертью принадлежит бессмертье. Несколько раз оглядывался на Моринцы, надеясь хоть что-нибудь увидеть из того, что написал Шевченко в повести «Княгиня»:

«И вот стоит передо мной наша бедная, старая белая хата, с потемневшею соломенною крышею и черным дымарем, а около хаты на причилку яблоня с краснобокими яблоками, а вокруг яблони цветник — любимец моей незабвенной сестры, моей терпеливой, моей нежной няньки! А у ворот стоит старая развесистая верба с засохшей верхушкой, а за вербою стоит клуня, окруженная стогами жита, пшеницы и разного всякого хлеба; за садом левада, а за левадою долина, а в долине тихий, едва журчащий ручей...»

Ничего не увидел. И подумал о том, что не только война изменила лик земли и песенность ее природы. Даже при крепостничестве в селах был уют и приметы счастья. Куда же все подевалось?.. Вспомнилась родная Кордышивка тридцатых годов, страшный голод, людоедство и тяжкий труд селян в полях и на фермах, за который они получали в лучшем случае двадцать копеек в день. Ведь это было куда хуже крепостного права... Да, тогда было пусть небольшое, но право. Право!.. Страшно, когда перед тобой возникают вопросы, на которые трудно ответить...

Мы шли дальше. Перед нами простирались незасеянные поля, заболоченные луга, тонущие в дымке всхолмленные дали.

Поздней ночью вышли на разбитую, разъезженную дорогу, приведшую нас в большое село. «Оккупировали» для ночлега пять просторных хат. Скудно поужинали — съели все, что удалось наскрести в наших «сидорах» (так называли тогда вещмешки с лямками, заменявшие ранцы). Отведали по нескольку вареных картофелин «в мундирах» из чугунка, который сердобольная хозяйка дома поставила на стол, хотя сами крестьяне жили впроголодь после того, как через их места прокатились отступавшие немецкие части; они «подмели» всю живность — скот, птицу... Потом нужна была помощь гнавшим врага к Днестру передовым войскам Советской Армии. Так что на долю наших вторых эшелонов оставались крохи или ничего не оставалось.

Смертельно усталые, мы, уступив девушкам единственную кровать, полати, лежанку, печь, улеглись на пол, устланный соломой, не подозревая, что эта ночь принесет нам величайшую неожиданность.

Работала у нас в печатном цеху малоприметная, тихая девчушка Саня Шевченко. Низкорослая, курносая, чернобровая, круглолицая — не красавица, но и не дурнушка. Не знаю, откуда она родом, как оказалась в нашей типографии. Была очень замкнутой, неразговорчивой. Одетая в ватные брюки, фуфайку, повязанная пуховым платком, она походила на колобок. Числилась в штате «Мужества», как и все девушки, вольнонаемной. Не было в редакции секрета о том, кто за кем ухаживает, кто кому отвечает взаимностью, кто по ком сохнет. Это больше всего касалось наших шоферов, молодых полиграфистов, меньше — корреспондентов, кото-

рые в редакции появлялись наездами, чтобы «отписаться». Саня же никому не позволяла за собой ухаживать, держалась так, будто ее не было вовсе, и словно нарочно ходила с испачканным типографской краской лицом Во время тяжкого дневного перехода Саня держала себя молодцом, не ныла и не проклинала болотную непролазь, как это слышалось от других девушек и даже от мужчин.

Спали мы беспробудно, не слыша ни мужского храпа, от которого, наверное, стекла в окнах дребезжали, ни возни и шепота на печке. И вдруг перед рассветом в доме загорланил... нет, не петух. Ребенок!.. Мне почудилось, что слышу я его во сне. Но ребенок продолжал кричать. Зашушукалась наша женская половина. Мужчины тоже все проснулись и очумело прислушивались к тому, что происходит на печке, где за ситцевой занавеской горела лампа.

Вдруг с печки раздался повелительный голос хозяйки:

— А ну все чоловики на улицу! Покурите там!.. Саня девочку родила...

— Как это — родила?! — хриплым со сна голосом испуганно спросил подполковник Ушеренко.

— Обыкновенно, как все рожают,— весело ответила хозяйка.— Как вас мать родила, как меня...

Через минуту мы, одетые и обутые, столпились во дворе у ворот. Молчали, каждый пребывая в шоке и с трудом осмысливая случившееся. Всем было непонятно, как это удалось Сане скрыть свою беременность? Как решилась она пойти с нами в далекую и тяжкую дорогу?... А если б родовые схватки наступили в пути, среди поля?..

— О чем молчим, господа офицеры? — вдруг невесело спросил Сергей Смирнов.

У меня сжалось сердце. Томило странное чувство, которое никак не могло соединиться с мыслью, оформиться в понимание чего-то важного. Видел, что и товарищи мои пребывали в состоянии потерянности. Ведь три года мы видели только смерть, страдания искалеченных людей, испытывали страх под обстрелами и бомбежками, а тут вдруг стали свидетелями рождения человека. Этим, наверное, можно объяснить, что мы потом так сердечно уговаривали Саню не стыдиться случившегося, хвалили ее за выдержку, равную истин-

ному героизму. Ведь и не вскрикнула в родовых муках! И родила девочку, которой предстоит быть продолжательницей рода человеческого, таявшего сейчас в жестокой войне.

А меня раскаленной стрелой пронзила еще одна мысль — почти суеверная: только-только мы побывали в Моринцах, где родился Тарас Григорьевич Шевченко, и вдруг такое совпадение — на свет Божий у Сани в этих же местах появилась девочка Шевченко, еще не имеющая имени. А если б мальчик?.. Чего только не преподнесет тебе воображение, как талисман волшебства... А вдруг Саня из одного рода с Тарасом Григорьевичем?.. И в памяти возникли будто провидческие стихи из бессмертной «Катерины» Тараса:

...Катерино, сердце мое!
Лишенько з тобою!
Де ти в світі подінешся
З малим сиротою?

Хто спитае, привітае
Без милого в світі?
Батько, мати — чужі люде,
Тяжко з ними жити!

Встал вопрос: что предпринять и как поступить в этой ситуации? Ведь дальнейшая судьба Сани и ее ребенка на нашей совести...

Мы продолжали стоять у ворот, дымя папиросами.

— Ну, так о чем молчим? — повторил свой вопрос Смирнов.— Человек же родился!.. Помните рассказ Максима Горького «Рождение человека»?

— Рождение человека — это хорошо, подарок природы,— мрачно откликнулся подполковник Ушеренко.— Но что теперь делать с этим подарком?

— Зачислить в штат редакции и взять на особое довольствие,— шутливо предложил я.— Могу составить проект приказа.

— Вот сам и подписывай этот приказ! — Ушеренко не принял шутки.— А как будем докладывать начальству? В политотделе и без того насмешек хватает: нашу газету переименовали из «Мужества» в «Замужество».

Все вдруг развеселились. Посыпались остроты:

— Теперь еще имеем роддом при редакции...

— И детские ясли...

— Значит, надо вводить в штатное расписание две новые должности.

— Зачем? Пусть редактор по совместительству будет заведующим роддомом...

— А секретарь возглавит детские ясли.

Из соседних хат начали выходить ночевавшие там «мужественники». Весть о том, что печатница Саня родила ребенка, воспринимали как очередной розыгрыш и похохатывали.

— Товарищ подполковник,— с притворной наивностью обратился старшина Дмитриев к Ушеренко,— а кто же отец ребенка?

Яков Михайлович вспылил:

— А мне откуда знать? Я недавно прибыл в редакцию! Из вас надо вытряхивать отцовство!

И тут мы все начали гадать: действительно, кто же отец новорожденной? Стали обмениваться мнениями. Полагали, что кто-то из полиграфистов. Но кто именно?

Задали такой вопрос выбежавшей из хаты Кате Анисимовой — наборщице. Она блудливо опустила глаза и ответила, что Саня не хочет говорить об этом и все время плачет. Сам же отец не объявлял себя, а может, его и не было с нами.

Постепенно до всех нас стала доходить драматичность сложившегося положения. Саня — член нашего коллектива. Можно ли ее с ребенком хоть на время оставить в чужом селе и у чужих людей? А потом что?..

— Иди потолкуй с хозяйкой и принимай решение,— приказал мне Ушеренко.— Ты же у нас хранитель печати.

Я боязливо зашел в хату, где коромыслом стоял пар: мыли в корыте новорожденного. Отозвав к порогу хозяйку, стал объяснять ей, что нам пора в дорогу. Но как быть с Саней и ребенком?

— Мы что, не люди?! — с возмущением ответила женщина.— Пусть побудет у нас до лета, с родней своей спишется... Но вот плохо с пеленками...

Главное было решено. Потом с согласия Ушеренко я приказал всем офицерам собрать для Сани деньги, у кого сколько имелось, достать из «сидоров» и отдать байковые портянки, не бывшие в употреблении, и чистые простыни... С какой готовностью все откликнулись на приказ, потроша карманы и вещмешки! Потом Таня Курочкина развернула пишущую машинку, и я продиктовал ей всевозможные документы: справку о том, что

Саня Шевченко доблестно служила в действующей армии, ходатайства в адрес председателя сельсовета и властей района оказывать Сане помощь (продовольственную, медицинскую, жилищную). Скрепил документы подписями, гербовой печатью...

Жалко, что не запомнилось название села, где мы оставили Саню *. И никто из нас, живых «мужественников», не знает, как сложилась ее судьба и судьба ее дочери. Правда, когда мы уже были в Румынии, в редакции поговаривали, что один из наших печатников будто бы переписывается с Саней. Но достоверности никакой...

Попрощавшись с Саней, которая так и не произнесла ни слова, редакция двинулась в дальнейший путь. Все было, как вчера,— непролазная грязь, пудовые сапоги, и мы гуськом волоклись сквозь легкий туманец, окутавший поля. Благо, что хоть облачное небо не грозило налетами немецких самолетов. Была бы для них немалая пожива, ибо рядом с нами тянулась нескончаемая вереница крестьян — пеших и на подводах,— доставлявших фронту боеприпасы.

24

Всех нас донимал голод, а впереди — многие десятки километров пути. Я чувствовал вину перед товарищами. Как же так? Идем мы по родной мне Украине, в одном месте даже пересекли узкоколейную железную дорогу Гайворон — Винница, которая севернее проходила через мое родное село Кордышивку, и я ничем не могу помочь в нашей беде. Вспомнил, как в селе, которое редакция недавно покинула, меня приняли за ворожея и во двор нашего секретариатского дома набилось полно женщин с различной снедью. А ведь и через то село прокатился прожорливый фронт. Значит, крестьяне сумели кое-что припрятать от немцев да и от нашего воинства. Знал я украинскую натуру — добрую, щедрую, но, разумеется, до определенного предела. Когда семье грозит голод, как тут не проявить изобретательности? Чаще всего помогала матушка-земля, в которую можно было зако-

* Когда я читал рукопись Я. М. Ушеренко, в этом месте он воскликнул: «То было село Жерновка!» — *Примеч. авт.*

пать нужные для пропитания запасы. Да находились и другие потайные места. Во время коллективизации, когда рьяные активисты села и районные уполномоченные под метелку изымали у селян зерно, мой отец соорудил в сарае вторую стенку и между стенками спрятал два мешка ржи. Но и там нашли и конфисковали!.. А когда однажды гнал самогонку и по чьему-то доносу нагрянула милиция, успел вылить готовое спиртное в два ведра, вынести их из кухни и поставить на виду среди двора. Милиция перевернула вверх дном хату, чулан, сарай, но самогонку не обнаружила.

И я решил в нашем бедственном положении тоже блеснуть находчивостью, пусть она меня и не украшала. Когда под вечер на нашем пути оказалось очередное село и мы втянулись в его длинную улицу, я предложил всем остановиться и ждать дальнейших моих распоряжений. Сам же зашел в дом, который выглядел побогаче. Пожилая и тощая хозяйка сидела за прялкой, а на лежанке играла с самодельной куклой косоглазая девчушка лет шести, как потом оказалось, ее внучка. Мое появление в хате не произвело особого впечатления на ее обитателей, видимо, уже привыкших к визитам военных. Поздоровавшись, я устало заговорил по-украински, при этом деловито осматривая горницу.

— Как поживаете? — немощно спросил я.

— Как горох при дороге,— с безразличием ответила хозяйка, продолжая крутить прялку.— Кто не идет, тот и сорвет.

— Значит, есть что сорвать? — я чуть оживился.

— Соседи уже набрехали?! — хозяйка остановила прялку и положила на скамейку веретено с пряжей. Смотрела на меня выжидательно.

— Для соседей тоже хватит постояльцев,— уже деловито ответил я.— Нам только на одну ночь.

— А сколько человек?

— Сколько поместится на полу?.. Человек пятнадцать — двадцать?

— Да побойтесь Бога! Мы же тут задохнемся!

— Не задохнемся! Солома найдется, чтоб подстелить?.. Но главное, надо покормить людей. Хоть чем-нибудь. Распутица же! Тылы наши отстали, а мы голодные, как волки. Еле ноги волочим. Упадем на дороге — грех на вашей душе...

— Креста на вас нет! — хозяйка почти заголосила.—

Как я могу накормить двадцать человек?! Немцы все что могли сожрали, полицаи грабили, потом наши пришли — тоже не церемонились.

Я присел на лавку и стал изрекать какие-то банальные истины о том, что вся страна воюет, пора кончать с Гитлером и без помощи народа нам не сдюжить.

Хозяйка примолкла, стала прикладывать к глазам фартук. Я тоже укротил словоизречения и болезненно сморщил лицо, изображая свое глубокое сочувствие ей. Потом вздохнул, встал и направился к двери. У порога остановился и строго сказал:

— Ладно, вижу, что живете тяжело. Поставлю вам на ночлег только троих офицеров, но покормите их!

— Ой, спасибочко вам! — Лицо хозяйки посветлело, она заулыбалась.— Постараюсь, чтоб были довольны!

— В чьи хаты еще можно поставить людей?

Хозяйка вышла со мной на подворье и охотно указала на дома, в которых, по ее словам, живет кое-какой достаток.

А на улице толпились «мужественники» и смотрели на меня через ворота с напряженным нетерпением.

— Подполковник Ушеренко и старший лейтенант Смирнов!— приказным тоном сказал я.— Заходите в дом и располагайтесь! — Затем обратился к хозяйке:— Третьим буду я!

Она в ответ благодарственно поклонилась.

Точно такую же бессердечно-авантюрную сцену пришлось разыграть еще в нескольких домах, пока не расселили по два-три человека всю нашу изголодавшуюся редакционную братию.

Когда вернулся в «свой» дом, увидел сидящих за столом Ушеренко и Смирнова. На столе, в огромной сковородке, дымилась яичница с салом и стояла литровая бутылка с сизым самогоном. У меня подкосились ноги — еле дошел я до стола и уселся на табуретку. Хозяйка уже подносила мне стакан мутной жидкости...

На другой день мы, отоспавшиеся и сытые, продолжали путь. Совсем другое настроение стало у «мужественников»... Да и появился «метод» остановки на ночлег....

Через день-два кончились болотные хляби: мы вышли на железную дорогу Христиновка — Вапнярка.

Правда, видом дороги были потрясены. Шпалы между рельсами разломаны пополам и наискосок вздыблены — в ту сторону, в какую паровоз-диверсант тащил за собой своеобразный мощный «плуг». Естественно, и рельсы были сдвинуты друг к другу.

Нам зашагалось легче... Пришли наконец на станцию Вапнярка, лежавшую в развалинах. Но мы к развалинам привыкли. Потом добрались до шоссейной дороги, где военные регулировщики стали рассаживать нас на попутные машины, шедшие в направлении Днестра.

В Могилев-Подольске редакция «Мужества» разместилась в каком-то казенном помещении. Были решены наши бытовые проблемы. И все мы испытали огромную радость оттого, что на базе местной типографии продолжили выпускать газету. Правда, она была по формату наполовину меньше и печаталась на зеленой бумаге, раздобытой за Днестром — в Атаках, в какой-то частной типографии. Мы полагали, что совершили великий подвиг, не отстав от наших войск. Ведь и при отсутствии собственной полиграфической техники «Мужество» продолжало свою жизнь.

Но через какое-то время наша радость и наша гордость были перечеркнуты суровым приказом начальника Главного политического управления Советской Армии. В нем объявлялся выговор редактору «Мужества» подполковнику Ушеренко за нарушение периодичности выпуска газеты и изменение ее формата...

Нашему потрясению не было предела. Зная, что в армии коллективные жалобы осуждаются, все-таки намерились писать протест Сталину. Однако наш пыл легко усмирил Ушеренко, заявив на редакционной летучке:

— Запомните раз и навсегда: Москва своих приказов не отменяет!

25

Далее наш путь пролегал через северные районы Молдавии. Добротные дороги, живописные села, не очень затронутые войной: советские войска наступали здесь стремительно, не давая немцам закрепляться на оборонительных рубежах.

Молдавские села действительно поражали своей непохожестью на украинские. Стены их жилых домов, от крыш до завалинок, были разрисованы красочными пейзажами или крупными цветами, обрамлявшими окна и двери. Ворота и калитки представляли собой искусные металлические плетения. Над заборами — распятия виноградных лоз, а во дворах, среди абрикосов, вишен, груш — грядки под цветы и овощи. Райским краем запомнилась мне Молдавия, да еще щедростью ее людей. Нас угощали молоком, медом, вином, сушеными фруктами. Было радостно смотреть, что не хватило у войны алчности перемолоть всю красоту земли, сломить души людей, и было грустно вспоминать все то, что видели мы в России и на Украине, где бои почти ничего не пощадили.

Наша типографская автоколонна, вырвавшаяся из вязкого черноземного плена Украины, настигла нас в Молдавии. В ночь на 27 марта, остановившись в одном из северных молдавских сел, мы печатали газету с приказом Верховного Главнокомандующего о выходе 26 марта войск 2-го Украинского фронта на реку Прут, по которой проходила Государственная граница СССР с Румынией. В приказе назывались войска 27-й армии генерала С. Г. Трофименко, 52-й армии генерала К. А. Коротеева и 40-й армии генерала Ф. Ф. Жмаченко. Но все наши штабисты и политотдельцы убеждали нас, что первыми среди первых государственную границу оседлали войска 27-й армии, перенеся военные действия из пределов нашего государства на территорию врага. Такую информацию получил и подполковник Ушеренко от заместителя начальника оперативного отдела подполковника В. А. Игнатенко, лично летавшего в соединения на По-2 с командиром эскадрильи связи майором А. Я. Джеваго для сбора необходимых данных. Она оказалась верной.

Это были дни нашего торжества. Все ходили с посветлевшими лицами, в добром настроении. На мой призыв дать для первой полосы газеты броскую шапку или оригинальное четверостишие в «шпигель» откликнулись главным образом шофера и полиграфисты, так как все газетчики были в войсках. Некоторые «плоды творчества», появившиеся в секретариате редакции, запомнились:

Дайте вилку и стамеску,
Я зарежу Антонеску!..

Были и более оригинальные:

В Молдавии идет дождь,
В Румынии склизко.
Утекайте, постолы,
Бо сапоги близко!

Имелось в виду то обстоятельство, что многие румынские солдаты в то время носили постолы.

Находились также скептики, утверждавшие:

Курица — не птица,
Румыния — не заграница.

Вспоминаю, что когда-то в моем детском воображении заграница виделась как некий другой, не похожий на наш, мир, с другими людьми, животными, птицами, растениями. Казалось, что там все должно быть поиному, обязательно лучше, интереснее, удивительнее. Деревья — в сто раз толще, яблоки — с нашу тыкву, воробьи побольше петухов... До сих пор не понимаю, чем было навеяно такое представление. Правда, слышал от взрослых разговоры о том, что при царе многие наши люди уезжали на заработки в какую-то Канаду, в Америку и там оставались жить в роскоши, а бабка Платониха (жена Платона — старшего брата моего отца), окучивая на огороде, соседствовавшем с нашим, картошку, в голос проклинала безбожников, сбросивших с церкви колокола, и грозилась погибелью им, когда на помощь верующим придет «Хранция». И еще слышал, что дядька Иван — младший брат отца — хвалился, будто видел в Виннице на базаре живого, одетого по-пански, заграничного негра, у которого лицо чернее голенища хромового сапога. «Я даже перекрестился и сказал, что такого не может быть»,— уточнял дядька случившееся.

Мне очень весело было вспоминать эти былые детские фантазии, когда мы приближались к Румынии.

Вскоре увидели «заграницу». Румыны, вначале напуганные вторжением Красной Армии, постепенно приходили в себя, убедившись, что никто не чинит им зла. Добрые, сердечные люди... На какое-то время мы остановились в селе, кажется, Владений. В нем жителей не

было. Поселились в пустых домах, где страдали от обилия блох — наследства овечьих отар. Полынь, которую стелили себе в постель, не отпугивала насекомых. Тогда кто-то из «мужественников» придумал новое противоблошиное средство: класть в постель несколько зажженных электрических фонарей — света блохи не переносили. Началась охота за фонарями и батарейками к ним.

Удручало нас долгое пребывание на одном месте. Нам было неведомо, что Ставка Верховного Главнокомандования приказала нашим войскам, вышедшим на Прут и вступившим в северо-восточную Румынию, приостановить наступление, исходя из того, что Советское правительство еще 2 апреля 1944 года заявило о том, что СССР не претендует на захват румынской территории и изменение существующего общественного строя Румынии.

Представитель Советского Союза, чтобы избежать напрасного кровопролития, передал бывшему румынскому премьер-министру Штирбею, находившемуся с тайным визитом в Англии, условия перемирия. Антонеску и его клика, не приняв советских условий, объявили в своей стране новую тотальную мобилизацию... Наши войска начали готовиться к решающему наступлению, а неприятель стал группировать силы для могучего контрудара.

С конца мая и по 10 июня объединенные части противника пытались отбросить наши войска за Прут. Бои не прекращались ни днем ни ночью. 10 июня наступило затишье, предвещавшее еще более упорные бои. Советское военное командование завершало подготовку Ясско-Кишиневской операции, в которой нашей 27-й армии предстояло выполнить одну из главных задач в составе 2-го Украинского фронта — прорвать мощную оборону противника и развивать наступление в направлении на Бакэу, Бырлад, Фокшаны... Именно поэтому наше политотдельское начальство и особенно новый член Военного совета генерал-майор Севастьянов Петр Васильевич сурово потребовали от «Мужества» ярких, «ударных» публикаций военного и пропагандистского накала, нарастающей боевитости и практической полезности. Что касалось партийной публицистики, то для ее усиления в редакции хватало мастеров. Один подполковник Ушеренко умел надиктовывать машини-

стке столь страстные передовые статьи, что им могла позавидовать и «Красная звезда». Сложнее было добывать профессиональные статьи «боевого» характера, хотя в редакции многие превосходно владели пером. Я как мог «вылущивал» из их писаний «военные зерна» — боевой опыт, практику ведения боя мелкими и средними подразделениями в разных условиях местности, подгонял под требования Боевого устава различные фронтовые эпизоды — действия разведчиков, стрелков, пулеметчиков, особенно артиллеристов, дело которых знал по собственному опыту. Но иногда испытывал свою недостаточную журналистскую подготовленность. Чувствовал стиль написанного, фразу, но не всегда глубоко и с пониманием мог вникнуть в смысл, оттенок и разнозначность русского слова. Короче говоря, я тогда еще мыслил в большей мере по-украински. Поэтому все время рвался с тяготившего меня поста ответственного секретаря газеты на корреспондентскую работу.

В это время из отдела пропаганды Политуправления фронта к нам для укрепления редакции прислали майора Пантелеева Ивана Яковлевича. Я стал подбивать Пантелеева, чтобы он сменил меня на посту ответственного секретаря, для чего требовалось согласие редактора и приказ начальника политотдела армии. (Иван Яковлевич, ныне доктор минералогических наук, живет в Москве, на пенсии.)

— Нет, напрашиваться не буду,— отказал в моей просьбе Пантелеев.— Мне надо вновь понюхать пороху на передовой, познакомиться с дивизиями армии. Хочу писать...

Тогда про себя я решил «поприжать» Пантелеева трудными заданиями, зная по собственному опыту, что если журналист часто попадает в смертельно опасные передряги, у него на какое-то время остывает пыл к поискам «приключений» на переднем крае.

Вскоре такая ситуация создалась. Планируя очередной номер «Мужества», я упустил из виду, что завтра — 18 августа, День Воздушного флота СССР. Его надо было отметить хоть каким-нибудь материалом, а точнее — дать заметку об эскадрилье связи 27-й армии (авиационного полка у нас уже не было). Эта эскадрилья время от времени выполняла и боевые задания.

Позвонив в штаб авиаторов, я объяснил заботу ре-

дакции и спросил, можно ли приехать к ним с надеждой получить какую-либо свежую информацию. Мне ответили утвердительно.

Была вторая половина дня. Погода стояла ясная. Вполне вероятно, что эскадрилья полетит ночью на бомбежку. Я, оставив на первой полосе место для небольшой заметки, решительно направился в дом, где обитал Пантелеев, чтоб немедленно послать его в эскадрилью, находившуюся совсем недалеко от штаба, и сегодня же дать в номер заметку о ней. Но у Пантелеева сидел в гостях член Военного совета фронта генерал-майор Гришаев Иван Максимович (они были друзьями), и я не посмел даже заикнуться о задании. Затем зашел к Смирнову. Тоже неудача: в его доме заседал кружок по изучению английского языка, который вела корректорша Наумова Наташа (на фронте и такое бывало!). Оставалась последняя надежда — Семен Глуховский. Застал его спящим: он только что вернулся с передовой. В редакции больше никого не было, кроме капитана Харина, но он дежурил по номеру и по нашему «гарнизону».

26

Разозлившись, я взял свой трофейный автомат, доложил подполковнику Ушеренко, что вынужден сам ехать за материалом, на что получил разрешение и даже согласие воспользоваться нашим «доджем» — новой американской машиной типа «виллиса», только помощнее, способной буксировать противотанковые пушки. Какими-то правдами и неправдами его выхлопотал у начальства капитан Турков.

В эскадрилье меня ждало разочарование: никаких ее полетов на бомбежки уже давно не было. Сегодня с наступлением темноты одному экипажу поручено разбросать листовки над вражескими войсками в районе Ясс. Я попросился взять меня на задание в качестве штурмана. Командир эскадрильи заартачился, но его сомнение развеял кто-то из авиаторов, запомнивших мои ночные полеты на Северо-Западном фронте с летчиками Гусевым и Головкиным (их в эскадрилье уже не оказалось).

Наступила темень, и мы полетели. Фамилии летчика

не помню, но она сохранилась в газете «Мужество» от 18 августа 1944 года. В мои обязанности входило, как и при былых вылетах на бомбежки, по команде летчика дернуть за шарики-концовки тросов, соединенных с чеками-держателями, только уже не бомб, а люков подвесных емкостей, начиненных листовками.

Осмотревшись в воздухе, я ахнул! Все пространство на нашей стороне, сколько охватывал глаз, было залито морем огней автомобильных фар. Никакой маскировки! Казалось, что автоколонны двигались не только по дорогам, но и по полям, лугам — благо местность была ровная. Такого скопления открыто движущейся к фронту техники я еще никогда не наблюдал. Мне тогда подумалось, что это была умышленная демонстрация силы, какой-то оперативно-тактический замысел, связанный с дезориентацией противника или психическим напором на него. Хотя после войны, когда я изучал Ясско-Кишиневскую операцию,— а это был ее канун,— нигде не нашел документальных подтверждений тому, что видел собственными глазами. Более того, в иных книгах утверждается, что соблюдалась строгая светомаскировка.

— Как же мы вернемся на свой аэродром?! — встревоженно спросил я у летчика через переговорное устройство, имея в виду, что взлетная площадка, с которой мы поднялись в ночное небо, была обозначена только тремя фарами.

— Найдем! — успокоил меня летчик.

Под нами — линия фронта. Никакими признаками она не обнаруживала себя. Разверзлась темень, и самолет будто увяз в ней и замер на месте. Внизу — ни одного огонька, ни одного выстрела с земли по самолету. Казалось, и время остановилось... Не помню, как долго мы углублялись в ночное пространство над территорией врага. Услышав команду летчика «Бросай!», я дернул за правый шарик. Потом послышалась вторая команда, и еще рывок троса.

Самолет развернулся и пошел в направлении далекого зарева за линией фронта. Летели мы не очень высоко — километра два или три над землей. Я во все стороны крутил головой, опасаясь нападения «мессершмитта», всматривался в землю. И вдруг заметил движущийся внизу синий лучик света. Стало ясно, что под нами дорога, а по ней едет автомобиль с замаскированными фарами. Указал на него летчику и спросил:

— Можно пальнуть из автомата?
— Пустое дело,— ответил летчик.
— Хоть попугаю!
— Ну, валяй.

Должен заметить, что на фронте все мы отличались жаждой стрелять по врагу. С пользой или без пользы, но руки тянулись к оружию, если появлялась цель. Сколько было впустую истрачено патронов для стрельбы по самолетам противника! Правда, случалось и не впустую, особенно когда вели залповый огонь.

Получив разрешение летчика, я высунулся за борт кабины и с упреждением дал длинную очередь по синему огоньку. Патроны у меня были с трассирующими пулями, и мне был виден их светящийся косой полет. Луч внизу тут же погас, но я наугад слал очередь за очередью, пока не почувствовал, что самолет внезапно содрогнулся.

Что случилось? Летчик молчал. Я сел на место, положил на колени автомат. И вдруг услышал яростную брань летчика:

— ...Твою мать!.. Ты же перерубил руль высоты!.. Как садиться будем?

Я ничего не понял, ибо не знал, что тросы, которыми управляется из кабины летчика хвостовое оперение, протянуты снаружи, вдоль борта самолета. Оказалось, что, ведя слишком отвесный огонь, я угодил по тросу...

Дальше летели молча. Для меня, растерянного и испуганного, впереди была полная неизвестность. Во-первых, не верилось, что летчик в море двигавшихся уже под нами огней сумеет разыскать три неподвижные фары, которыми обозначена площадка для приземления самолетов. Во-вторых, холодили душу услышанные от летчика слова: «Как садиться будем?»

Вскоре самолет наш лег на крыло и стал описывать круг: аэродром был найден. Еще круг — поуже, еще... С командного пункта взвилась в небо красная ракета: на земле не понимали, что с нами происходит. Вдруг я услышал, как работа мотора стала замирать, и ощутил, что мы падаем. Но мотор снова ожил, и самолет опять стал делать круг. Потом мотор замирал еще несколько раз, и мы опять падали...

В летном деле я ничего не смыслил и не мог точно объяснить себе действия летчика. Но когда мы плюх-

нулись где-то в стороне от посадочной полосы и остановились, пилот прокричал мне в ларингофон:

— Майор, поздравляю! Нам очень повезло!

Затем, увидев, что к самолету мчится газик, он добавил:

— Скорее исчезайте из эскадрильи и никому о случившемся ни слова! Сам буду выкручиваться!.. Не подведите меня!..

Не знаю, как «выкручивался» летчик, но я, выбравшись из самолета, побрел в темноту к своему «доджу», мысленно сочиняя заметку, посвященную Дню Воздушного флота. Вернувшись в редакцию, кое-как продиктовал машинистке Тане Курочкиной две странички текста и сдал их в набор. Назавтра вышла газета, но никто не знал, какой ценой был добыт материал для заметки на первой полосе о летчиках нашей эскадрильи связи.

27

У меня нет желания да и необходимости описывать ход классически осуществленной Ясско-Кишиневской операции, успешные бои 27-й армии, дальнейшее наступление войск 2-го Украинского фронта после того, как в Румынии победило народное восстание и ее армия повернула оружие против своего вчерашнего могущественного союзника — фашистской Германии. Это было немаловажное событие: двадцать румынских дивизий 6 сентября перешли в оперативное подчинение командующего 2-м Украинским фронтом.

Наступление 27-й армии набирало темпы. С 3 по 14 сентября ее войска продвинулись на 350 километров, освободив румынские города Питешти, Брашов, Сибиу, Себень, Альба-Юлия и другие.

В один из первых сентябрьских дней я по старой привычке позвонил на командный пункт заместителю начальника оперативного отдела подполковнику Игнатенко Виктору Антоновичу и попросился к нему на прием. Подполковник откликнулся резковато, сказав, что очень занят, но, после паузы, разрешил обратиться к его подчиненным и назвал фамилии двух капитанов, которых я помнил лейтенантами еще с Северо-Западного фронта. Они были моего возраста.

Вскоре я был на КП, в крупном селении с причудливым названием. Капитан Федор Иосифович Беребеня развернул на массивном столе топографическую карту с нанесенной обстановкой и стал объяснять мне задачи, которые решали в эти дни дивизии армии. А я, выслушивая его, «ел» глазами обозначения на карте, говорившие о ближайших боевых планах армии. То, что я понял, надо было держать при себе, но не хватило осмотрительности. И простодушно спросил у Беребени:

— Надо полагать, что мы с западного направления в ближайшие дни повернем на северо-запад и север и будем наступать в сторону Клужа?.. Перед нами Трансильвания, Трансильванские Альпы, Турда...

Капитан вдруг нервно сложил карту и встревоженно произнес:

— Я тебе ничего об этом не говорил! — Взяв карту с собой, он стремительно вышел в соседнюю комнату. Вскоре вернулся вместе с подполковником Игнатенко, который сердито спросил у меня:

— Майор, зачем вам сведения оперативного характера?! Хлеб вашей газеты — тактические действия подразделений не выше батальона!

Я сразу же понял причины тревог оперативщиков и миролюбиво ответил:

— Поставьте себя на мое место. Где предстоит действовать даже мелким подразделениям — в горах или на равнине, в лесу или на улицах города. Надо ли быть готовым к защите флангов и к противотанковой защите? А форсирование рек и речушек? А взаимодействия с румынскими частями?.. У газеты масса проблем. Мы их должны решать со знанием задач армии, в рамках, которые определяет нам военная цензура.

Возражать моим суждениям было трудно, однако подполковник сказал:

— Впредь обращайтесь за информацией лично ко мне...

Раздражение Игнатенко повергло меня в размышления. Вспомнился обаятельный старший лейтенант из армейской контрразведки (Смерш). Он часто сиживал у меня в секретариате, выкуривая по десятку папирос, иногда приходил на летучки, охотно соглашался на участие в застольях, которые тайком от подполковника Ушеренко изредка собирались в отделах редакции. Раньше я не придавал этому значения, догадываясь,

что старший лейтенант прикреплен к нам и наверняка имеет в редакции своих осведомителей. Даже догадывался, кто мог ими быть. Но никогда не предполагал, что контрразведка всерьез может интересоваться редакцией, хотя на памяти был арест на Северо-Западном фронте техника-интенданта Шилина — радиста, да и два случая, когда сам я имел пустяковые, как мне казалось, столкновения с работником особого отдела.

Но позже убедился, что сия служба в армии была поставлена серьезно. Это случилось в Венгрии, в городе Шальготарьяне, близ словацкой границы; из редакции внезапно исчез старшина Александр Харламов — наш всеобщий любимец, душевный и исполнительный хозяйственник. Был он молод, очень красив, мужествен и общителен. Поиски патрулей, запросы в госпитали не давали никаких результатов. И тогда старший лейтенант из контрразведки деликатно, однако весьма тщательно, произвел расследование в коллективе редакции и типографии. Правда, оно тоже ничего не прояснило, но все мы убедились, отвечая каждый в отдельности на вопросы старшего лейтенанта, что ему известна вся «подноготная» жизни нашего коллектива, все наши конфликты, симпатии и антипатии. В них контрразведчик пытался найти мотивы исчезновения человека... Не нашел. И до сих пор никому не известна судьба прекрасного парня старшины Саши Харламова.

28

Не знаю, поставлен где-либо памятник шоферам-фронтовикам? Если нет, то справедливость требует обязательно воздвигнуть его. Они в полной мере заслужили это своим героическим трудом. И изрекаю я не банальные слова, а истину, причем имею в виду не только водителей автотранспорта, обеспечивавшего всем необходимым боевые порядки переднего края, но и тех, кто работал в тыловых эшелонах действующей армии.

Навсегда запомнился мне каторжный труд шоферов в лютую зиму подмосковной битвы, когда служил я в 7-й гвардейской стрелковой дивизии. Для того чтобы завелись машины, надо было разводить под картерами костры, греть для радиаторов воду. А как все это уда-

валось шоферам самого переднего края, которые, например, доставляли пушкарям снаряды?.. Костры под фронтовыми грузовиками в морозно-синем предутреннем тумане, в стылой дымке перелесков, полян, во дворах и на обочинах, на передовых позициях и в обозах — эти пылающие костры возле темных силуэтов еще холодных машин так и светятся в памяти. Они сопровождали нас всю войну.

Автомобили под типографию газеты «Мужество» мы получили в июле 1942 года конечно же не с автозавода, а из какого-то армейского автобатальона, и, разумеется, не самые лучшие, а по принципу: «На тебе, Боже, что нам не гоже». Их изношенность восполнялась заботливым техническим надсмотром шоферов. Каждый из них был не только водителем, но и, вынужденно, механиком. На помощь автомастерских, имевшихся в распоряжении автомобильной службы армии, мы не рассчитывали: у них были задачи поважнее. Поэтому пользовались каждым случаем, чтоб «раскулачить» любую из машин, разбитую при бомбардировке и брошенную на обочине дороги.

Но жизнеспособность даже металлических «организмов» имеет предел. Пройдя Северо-Западный, Степной, Воронежский, Украинские фронты, наша автотехника износилась окончательно, и каждая передислокация редакции вслед за войсками армии грозила неприятностями. Первая серьезная беда случилась еще в канун Орловско-Курского сражения. Мы переезжали под Ливны, я вел колонну по намеченному маршруту. Со мной еще была на фронте моя жена Тоня, и, не знаю почему, я пригласил ее из крытого грузовика — наборного цеха, в котором она обычно находилась при переездах, в свою машину. И на одном трудном участке дороги «наборный цех» сорвался в крутой, глубокий овраг. Отказало рулевое управление... Красноармеец Саша Каменецкий, мастер на все руки — опытный шофер, мог также заменить радиста, корректора,— не совладал с грузовиком. Тяжко был покалечен он сам и художник редакции Федор Завалов...

Очередное «чрезвычайное происшествие» случилось уже в Карпатах, когда мы продвигались в глубь Румынии. Редакционная колонна машин спускалась по горной крутой дороге к небольшому городу, где расположился штаб 27-й армии. Я сидел в кабине переднего

грузовика-пятитонки, в котором находилась плоскопечатная машина огромной тяжести. За рулем — все тот же Федя Губанов. Вплотную над дорогой, с левой стороны, вертикально нависла каменная стена. Справа — пропасть, вдоль которой мелькали побеленные цементные столбики. Километрах в двух впереди нас виднелся хвост какой-то автоколонны.

Вдруг случилось непредвиденное: наша пятитонка начала увеличивать скорость. Губанов нажал на тормоза — тщетно... Ручной тормоз тоже не сработал. Стал переключать скорости — безрезультатно.

— Включай заднюю! — панически вскрикнул я, ухватившись за ручной тормоз и дергая за него в надежде, что он сработает.

Губанов включил заднюю скорость, но мотор только заскрежетал железом — коробка скоростей «полетела» совсем. Гибель казалась неминуемой.

— Прыгайте! — крикнул мне Губанов.

Но куда прыгать, если машина летела так стремительно, что белые столбики справа уже виднелись, как одна сплошная линия?

Мысленно мне виделось, как мы сейчас сорвемся в пропасть или врежемся в хвост идущей впереди автоколонны и находившаяся за спиной в кузове печатная машина сорвется с креплений и расплющит нас всмятку.

— Притирайся к камням! — заорал я.— К стенке прижмись!

Губанов будто не слышал меня. Его напряженное лицо стало белым, а глаза вылезли из орбит.

И вдруг... Это «вдруг» часто случалось на фронте. Будто Бог пришел нам на помощь: отвесная каменная стена в одном месте словно свалилась на спину, образовав уклон градусов на сорок пять. Губанову хватило секунды, чтобы резко, изо всех сил, рвануть руль влево, и машина буквально взлетела вверх — метров ли на десять, двадцать и, остановившись, вдруг покатилась назад... Страшный удар о дорогу!.. Грузовик свалился на правый бок, и мы оказались в груде обломков. Я ощутил резкую боль в кисти левой руки...

Но что удивительно: в крытом кузове, рядом с печатной машиной, сидели две девушки-полиграфистки (не помню, кто именно), и с ними находилась овца, выданная административно-хозяйственным отделением штаба как «живое мясное довольствие». Девушки ис-

пытали только испуг и получили легкие ушибы, а овца, к огорчению нашего повара, сбежала в горы.

Федю Губанова от нервного шока тут же ударил острый приступ малярии (оказывается, она таилась в нем), его лицо из белого стало желтым, и сам он весь затрясся...

Возле обломков «печатного цеха» стали тормозить наши машины, шедшие сзади...

В памяти не удержались последующие события. Помню только, что где-то в городе мне зашивали и бинтовали рану. Потом мы с Ушеренко оказались в кабинете полковника Хвалея.. Я ждал от него сочувствия или хотя бы вопроса о степени серьезности моего ранения. Но он, грозно посмотрев на нас, только строго спросил:

— На чем теперь будем печатать газету?! Опять желаете схлопотать выговор из Москвы?

Мы молчали.

— Даю вам три дня сроку,— продолжил начальник политотдела.— Получите в автобате новый грузовик и ищите в румынских типографиях печатную машину!..

Выполнять этот приказ выпало на мою долю. Получив грузовик (на сей раз новый!) и документ о предоставленном мне командованием праве «реквизировать для нужд Советской Армии» типографскую технику, я с кем-то из наших печатников стал колесить по ближайшим городам Румынии. Находил типографии в Фокшанах, Бырладе, еще где-то. Имелись у них плоскопечатные машины нужных нам габаритов. Но они были приспособлены к более низкому шрифту, чем русский. Наконец в городишке Текучи, в частной типографии, нашлась подходившая нам печатная машина. Но ее хозяин, естественно, стал протестовать: машина — его личная собственность, да и останутся без работы нанимаемые им полиграфисты.

Я кинулся к нашему военному коменданту.

— Как быть?

— Война! Оставь хозяину документ, демонтируй машину и увози. Пусть потом имеет дело с нашей комиссией по репарациям.

Легко сказать, «демонтируй», если со мной всего лишь один печатник, одна пара рук, тем более что вокруг стоят рабочие типографии со слезами на глазах — ведь они с этого часа становятся безработными.

К нашему счастью, среди рабочих был один венгр,

немного знавший русский язык (по профессии печатник). При его помощи я тут же, в типографии, устроил митинг. Бравируя своей забинтованной рукой, объяснил людям, что случилось с нашей печатной машиной, азартно рассказал о «великом» значении газеты «Мужество» на фронте, убеждая слушателей, что без ее выхода в свет наши войска ни на шаг не смогут продвинуться вперед и Западная Румыния до скончания века останется под немецким владычеством. Более того, фашисты могут и потеснить нашу армию и вернуться в их славный город Текучи.

Не убежден, что рабочие поверили моей ахинее, но помогли не только разобрать машину, они смонтировали и укрепили ее в грузовике. А печатник-венгр (звали его Бела, фамилию не помню) даже предложил опробовать машину в действии, для чего согласился поехать с нами в редакцию. Он так и проработал в нашей типографии в качестве вольнонаемного почти до конца войны...

29

В редакции «Мужества» считалось важным событием, если кто-нибудь отправлялся в Москву в командировку, ибо многие сотрудники газеты были москвичами. Неважно, по какому поводу командировка. Главное, что появлялась возможность передать родным, жившим в голоде и нужде, посылку с продуктами или что-нибудь из обуви или одежды. Благо румынские банки меняли наши деньги на свою валюту (леи), и можно было в любом городе сделать нужные покупки. Да и наш армейский военторг, разбогатевший на трофеях, предоставлял немалые возможности тратить «денежное содержание».

И вот получил командировочное предписание капитан Глуховский Семен Давыдович. Ушеренко, Смирнов, Харин, я атаковали его с просьбами-поручениями. Груз у всех не тяжелый, но в две руки взять его невозможно. А надо было добираться до Бухареста, в аэропорту устраиваться на военный самолет-транспортник... Семен взмолился, что это ему не под силу, и попросил сопровождающего.

Начальник издательства Турков то ли придумал потребность, то ли действительно таковая была: получить

на тыловом складе в Сибиу (древней столице Румынии) цветную бумагу для листовок. И еще надо было выяснить у военного коменданта Сибиу, майора Гудковича, бывшего работника политотдела нашей армии, одно загадочное обстоятельство. Суть его в том, что не вернулся из очередной поездки на передний край наш новенький фотокорреспондент старшина Валимов (фамилию чуток изменяю). Предполагалось, что он погиб или серьезно ранен и попал в госпиталь. В поступавших в политотдел донесениях ничего о нем не упоминалось. Но однажды кто-то сообщил в редакцию, что Валимова видели в Сибиу: ездит по городу в пароконном фаэтоне, при кучере-румыне, и выполняет какие-то загадочные поручения коменданта города майора Гудковича. Больше всего заинтересовался этой вестью капитан Турков, который отвечал и за фотоаппаратуру, числившуюся за старшиной Валимовым.

Короче говоря, были все основания снарядить в не очень близкую дорогу наш разъездной грузовичок. Сопровождающим Ушеренко назначил меня.

И вот мы с Глуховским уже в Сибиу, разыскиваем резиденцию «папы военного комендамента». И надо же было такому случиться: на одной из улиц города увидели ехавшего нам навстречу в фаэтоне старшину Валимова. Остановили машину. Остановил лошадей по нашим сигналам и кучер-румын. Валимов обрадованно пожимал нам руки. На наши расспросы ответил с тенью таинственности, что временно занят важными делами, о которых осведомлен комендант Гудкович, и скоро вернется в редакцию. На этом мы и расстались.

Гудкович встретил нас как добрых друзей, пригласил заночевать в лучшей гостинице города. Вечером, в щедром застолье со старинным румынским вином, вдруг вспомнили о Валимове... Как же мы с Глуховским были поражены, когда Гудкович сказал, что слыхом не слыхивал о таком.

Позже до редакции донеслась весть о том, что Валимов оказался дезертиром, мародером, был судим военным трибуналом и расстрелян.

Заниматься поручениями капитана Туркова я решил на обратном пути, и рано утром мы выехали из Сибиу в Бухарест. Дорога сквозь южные Карпаты нам уже была знакома — крутые подъемы, перевалы, бесчисленные повороты. Вытряхивало душу. А тут еще попада-

лись пустынные участки: ни встречных, ни попутных машин. Пустая же дорога в прифронтовой полосе всегда таила опасность. И мы держали себя настороже. При мне было две гранаты Ф-1 («лимонки») и наган, который получил еще до войны; до сих пор помню его номер ЧФ-700. Гранаты я носил, для пущей важности, на виду, навесив их на поясной ремень скобами, которыми во время броска гранаты удерживался ударник по детонатору. У Семена был пистолет, а у водителя, ефрейтора Гриневича,— карабин. Но в Бухарест мы приехали благополучно, пусть и измотанные.

Не буду задерживать внимание читателей на других подробностях этой поездки, ибо не только ради них пишутся сии строки. В аэропорту, не помню только, до посадки ли Глуховского в самолет или позже, я увидел поэта Михаила Вершинина. Я был знаком с ним со времен Московской битвы, когда он приезжал в нашу 7-ю гвардейскую стрелковую дивизию в качестве корреспондента какой-то газеты или радио. Мы с Тулиновым, открыв тогда свои блокноты, делились с Вершининым эпизодами боев в районе Крюково.

Узнав, что мне надо возвращаться в Сибиу, Миша Вершинин заверил меня, что имеет возможность в любую минуту «организовать» маломестный румынский самолет. И не надо, мол, Ване Стаднюку много часов тащиться в машине по крутым дорогам Южных Карпат. Предложение было заманчивым, тем более что Миша посулил еще и прогулку на его трофейном «мерседесе» по Бухаресту.

И я поступил неосмотрительно: приказал шоферу нашего грузовичка ефрейтору Гриневичу ехать в Сибиу и ждать меня там во дворе военной комендатуры. Сам же покатил с Вершининым в город. Он держал себя по отношению ко мне почти величественно. Хвалился, что издает в каком-то бухарестском издательстве на русском языке, в роскошном переплете, книгу своих стихов и что помог ему в этом будто бы сам молодой король Румынии Михай, с которым он подружился как с братом и которого даже чуть ли не склонил вступать в комсомол.

Слушая Вершинина, я посмеивался, воспринимая его рассказ как хмельной журналистский треп-розыгрыш. Вдруг Миша, взглянув на наручные часы, сказал, что у него через несколько минут назначен обед с королем

Михаем. Достав из нагрудного кармана гимнастерки блокнот, Миша полистал его, затем поднес к глазам шофера:

— Вот адрес ресторации!

— Карашо,— ответил румын и прибавил мотору газ.

— Посмотри на почерк румынского короля,— сказал Миша, протянув мне блокнот.— Это его рука. Буду хранить как реликвию.

— А как же мне быть?

— Само собой разумеется: едешь с нами обедать.

Я еще больше уверовал, что Вершинин валяет дурака и сейчас привезет меня на какой-то наш корреспондентский пункт, где я стану объектом насмешек. Тем более что Миша велел шоферу-румыну вести нас не в королевский дворец, не в какие-то «высокие апартаменты», а в ресторан на улице такой-то (названия не помню).

К ресторану мы подъехали одновременно с белым автомобилем неведомой мне марки, из которого вышел с тремя молодцами Михай. Портреты короля Румынии, как и его мамы Елены, я видел много раз. На портретах они оба выглядели очень красивыми. А при знакомстве Михай показался мне не только красивым, но и весьма мужественным.

Трудно передать то смятение, которое испытывал я, когда здоровался с королем за руку, а он внимательно рассматривал на моей груди ордена и медали, ощупывал рукой гранаты на моем поясном ремне.

В ресторанном застолье, довольно скромном, мы пили какое-то старое вино, в котором я не разбирался. Разговаривали при помощи переводчика, а Вершинин немного «шпрехал» и по-немецки. Я знал всего лишь несколько румынских фраз и пару десятков слов. На какое-то время темой разговора стали мои ордена. Михай задавал вопросы, я скупо рассказывал о первых днях войны в июне 41-го года, а потом Вершинин, овладев в разговоре инициативой, стал так бессовестно врать о моих подвигах в боях западнее Минска, что король пообещал наградить меня каким-то румынским орденом.

Мне стало совсем не по себе. Я вспомнил наши военные инструкции, согласно которым даже при случайном общении с иностранцем офицер Советской Армии обязан написать рапорт начальству. А тут знакомство

с самим королем Румынии!.. Как мне держать себя после этого, кому докладывать? И не дай Бог румынский орден мне! За что?!

К моему счастью, Миша Вершинин, изрядно захмелев, начал читать стихи, которые на русском языке были для короля пустым звуком, а я выскользнул из ресторанной комнаты, вышел на улицу и, увидев, что «мерседес» Вершинина стоит на том же месте, где мы его оставили, сел в машину и попросил шофера отвезти меня в аэрогару (аэропорт).

Шофер оказался мудрым человеком. Видя, что уже наступил вечер и мне в Сибиу не улететь, тем более что я был в изрядном подпитии, привез меня в небольшую частную гостиницу, стоявшую буквально на краю аэродромного поля, что-то объяснил ее хозяину, кажется, со ссылкой на короля Михая, и я был принят на ночлег как дорогой человек. Знакомство с хозяином гостиницы мне потом пригодилось в другой сложной ситуации, о чем расскажу позже.

Утром, расплатившись с хозяином, я поплелся к аэровокзальным зданиям. На Мишу Вершинина никаких надежд уже не было, и пришлось действовать самостоятельно. Разыскал румынского военного коменданта, как и я, майора, предъявил ему корреспондентское удостоверение, которое «домну майору» ничего не объяснило. Но понял он главное: мне срочно надо улететь в Сибиу. В ответ на мою просьбу, а точнее — нахальное требование, комендант скосил глаза в окошко, за которым виднелась шеренга самолетов разных систем, и сказал на ломаном русском языке:

— Самолет много — нет бензин.

— Как добыть бензин? — спросил я, угадывая, что у меня есть надежда.

— Домну майор, иди русский командамент, он имеет бензин.

Наш комендант, тоже майор, находился рядом. К нему на прием выстроилась целая очередь военных — у каждого свои заботы. Я подумал о том, как бы поступил сейчас Миша Вершинин, и без колебания вошел в кабинет. Комендант заметил мою возбужденность и взволнованность, прервал разговор с каким-то посетителем и озабоченно спросил:

— Чем могу быть полезен?

Я представился:

— Военный корреспондент... Кончился бензин в самолете, а мне срочно в Сибиу...

Комендант написал на служебном бланке распоряжение о выдаче бензина, и я побежал со спасительной бумажкой к румынскому коменданту...

Вскоре под окна румынской комендатуры вырулил восьмиместный немецкий «юнкерс» с гофрированным корпусом.

Я был счастлив и горд собой, с искренней благодарностью пожал майору руку. Вдруг румын обратился ко мне с просьбой:

— Домну майор, возьми в самолет шесть наших офицеров. Им тоже надо в Сибиу.

— Пожалуйста! — Мое великодушие было беспредельным.

Через несколько минут наш маленький самолет уже был в воздухе. Я с любопытством оглядывался вокруг. Впервые увидел, что летчик не имел отгороженной кабины, а сидел впереди пассажиров, в носовой части салона. За его спиной, слева по борту, сидел я, а сзади меня и справа по борту — румынские офицеры в разных званиях.

Развернув планшетку, я стал рассматривать всегда имевшуюся при мне топографическую карту. Компаса не было, но если бы и оказался, с воздуха трудно «привязать» карту к наземным ориентирам, тем более над горами.

Внезапно меня пронзила мысль, от которой обдало холодным потом: ведь вокруг сидят вчерашние враги! Куда мы летим?! В Сибиу ли? А если к немцам за линию фронта, которую в горах заметить невозможно? И почему это для шести офицеров, при наличии бездействующих самолетов, не нашлось у румынского коменданта бензина? Ведь Румыния вволю снабжала им немецкую армию?.. Не зря, видимо, наш комендант держит бензин под своим контролем?..

Вопрос за вопросом, и я уверовал, что попал в ловушку. Меня или выбросят из самолета где-то над горами, или доставят немцам в качестве пленного...

Я скосил глаза на румын, сидевших справа. Их лица показались угрюмо-настороженными. Оглянулся назад и увидел за спиной крупнотелого подполковника с каменным лицом. Ему ничего не стоило «обнять» меня вместе со спинкой кресла и обезоружить.

Я снял с пояса одну гранату и демонстративно стал перекидывать ее с ладони на ладонь, будто поигрывая. Вдруг ко мне обернулся летчик и, указывая рукой вниз, стал что-то говорить. Я ничего не понимал, но напрягся еще больше. Один из румын пояснил по-русски, что летчик просит разрешения немного свернуть с курса и сбросить над своим селом вымпел.

Что такое «вымпел», мне было непонятно, но в знак согласия я кивнул летчику головой. Самолет лег на крыло и, снижаясь, стал описывать круги. Я посмотрел в окошко и увидел внизу горное село. По улице бежала детвора и махала самолету руками. Летчик в это время вложил исписанный листок бумаги в газету, плотно скрутил ее, сунул одним концом в пустую гильзу сигнальной ракеты и выбросил в открытое окошко. Я увидел, как детвора кинулась к месту падения «вымпела».

Мы летели дальше. В каком направлении?.. «Вымпел» и дети меня несколько успокоили, но не совсем. Я повернулся спиной к окошку, придвинул вторую гранату к пряжке ремня и сунул в ее соединенное с чекой кольцо болшой палец правой руки. Вторую гранату тоже держал за кольцо в левой руке. В любой миг мог выдернуть кольца...

Наконец самолет совершил посадку. Но где?.. Подрулил к какому-то зданию. Летчик поднялся со своего сиденья, прошел по салону и, открыв дверцу, бросил наружу лестничку-стремянку.

— Раус! Шнеллер! — предложил я румынам быстрее покинуть самолет.

Сам сошел последним и увидел на здании аэропорта надпись: «Sibiu».

Румыны стояли в сторонке, курили, посмеивались и благодарственно кивали мне. Они, видимо, догадались о моих тревогах в полете. Я быстро зашагал к зданию аэропорта.

С Михаилом Вершининым мы продолжили дружбу после войны. Не помню, где впервые встретились в Москве. Видимо, в Доме литераторов. Он уже был автором слов известной песни «Москва—Пекин», выпустил в свет несколько поэтических книжек. Я как раз к тому времени опубликовал отдельной книгой свою повесть «Человек не сдается», и Миша написал о ней до-

вольно похвальную рецензию для журнала «Советский воин».

Позже наши встречи участились, особенно на приемах в посольствах — Болгарии, Польши, Чехословакии, Китая... Миша с неохотой и смущением вспоминал о своих похождениях в столице Румынии. А я особенно и не расспрашивал, будучи наслышан, что имел он за публикацию в Бухаресте поэтической книги и самовольные встречи с королем Михаем серьезные неприятности. Более того, кажется, газета «Комсомольская правда» напечатала фельетон, в котором поэт Вершинин выглядел не лучшим образом.

Кстати, о моей встрече с королем Михаем я рассказал прикрепленному к нашей редакции старшему лейтенанту из армейской контрразведки и спросил у него совета, надо ли писать рапорт об этом. Ответ старшего лейтенанта ошеломил меня:

— Теперь можешь больше никому не докладывать... Нашим известно об этой встрече и о твоем дурацком полете из Бухареста в Сибиу в компании румынских офицеров...

И еще посоветовал симпатяга-контрразведчик: никогда не писать в анкетах о том, что был во вражеском тылу, в окружении...

30

Внезапная мысль иногда цельнее выношенной...

Я уже писал, что тяготился работой ответственного секретаря газеты, но в то же время радовался ее итогам — у меня некоторое время что-то получалось. «Мужество» изменило внешний вид, публикации в нем обрели признаки литературных усилий и остроту боевых материалов. Но не больше — хвалиться не буду. Да и не всегда хватало терпеливости и такта в обращении с подчиненными. Иногда покрикивал на корректоров, наборщиков, метранпажей, замечая чью-либо нерадивость или промашку. Это вызывало недовольство самим собой и все больше усиливало неудовлетворенность работой, понуждало к размышлениям о том, что, если труд не имеет творческой основы, он превращается в каторгу.

Однажды эта мысль пронзила меня с такой ясностью, что я тут же принял решение — избавиться от секретарства любой ценой. Нужен был случай. И вскоре он подвернулся.

Редакция размещалась тогда в румынском селе, раскинувшемся в северных отрогах трансильванских Альп (Южные Карпаты). На фронте был сущий ад — велись тяжелейшие бои на Трансильванской низменности, над которой с запада резко возвышалось нагорье Бих. Нашим войскам требовалось под жесточайшим огнем противника взобраться на нагорье, выбить врага из его укреплений, захватить город Турда и открыть дорогу на Клуж. Это, пожалуй, было самое кровопролитное сражение на территории Румынии после Ясско-Кишиневской операции.

И вот вернулся из района боев майор Иван Пантелеев — черный от усталости, потрясенный тем, что видел и пережил под обстрелами и бомбежками. Мне он показался даже испуганным и растерянным.

— Такой войны я еще не видел,— что-то в этом роде сказал в секретариате Пантелеев, положив на стол блокнот с записями.— Перед Турдой — настоящая долина смерти. Каждый метр пространства под непрерывным огнем...

Через сутки я объявил Пантелееву, что наступил его черед дежурить по номеру. Дежурный же считался, как и в каждой редакции, «свежей головой». В его обязанности входило заметить и исправить огрехи, допущенные отделами, секретариатом и даже редактором. У нас всем было известно, что Иван Яковлевич — самый въедливый читчик газетных полос. Он хорошо владел языком, чувствовал фразу, слово, имел хороший вкус, определяясь к стилю написанного. И я, готовя очередной выпуск газеты, умышленно не старался тщательно редактировать материалы, которые сдавал в набор и заверстывал в полосы.

А утром, когда газета уже печаталась, пожинал «плоды». Ушеренко, сдерживая ярость, показывал мне оттиски контрольных полос, густо испещренные редактурой Пантелеева. Вот тут мне и удалось убедить Якова Михайловича в том, что я устал от секретарства, потерял вкус к работе и остроту глаза при литературной правке...

Свершилось желаемое мной: я был назначен началь-

ником отдела армейской жизни, а ответственным секретарем стал майор Пантелеев. В отделе — прекрасные хлопцы: капитаны Владимир Авсянский (переведенный в «Мужество» из дивизионной газеты), Нафанаил Харин и старший лейтенант Неказаченко. Правда, начальствование мое началось неудачно. Поехав под Турду, где продолжались кровопролитные бои, я ночью верхом на лошади вместе с кем-то из офицеров штаба полка скакал на передовую. Темень была непроглядная. Время от времени ее раздирали всполохи разрывов немецких мин и снарядов, отчего темнота ночи сгущалась еще больше. В одном месте мы попали под густой минометный обстрел и пустили лошадей в галоп, ничего не видя впереди. И вдруг моя лошадь на полном скаку столкнулась с мчавшейся навстречу пароконной повозкой, ударившись грудью в дышло. Я вылетел из седла, не успев сообразить, что произошло. Тяжело грохнулся о землю и потерял сознание. Пришел в себя в землянке ротного медицинского пункта. Оказалось, что, падая из седла, я ударился правым боком, под который попал мой наган. На боку, ближе к ягодице, у меня образовался кровоподтек величиной с ладонь. Этот синяк держался месяцев около трех...

И все-таки жизнь для меня пошла активнее. 27-я армия продолжала наступление. Позади Клуж, впереди венгерская граница. Наши части пересекли ее в ночь на 7 ноября, в канун Октябрьского праздника. Освобождены Дебрецен, Ньиредьхаза... В начале декабря взят Мишкольц — сильный опорный пункт обороны противника. В редакции появились две трофейные машины. Отделу армейской жизни достался старый, но могучий восьмицилиндровый легковой автомобиль «мерседес-бенц» — с деревянными спицами в колесах и подножками у дверец. Мы роскошествовали — попарно или поодиночке ездили на нем в полки (за рулем — всегда хмельной водитель красноармеец Яберов), забрасывали газету боевыми материалами.

Запомнились токайские виноградные плантации и вместительные винные погреба на них. Бочки в погребах — в три человеческих роста высотой. Набирали из них вино в оплетенные бутылки, в ведра, в каски. Не обходилось и без варварства. Иные вояки, экономя время, выпускали в бочку пулю и пробовали вино из бьющей наружу струи,— искали сладкое, вновь и вновь

дырявя выстрелами винные вместилища... Случалось, что кое-кому из охотников до токайского не удавалось вернуться из погребов — тонули в вине.

Редакция «Мужества» наиболее комфортно располагалась в Дебрецене, затем в Мишкольце. Впервые за всю войну мы отмывались в ванных, спали в чистых постелях. Особенно запомнился Шальготарьян — уютный шахтерский городок. Там, во дворе, где стояли наши машины с полиграфической техникой, находился вход в частный зубоврачебный кабинет. В нем работал стоматолог с золотыми руками. За определенную мзду он многим из нас подлечил зубы, поставил коронки.

Дом, в котором нашел приют отдел армейской жизни «Мужества», стоял на углу главной улицы Шальготарьяна и площади, с которой видны были на горе зияющие чернотой входы в угольные забои. Комната, в которой мы расположились, принадлежала какому-то полицейскому чину, арестованному местными властями. Первое, на что я обратил в комнате внимание, была скрипка, лежавшая на ящике огромного радиоприемника фирмы «Телефункен». А надо сказать, что в свои школярские годы я играл в струнных оркестрах на балалайке, домбре, гитаре, играл на танцах в кордышивском клубе, на свадьбах. Пробовал играть в нежинском детском духовом оркестре на кларнете, изучил ноты.

Скрипку взял в руки с робостью. Знал, что без наличия ладов струны скрипки настраиваются подобно гитарным. Ноты надо брать на слух, прижимая кончиками пальцев струны на грифе, как и на гитаре. Притронулся смычком к струнам, стал подбирать какую-то простенькую мелодию вроде «Во саду ли, в огороде». О, чудо! Получалось! Мои подчиненные смотрели на меня с оторопью. Дня через два я уже играл не только знакомое, но и лихо импровизировал неведомо что, наслаждаясь не столько музыкой, сколько охами и ахами хлопцев. Честолюбие мое торжествовало.

Но там же, в Шальготарьяне, скрипку брал я в руки последний раз в жизни. Виной тому был радиоприемник «телефункен». Однажды, вернувшись из секретариата, я услышал незнакомую симфоническую музыку. У приемника сидел капитан Харин и, следя за его подмигивающим зеленым глазом, регулировал громкость. Передавали, как я потом узнал, новую симфонию Шостаковича — 7-ю. Вслушиваясь в нее, мы с Хариным

будто потеряли самих себя, словно растворились в той удивительной музыке, сотканной из спокойного течения, из водопадов и взрывов звуков — поющих, плачущих и радующихся. Нашему душевному смятению не было предела...

Будучи музыкально необразованным, я все-таки позволю себе поразмышлять о симфонии Шостаковича, пусть и доставлю своим непрофессиональным мышлением минуты веселья истинным музыковедам.

Как напряжение планеты облегчается извержением вулканов, так 7-я симфония Шостаковича явилась извержением народных чувств, до предела напряженных войной. Известно, что вулканическая лава состоит из множества химических элементов, перемешанных физической силой. Музыкальная же «лава» Шостаковича, могуче ворвавшись в мир человеческого восприятия, уже была разложена по звучащим элементам, каждый из которых нацеленно, щадяще и не щадяще, ударял по сердечным струнам людей, рождая глубоко волнующее ощущение симфонии жизни того времени, с ее трагедией, пафосом героизма, призывами к борьбе и с народными надеждами.

Год-два назад я смотрел на телевизионном экране кинохронику, запечатлевшую Шостаковича. В концертном зале он слушает в исполнении огромного оркестра свою музыку. От волнения дрожат у него веки, подбородок. Так дрожала и душа России. Трудно себе представить, как мог человек, слыша звуки взрывов, рушивших Ленинград, уносивших тысячи человеческих жизней, рождать музыку, утверждающую жизнь и опровергающую зло. Что же делалось в его душе? Где находил он силы в поисках звуков, складывающихся в музыкальное выражение непростых чувств?

Да, музыка — дело серьезное. Баловаться ею нельзя...

31

А тем временем 27-я армия уже перешагнула недалекую от Шальготарьяна границу Чехословакии, овладела важными узлами обороны противника и опорными пунктами Римавска-Собота, Фелединце, Филяково. Первого января 1945 года форсировала реку Ипель и повела бои за расширение плацдарма на ее противоположном берегу.

Мне особенно запомнились январские бои за овладение городом Лучинцом — важным узлом коммуникаций,— особенно бои в нескольких километрах западнее Лучинца — там, где возвышались холмы с виноградниками. Я мчался на нашем старом «мерседесе» по дороге, обсаженной деревьями. Зима в Чехословакии была бесснежной. Справа и слева — унылые поля и чахлые кустарники. Вдруг впереди заметил небольшое скопление людей в военной одежде. Когда подъехал ближе, увидел человек десять мадьярских солдат и одного молоденького, красивого офицера, которого допрашивал наш старшина. Чуть дальше впереди стоял грузовик; в его кузове сидели красноармейцы. Заметив, что старшина ударил офицера по лицу, я выскочил из машины и поинтересовался происходящим. Старшина ответил что-то невразумительное — он был выпивши. Пришлось резко устыдить старшину, что позволяет себе «воевать» с пленными, а венграм жестами показал, чтоб следовали в Лучинец — там находился пункт сбора пленных.

На этом, казалось, инцидент был исчерпан. Венгры гуськом поплелись к недалекому городу, а я поехал вслед за грузовиком старшины, знавшего расположение наших частей на холмах с виноградниками.

В памяти вспыхивает утро следующего дня, когда на холмах разгорелся танковый бой, начавшийся орудийной дуэлью. В окопе, от которого вел ход сообщения к бункеру под развалинами дома, располагался радист с аппаратурой и низкорослый майор; он наблюдал в бинокль за боем и передавал по радио команды танкистам. Я пристроился рядом с майором и следил из-за бруствера за нашими танками, видневшимися метрах в двухстах впереди и стрелявшими из пушек по невидимым с наблюдательного пункта целям. Обстановку понять было трудно. Казалось, не будет конца орудийной и пулеметной пальбе немцев с соседних холмов и огневым ударам наших танкистов, почему-то не переходивших в атаку. Взрывы мин и снарядов вокруг держали нас в постоянном напряжении.

Неожиданно вражеский снаряд врезался в лобовую броню нашего танка... Через несколько минут вздыбилась крышка его верхнего люка, и из него показался танкист с окровавленным лицом. Он мешком соскользнул с танка на землю, затем поднялся и, простерши впе-

ред руки, побрел в направлении противника. Мы поняли, что танкист ослеплен и потерял ориентировку.

Не успели опомниться, как из ближайшего к танкам винного погреба выскочила девчушка лет двенадцати, подбежала к окровавленному танкисту и, схватив его за руку, стала тащить в нашу сторону. Вслед за девочкой выскочила из подземелья женщина, видимо, ее мать, с воплями кинулась к девочке и тут же была скошена пулеметной очередью немцев...

Помню, что откуда-то ударил по противнику залп «катюш», огневым смерчем пронесся артиллерийский налет. Пошли в атаку танки...

После успешного для нас боя, когда, сделав нужные записи в блокноте, я направился в тылы искать свою машину, увидел по пути, как несколько автоматчиков вели группу пленных мадьяр. И каково же было мое изумление, когда среди них узнал офицера, которого вчера на дороге бил по лицу наш старшина. Остановив пленных, я подошел к офицеру. Он побледнел и смотрел на меня испуганными глазами, жалко улыбаясь. Я спросил, почему он здесь, а не в Лучинце, помогая своей речи жестами.

— Нем тудом (не понимаю),— отвечал офицер.

Я беспомощно оглянулся и (о, диво!) увидел старшину, с которым столкнулся вчера на дороге. Он тащил две немецкие канистры (конечно же наполненные вином!). Подозвал старшину к себе и указал на офицера.

— Старый знакомый?! — удивился старшина и посмотрел на меня укоряюще.— В контрразведку его, гада!

— А вас в трибунал! — строго произнес я.

— За что? — Старшина дерзко захохотал.

— За то, что мордобоем заставили пленных убежать к своим!

— А почему он чертом смотрел?! Я спрашиваю: воевал ли на нашей территории? А он, гад, «нем тудом» и «нем тудом».

Продолжать разговор было излишним. На всякий случай я записал фамилию старшины и номер его части. Пленных повели в Лучинец.

После войны, в конце шестидесятых и семидесятых годов, я несколько раз бывал в Чехословакии (там издавались мои книги), навещал Братиславу, из которой дважды ездил в Лучинец и на трудноузнаваемое место памятного мне боя. И испытывал странное чувство:

будто все, что видел и пережил на войне, было не со мной, а с каким-то очень знакомым, близким мне человеком из кошмарных снов. Сны в моей жизни и моем творчестве занимают не пустое место, часто поселяются надолго в закромах души то ли угнетающим грузом, то ли какой-то надеждой и загадкой. Но об этом разговор впереди. А на прилучинецких холмах-виноградниках, разговаривая с помощью переводчика со встречавшимися людьми, я надеялся разыскать след той девочки, которая спасла нашего танкиста и потеряла свою мать. Писал об этом в словацкой газете, выступал по братиславскому радио. Но откликов не получил. Мои коллеги — словацкие писатели — объяснили мне, что в Лучинце и его окрестностях немало жило мадьяр. Многие из них с окончанием войны переселились в Венгрию. Возможно, девочка тоже была мадьяркой.

Но ничего не могли ответить мне мои коллеги на щепетильный вопрос: почему на памятнике над братской могилой советских воинов, погибших при освобождении словацкого города Лучинец, написано: «Слава воинам Советской Армии — освободителям Советского Союза»? И написано даже не по-словацки, а по-русски? Памятник стоит на людном месте в сквере города. Под ним покоится прах наших соотечественников-побратимов, отдавших жизнь за свободу Словакии... Эта странная надпись на постаменте вызывает печаль...

32

В конце января 1945 года 27-я армия была переподчинена 3-му Украинскому фронту и, передав свои позиции 40-й армии, совершила многокилометровый бросок в район Будапешта. Сосредоточившись юго-восточнее венгерской столицы, она частью сил расположилась по восточному берегу Дуная на фронте Будапешт, Чепель, Текел, Лорев, имея перед собой противника, окруженного в Буде (западной части Будапешта). Штаб армии расквартировался в Дионе,— а ее тылы, в том числе и редакция газеты «Мужество», в огромной деревне южнее Чепеля — Кишкунлацхазе. Мы долго тренировали себя, чтоб запомнить и выговорить это причудливое название.

Естественно, всех корреспондентов «Мужества» ма-

нил к себе Пешт, откуда наши артиллерийские дивизионы и минометные батареи обстреливали Буду. Мы с любопытством знакомились с левобережной частью столицы Венгрии, но по цензурным соображениям ничего конкретного не могли писать о ней в газете. А во мне лично еще сидел «внутренний цензор» — недостаточная образованность. Сейчас со стыдом, а точнее — с жалостью к себе, вспоминаю, что, любуясь шпилями и куполами венгерского парламента, осматривая его прекрасные залы, я не задавался вопросом, кто же сотворил этот шедевр архитектурного искусства. Только со временем стало мне известно имя Штейндля, как и имя Ибль — автора проекта оперного театра. Более того, неведомы мне были также связанные с Будапештом имена Ференца Ракоци, Лайоша Кошута, Шандора Петефи, Габора Эгрешши, Лоранда Этвеши, Михия Мункачи... Боже мой!..

Зато я был влюблен в роман «Тиса горит» Белы Иллеша, хотя и не знал, что жил он в Москве. В те мартовские дни Иллешу исполнилось пятьдесят лет, и писатель приехал отмечать свой юбилей в родной ему Будапешт. Не знаю, откуда стало известно об этом редактору «Мужества» Я. М. Ушеренко, дружившему с Илишем еще до войны, и не помню, как мы (Сергей Смирнов, я, поэты из фронтовой газеты Алексей Недогонов и Семен Гудзенко) во главе с нашим шефом оказались у него в гостях. Было шумное застолье, взволнованные разговоры, воспоминания. Самым большим эрудитом проявлял себя Яков Михайлович. Потом пели песни, танцевали под патефон. Когда объявили «белый танец», меня пригласила на фокстрот венгерская певица Католина, которая по ошибке приняла меня за офицера, помогшего ей в день взятия Пешта избавиться от приставания наших солдат. Танцевал я с ней самым примитивным образом — строевым шагом, припечатывая каблуки и подметки сапог к паркету на полную ступню; два шага вперед — шаг вправо, два шага назад — шаг влево, и при этом доказывал, что я не тот офицер. Все присутствующие хохотали и хлопали в ладоши, полагая, что «майор валяет с прекрасной Католиной дурака». А на самом деле танцевал я, как учили нас, курсантов Смоленского военно-политического училища, на курсах танцев в нашем клубе — были и такие курсы.

Но всему свое время. С историей литературы и ис-

кусства Венгрии я познакомился уже после войны, в институте. Тогда мне стало известно и имя талантливого венгерского поэта Антала Гидаша. Не могу не похвалиться, что в 1963 году мой бывший подчиненный по фронту Сергей Сергеевич Смирнов, вернувшись из командировки в Венгрию, спросил у меня при встрече в Доме литераторов:

— Иван, что ты за роман опубликовал в журнале «Нева»? Я был в гостях у Антала Гидаша, и там много говорилось о твоей книге «Люди не ангелы». Мне было неловко — я не читал...

Тут же я достал из портфеля роман (не помню, журнальную публикацию или книгу) и вручил Сереже, зная, что он был не очень высокого мнения о моих литературных способностях... Но пока возвращу читателя в мартовские дни 1945 года, когда война еще грозно бушевала на венгерской земле.

Мы чувствовали оглушенность от впечатлений, тяжкую усталость от войны и надеялись на ее скорое завершение. Ведь наши войска уже пробились к сердцу Европы!.. И когда 27-й армии во второй половине февраля было приказано переправиться на западный берег Дуная и занять второй оборонительный рубеж фронта от Кишвеленце до Киш Перката, мы восприняли это как подготовку к новому, решающему броску вперед, в направлении Вены. Но пока это было нашим горьким заблуждением. Командующий 3-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Федор Иванович Толбухин, пользуясь данными разведки, пришел к выводу, что фашистское командование готовит мощный контрудар с задачей рассечь войска 3-го Украинского фронта, прорваться к Дунаю, захватить плацдарм на его восточном берегу и ударом с юго-востока захватить Будапешт. Для этого немцы сосредоточили огромные силы, во главе которых находилась их 6-я танковая армия СС, переброшенная с Западного фронта. Главный удар нацеливался на участке между озером Веленце и каналом Шарвиз, который прикрывали 26-я и 27-я армии (севернее озера Балатон)...

6 марта началась знаменитая Балатонская операция... Уже на второй день немцам удалось пробиться к оборонительному рубежу 27-й армии. Продолжалось ожесточенное сражение, исход которого трудно было предугадать. Во всяком случае, управление тыла армии,

подразделения и службы второго эшелона, в том числе и редакция газеты «Мужество», получили приказ спешно ретироваться через Дунай на восточный берег. Даже часть офицеров из первого эшелона штаба были переправлены за Дунай.

Отдел армейской жизни газеты «Мужество» в полном составе находился тогда на переднем крае, в разных частях. Никто из нас не предполагал, какая угроза нависла над 27-й армией: гитлеровцы все глубже вгрызались в ее оборону, бросая по пятьдесят—шестьдесят танков на километр фронта. На усиление нашей армии подоспели два танковых корпуса. Но враг тоже наращивал силы. Десятого и одиннадцатого марта на направлении главного удара немцы бросили четыреста пятьдесят танков и штурмовых орудий и пробились западнее канала Шарвиз в район городишка Шимонторнья — юго-восточнее Секешфехервара, примерно в двадцати километрах от Дуная.

Потом нам рассказывали, как колонна машин «Мужества» переправлялась по понтонному мосту через Дунай на левый берег. Это было бегство, при котором для облегчения машин из них выбрасывали в реку все, что можно было выбросить, в том числе и наши чемоданы с личными вещами... Но происходившее на оборонительных рубежах наших войск несравнимо ни с какими критическими ситуациями. В дни, когда на фронте все уже ощущали конец войны, мысленно оглядывались на пройденные кровавые дороги и благодарили Бога и судьбу, что уберегли от смерти или тяжелых ранений, вдруг разверзлась, наполненная огнем, железом и оглушающим громом, бездна. Трудно было поверить, что можно уцелеть на этой густо дыбящейся в разрывах снарядов и мин земле, над которой, казалось, горело небо, заполненное воем немецких пикировщиков, падающих бомб, скрежетом и свистом летящих снарядов и мин. Докрасна раскалялись стволы сотен наших орудий и пулеметов, не утихал рев танковых лавин — немецких и советских. Окопы и траншеи, над которыми непроглядно клубился черно-сизый угар, угадывались по реву команд, матерщины, воплям раненых и гибнущих под гусеницами танков...

Прошло потрясение первых часов единоборства, и бои приняли затяжной характер, но не снижалась их ожесточенность. Грохочущие потоки вражеских машин

не иссякли. На поле боя господствовали железо и свинец. Порой трудно было разобраться, что происходит впереди наших траншей и в их тылу, куда прорвались немецкие «тигры» и «пантеры». Огненная, ревущая сумятица глушила всех и ослепляла. «Катюши» давали залпы не только по врагу, но иногда и по своим войскам. Один из таких налетов я испытал на себе, когда вихрем эрэсовских взрывов меня вышвырнуло из траншеи, сорвав плащ-палатку, шапку и похоронив их в перегорелом земляном крошеве. Было страшно до потери рассудка, ощущалось такое напряжение и такая обреченность, что сердце рвалось к горлу, звон в ушах разламывал голову, а тело панически втискивалось в дно или стенку траншеи, бруствер которой уже был сметен взрывами. От тротиловой гари, от дыма горящих танков слезились глаза и перехватывало дыхание.

Досадовал, что вовремя не ушел из незнакомого стрелкового батальона, где никому не было до меня дела. Ведь газетчик должен в основном воевать пером. Но когда внезапно разразился шквал артиллерийской подготовки немцев, уходить в тыл уже было немыслимо, как было невозможно уклоняться от атак и контратак в июне и июле 1941 года. Но тогда ничего другого не оставалось. Тогда пятились, а то и бежали на восток скопом — войска и их штабы. Штык, граната, огонь по врагу в упор — оружие для всех было одно и то же. А сейчас, когда война отладила законы и порядки сражений, имелись даже приказы, согласно которым каждый офицер должен находиться на своем командно-наблюдательном пункте. Военные журналисты в тех приказах не значились, но практика добывания материала для газеты научила нас на втором, третьем году войны выбирать себе место во время боя поближе к главным событиям, но не в самом огнедышащем месте, если к этому не побуждали обстоятельства. Правда, обстоятельства иногда вынуждали газетчиков заменять погибших командиров и поднимать бойцов в атаку. Но только иногда. Такое признание не создает нам ореола. Однако истина не нуждается в позолоте. Мы не забывали о том, что большинство окопных бойцов оставались целыми на фронте не более недели. Командиры взводов и рот — в среднем по три — семь дней. Журналисты выходили из боевого строя гораздо реже — чаще от бомбежек с воздуха, от артиллерийских и минометных обстрелов

или когда по неосмотрительности были неожиданно застигнуты врагом на уязвимом месте. Так случилось под Балатоном почти со всеми литсотрудниками газеты «Мужество», кто находился в войсках.

Балатонская операция явилась крупнейшей на завершающем этапе войны. 27-я армия утром 20 марта перешла в решающее контрнаступление. Впереди нас ждали Югославия и Австрия.

33

Война пошла на убыль. В первых числах апреля войска 27-й армии, преследуя остатки задунайской группировки противника, сбивая его сильные арьергарды, вторглись в пределы Юго-Восточной Австрии и северной части Югославии вдоль реки Мура. Редакция «Мужества» долго не задерживалась на одном месте, совершая по Европе марш за маршем. Помню, что какое-то время нам, «добытчикам материала» для газеты, приходилось ездить из Югославии через венгерскую территорию в Австрию. Одна такая поездка для меня и нашего фотокорреспондента старшего лейтенанта Александра Игнатьевича Сидоренко оказалась чуть ли не роковой, хотя мне лично «подарила» невероятную встречу и потрясение...

Наши передовые части вели тогда успешное наступление в Восточных Альпах южнее Вены. Стояли ясные дни, горные склоны покрывались зеленью и цветами. Мы с Сашей Сидоренко упросили артиллеристов-самоходчиков (СУ-76), отправлявшихся в головную походную заставу моторизованного полка, взять нас с собой. Самоходчики согласились, и мы устроились, каждый в отдельности, в двух машинах. СУ-76 — самоходка легкая, оснащенная одной пушкой с шестьюдесятью снарядами и двумя пистолетами-пулеметами — ППШ. Броневые щиты прикрывали ее спереди, сверху и по бокам. Сзади навешен брезент.

Самоходки и несколько грузовиков с мотопехотой резво брали подъемы, объезжали горные выступы. Противника в Восточных Альпах будто и не было.

Когда оседлали перевал, через который перемахивала узкая шоссейная дорога на Глейсдорф, оказалось, что главные силы полка не только отстали, но и были

отсечены от походной заставы невесть откуда взявшимся противником.

Начальник головной походной заставы получил по радио приказ остановиться и занять круговую оборону. Самоходчики и пехота тут же стали торопливо устраиваться на указанных им позициях. Мы с Сашей Сидоренко залегли вначале близ одной из самоходок, а потом Саша уговорил меня перебежать к нависшей над дорогой скале. Дело в том, что старший лейтенант Сидоренко являлся заслуженным мастером спорта СССР по альпинизму.

— В случае опасности,— говорил мне Саша,— сбросим сапоги и заберемся на скалу. Оттуда можно долго отстреливаться.

И словно напророчил: по нашему расположению вдруг ударили минометы. Затем со всех сторон из кустарников и из-за каменных выступов застрочили пулеметы и автоматы. Обстановка складывалась не в нашу пользу, хотя самоходные орудия и расчеты станковых пулеметов уже открыли по врагу ответный огонь.

Кольцо вокруг нас начало сжиматься. Появились убитые и раненые. В командах, подаваемых офицерами и сержантами, явственно проскальзывала тревога, как и в беспорядочности ответной стрельбы с нашей стороны. Уж очень неожиданно все случилось.

Приготовились к бою, прижавшись к скале, и мы с Сидоренко, располагая очень малыми возможностями для обороны. У меня кроме нагана было постоянное мое оружие — немецкий автомат с двумя обоймами патронов и три гранаты-«лимонки», которые можно было бросать только из окопа. У Сидоренко — пистолет ТТ с запасной обоймой.

За дорогой влетела в небо зеленая ракета, и тут же огонь в нашу сторону прекратился. До нас донесся четкий, призывный голос:

— Слухайте, слухайте, если не позакладало вуха!.. За каким хреном вы приперлись в Австрию?! Для чего она вам нужна?! Сдавайтесь, пока не поздно! Вы обложены со всех сторон, как волки! Не уйдете живыми!..

Голос из-за дороги толкнул меня в самое сердце своей знакомостью. Будто вчера его слышал!

— Гарантируем вам життя, если складете оружие!..

Мы поняли, что нас блокировали не только немцы, но и власовцы. А мне тут же пришел на память мой

соученик по Тупичевской десятилетке, чей отец был расстрелян «при попытке к бегству» по дороге из Тупичева в городнянскую тюрьму... Точно, его голос!.. Это Н., который припинал меня к земле на ржаном поле близ Тупичева...

— Генерал Власов дарует вам життя и свободу! — звучало из-за дороги.— Складывайте оружие!

У меня уже не оставалось никаких сомнений. Не только смесь украинских и русских слов, но и знакомая хрипотца с картавинкой в голосе, и еще что-то непередаваемое.

И я во всю глотку, напугав лежавшего рядом со мной Сашу Сидоренко, заорал, обращаясь к Н. по его звучной фамилии:

— ...Сука! Запроданец!.. Не возвращайся домой!..

Наступила тишина: стрельба совсем прекратилась.

— Кто ты?! — послышался чуть изменившийся голос со стороны власовцев.— Назови хвамилию!

— С кем ты, гад, распевал «черную хмару»?! — ответил я.

И тут же вопрос из-за дороги:

— Иван Стандюк или Виктор Романенко?!

Этой невероятной встрече и ее последствиям я посвятил в романе «Люди не ангелы» немало места, передав свои тогдашние мысли и чувства главному герою книги Павлу Ярчуку, а судьбу Н. переплел с судьбой тоже собирательного персонажа Саши Черных, поначалу оттолкнувшись от биографии Н.

Больше ничего не стал я отвечать власовцу. С новой силой ударили наши пушки и пулеметы. Бой нагнетался, несмотря на то что над дорогой, ниспадавшей из ущелья в долину, все больше темнел багрянец закатного неба, будто его далекий край, опустившись на горную гряду, отдавал ей свое тепло. Потемнели кусты, деревья и каменные увалы вокруг нас. Все наливалось черныю, в которой явственней были видны суматошно пляшущие вспышки стрелявших по нам пулеметов и автоматов. Но противник, надеясь на свой перевес в силах, увлекся боем и просчитался. Да и хорошо сработала наша радиосвязь. Моторизованный полк, усиленный танками, отбросив перекрывшего ему путь врага, пробился на горную дорогу южнее места, где велось единоборство головной походной заставы с немцами и власовцами, и к утру со всех сторон обложил это место.

Утром подбирали раненых — наших и вражеских, вылавливали в горах и брали в плен разбежавшихся гитлеровских вояк. А я все искал среди раненых, убитых и пленных своего бывшего соученика Н. И нашел!.. Нашел его лежавшим без сознания на носилках у палатки успевшего развернуться полкового медпункта. Н., тяжело раненный в грудь и живот, к моему удивлению, был одет в новенькую красноармейскую форму — кто-то постарался «замаскировать» его. Пробегавшая в палатку медсестра сказала, что при раненом нет никаких документов. Кто он?.. Я не знал, что ответить.

Н., будто услышав голос сестры, пришел в себя. Долго молча смотрел на меня мутными глазами, потом, преодолевая страдания, отражавшиеся на его лице, заговорил:

— Иван... Я узнал твий голос... Вспомнил все, что было... Можешь меня пристрелить...

— У нас лежачего не стреляют.

— Мне все равно подыхать... Не жилец я... Богом молю тебя: никому не говори о нашей поганой встрече... Пощади моих родных, маму мою пожалей... Пусть я пропаду без вести...

Я ушел... Не могу сказать, выжил ли Н. Знаю, что в Тупичеве, на Черниговщине, он не появлялся после войны. И я до сих пор храню его тайну, тиранящую мое сердце.

34

В Австрии, в городишке Рехниц, казалось, кончилась для нас война. Много уже написано о том, как фронтовой люд встречал и праздновал Победу. Мне запомнилось, как мы на импровизированном футбольном поле у школы, в которой располагалась редакция и типография газеты «Мужество», 9 мая азартно играли с австрийскими мальчишками в футбол. Корреспонденты, шофера, наборщики с упоением гоняли мяч и не очень огорчались из-за того, что «австрията», как мы их называли, брали над нами верх, забивая в наши ворота гол за голом.

Кульминацией матча был «коронный» удар нашего боевого водителя ефрейтора Гриневича. Он не участвовал в игре; сидел за пределами поля на скамеечке и,

сняв сапоги, сушил портянки. Вдруг футбольный мяч покатился в его направлении. Гриневич, вскочив со скамейки, помчался мячу навстречу и изо всех сил ударил по нему ногой. Тут же с криком упал, схватившись руками за окровавленные пальцы. Бедный Гриневич понятия не имел, что футбольный мяч необыкновенно тверд и ударить по нему босой ногой равносильно тому, что ударить по камню.

Было жалко ефрейтора, но смех пересилил жалость, и все мы буквально попадали на землю от хохота. Особенно неистово ржали австрийские мальчишки...

Именно в эту минуту меня позвали в здание школы к полевому телефону. Звонил из Граца Сергей Сергеевич Смирнов.

— Иван, тут происходят исторические события! — орал он с другого конца телефонного провода.— Встречаемся с американцами!.. Много негров! Срочно присылай фотокорреспондента! Пусть ищет меня в военной комендатуре или у бургомистра города!..

Честно говоря, мы были уже настолько сыты войной, что после ее окончания ни у кого не появлялось желания куда-то ехать. Но меня коготнули за сердце слова: «Много негров». Не помчаться ли и мне в Грац? Когда я еще смогу увидеть человека с черной кожей? Дядька Иван когда-то рассказывал, что она чернее голенища хромового сапога. Как это может быть?

Я пошел искать подполковника Ушеренко, чтоб доложить ему о телефонном звонке Смирнова, но редактора не было — уехал в политотдел. Только на второй день мы отправились на нашем «мерседесе» в дорогу — я, фотокорреспондент Саша Сидоренко и за рулем — шофер Яберов. Правда, Ушеренко предупредил нас, что некоторые части нашей армии еще продолжают вести бои с противником, сопротивляющимся где-то в горах. Но мы знали, что на Грац путь свободен, по нему прошли наши войска, и беспечно мчались по асфальту извилистой дороги, то взлетающей на перевалы, то ныряющей в низины или протискивающейся между скалами. Проезжали через праздновавшие конец войны людные селения, городишки. Веселились австрийцы и наши военные. Уже не пападались встречные машины, не было и попутных.

Дорога вильнула на широкий карниз. Справа от него простиралась просторная долина, край которой уто-

пал в дымке, слева полого возвышалась гора, укрытая разнотравьем, благоухающая цветами и купами густого боярышника.

Вдруг мотор нашего «мерседес-бенца» зачихал, стрельнул выхлопной трубой. Яберов свернул машину на обочину и беспечно объявил нам:

— Все, кончился бензин!.. Сейчас зальем!.. Напоим, миленького!

Шофер кинулся к багажнику, загремел канистрами. Затем наступила тишина. Мы с Сидоренко вышли из машины и увидели растерянность на лице Яберова.

— Нет бензина... Кто-то выцедил!

Я напустился на красноармейца с упреками: ведь всего километра три отъехали мы от городишка, где видели стоявшие на площади наши грузовики и бензовозы; можно было заправиться под завязку... Яберов, взяв канистру, уныло поплелся в направлении городка.

А мы с Сашей решили перекусить. Стали выбирать место за кюветом близ машины. И вдруг увидели на обочине убитого немецкого солдата. Он лежал на спине, подставив солнцу припорошенное пылью лицо. Оно было удивительно красивым, молодым. Округлое, точеное, прямой нос, четко окантованные губы, высокий лоб, светлая шевелюра. Совсем юный! Мы стояли над ним, думая, наверное, об одном и том же. Зачем ему нужна была война? Ведь впереди ждала его долгая и, может, счастливая жизнь. И погиб-то он вчера-позавчера, когда войне уже был конец... Странно... Мы впервые за эти годы испытывали жалость к врагу. И думали о себе: вот мы остались жить, а он, еще юноша, убит. Его где-то ждут родные, наверняка и девушка ждет, но не дождутся...

Мы поднялись вверх по склону, чтоб быть дальше от мертвеца, расстелили на траве близ густых кустов боярышника пятнистую немецкую плащ-палатку, поставили на нее плетенку с вином, банку мясных консервов «второй фронт», каравай белого хлеба, алюминиевую кружку. Все вокруг благоухало свежей зеленью и цветением.

На душе было чуть мерзко, и Саша предложил сделать первые глотки вина за упокой души убитого немецкого юноши. Выпив, я передал кружку Сидоренко. Помолчали, повздыхали, потом заговорили о том, сколько же наших юношей сложило головы по вине фашистов

на проклятой войне, сколько погибло детей и женщин...

Кислое вино, которым мы запивали свиную тушенку, не было очень хмельным, но располагало к разговору. Мы стали вслух размышлять о том, что выжить в затихшей войне было великим подарком судьбы. Вспоминали пережитые смертельно опасные ситуации, как и недавняя, когда столкнулись в горах с власовцами, и удивлялись своей удачливости.

Вдруг из-за недалекого гребня до нас донесся невнятный гул человеческих голосов. Насторожились — и тут же увидели выбежавшего из-за увала австрийского крестьянина в полотняной пастушьей одежде и островерхой шляпе. Заметив нас, он взволнованно, приглушенным голосом засипел:

— Schnell von hier!.. Doutsche sind in der Näne! Eine ganze Mende!* — и побежал наискосок склона в сторону городишки.

Каждый из нас в отдельности не понял бы смысла услышанного. А вдвоем, быстро сложив известные каждому немецкие слова, уразумели главное: идут немцы, надо бежать. Мы вскочили на ноги. Саша кинул взгляд альпиниста на горы. До ближайших скал было далеко, а легкий шквал голосов уже рядом. Единственный выход — залезть в терновник. Мы проворно забросили в кусты плетенку с вином, консервы, хлеб, а сами, накинув на себя пятнистую плащ-палатку, тоже нырнули в колючую зелень. Она была столь густой, что нам удалось протиснуться в ее тенистую глубь чуть-чуть. Только мы улеглись и накрылись плащ-палаткой, приподняв ее над глазами, как тут же заметили вышедших из-за гребня возвышенности трех немецких военных. Они были видны нам по пояс. Держали наизготовку автоматы. Один осматривал в бинокль дорогу и долину за ней. Вдруг увидел убегающего австрийского крестьянина. Вскинул автомат, но стрелять не решился; внимание всех троих привлекла наша стоявшая на дороге машина, и они присели. Томительно для нас тянулись минуты. Видели, как на гребне накапливались вражеские солдаты. Готовые к бою, настороженные.

Галдеж за гребнем утих; было ясно, что там приняли от головного дозора сигнал тревоги. Какое-то время

* — Быстро уходите отсюда! Немцы рядом! Огромное количество!..

немцы наблюдали за дорогой и машиной, осматривали склон и кусты, поросшие на нем, долго всматривались в кустарник, укрывший нас, отчего мы похолодели: казалось, увидели...

Группа автоматчиков вышла из-за гребня и осторожно начала спускаться к дороге. Проходила в нескольких шагах от нашего кустарника. Мы уже понимали, что оказались на маршруте бродячего немецкого «котла»: какая-то вражеская часть пытается пробиться в зону, занятую американцами, и там сложить оружие. И понимали главное: если нас заметят, достаточно будет одной автоматной очереди...

«Нужны мне были те негры!» — в смертном страхе мысленно корил я себя.

Свою машину мы не видели из кустарника, но слышали хлопанье ее дверц, крышки капота.

— Накрылась моя фотоаппаратура,— прошептал Саша.

— Молчи, а то и мы накроемся,— зло зашипел я в ответ, видя, что немцы рассматривают своего убитого соотечественника и обшаривают его карманы.

Послышалась с дороги какая-то команда, ее сдублировали на гребне, и мимо нас потекла нескончаемая масса вооруженных людей в гитлеровской форме. Мы накрылись с головой. Я понял, что нас пока спасал мертвый немецкий солдатик. Видимо, его приняли за водителя «мерседес-бенца»... Хотя бы Яберова черти не принесли!..

Время, казалось, приостановило свой бег. А рядом с нами, под сотнями сапог и ботинок, шуршала трава, скрипела полукаменная почва, гудели горы... Вскоре шум послышался и по другую сторону кустов боярышника...

Но вот все постепенно начало стихать. Только раздавались редкие голоса и доносились редкие шаги одиночек; это шли, как мы потом поняли, раненые.

Вдруг по холсту нашей плащ-палатки ударила струя. Мы почувствовали запах мочи. Напряглись до зубовного скрежета, понимая, что вот-вот будем замечены. И действительно, послышался испуганный голос:

— Wer ist da versteckt?! *

Отмалчиваться не было смысла. Приподняв над го-

---

* — Кто здесь прячется?!

ловой палатку, увидели стоящего у кустарника пожилого немецкого солдата. Одну ногу, забинтованную, он держал подогнутой, опираясь на винтовку, перевернутую стволом вниз. И этот его испуг будто подсказал мне, что делать. Я выпростал из-под палатки руку и, скорчив жалкую рожу, прижал указательный палец к губам, что везде означало: «Молчи!»

— Gut, gut!* — откликнулся немец после некоторой паузы и, застегнув ширинку, поковылял к дороге.

Мы с Сидоренко так и не поняли, принял он нас за своих дезертиров, не желавших идти в американскую зону, что вернее всего, или не захотел проливать нашу кровь...

Некоторое время мы продолжали отлеживаться в терновнике, приходя в себя. Даже начали похихикивать над своим страшным испугом, как вдруг услышали шум машины. Из-за поворота дороги показался американский «додж» с несколькими нашими солдатами в кузове. Среди солдат разглядели и шофера Яберова.

Выбравшись из укрытия, мы вяло побрели вниз. Увидели, что наш «мерседес» лежал на боку, а на его открытом моторе тлела холстина — немцы пытались поджечь машину.

«Додж» подъехал к перевернутой машине прежде, чем мы успели спуститься к дороге.

— Вы что, с ума сошли?! — заорал на нас Яберов, ставя на асфальт две канистры с бензином и кидаясь к дымившейся на моторе тряпке.— А поджигать зачем?!

Мы с Сидоренко, кажется, еще не верили в свое спасенье. Наступила странная реакция: нас начал бить озноб, хотя предзакатное солнце кидало жаркие лучи.

Из кабины «доджа» вышел молоденький лейтенант с артиллерийскими погонами на линялой гимнастерке и с удивлением уставился на опрокинутый «мерседес».

— Во упились товарищи корреспонденты! — с хохотом обратился к нему Яберов.— Ничего себе шуточки: перевернули машину! — И опять к нам с изумлением: — Но зачем поджигать?!

Было не до объяснений. Далеко в долине еще виднелся жидкий «хвост» бродячего «котла» немцев. А Саша Сидоренко стоял у перевернутого «мерседеса» и ма-

---

* — Хорошо, хорошо!

терился: вся его фотоаппаратура была унесена, как и мой трофейный автомат.

Лейтенант-артиллерист, услышав о «котле», кинулся к «доджу»:

— Я должен немедленно доложить начальству о немцах!

— Помогите сначала поставить нашу антилопу на колеса,— попросил я его.

Все вместе мы взялись за край днища «мерседеса», но приподняли машину чуть-чуть. Пришлось перекидывать через нее металлический трос, крепить его к днищу и подцеплять к «доджу», вставшему поперек дороги.

35

Сергея Смирнова мы с трудом разыскали в резиденции бургомистра Граца; был уже поздний вечер, на улицах кое-где горели электрические фонари, в некоторых домах светились окна. Это было так непривычно, что мы с опаской прислушивались к небу.

Сергей Сергеевич сидел под ярко горевшей люстрой в застолье среди группы наших офицеров, был, как и все, навеселе. Увидев меня и Сашу Сидоренко, он поднялся навстречу, развел руками и с упреком спросил:

— Что ж вы вчера не приехали?! Американцы погостили у нас и вернулись в свою зону.

— А негры? — с тающей надеждой спросил я.

— И негры с ними!

— Так зачем мы приехали?!

— Как зачем? — удивился Смирнов и захохотал.— В Граце сегодня загорелся свет! Раньше всех городов Европы! Впервые за годы войны!.. Я приказал бургомистру дать свет! Вы понимаете, что это значит?!— Сергей Сергеевич был в неописуемом восторге.— Так и напечатаем в «Мужестве»: «Европа зажигает огни!..»

Радость в избытке, неумеренный восторг наносят ущерб не только сердцу, но и памяти. Казалось, мы были на грани сумасшествия: война закончилась! Не сказочный ли это сон?! Мы оглядывались в отгремевшие огнем и железом годы и не понимали, как могло случиться, что остались живы. А во мне особенно остро запульсировали события 41-го. Пощадил он очень не-

многих. Как удалось вырваться из Западной Белоруссии, устоять под Смоленском и у стен Москвы?.. А сколько было еще безысходности, непередаваемой тоски перед лицом очевидной смерти?

Чувства запоминаются больше, чем породившие их события... А тут ураган чувств: закончилась война! Разобраться в них невозможно, как невозможно сосчитать колоски на созревшем поле. Все вместе они сливались в вопль души: скорее домой, на родину!..

На меня счастье обрушилось еще одной сказочной новостью. Закончив 13 мая бои с противником в горах юго-западнее Вены, войска 27-й армии получили приказ совершить своим ходом марш на Украину — в районы Винницкой и Проскуровской областей. Штаб армии будет располагаться в самой Виннице — в двадцати пяти километрах от моей Кордышивки! Это же с ума можно сойти! 27-я армия идет в мои родные края!.. Такое и не снилось. В Виннице мы должны быть не позже 15 августа, преодолев около двух тысяч километров.

...Стрелковые полки и дивизии шли по Европе в пешем строю, при развернутых боевых знаменах, при орденах и медалях, с песнями и сдерживаемыми рыданиями. Позади оставались тысячи могил наших воинов-побратимов...

В каждом городе, в каждом селении армию-освободительницу встречали и провожали цветами, непритворной любовью. Гремели оркестры, звучали песни и страстные речи на митингах.

Редакция газеты «Мужество» передвигалась бросками: обгоняла на машинах пешие войска и неделю-другую дожидалась их подхода, выпуская газету и печатая листовки. Затем — новые перекаты... Это действительно был марш радости и печали. Но радость все-таки брала верх, захлестывая наши сердца и не глухие к впечатлениям души. Наш воспрявший дух давал силу размышлениям. Все засматривались в свое будущее. Нас звала вперед самая могучая сила — надежда.

Но война нет-нет да и догоняла нас непредвиденными гримасами. Случилась беда в венгерском городе Дебрецен. Несколько наших водителей и наборщиков где-то раздобыли спирт и устроили тайное пиршество. Я как раз вернулся с митинга, и Ушеренко, прослышав о пьянке, приказал мне построить всех, кто был на месте, во дворе, чтобы дать взбучку провинившимся. Помню

этот большой каменный двор-мешок, где стояли на брусчатке наши типографские машины. Дежурный по редакции старший лейтенант Неказаченко скомандовал всеобщее построение.

Выровняв строй и скомандовав «смирно», я не успел отдать рапорт Ушеренко. Увидел, что участников выпивки тошнит прямо в строю. «Метиловый спирт!» — обожгла меня догадка, и, подбежав к стоявшему невдалеке редактору, встревоженно сказал:

— Яков Михайлович! Надо ребят сейчас же в госпиталь! Иначе погибнут...

Немедленно был снаряжен грузовик. Ребят в полуобморочном состоянии уложили на брезентовые подстилки в кузове, и начальник издательства капитан Турков повез их в госпиталь на окраину Дебрецена. В горячке не заметили отсутствия еще одного провинившегося — печатника — молодого красноармейца, пришедшего к нам недавно. Его спрятала в печатном цехе вольнонаемная наборщица Вера О.

Через день-два мы покинули Дебрецен. На новом месте дислокации нас догнала страшная весть: все наши ребята, попавшие в госпиталь, умерли.

Мы даже не смогли похоронить их. В военном госпитале были свои порядки, свои похоронщики... Жестокая правда военной и послевоенной поры!

Всех их мы помянули в траурном застолье, сказав о каждом добрые и прощальные слова. Помянули и молодого солдатика-наборщика... Каково же было наше изумление, когда он вдруг объявился живым и здоровым!.. Оказалось, что наборщица Вера О. недавно родила и тайком отпаивала паренька грудным молоком...

36

Мучительно - неторопливо приближались мы к Родине. Перед нами простирались дороги Румынии. На ее просторах воцарилось лето. Манили к себе виноградники с созревшими гроздьями, вишни, ранние сливы, абрикосы. Для нас, победителей, не было запретных зон, и именно это чувство вседозволенности как бы сковывало наши желания: никто самовольно не вторгался в виноградники и сады. Но щедрости румын по отношению к нашей армии не было

предела. Мы во всем ощущали достаток, и это повергало нас в печальные мысли о том, что та же Москва кормится более чем скудно; люди получают хлеб и крохи продовольствия по карточкам.

До 15 августа, когда мы должны прибыть в Винницу, еще было далеко. А мне выпала удача по каким-то редакционным делам полететь в Москву. Не помню, советовался ли я с редактором Ушеренко или начальником политотдела полковником Хвалеем, но, возвращаясь из Москвы в Румынию, решил взять с собой жену Тоню и нашу дочурку Галю, которой уже было два с половиной года. Размышлял я довольно примитивно: мы медленно передвигаемся с места на место по благодатной земле, вокруг полно ягод и фруктов. Тоня — бывшая корректорша нашей газеты. Почему бы ей вновь не побывать в «Мужестве»? Никому в тягость она с дочкой не будет.

Молодость самонадеянна и порой глупа. Свое решение выполнил я без труда, вначале добившись согласия Тони и ее мамы, Нины Васильевны. В Центральном аэропорту на Ленинградском шоссе упросил дежурного администратора включить меня и мою семью в рейсовую ведомость военного транспортника, следующего в Бухарест.

В тот же день мы все трое были в бухарестском аэропорту. О, как пригодилось мне знакомство с хозяином гостиницы, располагавшейся рядом с аэродромом! Благо был я при румынских леях...

Несколько дней жили мы в приветливой гостинице с ее хорошей кухней. Фаршированный перец, помню, казался нам вершиной кулинарного искусства.

Мы ждали машину, которую я вызвал по телефону из кабинета нашего военного коменданта аэропорта...

Все сложилось как нельзя лучше. «Мужественники» радостно встретили Тоню, а маленькая Галя тут же стала всеобщей любимицей...

Наш неторопливый марш по Румынии продолжался до начала августа, пока мы не прибыли на границу Румыния — СССР. Контрольно-пропускной пограничный пост располагался на нашей территории, за Днестром, почти в Бельцах. По временному деревянному мосту мы (я, Тоня, Галя и майор Глуховский Семен Давыдович) подъехали на «мерседес-бенце» к шлагбауму. Началась проверка документов.

— Откуда у вас, товарищ майор, взялись за грани-

цей жена и ребенок? — спросил у меня капитан-пограничник, рассматривая наши бумаги.

— Там же, в моем командировочном удостоверении, вписаны жена и дочь,— ответил я и ткнул пальцем в документ, подписанный полковником Хвалеем.

— Но как они оказались в Румынии?

И я без утайки рассказал все, как было.

— Тогда это командировочное предписание для пограничной службы — филькина грамота. Вам надо возвращаться в Яссы к нашему консулу и через него связываться с Москвой.

— И долгая это будет процедура? — обескураженно спросил я.

— С полгода протянется,— сочувственно ответил капитан.

— Да мы же с голоду помрем! Да и я должен быть на своей службе!

— Вы можете следовать дальше, а жену и дочь направляйте в Яссы.— Пограничник был неумолим.

Я запаниковал:

— Сейчас дам вам еще документы! Жена моя — корректор армейской газеты!

— Давайте, только отведите машину в сторону.— Капитан, указав на приближающуюся по мосту роту пехотинцев, открыл нам шлагбаум.

Мы отъехали вперед, стали на обочине дороги. Я начал рыться в чемодане, зная, что никаких других документов не найду там. Успел шепнуть Семену Глуховскому и водителю Яберову быть готовыми к бегству. Наступили самые критические минуты. Я закрыл чемодан, захлопнул крышку багажника. Для пущей важности стал перебирать бумаги в своей полевой сумке, кося глаз на капитана.

Он был занят подошедшей ротой. Я нырнул в машину и скомандовал:

— Вперед!..

Тут шофер Яберов продемонстрировал все свое водительское мастерство — машина рванулась с места и на предельной скорости понеслась в Бельцы. Мы с Глуховским оглядывались в заднее стекло, ожидая, что по нам ударят автоматчики. Но увидели другое: капитан смотрел нам вслед и махал рукой.

И все равно тревога меня не покидала. В Бельцах не стали задерживаться и помчались в Могилев-По-

дольск. Там дождались приезда колонны редакционных машин, и я получил от Ушеренко разрешение следовать дальше. А дальше простиралась родная Винничина, магистраль Могилев — Подольск — Винница проходила в трех километрах от моего родного села Кордышивки. Было бы грешно не заехать домой.

В Кордышивке, в доме, где я родился, жили чужие люди. Остановились у моего старшего брата Бориса. Он только что вернулся из железнодорожных войск. Наш приезд в село был для моих земляков небывалым событием: Иван Фотиев (так меня звали) вернулся с войны целехоньким, да еще с женой и дочкой! А главное — жена русская, кацапка.

Сбежались родственники и неродственники. Разговорам и расспросам не было конца. На Тоню смотрели, как на чудо: в самой Москве Иван ее нашел!..

И еще случилось непредвиденное: шофер Яберов встретил в моем селе бывшего своего однополчанина — Зашкарука Семена Степановича. Они уселись в «мерседес-бенц» и исчезли. С трудом, через двое суток, удалось мне разыскать Яберова с машиной.

Оставив Тоню и Галю у брата, я уехал в Винницу. Жива оказалась Винница! Не тронуты войной дом-музей Коцюбинского, здание бывшего моего строительного техникума, целы мосты. Хотя и развалин было немало.

Редакция «Мужества» расположилась за Бугом, в Старом городе. Там же, в частных домах, мы искали себе квартиры, не зная, что ждет нас дальше. Но у каждого своя судьба. Меня ждала новая трудная жизнь — штурм науки, борьба с несуразностями и несправедливостями, с человеческой подлостью, завистью, недоброжелательством. И как же трудно молодым входить в литературу, искать свои дороги, сметать с них препятствия, утверждать собственное видение жизни, особенно толкование событий минувшей войны. Надо было избавляться и от собственной наивности, прекраснодушия, искать новые точки опоры для борьбы за истину, делать какие-то свои открытия. Словом, грядущее сулило мне беды, радости, падения, взлеты и потрясения, в которых замыкаются сложности нашего времени. Надо было выкупать себя из плена армейской судьбы. К силе той воли, которая имелась во мне, необходимо было подтягивать силу разума, ибо наступала отдыхающая война.

КНИГА ВТОРАЯ

1

Верно кто-то из древних заметил, что человеческая память — это медная доска, покрытая буквами, которые годы незаметно сглаживают, если, по временам, не возобновлять их резцом. Но нет в распоряжении человека такого резца. Трудно удержать в памяти обыденность жизни, особенно давно отшумевшей, нелегко воскрешать подробности иных событий, кроме оставивших зарубки на сердце или поразивших своей необычностью, значительностью, а то и несуразностью. Запоминаются больше всего непоправимые собственные ошибки, победы над своим характером, перенесенные обиды и несправедливости, неожиданные повороты судьбы, случаи, всколыхнувшие воображение. А бывало всякое...

Глубока и быстротечна Река забвения. И тем приятнее выбираться из нее на острова и островки былой реальности, на земную твердь берегов, хранящих следы твоей жизни.

Мы расстались, уважаемый читатель, в благословенной родной мне Виннице, где на улице Ворошилова разместился штаб 27-й армии (и в Старом городе — редакция нашей газеты «Мужество»), прибыв туда из глубин Австрии. Позади остались четыре года войны — тяжелейшей, какой еще не знала история человечества. К этому времени уже усмирились чувства нашей радости и нашего недоумения... Уцелели! Остались живы, пусть неосознанно ощущали безвинную вину перед миллионами наших побратимов, павших в жестоких боях. Но ведь

надо было кому-то уцелеть, хотя бы для того, чтобы рассказать потомкам, как все было, как удалось спасти наше государство, нашу землю от алчных поработителей.

Дальнейшая моя жизнь начала разматываться в новых заботах, тревогах, неожиданностях. Догорал август 1945-го, торопясь уступить место сентябрю. Меня вдруг вызвал к себе телефонным звонком начальник политотдела армии полковник Хвалей. Я тут же помчался из Старого города на улицу Ворошилова в штаб. В кабинете Хвалея застал редактора «Мужества» подполковника Ушеренко. Они оба смотрели на меня со строгой вопросительностью.

— Прибыл по вашему приказанию! — бойко доложил я Хвалею, ощутив, как дрогнуло мое сердце, полагая, что придется сейчас держать ответ за брошенный между Вороновицей и Винницей «мерседес-бенц». Случилось так, что шофер Яберов, когда мы ехали из моего села Кордышивки в Винницу, не сумел провести машину по размолоченной, со вздыбившимся булыжником дороге, и врезался в торчавший камень; рулевое управление машины треснуло...

К счастью, подоспела наша типографская автоколонна, следовавшая из Могилев-Подольска. У «мерседеса» собрались все наши шофера и вынесли приговор: машина загублена, ибо запчастей не найдешь к ней, да и на буксир нельзя взять — передние ее колеса неуправляемы. Начальник издательства капитан Турков дал команду столкнуть легковушку на обочину и оставить ее там под охраной водителя Яберова. В Виннице, мол, поищем автобатальон и посоветуемся, как выйти из трудного положения. Я пересел в один из наших грузовиков, и мы двинулись дальше. А через несколько дней услышал от Туркова, что Яберов на время отлучался со своего «поста» в недалекое село Комаров, а когда вернулся, «мерседес-бенца» не оказалось на месте. Нашлись умельцы и уволокли его...

— Ну, как настроение? — спросил у меня Хвалей.

— Виноват, товарищ полковник... Наказывайте.

— За что?

Я рассказал о брошенной машине, чувствуя свою ответственность за нее. И тут увидел, что лицо Ушеренко побагровело. Понял: о «мерседесе» он еще не докладывал начальнику политотдела.

Хвалей какое-то время молчал и хмурился. Потом, не отрывая глаз от бумаг на столе, сказал:

— За машину спрос не только с тебя, но и с начальника издательства. Тебе зачтется, если выполнишь задание командующего армией. Очень важное.

Я не верил своим ушам: мне задание от прославленного генерал-полковника И. В. Болдина, который еще на марше армии, в румынском Брашеве, сменил не менее прославленного генерал-полковника Трофименко!..

— Выполню, товарищ полковник!

— Не говори гоп! — Хвалей скупо засмеялся.— Надо срочно издать брошюру с приказами Верховного Главнокомандующего, где объявлена благодарность войскам нашей двадцать седьмой армии. В Виннице это сделать невозможно.

Я молчал, поняв, что задача действительно не из легких.

— Денег на типографские работы у нас нет,— напомнил Ушеренко.

— Неужели откажутся бесплатно печатать приказы товарища Сталина? — я искренне удивился.

Хвалей насмешливо посмотрел на меня и сказал:

— Ну, вот что, Стаднюк, собирайся в Киев. Бери грузовик, получи в нашей хлебопекарне мешок муки, захвати в военторге крой хрома на пальто и крой на сапоги... Я распоряжусь... Запасись документами,— он требовательно посмотрел на Ушеренко.— А дальше твое дело. Без брошюры с приказами не возвращайся!..

В Киев мы ехали на полуторке. За рулем — шофер Сайченко, в кузове наши «мужественники» — печатник, наборщик и майор Семен Глуховский, который направлялся в Москву в отпуск, надеясь в Киеве скорее достать билет на поезд. Остановились в квартире моего брата Якова на улице Горького, 45. Машину поставили во дворе под неусыпной охраной Сайченко.

Уже в день приезда я обегал все уцелевшие киевские типографии. Никаких надежд на успех! Не было бумаги, краски, нужных шрифтов, не хватало рабочих рук. Никто из киевских издателей не откликнулся на мои просьбы и богатые посулы.

Растерянный и подавленный, вернулся я вечером к брату на квартиру. Семена Глуховского не застал — он уже отбыл на вокзал.

Яков Фотиевич сочувственно выслушал мои жалобы и сказал:

— Не получилось сегодня, получится завтра. Этот майор Глуховский сказал о тебе, что ты парень оторви да брось — энергичный, напористый. Только не хватает у тебя какой-то холеры. Не помню слова... Что-то похожее на ерундистику... Вот этой ерундистики, говорил, пока тебе недостает.

— Может, эрудиции? — уязвленно переспросил я.

— Во-во! Эрудиции!.. А что оно такое, эрудиция? — брат разговаривал со мной только по-украински.

— Ну, общая культура, начитанность, знания истории искусств...— я мысленно корил Глуховского за его словоизлияния перед братом, тем более что мне лично он никогда не говорил о моей недостаточной культуре, хотя я и сам немало размышлял над этим.

— Ты в скольких школах учился, пока закончил десятилетку? — спросил у меня Яков.

— В одиннадцати,— угрюмо ответил я.— Да и то благодаря тебе и Афии. Подох бы с голоду, если б не вы...

— То-то и оно! — Яков недобро засмеялся.— Попробовал бы твой Глуховский пожить на Украине в тридцатые годы, узнал бы, что такое «ерундистика»! — и вдруг разразился густой бранью в адрес Сталина — особенно за репрессии. Яков, член партии с 1922 года, исключался из ее рядов и чудом избежал ареста.

Я был потрясен, ибо никак не связывал минувший голод, раскулачивание середняков, жестокие репрессии с именем Сталина, боготворил его личность, а на фронте ходил в атаки с кличем: «За Родину, за Сталина!», славил его в передовых статьях нашей газеты, страшился возмездия, когда при публикации в «Мужестве» его приказов или речей в бытность моего секретарства или при моем дежурстве по номеру вкрадывались опечатки. И еще мне страшно было за Якова: болтнет подобное вне дома, и пропадет...

Мы с Яковом серьезно поругались и потом еще многие годы при встречах продолжали спор, не находя общих точек зрения. Яков несколько смирился только в 1962 году, когда я опубликовал роман «Люди не ангелы», показав в нем тридцатые годы с их страшным голодом, повальными арестами и принудительной коллективизацией.

— А чего ж ты придурялся, что ничего не понимаешь? — с издевкой спросил он тогда у меня.

Но не будем забегать вперед. На второй день пребывания в Киеве я разыскал на Печерске редакцию и типографию газеты Киевского военного округа «Ленинское знамя». Познакомился с начальником издательства и не без труда уговорил его принять у меня муку и хром как плату полиграфистам за сверхурочную работу. Ведь время было голодное, люди жили в нищете.

Задание было выполнено... В послевоенные годы, бывая на писательских съездах в Киеве, я иногда видел того бывшего начальника, но замечал — он смущался, избегал встречи со мной, и я делал вид, что не узнавал его, не помнил о нашей «сделке», а ведь сотворил он мне добро, которое не забывается.

Когда я привез в Винницу пачки брошюр с двадцатью приказами Верховного Главнокомандующего, в которых значилась 27-я армия, сдавать их было некому. Все разъехались то ли по новым местам службы, то ли в отпуска. Не было ни полковника Хвалея, ни подполковника Ушеренко. Надо было пробиваться к новому командующему 27-й армией генерал-полковнику Болдину Ивану Васильевичу, бывшему в 1941 году заместителем командующего Западным фронтом. В первые дни войны он попал в окружение, откуда пробился на восток во главе крупного отряда наших войск и был отмечен в известном приказе Сталина № 270 от 16 августа 1941 года. Потом командовал 50-й армией, защитившей Тулу от вторжения немцев...

Не помню, как все случилось, куда и кому сдал я брошюры, но с одной пачкой оказался в кабинете генерал-полковника Болдина. Он с трудом понял, кто я и зачем к нему пожаловал, с интересом листал брошюру, а меня дьявол дернул за язык сказать, что встретил я войну в знакомой ему 10-й армии Западного фронта и, как и он, пробивался из окружения. Ивана Васильевича это очень заинтересовало, он начал расспрашивать меня о судьбе 209-й мотострелковой дивизии, рубежах ее обороны, затем стал вспоминать свою одиссею выхода из вражеского тыла.

— Вам надо книгу писать об этом,— сказал я и тут же пожалел о сказанном.

— Помоги! — предложил Болдин.— Ты же пишущий человек.

— Надо немножко отдохнуть от войны,— мой ответ был уклончивым.— Да и без архивных документов не обойтись.

— Я обеспечу тебе допуск в архивы!.. Езжай в отпуск, а потом заходи ко мне.

— Слушаюсь...

С моим будущим судьба распорядилась по-своему, однако через несколько лет, когда генерал-полковник Болдин уже был первым заместителем командующего Киевским военным округом, я свел его с журналистом Александром Палеем, и при литературной помощи Палея Иван Васильевич написал мемуарную книгу «Страницы жизни» — первую такого жанра, вышедшую в Воениздате в 1961 году.

Но главное для меня — последующие встречи с генералом Болдиным, наши беседы о 41-м годе; они зародили во мне желание засесть за свою собственную книгу о тех тяжких и страшных временах, первых месяцах войны.

2

Известно, что случай часто служит человеку добрую службу...

В конце августа или начале сентября 1945 года мы с моей женой Тоней и малолетней дочерью Галей приехали в Москву к Тониным родителям. Это был мой первый отпуск в жизни. После отпуска мне надлежало явиться в управление кадров Главного политуправления за назначением на новую должность. Хотелось попасть куда-нибудь в южные края — так посоветовали врачи, обнаружив у Гали предрасположение к легочным заболеваниям. Но впереди был еще целый месяц свободного времени, и мы с Тоней беззаботно проводили его в прогулках по столице.

В тот день мы приехали на Арбатскую площадь с намерением попасть в кинотеатр «Художественный». Выйдя из метро, я услышал, что меня кто-то окликнул. Обернулся на голос и увидел знакомого симферопольского поэта-фронтовика капитана Бориса Сермана, который служил в газете одной из дивизий нашей 27-й армии. Борис — невысокий, худощавый, обрадованно пожимал мне руку и загадочно посмеивался.

— А я везу тебе в Винницу письмо из Симферопо-

ля! — сказал он.

— Я уже покинул Винницу насовсем. От кого письмо?

— От Евгения Ефимовича Поповкина. Он в Симферополе редактирует газету Таврического военного округа «Боевая слава».— Борис достал из сумки и вручил мне запечатанный конверт.— Это же чудо: встретить именно тебя в многомиллионном городе!

Конечно, удивляться было чему. Тут же у метро мы прочитали письмо. В нем Поповкин, бывший в 1942—1943 годах редактором нашего «Мужества», приглашал меня добиться назначения в его газету на должность начальника отдела боевой подготовки. Писал также, что держит для меня просторную комнату в коммунальной квартире; советовал предварительно прилететь в Симферополь, увидеть все своими глазами.

Распрощавшись с Борисом, мы с Тоней тут же поехали в «Метрополь» — там находилось агентство Аэрофлота. Дежурный военный комендант, майор, принял заявку на места в самолете (билеты надо было выкупать завтра, а улетать — послезавтра). Но на второй день меня ждало разочарование: когда я приехал в агентство за билетами, новый дежурный офицер сообщил, что мои места в самолете вынужден был отдать какому-то генерал-лейтенанту, спешившему с женой на черноморский курорт. И предложил мне лететь на сутки позже... Еще выждав день, я вновь приехал в «Метрополь». Там дежурил знакомый мне майор. Увидев меня, он, кажется, потерял дар речи:

— Ты не улетел?!

— Видишь же, что нет,— удивился я.— Отдали мои места какому-то генералу.

— С ума можно сойти!.. А я тебя уже поминал как покойника.

Наступил черед изумляться мне:

— Как понимать? Что случилось?

— Самолет того рейса гробанулся... Погибли все.

Я долгие годы хранил экземпляр газеты «Красная звезда» с портретом в черной рамке того генерал-лейтенанта (кажется, ветеринарной службы). И все размышлял над фатальностью ситуаций, которые вплетались (да еще будут вплетаться) в мою судьбу, в ее превратности. Ведь чудом уцелел на фронте! И вдруг чудо сразу после войны.

Выкупив билеты на завтрашний авиарейс, приехал на Можайское шоссе в квартиру родителей Тони. Не хватило у меня ума не рассказать об услышанном от дежурного коменданта. Реакция тещи (Нины Васильевны) была неожиданной: «Галю с вами не дам! Летите без нее!» Никакие наши уговоры не помогли, что оказалось к лучшему, ибо наш полет в Симферополь тоже чуть не завершился трагически. Самолет Ли-2 должен был дозаправиться бензином в Харькове. Но харьковский аэропорт отказался принять нас из-за тумана. Тогда летчики взяли курс на восток — к Воронежу — и совершили вынужденную посадку на лугу какой-то речки, чуть не угодив в танковый ров. Ночевали в хуторе, долго ждали подвоза бензина... Таковы приметы того послевоенного времени.

Зато Симферополь встретил нас солнцем и пыльными вихрями, гулявшими по улицам и развалинам домов. Поповкин оказал щедрое гостеприимство, познакомил с редакцией, временно размещавшейся в школе на улице Шмидта. Рядом находилась снимаемая им квартира и недалеко — военведовский дом с огромнейшей, недавно отремонтированной комнатой на втором этаже, которую и предлагал нам занять Поповкин. За ремонт комнаты надо было уплатить в хозяйственно-административную часть штаба округа немалые деньги (поэтому никто не хотел в нее вселяться). Я же по легкомыслию согласился платить с постепенным вычетом денег из моей будущей зарплаты, не предполагая, что это приведет нас к полуголодному существованию.

Итак, было принято нами с Тоней решение: переезжать в Симферополь. Но Поповкин предупредил меня, что если я в Москве, в Главпуре, попрошусь к нему — в Таврический военный округ, то меня обязательно пошлют в Архангельский, Приволжский либо еще какой-нибудь. Такого «железного» правила придерживался полковник (или подполковник — не помню) Дедюхин, ведавший кадрами газетных работников Об этом, вспоминая войну, расскажет потом на одном из писательских собраний Алексей Сурков: «Просит писатель у Дедюхина послать его на Южный фронт — получает назначение на Северный или Западный...» Зная эту особенность Дедюхина, мудрый Евгений Ефимович предложил обхитрить его. План Поповкина был прост: когда я вернусь в Москву и пойду в Главное политуправле-

ние за назначением для прохождения дальнейшей службы, должен дать в Симферополь срочную телеграмму с указанием дня моего визита к кадровикам. А он, Поповкин, посылает им телеграмму-молнию с требованием прислать наконец газетчика на должность начальника отдела боевой подготовки. Мне же полагалось согласно нашему плану проситься куда угодно, только не в Симферополь...

И вот я в Москве, в старом здании Наркомата обороны на Гоголевском бульваре. Кабинет Дедюхина мрачен, как и он сам. Кладу на стол грозного начальника свои документы и вижу телеграмму от Поповкина. Дедюхин, благосклонно взглянув на мои ордена и медали, спрашивает:

— Где хотели бы служить?

— На родной Украине,— бодро отвечаю я.— В Киевском или Одесском военных округах.

— Там в газетах все должности заполнены.

— Но я просил бы...

— Что просил бы?! Вы в армии служите там, где Родине надо, или выбираете себе местечко, где вам хочется?!

— Я просил бы куда-то на юг... Дочурка болеет,— и протянул Дедюхину справку от врача, в которой указывалось, что у Гали обнаружено затемнение в легком.

В кабинете Дедюхина сидел за приставным столом, поблескивая очками, знакомый мне майор Дмитриев — добрая душа, тоже кадровик. Дедюхин протянул ему медицинскую справку, и тот, прочитав ее, сказал:

— Да, надо учесть. Причина уважительная.

— Поедете в Симферополь! — сурово сказал мне Дедюхин.— К Поповкину! Знаете такого?

— Знаю. Служил под его началом на фронте. Боюсь, не сработаемся,— говорил я, а у самого сердце холодело от страха: вдруг «смилостивится»?

Но Дедюхин опять взорвался:

— Так что, сами будете выбирать себе место службы и давать нам указания?!

— Нет, товарищ полковник! — я тоже наливался злостью, и мне очень хотелось едко спросить у него, где он провел войну. Но сдержался и почти покорно произнес: — Буду служить там, где Родина прикажет!

— Идите в коридор и обождите,— повелел мне Дедюхин.— Мы без вас примем решение.

— Есть обождать! — Я четко повернулся кругом и вышел из кабинета.

Это были тяжкие минуты в моей жизни. Не перестарался ли я? И мучил вопрос: почему здесь так пренебрежительно относятся к людям? Почему вынуждают притворяться и лгать? Кипел от негодования и боялся, что наш с Поповкиным план провалится.

Наконец в коридор вышел майор Дмитриев. Посмеиваясь, он вручил мне бумагу — предписание, в котором значилось, что я назначен начальником отдела боевой подготовки газеты Таврического военного округа «Боевая слава»; должен явиться к месту службы в город Симферополь не позже 1 октября 1945 года.

Сбылось!..

3

Итак, Симферополь явился порогом, за которым простирались мои послевоенные тернистые дороги в литературу; о ее изнуряющей сущности имел я тогда поверхностное представление. Но вначале сосредоточился на работе в окружной газете. Отдел боевой подготовки, который я возглавлял, был основным поставщиком материалов для «Боевой славы». Прежде всего надо было «напитаться» пониманием проблем и задач, которыми жили войска округа. Поэтому приходилось непрерывно бывать в военных гарнизонах — ездить в Белогорск, Феодосию, Керчь, Джанкой, Мелитополь, Запорожье... Писал передовые статьи и статьи по воинскому воспитанию, о боевом опыте, практике военного обучения мелких и средних подразделений. Евгений Поповкин, как редактор, был добр, обходителен, но и умел держать коллектив в напряженном рабочем состоянии.

Редактор требовал с меня, а я напрягал своих подчиненных — весьма надежных и профессиональных военных журналистов — майора Гусева, старших лейтенантов Горянова и Шаркова. Все мы трудились с упоением: ведь такая война позади!..

Она жила во мне не только в воспоминаниях и сновидениях. Догоняла и в яви. Пришел, например, я с Тоней в Симферопольский Дом офицеров на встречу Нового, 1946 года и столкнулся в вестибюле с однополча-

нином из 7-й гвардейской стрелковой дивизии — с тем самым работником прокуратуры, по косвенной вине которого весной 1942-го расстреляли не подлежавшего суду красноармейца. Он узнал меня, заметно смутился и сбивчиво рассказал, что был за это сам судим, искупал вину на передовой...

Мне пора было браться за написание книги, которую задумал еще на фронте. Надеялся удивить людей рассказом о том, что видел и пережил в первые недели войны, особенно в Западной Белоруссии. Был убежден, что это удастся. Наиболее глубоко волновали меня воспоминания о стычках с немецкими диверсантами, другие «смертельно острые» ситуации 41-го.

Желание писать подогревал и Поповкин: он часто приглашал к себе в гости и читал вслух новые главы из своего романа «Семья Рубанюк». Подталкивала и редакционная «литературная атмосфера»; ее создавал главным образом сотрудник, а потом начальник отдела культуры майор Холендро Дмитрий Михайлович, к тому времени уже автор книги «В Крыму» (из записок военного корреспондента). Служил в нашей редакции и поэт-сатирик Алексей Карлович Малин. Они пригласили меня участвовать в занятиях литературного объединения при областной газете «Крымская правда», которым руководил живший в Ялте известный писатель Петр Андреевич Павленко. Ему помогали просвещать нас опытный критик-литературовед Владимир Вихров и прозаик, автор романа «В Крымском подполье» Иван Козлов. В заседаниях объединения активно участвовали бывшие фронтовики — Василий Субботин, Борис Серман, Александр Лесин. Для меня это был серьезный литературный университет.

В ту же осень 1945-го я засел за написание повести, которая потом, по подсказке Дмитрия Холенро, получит название «Человек не сдается».

Помнится (кажется, весной 1946 года), наше Крымское литературное объединение собралось в Алуште, чтобы встретиться с жившим там классиком русской литературы Сергеем Николаевичем Сергеевым-Ценским. По фронтовой привычке тогда все мы, участники войны, ходили при орденах и медалях. И я заметил, что во время наших литературных бесед Сергей Николаевич часто косил глаза на мою сверкающую наградами грудь.

А беседы велись вокруг первых литературных опытов молодых крымских писателей. Во время обеда в алуштинской столовой Сергеев-Ценский, сидевший за соседним с нами столом в компании Петра Павленко и Евгения Поповкина, поманил меня к себе и спросил:

— Какие вы книги написали? — При этом Сергей Николаевич почему-то провел рукой по моим орденам и медалям.

— Никаких,— ответил я.

— Не слышу! — Сергей Николаевич действительно плохо слышал.

— Никаких! — повторил я громко, смущенно оглянувшись на своих коллег.— Я еще напишу!

По залу прокатился смешок, хотя, если не подводит память, среди присутствовавших не один я был, ничего, кроме газетных рассказов и очерков, пока не написавший.

— Когда напишете, обязательно покажите мне! — очень громко сказал Сергеев-Ценский и обвел зал львиным взглядом из-под седых кустистых бровей.

Веселое оживление в зале растаяло.

Я действительно вскоре закончил повесть о первых днях войны, но показывать ее по своей неопытности и снедаемый нетерпением никому не стал, а послал в Москву, в журнал «Знамя», будучи уверенным в своем абсолютном успехе. Это была, повторяюсь, весна 1946 года. А где-то в середине лета пришел из Москвы пакет, в котором я обнаружил свою рукопись и сопровождавшую ее до предела разгромную рецензию, подписанную С. Клебановым. Она поразила меня не анализом литературных несовершенств повести, а категорическим осуждением всего ее содержания и политическими обвинениями. Если верить было рецензии, я «клеветал в своей повести на военно-стратегические замыслы товарища Сталина», суть которых, как утверждал рецензент, состояла в том, чтоб заманить фашистских агрессоров в глубь советской территории и разгромить их, что, мол, и произошло.

Не стану описывать, как я воспринял все случившееся, тем более что копия рецензии каким-то образом попала в Политуправление округа, и мне пришлось доказывать начальству, что я написал, как умел, строго документальную книжку.

Поповкин, узнав, что меня вызывал начальник По-

литуправления округа генерал-майор Александров и что у нас с ним было неприятное объяснение в присутствии генерала — начальника контрразведки округа (ныне он здравствует в Москве), всполошился. Приказал дать ему рукопись. Я принес вместе с рецензией. На квартире застал гостивших у него известных московских литераторов — критика Семена Трегуба и секретаря Союза писателей СССР Льва Субоцкого (то ли ехали они на море, то ли возвращались домой). Москвичи собирались побыть в Симферополе несколько дней и пообещали тоже «полистать» мою повесть.

Дня через два, в той же квартире Поповкина, у нас состоялся недолгий разговор.

— Неужели именно так страшно все было?! — спросил у меня Субоцкий, похлопывая рукой по рукописи.

— Вы о чем? — насторожился я.

— О переодетых немецких диверсантах, о их стрельбе в упор по нашим командирам?

За меня ответил Поповкин:

— Мне Стаднюк еще на фронте об этом рассказывал.

— Ужас! — выдохнул Субоцкий, возвращая рукопись.— Пережди малость с публикацией. А Семену Клебанову я по возвращении в Москву сделаю внушение. Это же не рецензия, а донос!.. Если тебя начнут органы терзать, позвони мне в Союз писателей. Я свяжусь с военным прокурором. Контакты, слава Богу, еще сохранились.

Я не понимал, о каких контактах Субоцкий вел речь, ибо не знал, что в недавнем прошлом он — военный юрист. Ушел домой удрученным.

После одного из очередных собраний нашего литобъединения я пожаловался на свои беды и П. А. Павленко. Он выслушал меня и сказал:

— Приезжай ко мне в Ялту на Горный проспект, десять, и привози свое сочинение.

Разумеется, я не мог не воспользоваться готовностью такого известного писателя принять участие в моей литературной судьбе, тем более что над моей головой был занесен меч. И вот мы сидим с ним на террасе его ялтинской дачи, он возвращает мне рукопись и с мудрой грустью говорит, щадя, конечно, мое самолюбие:

— Повесть написана слабовато... Но сейчас это не имеет значения. Главное — я поверил всему, что в ней

написано. Это — свидетельство очевидца... А повести пока нет. Да сейчас и не время для появления такой повести или такого романа... Ведь победа над немцами — вот она, рукой можно достать. Будто вчера мы ее завоевали. Народ наш живет чувствами победы. И ты пока не должен омрачать эти чувства воспоминаниями о днях наших трагических неудач... А вот пройдет лет десять, может, чуть больше, и тогда твоя книга окажется ко времени.

Все, о чем говорил Петр Андреевич, было, разумеется, справедливо. И точно сбылось его предсказание. Забегая вперед, скажу, что именно через десять лет, вновь переписав повесть, я опубликовал ее в своем сборнике «Люди с оружием» (1956 год).

Но прежде чем все это сбылось, я чувствовал себя в положении человека, которому надели на глаза чужие очки. Часто обращался мысленно к событиям весны и лета 1941 года, соотнося их с оценками нашей военно-исторической литературы того времени и не имея сил ни согласиться с ними, ни опровергнуть их. И самое ужасное, что не приходила в голову весьма простая мысль: с позиции военного журналиста дивизионного или даже армейского масштаба невозможно было увидеть и постигнуть войну во всех ее главных измерениях и аспектах, а тем более невозможно утвердиться в каких-то собственных, пусть упрощенных, концепциях хотя бы на тот или иной период войны. Ведь одно дело быть участником событий, другое — еще и знать, как, кем, когда и во имя чего они замышлялись, как развертывались и каким закономерностям подвластны. Все это элементарно, однако сия элементарность, да и то, наверное, не на всю глубину, была постигнута мной только после того, как история войн и военного искусства, оперативное искусство, философия стали для меня на несколько лет главным содержанием моей жизни, хотя я не смог бы ответить в то время, да и сейчас вряд ли отвечу, зачем мне для литературной работы надо было досконально знать, например, военное искусство Древнего Рима и Карфагена или организацию феодально-рыцарского войска и вооружение рыцарей. Однако программа предмета являлась законом, и пришлось изучать ее от войн рабовладельческих государств до грандиозных операций Великой Отечественной войны. Видимо, в такой программе был смысл, ибо постепенно родилось у меня но-

вое представление о войне, ее сущности и ее слагаемых, по-иному стало видеться многое из того, что пережил сам и чему был свидетелем. А самое главное — обрелись подступы к осмыслению деятельности и особенностей характера военачальника. Появились при этом иные критерии оценок, стали заметнее зависимые от времени трансформации взглядов некоторых наших историков, мемуаристов, литераторов, вызывая иногда согласие, а иногда протест и негодование. Началась мысленная полемика с теми литераторами и историками, концепции которых не только не разделялись мной, но и не находили объяснения их смещений в ту или иную сторону. Но это — впереди...

Весной 1947 года в Симферополь приехал инспектировать нашу окружную газету заместитель начальника отдела печати Политуправления Сухопутных войск подполковник Прохватилов Алексей Иванович. Изучая содержание «Боевой славы», он обратил внимание на мои статьи и очерки. Как раз в те дни в «Крымской правде» были напечатаны два подвала — мой рассказ о судьбе фронтовой медсестры Людмилы Иткиной, потерявшей при спасении во время бомбежки раненых из горящего здания полевого госпиталя глаз и ставшей после войны певицей Днепропетровской филармонии (во время гастролей в Симферополе я взял у нее интервью). Прохватилов заметил и эту публикацию. После продолжительной беседы со мной он вдруг предложил мне занять довольно солидную должность в Москве — инспектора отдела печати Политуправления Сухопутных войск, предупредив, что квартиру моей семье предоставят не сразу.

Я понял, что этот случай может перевернуть мою судьбу. В Симферополе к тому же было очень голодно. Часть моей зарплаты все еще уходила на погашение затрат по капитальному ремонту комнаты, где мы поселились. Как быть?.. Тоня позвонила в Москву маме. Нина Васильевна без колебаний предложила поселиться в их коммуналке.

...В июне 1947 года я был переведен в Москву и назначен инспектором отдела печати Политуправления Сухопутных войск. Трудная и не во всем благодарная была работа в отделе печати. Но коль проистекала она в окружении людей и в общении с ними, да еще при старании принести пользу делу — улучшению содержа-

ния газет военных округов, не могу сказать, что она не оставила полезного следа в моей душе. Более того, образ Алексея Рукатова из романа «Война», общие черты которого были подсмотрены мной еще во фронтовой обстановке, здесь обрел завершенность... С молодым темпераментом вступал я с послевоенными рукатовыми в перепалки, не подозревая, что в те времена кое-где в армейских сферах бытовали кумовство, покровительство угодникам и подхалимам. Хотя в абсолютном большинстве в Политуправлении работали высоконравственные, идейно закаленные коммунисты — прошедшие войну офицеры и генералы. Тем не менее они не могли создавать общую атмосферу человеческого бытия в стране. Да и, повторяюсь, среди военных встречались людишки, не умевшие или не хотевшие противопоставлять свою совесть всем земным неправдам, которые не покидали нашу жизнь.

На новой службе я не всегда чувствовал себя уютно. Был до предела наивным, доверчивым, часто вызывал ухмылки коллег своими прекраснодушными рассуждениями (нас в одном кабинете сидело шесть офицеров — три полковника, два майора и я — подполковник). Под моим контролем находилось одиннадцать окружных газет. Начитавшись их до одурения, я иногда брался за телефонную трубку и, как истинный провинциал, названивал кому-нибудь из своих фронтовых друзей, затевая ничего не значащий разговор: «Как живешь?» — «Как дела?» — «Когда встретимся?» Звонил Семену Глуховскому, Давиду Чудновскому, Михаилу Хайку, Якову Ушеренко, Нафанаилу Харину. И понятия не имел, что кто-то может прислушиваться к тому, кому именно я звоню. «Регистрировались» в основном еврейские имена. К тому же в самом моем облике (нос с горбинкой, лицо в веснушках, рыжеватые курчавые волосы) иным виделось тоже нечто семитское. Да и братья мои носили «подозрительные» имена: педагог Яков, живший в Киеве, и колхозник Борис, обитавший в родном мне селе. А если приобщить к этому еще и то, что мои старшие сестры Фанаска именовалась дома Фаней, а Афия — Соней, то вряд ли можно было усомниться в моем еврейском происхождении. Но только в Москве. А у нас, на Подолии, в селах, вокруг которых раскинулись еврейские местечки, полно было имен, трансформирован-

ных на местный лад: Якив, Бурыс, Мусий, Левко, Марко, Аврам, Самила...

И когда в стране началась так называемая «борьба с космополитизмом», а я не прекращал общаться со своими фронтовыми друзьями, кто-то сделал соответствующие выводы. Об этом я узнал из панического письма моего брата Бориса. Он спрашивал у меня из села:

«Что ты там натворил в той Москве?.. Убил кого-нибудь, зарезал? Не в тюрьме ли ты?.. Мне проходу люди не дают!..»

Оказалось, что в нашу Кордышивку приезжал из Москвы какой-то полковник и вместе с районным начальником НКВД вызывал в сельсовет моих родственников, соседей и выспрашивал, кто я по происхождению, кто по национальности мои родители, где похоронены?..

Я хорошо знаю сельские нравы. Такая проверка вызвала среди моих земляков всякие толки, догадки. На меня легла тень преступника. Приехав на службу, я буквально ворвался в кабинет начальника Политуправления Сухопутных войск генерал-лейтенанта С. Ф. Галаджева. Бросил ему на стол письмо и только смог выговорить:

— Что все это значит?! — Меня душили слезы.— Это же фашизм!

Написанное по-украински Галаджев прочитать не смог. В его кабинете как раз находился на приеме незнакомый мне генерал-майор.

— Я знаю украинский. Давайте переведу на русский,— предложил он и, взяв письмо, начал его читать.

Вслушиваясь в басистый голос генерала, я стыдливо вытирал слезы и всматривался в его лицо, покрывавшееся при чтении бледностью; полагал, что генерала больно жалят панические, недоумевающие фразы письма и рождают ко мне сочувствие. Я не ошибался, хотя еще не угадывал главной сущности происходящего. Взглянув на Галаджева, увидел, что он побагровел, лоб его покрылся испариной, а темные глаза, казалось, еще больше потемнели, выплескивая смятение и грозную досаду...

Ослепленный бешенством, я хрипло подытожил прочитанное:

— Когда на фронте мне приказывали поднимать бойцов в атаку, никто не интересовался, кто я по национальности!.. А теперь в моем селе черт-те что обо мне

думают! Вся родня всполошилась! Сухари для передачи мне в тюрьму сушат!..

В кабинете воцарилась тягостная тишина. Галаджев окаменело сидел с опущенными глазами. Я вопросительно посмотрел на генерала, еще державшего в руке письмо моего брата. И вдруг меня осенило: ведь генерал был по национальности еврей, о чем явственно свидетельствовали черты его лица.

Мне почему-то стало страшно. Подумалось: прочитанное им письмо ударило ему в сердце во много крат больше, чем мне!.. Как разрядится эта чудовищная неловкость? Что скажет сейчас генерал-лейтенант Галаджев, какое примет решение?.. У меня вдруг остро заболела левая скула, раздробленная осколком в июне 1941-го, и запылала левая щека. Заметив это, Галаджев сказал:

— Успокойтесь, товарищ Стаднюк. И присядьте...

В это время у него на столе зазвонил один из телефонов. Галаджев будто не слышал звонка. А сидевший у приставного стола генерал-майор тихо спросил у него:

— Меня, значит, выдворят из армии по этим же мотивам?

Телефон не утихал, и Галаджев вдруг поспешно взял трубку. Заговорил изменившимся, подавленным голосом:

— Слушаю... Да, генерал у меня... Нет! Я категорически против его увольнения в запас! — И сердито бросил трубку. Затем обратился ко мне: — Оформляйте, товарищ Стаднюк, на десять дней внеочередной отпуск, берите жену и в офицерской форме, при орденах, появитесь в родном селе, пображничайте. Пусть люди увидят, что с вами ничего не случилось.

— А что отвечать на их вопросы?!

— Скажите, недоразумение, глупость. Правды не говорите: стыдно за армию... Виновных строго накажем! — И сочувственно посмотрел на генерала.— А вас прошу не обижаться... В нашу жизнь вторглось что-то непонятное и неприемлемое. Будем мужаться... Возвращайтесь в свою часть и служите...

4

Побывал я в родном селе, показался озадаченным землякам, расспросил у Бориса, как выглядел приезжавший за сведениями обо мне пол-

ковник. Без труда определил, что это был мой коллега по Политуправлению. Но уклониться от расспросов не удалось...

Гостили мы с Тоней и братом Борисом у Ивана Исихиевича Стаднюка — младшего брата нашего отца. С его хлебосольным домом еще летом 1945 года, когда редакция газеты «Мужество» переехала вместе со штабом 27-й армии из Австрии в Винницу, я познакомил своих друзей Семена Глуховского, Сашу Сидоренко, Сергея Сергеевича Смирнова. На грузовике-полуторке мы дважды приезжали из Винницы в Кордышивку и сиживали в застолье у Ивана Исихиевича. Позже в его гостеприимной хате побывали вместе со мной Михаил Алексеев, Олесь Гончар, Микола Зарудный, Анатолий Софронов, Федор Верещагин (главный режиссер Винницкого драмтеатра)...

Иван Исихиевич был необыкновенно интересной личностью — острослов, веселый рассказчик, любитель песен. Повидал он в жизни многое. В русско-японскую войну награжден двумя Георгиевскими крестами, служил ординарцем у коменданта Порт-Артура, потом (с 1904 года) командира 3-го Сибирского корпуса генерал-лейтенанта Стесселя. Почитал его как самого выдающегося русского генерала (может, потому, что тот подарил Ивану Исихиевичу хромовые голенища для сапог).

Во время фашистской оккупации Винничины, опасаясь, что немцы казнят его, как отца трех офицеров Красной Армии (танкиста Федора, моряка Феодосия и летчика Ивана), Иван Исихиевич самочинно стал заменять сельского священника. Зная церковно-славянский язык и церковные обряды, он отпевал умерших, крестил новорожденных, венчал женихов и невест... И все-таки не уберег двух дочерей — Елену и Нину. Их угоняли на работы в Германию...

Так вот, сидим мы за довольно богатым по тем временам угощением. На столе самогонка-первач, холодец, вареники, домашняя колбаса... Во время оживленного разговора дядька вдруг спросил у меня:

— Иван Фотиевич, а как понять, что тобой тут интересовались? Вызывал меня в сельраду московский полковник, допрашивал, действительно ли мы родные братья с твоим покойным батькой. И о покойной Марине Гордеевне, матери твоей, расспрашивал. По селу разные слухи пошли. Одни говорили, будто ты в немецкой

жандармерии служил, другие — лошадь у Буденного украл...

Слух о лошади Буденного меня развеселил; вспомнилась наша коммунальная квартира на Можайском шоссе. Где бы я мог ее держать?.. Но куда тут было деваться от прямого вопроса? Пришлось сказать правду: меня заподозрили на службе в сокрытии своей истинной национальности. Кому-то показалось, что никакой я не украинец, а еврей — жид по-местному. Слово «еврей» в подольских селах, бывших когда-то под Польшей, не употреблялось; об антисемитизме никто из крестьян не имел ни малейшего понятия и недобрых чувств к евреям никогда не питал.

— А если б и жид, то что, не человек?! — Иван Исихиевич страшно удивился, но тут же, о чем-то вспомнив, перевел разговор на другое: — Слушай, Иван Фотиевич! Помоги мне в одном святом деле!.. Понимаешь, во время немецкой оккупации я год прятал у себя на чердаке двух, как ты их называешь, евреев. Кормил их, поил, старался, чтоб соседи не подглядели и домашние не проболтались... Они, эти хлопцы, время от времени по ночам куда-то уходили, потом возвращались — не трудно догадаться: с партизанами держали связь... Опять исчезали. А однажды ушли и не вернулись. До сих пор ни слуху ни духу о них... А в прошлом годе чинил я крышу хаты и вдруг нашел на чердаке сумку с деньгами. Пересчитал гроши, и в глазах у меня потемнело: корову можно было купить!.. Но два года назад — денежная реформа, будь она проклята! Я тайком подался в Киев, захватил плетенку самогона-первача, торбу сала, полмешка орехов и пробился через добрых людей к самому наркому финансов Украины. Брешу ему, так, мол, и так: скопил деньги на корову, спрятал их и запамятовал, куда именно. И вот нашел! Прошу поменять на новые... Нарком пригласил своих служак, советуется с ними. Они хохочут, а я плачу — так мне было жалко, что раньше не нашел сумку... Забрали они у меня гроши, дали расписку и сказали, что будут с Москвой советоваться... Уже год прошел, а они до сих пор советуются... Помоги, ты же в Москве свой человек!.. Постучись к Сталину!.. Похлопочи!

Как я ни доказывал Ивану Исихиевичу, что мне в Москве до Сталина еще дальше, чем ему до Бога,— не поверил. Все твердил, что он смело обращается к Богу

ежедневно... И вынудил меня пообещать выяснить «в верхах», возможно ли обменять ему деньги...

— Или пусть Сталин прикажет корову мне дать!— подытожил дядька наш разговор.

Вернулся я в Москву еще более обозленный. Принял решение «крепко поговорить» с полковником, выяснявшим в Кордышивке мою родословную, и рассказать об этом на партсобрании, хотя понимал, что ездил он в Кордышивку с благословения начальства. Но не застал на службе «коллеги». Он отбыл в Симферополь инспектировать окружную газету «Боевая слава», в которой я служил до переезда в Москву.

— Надеется и на тебя какой-нибудь компромат там собрать,— шепнул мне один из работников нашего отдела.— Чего он взъелся? Звонил в редакции газет, где ты печатаешься, выяснял, не злоупотребляешь ли служебным положением...

Я действительно иногда печатался в «Красной звезде», «Красном воине» (газете Московского военного округа), осоавиахимовских газете и журнале. Увлекался написанием статей о боевых действиях подразделений на разной местности и в разное время года, сам рисовал к статьям схемы, которые тоже публиковались. И делал это не только для журналистского престижа, но и ради заработка: на служебный денежный оклад трудно было прокормить семью, тем более что тогда требовалось подписываться на государственные займы в размере двух-трех месячных жалований в год. Это был открытый грабеж, противиться которому никто в армии не смел... Но при чем здесь служебное положение?

В Симферополе числился за мной «грех» уже не мнимый и не «замоленный». В начале 1947 года я брал для газеты интервью у командующего войсками нашего Таврического военного округа генерала Попова Маркияна Михайловича. Шла речь о задачах боевой подготовки войск на летний период. Маркиян Михайлович, светлейший из советских военачальников, рассказывал мне о предстоящих задачах, посматривая в какие-то документы. Я старательно записал все, а через несколько дней отвез ему на визу двухполосную статью за его подписью. Виза была получена, но при запуске номера газеты в печать воспротивился военный цензор: в статье якобы вскрывались планы секретного характера. Я по телефо-

ну доложил об этом командующему. Он потребовал передать трубку цензору и сказал ему, что берет публикацию статьи под свою ответственность, на что имел право.

Вышла газета. Все мы радовались статье генерала Попова, удостоились похвалы начальника Политуправления округа. Посланный Маркияну Михайловичу гонорар он через своего адъютанта передал в конверте мне... А вскоре поступил приказ то ли начальника Генерального штаба, то ли наркома обороны, в котором нашему командующему объявлялся выговор за вскрытие секретного плана боевой подготовки войск на очередной год...

Это был удар по всей редакции и особенно по мне, как главному соучастнику допущенной оплошности. Но никакого возмездия не последовало. Всю ответственность Маркиян Михайлович взял на себя.

Выслушав предостережение своего сослуживца, я приутих. Из дома позвонил в Симферополь Поповкину. «Как, мол, там дела?» Он ответил, что в Политуправлении округа состоялось обсуждение газеты. Представитель отдела печати дал ей, в общем, неплохую оценку и уже вернулся в Москву.

На второй день полковник появился на службе, передал мне приветы от Поповкина и сотрудников «Боевой славы». Отозвался о ней с явным пренебрежением, что меня насторожило, и, усевшись за стол, принялся, как полагалось, писать выводы о проделанной работе. Дня два корпел он над составлением документа. Как я потом узнал, писал полковник совсем не то, что докладывал на совещании в Симферополе. Надеялся, что его бумага будет прочитана начальством, подошьется к делу и забудется, поскольку она завершалась утверждением: замечания о недостатках газеты доложены руководству Политуправления округа и коллективу редакции. Но, стараясь возвыситься в глазах руководства как весьма толковый и принципиальный инспектор, проявил чрезмерное усердие. Перестарался в своих негативных оценках и выводах. «Заключение» полковника, как особо острое и серьезное, попало на стол генерал-лейтенанта Галаджева. Через несколько дней приказом по Сухопутным войскам Евгений Поповкин был освобожден от занимаемой должности и уволен из рядов армии — един-

ственный тогда член Союза писателей СССР среди редакторов военных газет.

А тут как раз подоспело отчетно-выборное партийное собрание всего Политуправления Сухопутных войск. Я попросил слова и, когда вышел на трибуну, почти потерял рассудок. Мне тогда не было и тридцати лет, не хватало ни такта, ни деликатности. До сих пор помнят некоторые мои бывшие сослуживцы то выступление. Я со всей беспощадностью обрушился с критикой не только на полковника, выполнявшего постыдную миссию в моем селе, а потом облыжными выводами свалившего с поста редактора газеты Евгения Поповкина, но и на весь отдел печати, в котором работа инспекторов оценивалась по количеству «мусора», часто искусственно наскобленного в военных органах печати, пойманных, как мы тогда злословили между собой, на страницах окружных газет «жучков».

В президиуме нашего собрания сидел представитель Административного отдела ЦК КПСС — полковник танковых войск. Это придало прениям особую остроту. Вспыхнул конфликт между некоторыми нашими генералами, не бывшими, как оказалось, в согласии между собой по каким-то проблемам...

На второй день меня вызвал начальник отдела печати полковник Левин — умный человек, опытный аппаратчик, которого я искренне уважал и побаивался.

— Что ты наделал, Стаднюк? — укоризненно спросил он. — Почему не пришел ко мне, не посоветовался?

Я почувствовал себя виноватым. Понимал, что вскрыл слишком болезненную язву, которая заживет не скоро, и мне из-за этого несдобровать.

Разговор с Левиным был не долгим, но трудным. На прощанье он изрек:

— Нас по твоей милости начинает проверять комиссия ЦК. Уезжай на месяц на восток — в Новосибирск и Иркутск. Изучи газеты тамошних военных округов... Помоги редакциям. А мы тут без тебя будем разбираться... Это, впрочем, не приказ, а совет.

Этого «совета» я не мог не выполнить и полетел в Сибирь...

Месячного срока вполне было достаточно, чтоб познакомиться с коллективами двух редакций, прочитать полугодовые комплекты их газет и там же, в Новосибирске и Иркутске, написать заключения и познакомить

с ними работников редакций и руководство Политуправлений военных округов (тогда Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского).

Через месяц вернулся в Москву, написал рапорт о проделанной работе и приложил к нему два документа — обзоры двух окружных газет. И как же я был поражен, когда, опираясь якобы на мое заключение, был снят с работы редактор газеты Восточно-Сибирского военного округа подполковник Меркурьев, хотя в моих выводах не было повода для такого решения. Итак, меня «уравняли» по стилю работы с «коллегой», создавшим условия для несправедливого увольнения из армии Евгения Поповкина. Пришлось писать протест...

Размышлять мне было над чем, тем более что и моя жилищная проблема оказалась в тупике. Предложили нам посмотреть «квартиру» в поселке Кучино по Горьковской железной дороге. Посмотрели: это оказался дом казарменного типа с комнатами, имевшими отдельные входы из коридора. И никаких удобств — ни кухни, ни воды, ни туалета...

Москва превращалась для меня в злую мачеху. Понимал, что оказался в отделе печати не ко двору. Даже не стал интересоваться выводами комиссии ЦК КПСС, работавшей в Политуправлении Сухопутных войск в мое отсутствие, и от отчаяния попросил откомандировать меня в Краснодар. Там создавалась газета вновь образованного военного округа — Северо-Кавказского, командующим которым, как потом оказалось, был назначен бывший командарм 27-й генерал-полковник Трофименко Сергей Георгиевич.

В Краснодаре я работал заместителем редактора окружной газеты «Боевое знамя». Пришлось заниматься комплектованием типографии, перестраивая под нее здание бывшей почты, сколачиванием коллектива редакции. Старался изо всех сил, осторожничал, зная, из чего складывались требования отдела печати к газетам. Месяца через два-три прибыл редактор — отличный военный журналист полковник Белоусов Степан Степанович. Мы сразу же нашли с ним общий язык в работе, подружились. Я перевез из Москвы семью, сняв две комнаты в частном доме. А вскоре получил квартиру в сборном финском доме. Наступило благословенное время, позволившее заняться и собственной творческой работой. Наладил контакты с кубанскими писателями. Опубли-

ковал в журнале «Кубань» (№ 9, 1950 год) объемный рассказ «Капитан Беляев» и начал писать повесть в рассказах «Максим Перепелица». Первые рассказы послал в журнал «Советский воин», где они увидели свет и тут же были перепечатаны журналами армий стран социалистического содружества.

К этому времени в Военном издательстве была принята к печати моя повесть «Следопыты», положившая начало «Библиотечке военных приключений». Судьба этой небольшой книжечки необычная. Написал я ее по заказу Издательства ДОСАРМ (сейчас «Патриот»), как пособие для будущих войсковых разведчиков (курировал мою работу редактор майор Борис Петрович Скорбин, автор слов печально известной песни «Наш паровоз, вперед лети»).

Рукопись «Следопытов» была послана Издательством ДОСАРМ в разведуправление Генштаба на рецензию. Там ее прочитал заместитель начальника Главного разведуправления генерал-майор С. И. Сурин и принял решение: такая книжка нужна для армии. И со своей рекомендацией переслал рукопись в Воениздат, а мне в приказном порядке поручил написать для ДОСАРМа брошюру о действиях войсковых разведчиков в различных видах боевой деятельности. Брошюра «Разведчик» вышла под редакцией генерала С. И. Сурина в 1951 году, после чего от него же я получил приглашение перейти на «строевую службу» в Генштаб. Но, вообразив себя вполне зрелым писателем, я отказался от столь заманчивого предложения, тем более что в 1950 году появились на прилавках книжных магазинов мои «Следопыты»; на титульном листе книжечки красовалось ласкавшее глаз слово: «Повесть». А тут еще (1951 год) меня вызвали из Краснодара в Москву, на 2-е Всесоюзное совещание молодых писателей, о чем позаботился мой фронтовой соратник Сергей Сергеевич Смирнов.

Отказавшись от карьеры офицера Генштаба, я не ведал, что ждало меня в ближайшее время. А ждало потрясение...

На совещании молодых писателей я попал в семинар Валентина Петровича Катаева. Каждый подобный семинар — это чистилище, своего рода молотилка, сквозь барабан которой пропускали произведения начинающего писателя, а затем смотрели, чего в нем больше — соло-

мы, мякины или полновесного зерна. Бывало, что зерен и не находили вовсе...

Семинар Валентина Катаева по составу «абитуриентов» оказался довольно представительным даже по тому времени: Владимир Тендряков, Владимир Дудинцев, Александр Андреев, Борис Бурлак, капитан Владимир Монастырев (тоже краснодарец, заведующий отделом культуры нашей окружной газеты), майор Василий Вишняков. У большинства из них уже были солидные публикации немалых художественных достоинств. Но даже при обсуждении рассказов Тендрякова и Дудинцева раздавались такие критические всплески, что я понял, видя на столе перед Катаевым свои тощенькие «Следопыты»: с меня снимут столько стружки — ничего не останется. Так и случилось, хотя другие руководители семинара — Сергей Смирнов и Савва Кожевников — пытались доказывать, что я все-таки перспективный литератор. Но Валентин Катаев был неумолим. Он зачитал несколько отрывков из «Следопытов» и категорически изрек:

— Товарищ подполковник, литература — не ваше призвание. Пока не поздно — выбирайте себе другую профессию...

Говорил еще что-то, но мне было ясно главное: Катаев прав, если судить о моем творчестве по «Следопытам». А ничего другого я, по совету Сергея Смирнова, на совещание не представил.

К счастью, со мной в портфеле был альманах «Кубань» с моим рассказом «Капитан Беляев» и несколько еще неопубликованных глав-рассказов из «Максима Перепелицы». И когда рабочий день закончился, я в коридоре (совещание проходило в здании ЦК ВЛКСМ) осмелился подойти к Софье Семеновне Виноградской (она была одним из «судей» в семинаре Катаева) и попросил ее взять «Кубань» и несколько десятков машинописных страниц «Максима Перепелицы».

На второй день Валентин Катаев, заметив мое присутствие среди «семинаристов», с недоумением пожал плечами и объявил начало обсуждения повести Александра Андреева. Но Софья Семеновна попросила повременить с этим и, взяв слово, стала читать отрывки из «Максима Перепелицы». Все похохатывали над веселыми проделками Максима, над его хвастовством и наивностью. Больше всех развеселился сам Катаев:

— Да это самое дорогое! — воскликнул он. — Живой характер! Я вижу и уже люблю этого парня!.. Софья Семеновна, что вы нам читаете?

Виноградская указала на меня... Так я был восстановлен в правах молодого литератора.

А повесть «Следопыты» я затем переписал почти заново и в 1954 году переиздал ее.

Из пребывания в Краснодаре еще запомнился мне вызов к командующему войсками округа. Шла подготовка к очередным выборам в Верховный Совет. И генерал-полковник Трофименко, которого выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР, предложил меня в качестве автора предвыборной статьи о нем для краевой газеты «Советская Кубань». Была у нас длительная беседа, вспомнили боевые пути-дороги нашей 27-й армии, мой блокнот заполнился сведениями из биографии Сергея Георгиевича. В итоге в краевой газете появилась большая и крикливая статья: «Полководец сталинской школы»...

Потом меня вдруг угораздило взяться за поэзию. Весело было вспоминать свои довоенные школярские стихи на украинском языке. Например, такие:

О, твої очі, чорні дівочі,
В памяті зістались в мене назавжды.
Від туги в сердці не сплю я довгі ночі,
Хоть топитыся біжи.
Но топитысь, ой не хочется,
А то люди нахохочутся.
А вішатись — боюсь болю.
Краще виберу я волю...

И будто хотелось реабилитироваться перед самим собой за эти почти ернические, никчемные строки.

Писать стихи, не имея поэтического дара, — болезнь, сходная с графоманией в прозе. Подспудно я понимал это, но хотелось испытать свои возможности. Когда стихов набрался целый цикл, я под вымышленной фамилией послал их по почте к себе в редакцию на имя капитана Владимира Монастырева, начальника отдела культуры. И все ждал, что он предложит их для опубликования в газете (после чего я и намеревался раскрыть свое авторство). Но время шло, а Монастырев будто и не получал моих стихов. Исчерпав терпение, я однажды сказал ему:

— Владимир Алексеевич, тут надоедает мне по те-

лефону один поэт. Интересуется судьбой подборки своих стихов, — и назвал вымышленную фамилию «поэта».

— Он не указал на конверте обратного адреса, и я списал его галиматью в архив, — равнодушно ответил Монастырев. — Ерунда собачья, а не стихи. Там поэзией и не пахнет.

Я был глубоко уязвлен, не соглашаясь с такой оценкой, но сделал вид, что вполне удовлетворен ответом. Больше никогда стихов не писал.

5

В один из летних дней 1951 года в Политуправление Северо-Кавказского военного округа пришла из Москвы телеграмма, в которой сообщалось, что подполковник Стаднюк приказом начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота назначен редактором газеты Центральной группы войск «За честь Родины», располагавшейся в Вене. В телеграмме указывалось, что к новому месту службы я должен прибыть без семьи.

Это был гром среди ясного неба. Не мог я понять, действительно ли оценили в Москве должный уровень нашей газеты «Боевое знамя», заметили мои литературные пробы или недремлющее око моего, как потом выяснится, весьма могущественного бывшего коллеги высмотрело для меня должность, на которой легко было сломать голову. Возможно, была у моих недоброжелателей надежда, что я, тридцатилетний офицер, переехав без семьи в Вену, споткнусь на бытовой неустроенности, дам повод предъявить мне какие-либо претензии, которые влекли за собой суровые меры: тогда офицеры, замеченные, например, в общениях с австрийскими женщинами, в течение суток отправлялись в Союз, исключенные из партии и уволенные из армии. Если же на человека возводилась напраслина, опровергнуть ее тоже было не всегда легко.

Но для меня главным оказалось то обстоятельство, что я действительно не считал возможным оставить в чужом городе жену с двумя детьми. Да и, честно говоря, заграница меня очень угнетала, в чем я убедился во время пребывания с нашими войсками в Румынии, Венгрии, Словакии, Югославии, Австрии.

Пошел советоваться к начальнику Политуправления округа полковнику Суржикову.

— Ничем не могу помочь, — с сожалением сказал он. — Приказ начальника Главпура... Хочешь, поезжай в Москву и объясняйся.

Мое появление в Москве, в отделе печати Главного политуправления, восприняли как небывалую дерзость и неразумность.

— Как?! Ты не хочешь возглавить ежедневную газету формата «Правды»? — Начальник отдела печати полковник П. А. Шигарев был поражен.

— А семья? Двое детей! Как я их оставлю в Краснодаре, где ни одного родственника?.. Да и от заграницы тошнит меня! Пусть едут те, кто еще не бывал там.

Шигарев задумался, потом стал размышлять вслух:

— Твои мотивы для отмены приказа начальника Главпура никуда не годятся. В армии закон: служить надо там, где прикажут.

— Я готов ехать в любое место, но только с семьей.

— А вернуться в Москву не хочешь? — вдруг спросил Шигарев и загадочно заулыбался. — У тебя же высшее военно-историческое и философское образование!

— Верно, — подтвердил я. — Недавно сдал кандидатские испытания. Собираюсь засесть за диссертацию.

— Мы три года не можем подобрать для Воениздата редактора по военно-теоретической литературе... Сдюжишь, если тебя назначим?

— Сдюжу! — самоуверенно ответил я, хотя не очень представлял себе, что меня ждет в Воениздате.

Еще в начале службы в армии одним из удививших меня открытий было то, что на уставах, наставлениях, справочниках, на всех книгах о жизни и боевых действиях армии и флота стояло внизу на обложке загадочное и веское слово «В О Е Н И З Д А Т». Что же за люди работают в том удивительном Воениздате и сколько съели они солдатской каши, размышлял я, если обладают таким непостижимым для простого смертного комплексом знаний?.. Сейчас, наверное, не под силу и электронным машинам вычислить количество человеко-часов, проведенных многомиллионным военным людом над наукой побеждать, отображенной в изданиях Военного издательства! Помню, с какой нетерпеливой жадностью изучали мы на фронте новый Боевой устав пехоты и как

дорожили каждой книжечкой в скромном переплете. Короче говоря, для всех нас, несших службу, особенно в армейских глубинках, Воениздат был святая святых.

Можно понять мое радостное волнение, когда я был вновь направлен «для прохождения дальнейшей службы» в Москву, и не куда-нибудь, а именно в Военное издательство, в Орликов переулок!.. Да еще должность моя, как мне представлялось, звучала очень солидно: редактор военно-теоретической литературы.

Итак — Воениздат!.. Не скрою, что поначалу был разочарован полутемными коридорами и тесными комнатами, где столы стояли впритык. Но зато за этими столами, как я потом убедился, сидели действительно чародеи и волшебники — каждый в своей области.

Одной из первых книг, которую поручили мне выводить в большой свет, был учебник по военной психологии. Тогда мне почудилось, будто оказался я на краю пропасти: о психологии как науке я имел смутное представление. Пришлось честно сознаться в этом начальству.

— Изучите все, что есть по психологии в библиотеке имени Ленина, а потом доложите, готовы ли вы приступить к работе,— получил я приказ от главного редактора нашей редакции полковника А. И. Крутикова — человека весьма требовательного.

Три месяца по двенадцать часов в сутки штурмовал я «гражданские» учебники прежних изданий, диссертации, имевшие отношение к психологии, труды Ленина и Энгельса, павловские «Среды»... И постепенно под моим пером из стенографических записей интересных лекций доктора наук профессора Т. Егорова рождался учебник... Он затем много раз переиздавался, но я горжусь, что на первом его издании, хоть и на самой последней странице, набрана нонпарелью моя гвардейская фамилия как редактора.

Запомнилась и редакторская работа с военным комендантом Москвы генерал-лейтенантом К. Р. Синиловым над его брошюрой «О поведении военнослужащих вне строя». Когда я впервые появился в его кабинете на Ново-Басманной улице с планом будущей брошюры и представился как редактор Воениздата, он, услышав мою фамилию, переспросил:

— Стаднюк?.. А у вас нет однофамильца в военной авиации? — Моя рука тонула в его огромной ручище.

— Есть: Иван Иванович Стаднюк — начальник штаба бомбардировочного полка. Мой двоюродный брат.

— Верно! Иван Иванович! — Синилов, высокий, крупный, широколицый, громко засмеялся.— Я с ним в санатории познакомился за шахматной доской.— Синилов вновь засмеялся и мотнул крупной головой, вспоминая что-то свое. —Более заядлого шахматиста еще не встречал! Никак не давал себя обыграть.

— Я готов, товарищ генерал-лейтенант, проиграть за него сколько пожелаете партий,— предложил я, придав лицу серьезное выражение.

— В поддавки?! Нет, я вам в таком случае не партнер.

— Тогда обещаю обыграть вас.

— Да?! Это уже деловой разговор... Вы серьезно?..

— Приложу все силы! Я — гвардеец!

Через несколько минут мы сидели друг против друга за шахматной доской. Я был уверен, что в достаточной мере поднатаскался за последние годы игре в шахматы и надеялся на успех, хотя выигрывать первую партию по дипломатическим соображениям не собирался. Но мои «соображения» не понадобились: генерал без особого труда и к своему великому удовольствию выиграл у меня две партии...

Потом я еще несколько раз бывал в комендатуре: Синилов вносил поправки в верстку своей брошюры, потом подписывал ее в печать, выбирал цвет обложки (остановился на зеленом — символе пограничных войск).

Вскоре руководство издательства обратило внимание, что я изредка публикую в газетах и журналах рассказы, и мне было предложено занять пост редактора художественной литературы. Начался новый серьезный этап работы и учебы, период более углубленного осмысления таинств художественного творчества.

Редактирование рукописей художественных произведений требует более активного общения с их авторами. Это влечет за собой новые знакомства, встречи и почти, как правило, духовное сближение. В Военном издательстве под моей редакцией вышло в свет около четырех десятков книг. Без ложной скромности могу утверждать, что большинство их авторов стали близкими мне людьми или даже друзьями.

Правда, авторы авторам рознь. Одним надо было помогать выстраивать сюжет, композицию книги, дру-

гим — упрощать фразы, чистить язык, уточнять образную систему. А к некоторым рукописям страшно было прикасаться, чтоб не навредить им. Так случилось, например, с повестью Константина Паустовского «Рождение моря», в которой я позволил себе уточнить всего лишь несколько фраз, да и то с его согласия. Так было и со второй книгой романа «Переяславская рада» Натана Рыбака... В мои обязанности также входило читать рукописи на украинском и белорусском языках. Первая книга на белорусском, которую я читал и на которую писал заключение, был великолепный роман Ивана Мележа «Минское направление». Он накрепко сдружил нас...

Иные создатели книг нуждались только в элементарном человеческом разговоре. Прочел ты его рукопись и обратил внимание на не использованные до конца «художнические» возможности: скажем, заявлен человеческий характер в интересной ситуации, но сама ситуация не развернута до нужного предела, характер героя в связи с этим блекнет. Но стоило вывести мысль автора за предел найденного им же рубежа, как он с четкой понятливостью придавал главе или разделу завершенность. С такими авторами особенно приятно было работать, ибо ощущались обоюдные, истинно творческие искания, приводившие к успеху. Одним из таких интересных, одаренных авторов оказался знаменитый партизанский командир, Герой Советского Союза, генерал-майор Сабуров Александр Николаевич. Прочитав рукопись его книги «За линией фронта», я был восхищен не только перипетиями партизанской борьбы, но и ярким изображением, непохожестью друг на друга, самобытностью человеческих характеров, строгостью, а местами ироничностью манеры воспоминательного повествования. Требовалась совсем небольшая доработка рукописи, чтобы родилась увлекательная книга.

Генерал Сабуров работал тогда в Запорожье, возглавляя областное управление МВД Украины. Я послал ему телеграмму с просьбой приехать в Москву. И вот мы сидим в редакторском кабинете Воениздата, я деликатно высказываю Александру Николаевичу замечания по его рукописи, согласовываю уже сделанные мной поправки и, естественно, восторгаюсь наиболее интересными описаниями партизанской жизни. Задавал также во-

просы о том, как сложилась судьба того или иного партизана после войны, если он остался жив.

— Некоторые и сейчас партизанят в борьбе за порядок и справедливость,— рассказывал Сабуров.— Часто навлекают на себя беду, и временами приходится вмешиваться, используя свое служебное положение и депутатство в Верховном Совете СССР.

Дальше, к своему величайшему изумлению, я услышал уже известную мне историю, поражаясь тому, что мир столь тесен и наполнен такими чрезвычайными неожиданностями. С трудом сдерживался, чтоб преждевременно не вторгнуться в рассказ генерала и не перебить его. А он между тем говорил:

— Вот ездил я по депутатским делам в Большой Токмак — есть у нас такой районный центр. Прибыл туда на машине, не предупредив местное начальство. Правда, речь пойдет не о партизане, а о фронтовом снайпере... Так вот, захожу в здание райкома партии и узнаю, что в кабинете первого секретаря идет заседание бюро. В приемной вижу теточку при орденах «Материнской славы» и со звездой «Мать-героиня». Сидит она на краешке дивана и плачет. «Что случилось?» — спрашиваю.— «Там, в кабинете, мужа моего, Прокопа Карапуза из партии выкидывают»,— отвечает.— «За что?» — «Он — начальник охраны «Заготзерно» в Молочанске и не позволил заведующему вывезти со двора подводу с мешками пшеницы. Потребовал накладную, подписанную бухгалтером»,— объясняет женщина.— «Правильно сделал! — говорю ей.— Накладная должна быть подписана главным бухгалтером и заведующим. Для отчетности».— «Прокоп тоже так сказал... Сказал, пусть даже сам Сталин подпишет накладную, но без подписи бухгалтера не выпущу... Вот за Сталина и исключают. Меня не пустили в кабинет, а Прокоп такой бестолковый, что ничего им не докажет... Ему трудно говорить: он только в одном бою получил сразу двадцать три ранения...»

Вхожу в кабинет, где заседает бюро райкома. Вижу, стоит у окна этот Прокоп Карапуз (оригинальная фамилия!) с орденом Славы на груди, при медалях. Казацкие усы... Высокий, красивый... А первый секретарь, не заметив моего появления, уже ставит вопрос на голосование: «Кто за то, чтоб Карапуза Прокопа Ивановича за антисталинские высказывания исключить из партии и

передать дело органам...» — «Минуточку! — обращаюсь я к членам бюро.— Прошу не голосовать! Прошу мне, как депутату, доверить разобраться: кто здесь прав, кто виноват!..»

— А теперь доскажу, что было потом! — взволнованно перебил я генерала Сабурова, трепеща от нетерпения.

Все, сидевшие в кабинете — Михаил Алексеев, Иван Козлов, да и сам Сабуров,— посмотрели на меня с недоумением.

— Потом вы, Александр Николаевич, на своей машине отвезли Карапуза и его жену домой — в Молочанск; это в десяти километрах от Большого Токмака. Побывали в их крохотном домике-развалюхе, ужасались условиям жизни многодетной семьи... Не отказались поесть каши из распаренной пшеницы... Карапуз вам сознался, что «ворует» пшеницу на складе «Заготзерно», то есть приносит домой то, что попадает ему в голенища сапог, когда он забирается на бурт...

— Все верно! — подтвердил Сабуров изменившимся голосом; смотрел он на меня потрясенно.— Откуда вам известны подробности?!

— Известно и то, что заведующего молочанским пунктом «Заготзерно», который пытался незаконно вывезти мешки с пшеницей, сняли с работы и наказали по партийной линии, а за Карапузом теперь установили слежку, не таскает ли он сам мешки с зерном домой...

— С ума можно сойти! — нервно засмеялся Сабуров.— Не томи!

— Тут нет никакой загадки,— начал я разъяснять ситуацию.— Просто — невероятное совпадение: та самая мать-героиня — моя родная сестра Фанаска. Прокоп — ее муж. Фанаска и описала мне всю эту историю в письме, только не назвала вашей фамилии. Просто — депутат... Перед самой войной вербовщики их сманили из моего родного села Кордышивки в Казахстан — в Джамбульскую область. Обещали райскую жизнь. С фронта я писал сестре туда письма: село Орловка Ридерского района. А когда Украину освободили от немцев, Карапузы уехали из Казахстана, но уже в Запорожскую область...

— Изобрази подобное в романе — читатель не поверит,— заметил Алексеев.

— Верно, не поверит...

А в моей судьбе подобных случаев — целый ворох...

Но продолжу о наших встречах с генералом Сабуровым. Вскоре после выхода его книги «За линией фронта» Александр Николаевич был переведен в Москву на должность одного из заместителей министра МВД СССР.

Однажды приезжают ко мне из Молочанска гости: Карапузы — Афанасия Фотиевна и Прокоп Иванович. Сразу же родилась идея встретиться всем вместе с Сабуровыми. Смущало, правда, то обстоятельство, что жили мы в тесноте — в одной комнате коммунальной квартиры на Хорошевском шоссе. И все же я решился... Звоню на службу Александру Николаевичу, сообщаю о приезде Карапузов.

— Очень хотелось бы повидаться, послушать их! — В голосе генерала прозвучала искренняя заинтересованность.— Звони моей партизанке, согласовывай время. А Карапузов не предупреждай...

Супруга Александра Николаевича, Инна Марковна, тоже участница партизанского движения (со временем она станет членом Союза писателей СССР как драматург и переводчик с болгарского). Набираю домашний номер сабуровского телефона, объясняю Инне Марковне ситуацию. Она тут же дает согласие на встречу, но ставит условие: с ними приедет еще одна гостья — прекрасная, знаменитая женщина. Назвать ее имя отказалась — пусть будет сюрприз.

И вот в нашей «квартире» появляются необыкновенные люди: (при полной форме!) Герой Советского Союза генерал-майор Сабуров Александр Николаевич, его жена, красивая голубоглазая блондинка Инна Марковна и... (невозможно было поверить!) Герой Советского Союза, прославленная летчица Гризодубова Валентина Степановна — улыбчиво-обаятельная; ее глаза искрились доброжелательством и веселой загадочностью.

Трудно описать эту встречу. Вначале Фанаска и Прокоп почему-то очень испугались. Потом было веселое застолье, безбрежность разговоров простых людей с открытыми душами и взаимными симпатиями. И самое удивительное, что поводом такой встречи послужил приезд двух крестьян — колхозника и колхозницы.

Надо сказать, что генерал Сабуров сам выходец из крестьянского рода (село Ярушки, где он родился, ныне влилось в пределы города Ижевска). Он с удивительным пониманием, необыкновенной глубиной раз-

мышлял о проблемах времени, бедах и нуждах села, о сложностях государственного масштаба. Еще тогда я с лихостью подумал, что именно его, Александра Сабурова, надо бы избрать главой правительства — так четко, ясно и просто излагал он свои мысли, убедительно высказывался о том, как их реализовать, куда устремлять поиски новых форм хозяйствования, как объединять народы, ощутившие свою неодолимость в борьбе с немецким фашизмом.

Александр Сабуров действительно был истинно народным генералом — самородком, умевшим масштабно и по-деловому смотреть далеко вперед. Многое почерпнул я из встреч и бесед с ним. Один его рассказ не дает мне покоя уже многие годы. В нем шла речь о событиях 1941-го на Юго-Западном фронте, когда наши войска оказались там во вражеском окружении. А точнее, речь шла о генерале Власове, который в начале войны командовал 44-м мотомехкорпусом. При отступлении от Львова Власов потерял свой корпус и, выйдя из первого окружения, был назначен командующим 37-й армией, занявшей Киевский укрепрайон. Когда немецкие войска обошли 37-ю армию, Власов со штабными офицерами стал пробиваться на восток. В каком-то отдаленном от Днепра перелеске с его штабной группой встретилась небольшая горстка работников НКВД, которую возглавлял Сабуров. Решили выходить из окружения сообща. Однако ночью Александру Николаевичу стало известно (не помню, при каких обстоятельствах), что генерал Власов отбирал в своем штабе офицеров, согласных сдаться немцам в плен, а несогласных приказал расстрелять... Сабуров и его подчиненные, не дожидаясь утра, сбежали от Власова, а потом, создав партизанский отряд, остались воевать в тылу врага.

Власов был известен руководству страны, в том числе Сталину и Тимошенко, как одаренный военачальник, получивший перед войной звание «генерал-майор» и награжденный орденом Красного Знамени. Вскоре после выхода из окружения он был назначен командующим 20-й армией, защищавшей Москву...

Генерал Сабуров с уверенностью утверждал, что Власов перед выходом из вражеского тыла уже побывал в немецком плену и был «отпущен» немцами, взяв перед ними обязательства содействовать успехам гитлеровских войск.

Такой информацией я был ошеломлен. Не верилось, чтоб на рубежах борьбы за Москву командовал армией враг. Ведь это могло привести к катастрофе!..

Но фантазия моя вдруг взвихрилась уже после смерти генерала Сабурова. Я продолжал работать над романом «Война», и у меня родилась мысль сблизить своего литературного героя, немецкого диверсанта, действующего в нашем тылу, Глинского («майора Птицына») с генералом-предателем Власовым для их совместных действий. Но необходимо было удостовериться в подлинности версии Сабурова, заручиться документальными подтверждениями. Обратил я внимание и на то, что в мемуарах генерал-полковника Сандалова Л. М., который был начальником штаба 20-й армии, говорилось, будто Власов, приняв под Москвой армию, не командовал ею из-за болезни. В Институте же военной истории мне сказали, что это была за «болезнь»: Власов по-черному запил, и его обязанности исполнял Сандалов.

Встретиться с генерал-полковником я не сумел: на мой телефонный звонок он ответил, что тяжело болен; да и не мог взять в толк, кто я и что мне от него надо. А я уже мысленно вторгался во внутренний мир Власова, слагал воедино все известное мне о нем (в том числе и его довоенную службу), и мне казалось, что запой командарма во время Московской битвы был следствием его душевного разлада, неготовности к страшному преступлению перед своим народом. Возможно, и не так просто было ему осуществлять преступные акции, ибо любой письменный приказ военачальника скреплялся тогда подписями начальника штаба и первого члена Военного совета.

Стал я стучаться в самые высокие инстанции: Военную коллегию Верховного суда СССР, Главную военную прокуратуру — результатов никаких. Написал письмо Председателю Комитета государственной безопасности СССР Андропову Юрию Владимировичу. Просил разрешить мне ознакомиться в их архиве с документами о судебном процессе над генералом Власовым или хотя бы ответить на мой вопрос: сдавался ли Власов летом 1941 года немцам в плен или нет? Через какое-то время меня пригласил к себе заместитель начальника секретариата Андропова генерал-майор Губернаторов Н. В. и по поручению Председателя сообщил, что Комитет не располагает интересующими меня сведениями.

И все-таки я сомневался. Размышлял, примерно, так: «Советская контрразведка будет выглядеть не лучшим образом, если я обнародую, что в конце 1941 — начале 1942 года под Москвой командовал нашей 20-й армией немецкий агент». Возможно, и я бы на их месте не «оснащал» настырного писателя скандальной, совершенно секретной информацией. Но по здравому моему размышлению, никакого урона престижу нашей разведки от моих публикаций не было бы. Наоборот: они бы подчеркнули остроту и сложность борьбы двух разведок. А всякая борьба слагается не только из побед, но и из поражений, драматических, подчас чудовищных, ситуаций. В своих домыслах и сомнениях я исходил еще и из того, что в сообщении ТАСС от 2 августа 1946 года о приговоре к смертной казни через повешение Власова А. А. и одиннадцати его сообщников говорилось: «по обвинению в измене Родине и в том, что они, БУДУЧИ АГЕНТАМИ НЕМЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ (выделено мной.— *И. С.*), проводили активную шпионско-диверсионную деятельность против Советского Союза...» Значит, Власов все-таки был агентом! Ведь такое обвинительное заключение родилось не на пустом месте.

И я не сдавался. Услышав по западным радиоголосам о том, что во Франкфурте-на-Майне издана на русском языке издательством «Посев» книга В. Штрикфельдта «Против Сталина и Гитлера: О генерале Власове и Русском освободительном движении», подумал, что в ней наверняка могут содержаться подробности, которыми заинтересовал меня генерал Сабуров. Правдами и неправдами добыл эту книгу. Но мои надежды не оправдались. Книга написана от лица автора, многое прочитанное в ней о Власове мне было известно ранее; новые факты и сведения пусть и заслуживали внимания, но требовали проверки, переосмысления и выходили за рамки моих исканий.

Казалось, источники дальнейших поисков иссякли. Оставалась последняя надежда: военные архивы ГДР. В одну из поездок в Берлин с писательской делегацией нас принял первый секретарь Берлинского горкома и член Политбюро СЕПГ Конрад Науман. Потом мы гостили у него на даче, и я, выбрав удобный момент, заговорил с ним о Власове, рассказал о своих «расследованиях». Конрад Науман пообещал помочь... Потом мы несколько раз встречались с ним в Москве, но никаких

новых сведений он, к сожалению, не смог сообщить.

Я уже было смирился: преодолеть невозможное нельзя. Шло время, наполняясь событиями и не обделяя нас заботами. У меня завершалась очередная книга и запускался в производство телевизионный многосерийный художественный фильм «Война». Я искал «ходы» небанального решения финала судьбы немецкого диверсанта Глинского. И неожиданно увидел в «Комсомольской правде», родной мне газете периода войны, отрывок из записок военного корреспондента 2-й ударной армии майора запаса К. Токарева «Приговор» (3 марта 1988 года). Цитирую наиболее заинтересовавший меня абзац:

«...И доныне не ясно, каким образом он (генерал Власов.— *И. С.*), по его же словам, больной, был вынесен из окружения солдатами на шинели. Это — 500 километров, до Курска! Когда же наши особисты разведали, что Власова выводил из окружения его многоопытный адъютант Ренк, оказавшийся бывшим лейтенантом германского Генштаба, и доложили об этом Н. С. Хрущеву (тогда члену Военного совета Юго-Западного фронта.— *И. С.*), а тот — Сталину, последний не поверил. Сталин, запомнивший его «верность и преданность», назначил Власова командующим 20-й армией».

Мои мысли всколыхнулись с новой силой. Но опять сомнения... Откуда К. Токареву могли быть известны столь секретные подробности? Также вспомнилось, что генерал Сабуров говорил мне, будто Власова немцы выпустили из окружения в районе Чернигова с обросшим лицом, бородой, одетым в крестьянскую одежду и с козой на веревке.

6

С автором цитируемых выше записок Константином Антоновичем Токаревым я был хорошо знаком еще с Северо-Западного фронта, когда он приезжал в нашу 27-ю армию, будучи корреспондентом «Красной звезды». Потом, в 50-х годах, мне довелось рецензировать рукопись его повести о Власове; в ней были подробности сдачи Власова в плен немцам на Волховском фронте в июле 1942 года. И, естественно, после прочтения «Приговора» я тут же позвонил Токареву. Без обиняков рассказал ему известную мне вер-

сию о первом пребывании Власова у немцев. Токарев долго молчал, размышляя, потом сказал:

— Близкие к этому мысли у меня появлялись... Но подтвердить их ничем не могу. Да и сам сейчас сижу над воспоминаниями о тех временах...

Последующие разговоры с К. Токаревым (очень больным; не так давно ему отняли раненную на фронте ногу) ничего не прояснили, и я вновь обратился к товарищам из КГБ, сославшись на публикацию «Комсомольской правды». Ответ получил, как и прежде: интересующих писателя документов в архивах КГБ не имеется.

Итак, для меня этот вопрос закрыт, но убежден, что перед будущими историками он еще встанет.

В своих воспоминаниях я забежал далеко вперед, дабы не разрывать на части внезапно возникшую «власовскую тему». А сейчас возвращаюсь в свою бытность редактором Военного издательства.

Напомню читателю, что я уже тогда всерьез занимался художественным творчеством как прозаик. И настало наконец время, когда осмелился положить на стол полковника Крутикова, нашего главного редактора, объемную рукопись — сборник собственных рассказов, в том числе и о Максиме Перепелице. В этот же день моя рукопись перекочевала на стол Михаила Алексеева (напоминаю, что мы оба были редакторами Воениздата, сидели в одном кабинете и уже были друзьями). Наверное, не придумать горшего наказания для автора, чем быть свидетелем чтения его рукописи сидящим рядом редактором. Я время от времени косил глаз на Михаила Николаевича, видел, как он, шевеля губами, читал и перечитывал мои страницы, что-то откладывал в сторону. Но я ни о чем не спрашивал, несколько дней перенося мучительную пытку и сам почти ничего не делая. Наконец он вынес приговор:

— Хочешь, чтобы книжка заинтересовала читателя и критику?

— Хочу.

— Тогда оставим для издания одного «Максима Перепелицу».

Я взвыл от обиды и негодования, но Алексеев был непреклонен. Не помогли ни мои уговоры, ни наша дружба. И я почти всерьез попросил его — если изда-

вать только одного «Максима Перепелицу», то хотя бы на бумаге потолще... А потом уже в шутку:

— Давай, пусть даже на картоне — чтоб книга была потяжелее.

Алексеев рассмеялся и ответил:

— Вот-вот, это бунтует в тебе Максим Перепелица!.. Значит, верно решили — он пока твой главный герой.

Но не так просто издать первую книгу в своем издательстве! Возможно, не потому, что, как гласит библейское утверждение: «Нет пророков в своем отечестве»; к редактору-писателю, видимо, требования были повыше, дабы перед лицом авторов издательства не оказался он в неловком положении, если вдруг его книга не удалась... Во всяком случае, вопреки правилам прохождения рукописи художественной книги в издательстве, ее послали на рецензирование в управление пропаганды Главпура. Со временем она была возвращена в Воениздат с официальным заключением, гласившим: «Возражений против публикации не имеется». «Максим Перепелица» получил права гражданства. В газетах стали печататься добрые отзывы о нем; в «Огоньке» появилась хвалебная рецензия, написанная известным критиком Александром Макаровым. Еще бы! Ведь после войны это была первая книга о современной армии.

Но триумф «Максима» был впереди. Начался он с того, что его заметила редакция литературно-драматического вещания союзного радио. Мне предложили написать серию сценариев радиоспектаклей по мотивам повести. Режиссер Виктор Турбин, редакторы Лидия Стишова и Ольга Новикова взяли шефство над моей работой. А когда роль Максима стал репетировать артист МХАТа (ныне народный артист России) Алексей Покровский, стало ясно, что уже первый полуторачасовой радиоспектакль обречен на успех. Покровский в роли Перепелицы оказался неподражаем.

Телевидение в первую половину пятидесятых годов только входило в наш быт. Деревни и села еще не ведали, что это за чудо. И радио было главным вещателем жизни страны и планеты, «поставщиком», особенно в глубинку, разного рода художественной продукции, музыки, песен, новинок литературы, драматургии.

И как же взыграло мое честолюбие, когда по радио, особенно в праздники — под Новый год, Первомайские,

Октябрьские дни включали комедийные спектакли по моим сценариям. Я представлял себе, как их слушают в моей Кордышивке, в Тупичеве, во всех уголках страны, как ахает от изумления моя многочисленная родня... Шутка ли, наш Иван, бывший пастух, помиравший от голода полусирота, оборвыш,— и вдруг непонятно каким образом пробился Бог знает куда, стал загадочным для них человеком. Да еще изумлялись мои земляки и тому, что по радио звучали знакомые им имена кордышан — деда Мусия, тетки Явдохи, почтальона Марка Мухи... Это уж казалось им совсем невероятным.

Впрочем, я и сам млел от гордости, слушая, как мое имя упоминалось рядом с именами обаятельнейшего Алексея Покровского и игравших в радиоспектаклях наиболее именитых в то время актеров: Грибова, Яншина, Гриценко, Трошина, Светловидова, Кольцова, Пельтцер, Викланд, Васильевой, Понсовой...

В моей душе и сейчас звучит сопровождавшая постановки лирическая музыка композитора Корчмарева.

О, сколько прибавилось у меня в тот период родственников, о существовании которых я раньше и не подозревал, сколько получил писем с выражением чувств дружбы и любви.

Замечу также, что после первой же прозвучавшей в эфире радиопостановки о Максиме Перепелице у издателей возрос интерес к последующим моим рассказам. Журнал «Советский воин» стал для меня главным литературным прибежищем. Его ведущие работники Константин Иванович Поздняев и Евгений Фотиевич Дырин всячески содействовали моим публикациям на страницах двухнедельника и его приложения. Поздняев проявил себя как беспощадный критик, а Дырин уже был сложившимся прозаиком (его повесть «Дело, которому служишь» занимала тогда видное место в нашей военно-художественной литературе). Но случилась беда: Евгений Фотиевич, человек трудной судьбы, внезапно ушел из жизни. На его место — начальником отдела художественной литературы и членом редколлегии «Советского воина» — назначили меня. «Фотиевич заменил Фотиевича»,— мрачно шутили иные из моих друзей. Тридцать лет состоял я в редколлегии журнала (даже после увольнения в запас), пока меня не сменил там мой сын Юрий, предварительно закончив институт, аспиран-

туру, отбыв срочную службу в армии, экстерном сдав экзамены за военное училище, заочно закончив военную академию и немало поработав в военной печати.

Однажды в нашей квартире раздался телефонный звонок, и я услышал:

— Это говорит начальник сценарного отдела ленинградской студии художественных фильмов Беляев Владимир Сергеевич.— Голос в трубке был незнакомым. Он продолжал: — Я в поезде прослушал отрывок из вашего радиоспектакля «Максим Перепелица на побывке».

— И что из этого следует? — насмешливо спросил я, будучи уверенным, что меня разыгрывает кто-то из моих друзей, скорее всего, Михаил Алексеев. Розыгрыши тогда в наших кругах были в моде.

— Давайте встретимся. Поговорим о возможности создания кинокомедии.

Мне это показалось совершенно несбыточным. Кино мне виделось недосягаемой сферой искусства, тем более что в те времена в течение каждого года на экраны выходило не более десяти—двенадцати фильмов. И я, сказав в ответ какие-то неучтивые слова, положил телефонную трубку.

Вскоре вновь зазвенел телефон. Тот же голос стал убеждать меня:

— Я понимаю... Вы приняли мое предложение за чью-то шутку. А я вполне серьезно, слово чести! Приходите завтра на Большой Гнездниковский, в Главкино. Там будет заказан пропуск. Заходите к главному редактору Игорю Вячеславовичу Чекину. Я буду ждать вас.

Упоминание об Игоре Чекине, которого я помнил по Северо-Западному фронту, смутило меня. Никто из моих друзей не мог знать его отчества. А вдруг не розыгрыш?

На второй день я шел на Большой Гнездниковский, все время оглядываясь, полагая, что если меня кто-то разыгрывает, то обязательно будет подсматривать, клюнул ли я на злую шутку. И был радостно смущен, когда в бюро пропусков у меня взяли удостоверение и стали выписывать пропуск.

Все произошло как в сказке. В кабинете Игоря Чекина я познакомился с Владимиром Сергеевичем Бе-

ляевым — моложавым, коренастым, улыбчивым. Нас потом на долгие годы свяжет крепкая дружба семьями. Он высказал уверенность, что Максим Перепелица, как литературный герой, дает все возможности для экранизации книги о нем. В это время в кабинет вошел высокий, чуть старше меня мужчина. Это был режиссер «Ленфильма» Анатолий Михайлович Граник, чья картина «Алеша Птицын вырабатывает характер» недавно вышла на союзный экран. Он попросил Чекина подписать какой-то документ, связанный с поездкой на целину для поиска сюжета.

— Вот тебе автор с готовым сюжетом! — Владимир Беляев указал Гранику на меня.— Идите в коридор и потолкуйте.

В коридоре мы уселись с Граником на диван, и он попросил:

— Расскажите один-два эпизода, которые могут войти в сценарий.

Я стал рассказывать о проделках Максима Перепелицы в селе и в армии. Граник похохатывал. Радиопостановок он не слышал, но согласился:

— Давайте попробуем. Надо заключать с вами договор...

На службе я подал рапорт о том, что есть возможность создать кинокомедию о современной жизни Советской Армии, попросил предоставить мне очередной отпуск, прибавив к нему два месяца за свой счет. Редактор журнала «Советский воин» полковник В. В. Панов, старый служака и прекрасный человек, прошелся с моим рапортом по начальству (благо, что кое-кто из несговорчивых генералов в это время курортничал), и я получил отпускные документы.

Граник, не очень поверив, что в книжке «Максим Перепелица» изображены не придуманные, а подлинные, живущие в Кордышивке люди, предложил для начала съездить в мое родное село, именуемое в повести Яблонивкой, познакомиться с так называемой «натурой», сфотографировать «типажи», напитаться атмосферой селянской жизни на Винничине.

И вот появились мы в Кордышивке. Еще стояла в центре села хата, в которой я родился. Она уже принадлежала чужим людям, и мы остановились в доме моего брата Бориса. Заработал «сельский телеграф» — покатилась по селу молва о нашем приезде Борис и

его жена Ганя спешно готовили угощенья. Не заставили ждать себя и гости — родственники, друзья, сельское начальство. Почтарь Марко Муха принес корзину свежей рыбы, поймав ее в прудах за нашим селом. Анатолий Граник целился фотоаппаратом в почтаря, поражаясь тому, что в книге я действительно не придумал его.

А меня стала одолевать тревога. У Анатолия Михайловича было типичное еврейское лицо, и я был уверен, что кто-нибудь из моих земляков обязательно затеет с ним сердобольный разговор о том, что во время войны фашисты уничтожили в местечках на Винничине все еврейские семьи, и при этом может употребить слово «жид», не подозревая, что оно оскорбительно-черное, оставшееся в подольском лексиконе со времен шляхетского польского ига.

Я попросил Бориса тайком предупредить об этом собиравшихся в хате людей.

— Зробымо! — откликнулся Борис и кинулся выполнять мою просьбу.

Когда все мы собрались в застолье, главенство взял на себя мой дядька Иван Исихиевич Стаднюк. Налили, как полагалось, по чарке, и Иван Исихиевич, являя собой, как его считали в селе, саму мудрость и ученость, начал вступительную речь:

— Добродеи, у нас сегодня свято! До нас приехалы большие люди — Иван Фотиевич и Анатолий Михайлович,— и он поклонился Гранику, продолжив, не переводя дыхания: — Тут балакали, шо вы жидок?..

Я будто провалился в небытие, почувствовав холодок в сердце. Увидел, что и лицо Граника окаменело.

— Да,— чужим голосом выдохнул он...

А Борис, выпучив глаза, вскочил, как ужаленный:

— Дядьку Иван, я же говорил, что так не можно! Це ж униатське слово!

— Почему нельзя? — Иван Исихиевич для пущей убедительности перешел на русский язык.— Вот профессию его назвать и впрямь как-то неловко: реже-сер!.. Нехорошее слово!.. Сер!.. Кому это надо? А вот «жид» звучит! Ведь как раньше было? Нужен тебе, скажем, умный совет или потребовалось купить хорошей материи на костюм, керосину в лампу, дегтю для колес, продать курицу, яйца, муку,— да мало ли что! Идем к своим жидам в Вороновицу или в Немиров, а то и в са-

му Винницу. И имеем все, что надо! Была нормальная жизнь: я тебе, ты мне. А сейчас что? Фашисты, будь они прокляты, повыбили всех жидов, и селянин стал беспомощным и без всякой опоры. Как сирота!.. Ни сельрада, ни правление колхоза не помощники нам. Куда деваться?

Застолье загудело от реплик:

— Теперь ни курицу не продашь, ни материи не купишь!..

— На торговице все ларьки сгнили!..

А Иван Исихиевич все витийствовал, вспоминал, как он во время войны, рискуя собой, жизнью своей семьи и всех родственников, прятал на чердаке хаты двух еврейских парней, как еще в гражданскую войну носил вместе с нашим односельчанином Петром Северенчуком в уездный город Брацлав прошение от селян прекратить еврейские погромы и отведал там петлюровских шомполов. Но зато потом имел почет и уважение во всех окрестных еврейских местечках.

— И могли деньги занимать у евреев без всяких процентов,— заметил кто-то из более старших кордышан.

— Почему без процентов? — обиделся Иван Исихиевич.— Так не бывает между деловыми людьми!

— И большие проценты брали с вас? — спокойно спросил Граник.

Заподозрив в этом спокойствии напряжение и зреющий взрыв, я запаниковал. Надо было как-то сглаживать неловкость. Но Иван Исихиевич продолжил разговор:

— Нормальные проценты водились — по согласию, по-человечески. Скажем, дружили мы с вороновицким рыжим Гершко. Башковитый был торговец, хотя детей настрогал больше дюжины! Многие годы сбывал я ему сушеные груши... Он имел доход, а я от его дохода проценты. И как-то читаю в газете, что ученые придумали мазь против лысины: чтоб выпавшие волосы заново отрастали да еще кучерявились. А у меня ж лысина, как ародром — хоть самолеты сажай на ней!.. Я к Гершко: достань, Бога ради, мазь! Вырастет у меня чуприна — отдам тебе своего лучшего коня. Гершко кинул клич своим знакомым людям, которые аптеками заправляли — в Винницу, Бердичев, Киев... Нет мази!.. Нашлась только в самой Одессе, да и то за немалые гроши. Но

скажу я вам: мазь была страшно вонючей, и на нее слетались мухи, как в нужник. Пришлось ситечко на голову поверх повязки нахлобучивать, а людям брехать, что заразился какой-то панской болезнью, от которой зобрели для меня лекарство... А моя жинка Лександра знай втирает мне мазь в голову: хотела, чтоб кучери у меня появились. Но вместо кучерей слепилась на лысине под повязкой скорлупа, а в голове будто клювики застучали. И однажды приснилось мне, что из моей лысины вылупилась огромная сова. Проснулся я в страхе и требую от Лександры содрать с меня коросту. Ой, натерпелся! Ежа легче родить против шерсти! Словом, размочила жинка скорлупу и заголосила дурным голосом: увидела, что над моими ушами выросло по клоку волос, а на макушке прорезался самый настоящий рог — как у бычка...

Тут уж Граник развеселился без притворства и сквозь хохот тихо сказал мне:

— Прямо по Гоголю!.. Готовый сюжет для народной комедии.

— Вам, товарищ ре-же-сер-р, комедия, а мне слезы! — обидчиво откликнулся Иван Исихиевич.— Как было дальше жить? Я сел на коня и поскакал в Вороновицу к Гершко. Помогай! — требую.— Спрашивай у своих дохторов, что мне делать с рогом. А он, бандит, хохочет. Говорит: дай рогу подрасти, я потом спилю его и сделаю свирель. А что такое свирель? — спрашиваю. Говорит — дудка, на которой музыку играют. Цены ей не будет! Подуешь в нее — и все самые пригожие бабы начнут сбегаться к тебе... Ему шутки, а мне хоть в петлю... Повел меня Гершко до нашего вороновицкого дохтора Балабана — он лечил людей всех наших сел, земской больницей управлял. Так вот, чикнул Балабан ножичком по моему рогу, и от него только вонь пошла... Смазал, заклеил...

— Хороший был дохтор,— вставил Марко Муха.— Лет сто, наверное, прожил.

— А хоронили его как! — воскликнул кто-то.

— Да, провожали в последний путь знатно.— Иван Исихиевич стал уточнять мысль: — Дети Балабана пожелали похоронить отца в Виннице на еврейском кладбище. Так наши люди целыми селами хлынули следом. Кто пешком, кто на возах, на лисопетах. До самой Винницы процессия растянулась.

— Это сколько ж километров? — поинтересовался Граник.

— Более двадцати!

— Не может быть!

— Га-га, не может!.. Балабан не только лекарства прописывал, но и принимал роды, операции делал, раны всякие зашивал, уколы давал. Лучшего дохтора во всей округе не было!.. Раньше и губернаторов так не хоронили...

7

Несколько дней гостили мы с Граником в Кордышивке. Навещали моих родственников, друзей, бродили по лесу, околицам села. Анатолий Михайлович не уставал фотографировать «натуру», присматриваться к людям, их одежде, сельскому быту. И все подшучивал надо мной, требуя новых доказательств, что действительно мне и моим землякам чужд антисемитизм. Меня уже начали раздражать его подковырки, и однажды, когда он подзадержался в зале клуба, делая там на листе бумаги карандашный набросок сцены и галерки для кинодекораций, я встретил его упреком:

— Мне надоело тебя подъевреивать!

— Ха! — Граник насмешливо взглянул на меня.— Старые одесские хохмы: «подъевреиваю трамвай», «подъевреиваю поезд», «поджидаю еврея».

— Слушай, давай прекратим эту тему, — предложил я.— А то получается так, будто честных людей заставляют оправдываться в том, что они не воры!

— Согласен! Но назови мне еще хоть одно слово, в котором бы звучало сочетание букв «ж-и-д». Мне просто интересно.

— Жидкость!.. Лоллобриджида!.. Андре Жид!..

— Кошмар! — засмеялся Граник.— Можешь диссертацию писать.

— Зачем диссертацию? Поэму о нашей с тобой поездке в Кордышивку! И назову ее, по примеру «Энеиды» Котляревского, «Евреида»! Ты и мой дядька Иван будете главными персонажами поэмы,— меня охватил задор.

— Годится! Потом фильм сварганим. «Евреида» — отличное название!

— Уже есть готовые эпизоды для этого фильма. Трагикомические! — И я с подробностями рассказал Гранику, как в 1949 году в Кордышивку приезжал из Москвы один полковник с задачей опровергнуть мое украинское происхождение и документально подтвердить, что по национальности я еврей. А тогда за сокрытие «биографических данных» следовало увольнение из армии.

Выслушав мой рассказ, Анатолий Михайлович задумался, глядя себе под ноги; мы медленно шли по пустынной улице села.

— А им что, не хватало для доказательства хотя бы твоего «Максима Перепелицы»? — мрачно спросил он.

— При чем здесь «Максим»? — не понял я.

— При том, что такую повесть мог написать только украинец. Меня, как режиссера, и привлекли в ней национальный характер героя и колорит жизни украинского села.

Настал черед задуматься мне. Поразмыслив, я сказал:

— Во-первых, в сорок девятом «Максима Перепелицы» у меня еще не было. Во-вторых, я же написал его по-русски, чуток прибегая к украинизмам. Но ведь искусство — продукт общечеловеческий!

— Ерунда! — Граник взмахнул рукой.— Еще Бальзак говорил, что искусство есть одежда нации. А общечеловеческое в искусстве пробивается только сквозь национальную форму... Ты, например, мог бы поставить себя на место Шолом-Алейхема и написать нечто подобное его повести «Тевье-молочник»?

— С классиками не соревнуюсь,— отшутился я.— Однако мысль твою понял и с ней согласен... Но постараюсь когда-нибудь написать рассказ, как я учился один день в хедере,— и тут же пожалел о сказанном.

— Не может быть! Расскажи! — потребовал Граник.

Но рассказывать почему-то не хотелось; испытывал неловкость оттого, что наши разговоры заклинились на «еврейской теме».

Однако Граник настаивал, и я, труня над собой, все-таки поведал ему забавную, незамысловатую ситуацию, в которую попал в 1932 году после окончания четвертого класса сельской школы.

...Когда начался в Кордышивке голод, отец, удравший из села от очередной моей мачехи в Киев и работавший там дворником, а потом лифтером, вызвал меня к себе. Не могу вспомнить, как я, одиннадцатилетний мальчуган, добрался до Киева. Из Киева батька отправил меня на пассажирском пароходе «Надежда Крупская» в Чернигов к брату Якову, инструктору обкома партии. Брат и его жена Мария Ивановна временно жили в ремонтировавшемся двухэтажном доме на углу улиц Ленина и Шильмана. Подходил сентябрь, и меня надо было определять в школу. А ближайшая находилась рядом, на улице Ленина, против редакции областной газеты «Большевик». Брат и отнес туда заявление и свидетельство об окончании мной четырехлетки.

И вот наступил первый день занятий. Прихожу в школу, нахожу дверь с табличкой «5-й», переступаю порог класса, сажусь за скамейку на свободное место, с гордостью раскрываю новенький, какого у меня никогда до этого не было, ранец, купленный Яковом. Вокруг — горластые мальчишки и девчонки, разговаривающие между собой на непонятном мне языке. «Городская мова (язык),— решил я для себя.— Научусь и я балакать по-городскому! — Во в Кордышивке удивятся!»

Зашел молодой учитель. Класс утих. Учитель раскрыл журнал и начал перекличку. Вскоре прозвучала и моя фамилия. Я проворно поднялся и бойко сказал: «Я!» Учитель что-то спросил у меня.

— Я вас не разумию, бо ще не навчився размовляты городською мовою. Але скоро навчусь!* — ответил я.

Учитель опять обратился ко мне с каким-то вопросом. Я пожимал плечами, удивляясь его непонятливости. А класс взорвался дружным хохотом. Все мальчишки и девчонки повернули ко мне лица и безудержно смеялись.

Учитель подошел ко мне, взял за руку и повел из класса, повесив мне на плечо мой ранец.

Вошли мы с ним в учительскую. Там сидело несколько педагогов — мужчин и женщин. Учитель им что-то объяснил, и они тоже начали хохотать. Ко мне подошла женщина в очках и по-украински сказала:

— Иди, хлопчик, домой и скажи брату, что он запи-

---

* — Я вас не понимаю, потому что еще не научился разговаривать городским языком. Но скоро научусь.

сал тебя в еврейскую школу. Пусть придет к нам и заберет твои документы...

Весь мой рассказ Граник сопровождал хохотом. А когда я умолк, он с непонятной мне тогда удрученностью промолвил:

— Да, были еврейские школы, театры, издательства, а теперь остался только пятый пункт в анкетах...

Я не знал, что такое «пятый пункт», и отмолчался.

Наступила самая ответственная пора: надо было садиться за написание первого в своей жизни киносценария. Фильм уже значился в планах студии. Анатолий Михайлович предложил мне, поскольку было лето, забрать из Москвы семью и поехать под Ленинград в писательский Дом творчества «Комарово». Хлопоты о покупке путевок он взял на себя, хотя я уже был полноправным членом Союза.

Незадолго до отъезда в Ленинград в Симферополе вышла в свет первая моя «солидная» книга — сборник повестей и рассказов «Сердце солдата». В нем был напечатан и «Максим Перепелица». Из Крымиздата мне прислали несколько пачек книг, и я захватил с собой с десяток сборников.

Комарово явилось загадочной «планетой», населенной интересными людьми. Познавал их при помощи Граника — в столовой, в библиотеке, на прогулочных дорожках территории Дома творчества. Анатолий Михайлович нашептывал звучные фамилии и пояснял: этот — самый крупный специалист по Гоголю, а тот — по Шекспиру; этот — крупнейший переводчик с английского, а тот — с французского... Знаменитые литературоведы, критики, лингвисты, редакторы, издатели...

— А где же прозаики, поэты, драматурги? — спросил я однажды у Граника.

— Из прозаиков — ты пока единственный; можешь гордиться и дарить критикам свое «Сердце солдата»,— с легкой насмешкой ответил Анатолий Михайлович.— Какой же из солдата драматург — еще посмотрим. Но для начала познакомлю тебя с настоящим драматургом.

Наша с Граником пикировка происходила у крыльца домика, в котором я поселился с семьей. Мимо нас проходил по гравийной дорожке коренастый мужчина. Граник учтиво поклонился ему и представил меня:

— Подполковник Стаднюк, начинающий киносценарист.— А мне сказал: — Это — Евгений Львович Шварц. Знакомьтесь.

Тут с крыльца скатились мои дети: десятилетняя Галя и шестилетний Юра.

— Откуда вы, младое племя? — поразился Евгений Львович.— Будущие литераторы?!

В его удивлении был резон: в Дом творчества «Комарово» не принимали писателей с детьми. Для меня сделали исключение по ходатайству известного мастера кино, автора трилогии о Максиме кинорежиссера Григория Михайловича Козинцева, который согласился взять на себя роль художественного руководителя постановки фильма «Максим Перепелица». Его просьбу поддержали Александр Прокофьев и Вера Кетлинская, возглавлявшие Ленинградскую писательскую организацию.

А Граник тем временем с пристрастием расспрашивал Галю и Юру, смотрели ли они фильмы «Первоклассница», «Золушка» (называл еще какие-то):

— А ведь это дядя Женя Шварц их создатель! Смотрите на него, запоминайте!.. Когда-то мемуары будете писать.

Галя тут же пересказала Шварцу эпизоды из названных фильмов, Юра по малолетству «солидно» отмолчался. А я смотрел на Евгения Шварца с недоверием, зная склонность Граника к веселым и не всегда безобидным шуткам-розыгрышам.

В дверях террасы стояла моя жена Тоня, прислушиваясь к нашему разговору, и когда Евгений Шварц ушел, она сказала:

— Евгению Шварцу можно поклониться даже за одни сказки, написанные по мотивам датчанина Андерсена. Мне запомнились «Голый король», «Тень»...

— Ну, вот! Еще один специалист по чужому творчеству! — с насмешкой ответил я, полагая, что Анатолий Михайлович все-таки разыграл меня. Трудно ли сочинять сказки на отработанные мотивы?! Что получится, если я начну перелицовывать на свой лад романы Андерсена-Нексе?

Граник посмотрел на меня с ужасом, а Тоня с присущей ей застенчивостью стала увещевать меня:

— Ваня, ты, наверное, спутал Андерсена-Нексе с Гансом Христианом Андерсеном! Оба датчане!

— Ну и дьявол с ними! Ничего я не спутал! Помните, у Маяковского:

> Мудреватые Кудрейки,
> Кудреватые Митрейки,
> Кто их к черту разберет?!

Я и предположить не мог, что со временем известный поэт и прекрасный человек Анатолий Кудрейко станет моим коллегой по работе в журнале «Огонек».

Граник умел быть въедливо-насмешливым. Он уже сидел на недалекой скамейке и делал вид, что умирает от хохота. А успокоившись, прочитал мне целую лекцию о творческой самостоятельности Евгения Шварца, его повестях, пьесах, литературных сценариях, о которых я и без него знал.

Однако все происходившее вокруг стало казаться мне неправдоподобным, особенно после того, как из-за поворота дорожки появился очень знакомый человек с большой окладистой бородой. Поздоровавшись с нами, он стал расспрашивать Галю и Юру, не болят ли у них животы, ибо, как он сказал, в столовой на завтрак подавали не очень свежий творог.

Бородача в это время окликнули с недалекой волейбольной площадки, и он, отвесив поклон, споро зашагал туда.

— Вылитый Отто Юльевич Шмидт,— сказал я Гранику.— Кто это? Небось специалист по Пушкину или Толстому?

— Нет. Специалист по Арктике. Он и есть — Шмидт. Академик и Герой Советского Союза.

— Чудеса!.. Почему в писательском доме?

— Где же еще смогут писатели его увидеть? На Северный полюс они не ездоки.

И опять поразившее меня «явление»: мимо нас прошагал живой Николай Черкасов. Поздоровался на ходу, спросил у Граника, не закрыта ли библиотека, и, широко ступая длинными ногами, удалился в направлении главного корпуса.

Я вопросительно уставился на Граника.

— Вон за забором его дача,— объяснил Анатолий Михайлович и, увидев бегущую по дорожке черную собачонку, позвал ее: — Комик!.. Комик, ко мне!

Песик — некрасивый, бородатый, с взлохмаченной шерстью, чуток повиляв хвостом, устремился вслед за Черкасовым.

— Ты и с ним знаком? — удивился я.

— Знаком! Иногда подкармливаю псинку конфетами.

«Какая тут может быть работа, когда вокруг такие чудеса?» — подумал я.

Граник будто уловил мои мысли и деловито сказал:

— Хватит развлекаться. Садись за письменный стол... Но для начала подари Шварцу свою книгу. Пусть прочитает «Максима Перепелицу». Может, посоветует что-нибудь старик.

Сделал я на книге робкую дарственную надпись и в обед вручил Евгению Львовичу... А уже после ужина Шварц высказал нам с Граником свои сомнения:

— Повесть в рассказах — это хорошо. Просматриваются готовые кинематографические эпизоды. Но ведь в книге повествование ведется от лица Максима. А для фильма надо совсем другое произведение — оригинальное, не простая экранизация повести. Удастся ли на языке кино сохранить интонацию рассказов, лукавство и юмор героя? Ведь и другие персонажи не с простыми характерами... Так что трудная перед вами задача, друзья...

После разговора со Шварцем Граник несколько скис, а я обозлился:

— Зачем паниковать?! — спросил у Анатолия Михайловича.— Ведь другие сценарии рождаются вообще на пустом месте! А у нас под рукой полная сюжетов книга, дюжина героев с проявившимися характерами. Давай для начала составлю поэпизодный план.

— Попробуй,— согласился Граник.

На второй день я читал Анатолию Михайловичу проспект будущего фильма, дополняя пересказ эпизодов объяснениями их сути.

— За работу! — В Гранике проснулся азарт режиссера.

Он требовал от меня вначале пересказывать ему сцены более развернуто, и только потом записывать их на бумаге. Иные эпизоды я переписывал по четыре-пять раз. Время от времени мы ходили на недалекую дачу Козинцева, нашего художественного руководителя. Граник читал ему написанные мной страницы. Я попивал кофе и временами кидал взгляды на лицо Григория Михайловича; оно все время было неизменным — улыб-

чивым, выражавшим доброжелательность. Однако во мне гнездилась тревога. Каким-то чутьем я улавливал, что Козинцев всерьез не воспринимал читаемое Граником; и только, возможно, мое присутствие сдерживало его от критики и возражений.

Граник продолжал читать, а я иногда отключался от слушания и переносился мыслями в первые недели и месяцы Отечественной войны, в ее приграничные бои.

Как ни странно, именно там начал складываться в моем воображении образ Максима Перепелицы. В самых безнадежных, смертельно опасных ситуациях иные наши рядовые воины, проявляя в атаках и контратаках немыслимое упорство, самоотречение, храбрость и стойкость, кажется порой больше, чем противника, боялись выглядеть со стороны робкими, нерешительными, неуклюжими... А когда после критических ситуаций наступали минуты затишья, находились заводилы, и начиналось веселье: смеялись над мнимыми и истинными нелепостями — у кого какое было выражение лица во время штыковой схватки (тут же копировали), как кто и что кричал в атаке, как увертывался от танка или закрывался каской от свистящей над головой бомбы... А когда вновь близился бой, люди суровели, понимая неотвратимость опасности и собираясь с силами, чтобы выстоять.

Где бралась у солдат эта неистощимая нравственная твердость?

Задавая себе этот вопрос, возвращался мыслями в предвоенную пору. Я сам был тогда рядовым и ощутил на себе влияние казармы, разношерстного красноармейского коллектива, влияние всего уклада солдатской жизни, каждая минута которой регламентирована уставами, наставлениями, инструкциями и приказами. Почти зримо слетала с меня «гражданская шелуха», и я видел, как постепенно менялись характеры моих сослуживцев; среди них многие несли в себе что-то от Максима Перепелицы, которому, как литературному образу, еще предстояло родиться И если вначале казарменные весельчаки потешались над недостатками и причудами своих товарищей, не щадили и себя, дабы повеселить друзей, иногда валяли дурака и на занятиях, то со временем это их качество приобретало иную направленность — оно уже помогало в службе и в учебе. Прежнее желание прихвастнуть, преувеличить свое «я»

сменялось стремлением возвысить это «я» приобретением качеств, которые действительно украшают личность воина и гражданина. И еще было страстное желание вернуться после службы домой совсем другим человеком...

Но как все это объяснить Григорию Михайловичу Козинцеву? Почему он не задает никаких вопросов? Верил ли он в мои силы закончить сценарий и в способности Анатолия Михайловича поставить фильм?.. Мнилось мне, что не верил...

Ну и пусть! В конечном счете — велико ли дело, появится или не появится на суд людской кинокомедия «Максим Перепелица»? Не появится — никто и не догадается об этом, как о не родившемся человеке.

«Эх, если б можно было заглянуть в будущее, пусть даже ближайшее! А может, и не надо заглядывать, чтоб не подвергнуться смятению, которое затмевает всякое будущее — близкое и далекое...

Но как вернусь в Москву, как появлюсь на службе, если с фильмом ничего не получится? Что буду докладывать начальству?..» — И когда поставил перед собой эти вопросы, уже было невозможно избавиться от власти своих мыслей и предположений; они в конечном счете есть твоя совесть, твои рассудок и разум...

Чувства свои легко раздразнить, но трудно успокоить... Граник читал какой-то эпизод, сам хохотал над ним, Козинцев интеллигентно улыбался. А я, углубившись в тревожные мысли, убеждал себя, что моя совесть не должна бояться истины, какой бы горькой она ни была. Но, естественно, хотелось, чтоб истина была желательной и чтоб ее ценность оказалась в ней самой, а не в ее источниках.

Нет, не мелкое самолюбие, не излишняя мнительность прикоснулись к моей душе. Без всяких предвзятостей я чувствовал, что наш художественный руководитель не вдохновляется моим сценарием. Видел, что и Граник стал догадываться об этом... Сам же я был безоружен; они мастера кино, в котором Ивану, видимо, делать нечего — не моя стихия. Но и в панику не вдавался: позади такая война, столько испытал всякого... А от творческой неудачи не умру.

Но судьба пока была все-таки благосклонна к моему Максиму.

8

Наконец наступил день, когда на «Ленфильме» собрался художественный совет для обсуждения литературного комедийного сценария «Максим Перепелица». В составе совета: руководители киностудии, известные режиссеры Григорий Козинцев, Фридрих Эрмлер, Иосиф Хейфиц, редактор фильма Татьяна Тарханова... Не помню подробностей обсуждения. Были какие-то критические замечания, пожелания. Но сценарий утвердили, вынесли решение о запуске его в производство, хотя впереди еще была трудная процедура принятия сценария в Москве, в Главном управлении кинематографии СССР.

Все, как говорится, шло своим чередом, но в очень уплотненные сроки. Поэт Михаил Александрович Дудин написал для фильма тексты песен, композитор Василий Павлович Соловьев-Седой сочинял музыку. С музыкой на строевую песню «В путь» вначале получился конфуз. Во время первого ее прослушивания я тихонько отбивал ногами под столом такт — будто бы шагал в солдатском строю. Когда Соловьев-Седой закончил играть и устремил на меня вопросительный взгляд, я без всякой деликатности сказал:

— Василий Павлович, музыка ваша, может быть, и очень хорошая — не мне, музыкально необразованному, судить о ней. Но с уверенностью скажу, что для солдатского строя она не подходит.

— Почему?! — Лицо композитора наливалось краской.

— Не прослушивается четкий ритм, под который можно «печатать» шаг. Давайте еще попробуем.

Мы с Граником встали у пианино, а Василий Павлович вновь ударил по клавишам. Сделали под музыку несколько шагов на месте и... сбились с такта. Еще зашагали — не получалось...

Соловьев-Седой молча поднялся, положил в папочку ноты, сердито хлопнул крышкой пианино и, не попрощавшись, вышел.

Какое-то время в музыкальной гостиной стояла напряженная тишина. Потом на меня обрушился град упреков:

— Что вы наделали?!

— Это же сам Соловьев-Седой!..

Я виновато спросил у знатоков музыки:

— А как надо было мне поступить? Марш ведь не получился. Не только шагать под него нельзя, но и петь песню в строю не будут!

— Марш — это еще не вся музыка к фильму,— удрученно сказал Граник.— Отмолчался бы, а потом как-нибудь... Что теперь будем делать?..

Но Василий Павлович был человеком доброй души. Через неделю, а может быть, позже мы вновь слушали его музыку — совершенно новую. Я опять притопывал под столом ногами, сразу же уловил, что в припеве надо делать паузу на два шага, и это без тренировки усложняло песню. Но сказать об этом уже не посмел; сделал вид, что маршевая песня мне очень понравилась и ничто в ней меня не беспокоит.

И хорошо сделал, что промолчал: песню «В путь», после выхода на экраны «Максима Перепелицы», сразу запела вся армия. И никаких не было затруднений из-за перепада двух тактов в припеве. Более того, они как бы позволяли шагающим в строю солдатам пропеть вторую половину куплета с обновленной силой. На многие годы песня Соловьева-Седого «В путь» стала торжественным маршем, которым встречали и провожали в наших аэропортах высочайших гостей страны. Она также упоминалась в ряду других песен В. П. Соловьева-Седого, когда ему присуждали звание лауреата Ленинской премии.

Но это в будущем, а пока Анатолий Граник засел за написание режиссерского сценария, привлекая к работе второго режиссера Виктора Садовского и оператора Дмитрия Месхиева. А я с семьей вернулся в Москву, увозя с собой экземпляр литературного сценария принятого к производству фильма.

Напомню, что это был 1954 год. Я возглавлял тогда отдел художественной литературы журнала «Советский воин», редакция которого размещалась в узеньком Антипьевском переулке (ныне маршала Шапошникова). Напротив нашего двухэтажного здания высился «корабль» — высокий дом с башней и шпилями-мачтами на крыше. В нем располагалось Главное Политуправление Советской Армии и Военно-Морского Флота. Здесь начинал я в 1947 году свою службу в Москве — в отделе печати Политуправления Сухопутных войск.

В тот день в моем мрачноватом и по конфигурации

гробообразном кабинете собрались наши авторы — писатели Михаил Алексеев, Борис Зубавин, Михаил Колесников, Борис Привалов, Семен Борзунов (тогда редактор армейского «Блокнота агитатора»). Вели обычный разговор о новинках литературы, травили анекдоты. Рабочее время было на исходе, и мы убивали его, чтобы потом пойти в Дом литераторов да посидеть в ресторане.

Вдруг к нам зашел полковник Панов Виктор Васильевич — главный редактор журнала.

— Стаднюк, тебя вызывает генерал-лейтенант Миронов,— сказал он.

— Сейчас?

— Да, сейчас. И захвати свой сценарий — генерал интересуется.

Генерал-лейтенант Миронов Михаил Александрович был начальником управления пропаганды и агитации Главпура. Наш журнал, как и другие армейские и флотские печатные органы, подчинялся ему и его аппарату. Кроме того, Миронов являлся членом редколлегии «Советского воина», и поэтому мне иногда приходилось и раньше бывать у него в кабинете. Миронов пользовался у нас огромным авторитетом, слыл умным политическим руководителем, добрым и чутким человеком. Но лично у меня бывали разногласия с ним в оценках предлагаемых для публикации в журнале рассказов. Случалось, вернется в редакцию от Миронова рукопись, а на ней резолюция: «Я не за...»,— и генеральская роспись. Я оказывался в дурацком положении: рассказ уже прошел редактуру в отделе, одобрен главным редактором и другими членами редколлегии, об этом извещен автор. Но главное, решающее слово, было за генералом Мироновым. Что мне оставалось делать? Как объяснить автору, иногда довольно именитому, почему вдруг отклоняется его, одобренное большинством членов редколлегии, произведение? Иногда я набирался храбрости, звонил Миронову и просил мотивировать свою отрицательную оценку рассказа. Это очень не нравилось генералу, мне приходилось выслушивать его нотации, а потом еще и получать выволочку от полковника Панова за непозволительный звонок начальству. А однажды, когда Миронов забраковал превосходную новеллу Николая Ершова «Вниз по Волге», я, в

отчаянии, попросил писателя самого позвонить Александру Михайловичу и дал ему номер телефона... Ох, что потом было!.. Я мало не лишился своего поста в «Советском воине».

На этот раз заходил я в кабинет генерал-лейтенанта с радужными надеждами. Но увидел Михаила Александровича мрачным. Он молча взял у меня сценарий, сесть не предложил и спросил каким-то тусклым голосом:

— Как это вы, Стаднюк, ухитрились в мое отсутствие получить отпуск на целых три месяца?

— Написал рапорт, как полагается, на имя редактора журнала. Попросил месяц очередного отпуска, плюс два месяца за свой счет...

— А вы разве не знаете, что в армии не практикуются творческие отпуска?

— Вообще-то не знал. Но очень плохо, что не практикуются. Поэтому почти нет ни книг о современной армии, ни пьес, ни фильмов.

— Ваше двухмесячное жалование мы списать не можем,— стоял на своем Миронов.— Получать же вам его не за что.

— Я и не претендую ни на какое жалование. А отпуск потратил не зря: будет кинокомедия о советском солдате.

Миронов молча перелистал сценарий, остановил взгляд на последней его странице и с насмешкой спросил:

— Всего семьдесят страничек? И это за целых три месяца?!

— А больше и не надо,— пояснил я.

— Так за это время можно было написать диссертацию! — Генерал поднял на меня суровые глаза.

— Диссертацию написать легче!

— Кто вам сказал такую глупость?!

— Посудите сами: кандидатов и докторов наук в стране — многие сотни тысяч. А нас, членов Союза писателей, всего лишь три тысячи человек на все республики,— тогда именно такое число значилось в писательском справочнике.

Я уже начал терять самообладание. Разговор велся в явно оскорбительном для меня тоне.

— Ну, это вы объясните на партбюро... Кто у вас секретарь?

— Секретарь в отпуске.

— Все равно. Привлекаем вас к партийной ответственности...

— За что?! Ну, привлекайте... А я выступлю перед писательской общественностью, расскажу о нашем с вами разговоре. Тогда посмотрим, кто из нас окажется...— И неожиданно для самого себя выпалил: — В дураках!

Разумеется, это было с моей стороны уже неслыханной, неразумной и опасной дерзостью: подполковник и генерал-лейтенант — несоизмеримые «весовые категории».

— Вон! — выдохнул Миронов, вскочив на ноги.

— Есть вон, товарищ генерал-лейтенант! — истошно заорал я. Четко, по-уставному повернулся на каблуках кругом и строевым шагом, вкладывая в удары сапогами о паркет все свое негодование, вылетел из кабинета.

Через несколько минут появился в своей «резиденции». Там по-прежнему находились Алексеев, Зубавин, Привалов, Борзунов, Колесников. Кажется, еще и Константин Поздняев. Они обратили внимание на мой взъерошенный вид. Посыпались вопросы...

И я, стоя в дверях, позволил себе совсем недопустимое по тем временам: стал в подробностях рассказывать о происшедшем сейчас в кабинете генерала Миронова:

— В такой великой армии, победившей Гитлера, возглавляет ее духовную жизнь бездуховный человек! Позор всем нам! Завтра же подаю рапорт об увольнении! Стыдно! Стыдно быть под началом у злобных и темных людей!..— Я был почти в истерике.

Вдруг сздади кто-то крепко взял меня за локоть. Я оглянулся и увидел нашего главного редактора полковника Панова. Лицо у него было бледное, глаза суровые.

— Прекрати! — строго произнес он.— Пойдем со мной... Под трибунал захотел?.. Партбилет тебе надоел?

Вошли в кабинет Виктора Васильевича. Он усадил меня на диван и тут же позвонил генералу Миронову. Я знал, что они были давними и близкими друзьями.

Мне только запомнилось из их разговора:

— Ты не прав!..— говорил Панов в телефонную трубку.— Не прав!.. Стаднюк прав!.. Так нельзя с мо-

лодым писателем! Пойдет молва по всему их писательскому союзу! Не обрадуемся!..

На второй день явился я на службу ровно в девять часов утра, предчувствуя, что грядут какие-то события. И верно, только зашел в кабинет, как на моем столе зазвонил телефон. Сняв трубку и назвав себя, услышал голос генерала Миронова:

— Зайди ко мне!

— Слушаюсь!

То, что генерал назвал меня на «ты», сулило перемену в его настроении к лучшему. Через две-три минуты я уже был у Миронова.

— Ну, прочитал я твой сценарий,— спокойно сказал он, протягивая мне рукопись.— Понравился!.. Если получится хороший фильм, будем поддерживать.

Я поблагодарил генерала, понимая, что на этом разговор не окончен.

— Ну, а за вчерашнее ты не обижайся,— продолжил Михаил Александрович.— Всякое бывает в нашей солдатской жизни... Договорились?..

— Я прошу и меня извинить за невыдержанность.

— Мы же мужчины. Всякое случается,— миролюбиво повторился Миронов.

— И еще прошу разрешить мне отлучаться в Ленинград по вызовам студии. Там начинаются актерские пробы.

— Конечно, конечно,— согласился Миронов.— Я скажу Панову. А кого там планируют на главную роль?

— Я хотел бы Алексея Покровского или Юрия Белова.

— Лучше бы Бондарчука!

— Не согласится. Он не комедийный актер.

— Ну, вам виднее.—И генерал горячо пожал мне на прощание руку.— Желаю успехов!..

Итак, атмосфера на службе разрядилась. Впереди ждали меня и моего Максима другие испытания.

Пришла телеграмма из Ленинграда: вызывали для участия в отборе актерских проб. Купив билет на «Красную стрелу», помчался вечером на вокзал. Вошел в свой вагон с двухместными купе, сверил обозначенное в билете место, открыл дверь и остолбенел: на одном из двух диванов сидел народный артист СССР Нико-

лай Черкасов и читал газету. Я поздоровался, извинился...

— Располагайтесь, подполковник,— приветливо сказал Николай Константинович.— И не смущайте меня своим смущением.

Я снял плащ-пальто с погонами (уже была осень), поставил под столик чемодан, сел напротив Черкасова. Надо было о чем-то говорить, но мне легче было груженую телегу сдвинуть с места...

Узнав, что я еду на «Ленфильм» по киношным делам, Черкасов удивился: в те времена военные редко оказывались в роли киносценаристов. Поговорили о Комарово, об Анатолии Гранике, с которым Черкасов был знаком, затем Николай Константинович стал расспрашивать меня о войне... Пили чай с печеньем, потом, кажется, еще что-то пили...

В Ленинграде на Московском вокзале Черкасова встречала машина, и он предложил завезти меня в гостиницу «Астория», где был забронирован номер. Я смущенно объяснил, что обязан вначале зарегистрироваться в военной комендатуре города и там уже получить направление в гостиницу.

— Заедем и в комендатуру,— сказал Николай Константинович.— Мне даже интересно посмотреть, как вершится эта бестолковщина.

Дежурный военный комендант записал в журнале о моем прибытии, а дать направление в «Асторию» отказался:

— Не положено. У нас есть офицерская гостиница, есть общежитие для военных. Туда — пожалуйста.

Сзади меня вдруг послышался баритональный, такой знакомый всем голос Черкасова:

— А вы переступите через «не положено». Товарищу военному писателю надо будет принимать у себя съемочную группу фильма, актеров...

Дежурный ошарашенно пялился из-за деревянного барьера на высокого мужчину в цивильном.

— Вот я пожелаю навестить подполковника. Зачем мне ваше общежитие? У нас профессиональные разговоры.

Дежурный офицер вдруг узнал Черкасова, вскочил на ноги, заулыбался и чеканно доложил:

— Сделаем, как прикажете, товарищ народный артист!

— Вот это другой разговор! И начальству передайте, что я требую никакими параграфами не усложнять творческую работу военнослужащих.

— Ваше требование будет записано в журнал и доложено коменданту Ленинграда! Прошу ваш автограф, а то комендант не поверит...

Черкасов с готовностью расписался на предложенном ему бланке и поставил дату.

Затем мы поехали в гостиницу «Астория». Прощаясь, Черкасов пообещал побывать на студии при окончательном утверждении актерских проб...

Появившись на «Ленфильме», я с головой окунулся в режиссерскую «кухню» Граника. Не скрою, что мне было приятно, что Анатолий Михайлович на большинство главных ролей пригласил актеров из украинских театров. Ведь все сельские сцены фильма проходили на Украине. Главные герои, пришедшие на службу в армию, украинцы. Леонид Быков уже на пробных съемках в роли Максима Перепелицы покорил всех своей простотой и непосредственностью, умением перевоплощаться в образ Максима без наигрыша, с глубокой правдивостью и подлинной комедийностью «без комикования». Все почувствовали его прекрасную душу, юношескую наивность, чистоту порывов, доброе лукавство и благородство.

Под стать Максиму — его отец Кондрат Перепелица, колхозный кузнец и руководитель сельского духового оркестра. Заслуженный артист УССР Н. Яковченко возвышался в роли как неподражаемый талант. И что интересно, Н. Яковченко, как и все участники фильма, говорил по-русски, но в его языке явственно звучала напевность украинской речи со всеми ее приметами. Русские актеры (народный артист СССР А. Борисов в роли Марка Мухи, заслуженная артистка РСФСР Т. Пельтцер в роли бабки Горпины, артист Г. Вицин в роли деда Мусия, К. Сорокин — старшина Саблин) вместе с украинскими актерами создавали великолепнейший народный ансамбль славянского речения.

Но дело не в фильме, а в том, как он пробивался к экрану. Забегу вперед и скажу, что в это же время на московской студии имени Горького тоже создавался фильм, сюжет которого во всех его подробностях был позаимствован известным кинодраматургом из моей книги «Максим Перепелица» и из прозвучавших в эфи-

ре радиоспектаклей о Максиме по моим сценариям. Но об этом ни я и никто на «Ленфильме» пока ничего не знали. Сие событие пушечным залпом ударит по всем нам позже.

9

Тот вечер в Ленинграде стал для меня особенно памятным. В ресторане гостиницы «Астория» мы с Граником ужинали в одной компании с актером Александром Вертинским (он тогда снимался в фильме «Анна на шее»). Александр Александрович был нашим гостем. Мы не отрывали от него глаз, ловили каждое его слово. Заметив, как я стараюсь вилкой и ножом разделать на тарелке жареного цыпленка «табака», он расхохотался и, подвернув вверх белоснежные манжеты рубашки, растопырив пальцы, стал показывать, как это делается руками. Я в свое оправдание сказал о своем крестьянском происхождении и этим дал повод Вертинскому для расспросов о том, зачем мне, офицеру в высоком звании, понадобилось еще стать писателем. И как это можно создать кинокомедию на армейском материале?

Разговор продолжили в моем номере, где Анатолий Михайлович стал читать наиболее комедийные эпизоды из своей режиссерской разработки. Компания наша увеличивалась: пришел Константин Сорокин, которому предстояло сыграть в нашем фильме роль старшины Саблика, зашла Алла Ларионова (умопомрачительно красивая, снимавшаяся в главной роли «Анны на шее»), еще появились актеры и, усевшись вокруг стола, начали готовиться к какой-то сложной игре в карты.

Вертинский распрощался с нами и ушел. Я в карты не играл и, скучая, слонялся по комнатам. Граник предложил мне посидеть над его режиссерским сценарием, переплетенным в картонную обложку.

Открыв сценарий, я обратил внимание, что на его титульном листе красным карандашом жирно зачеркнута строка: «Художественный руководитель Григорий Козинцев».

— Как это понимать?! — встревоженно спросил я у Граника.

— Не обращай внимания,— спокойно ответил он.—

Это ему славы не прибавит, а нам его фамилия убавит. Да и некогда Григорию Михайловичу заниматься нашим фильмом.

Полистав сценарий, я вдруг обнаружил в нем записку на листе бумаги в клеточку. С изумлением прочитал ее:

«Дорогой Толя! Ты взялся не за свое дело. Этот материал тебе чужд. Пока не поздно, откажись от постановки фильма. Григорий Козинцев».

Много мне потребовалось сил, чтоб не броситься к Гранику с новыми вопросами... Эта записка где-то хранится в моем архиве...

Оказывается, и великие режиссеры могли ошибаться: когда во время недели французских фильмов знаменитому Жерару Филипу показали на «Ленфильме» отрывки из «Максима Перепелицы», он сказал, как сообщила газета «Труд», что хотел бы видеть наш фильм во Франции.

В начале 1955 года киностудия «Ленфильм» сдавала в Москве, в Главном управлении по кинематографии СССР, кинокомедию «Максим Перепелица». И в этот же день московская киностудия имени Горького представила союзному кинематографическому начальству свою цветную музыкальную кинокомедию «Солдат Иван Бровкин», поставленную по сценарию Георгия Мдивани режиссером Иваном Пукинским.

Все этажи здания на Гнездниковском гудели от возбуждения: в кино родились два фильма-близнеца: черно-белый Максим и цветной Иван. Почти с одним и тем же сюжетом, одинаковыми коллизиями, расстановкой героев. Всем было известно, что правда на моей стороне, что «Максим Перепелица» поставлен по моей одноименной книге, вышедшей в свет четыре года назад, что по радио уже несколько лет звучат радиоспектакли о нем. Но то были времена, когда никто не мог постоять за правду. Георгий Мдивани слыл драматургом высокого ранга, был членом правления Союза писателей. Пользуясь своим положением, он добился, чтобы его фильм «Солдат Иван Бровкин» был выпущен на экран гораздо раньше «Максима Перепелицы»...

Разбирая недавно свои архивы, я внезапно наткнулся на стенограмму забытого мной заседания Комиссии по военно-художественной литературе Союза писателей СССР от 20 октября 1955 года. Комиссия обсуждала

просмотренную московскими писателями кинокомедию «Максим Перепелица» перед выходом ее на экран. Заседание вел покойный ныне военный писатель С. Н. Голубов. В обсуждении фильма приняли участие двадцать человек, среди них — Михаил Алексеев, Григорий Поженян, Николай Шундик, Марк Максимов, Алексей Марков, Константин Поздняев, Герман Нагаев, Матвей Крючкин... Это был день триумфа всей нашей съемочной группы и актерского ансамбля, хотя выступавшие высказывали и отдельные критические замечания.

Теперь мне вспомнилось, что именно высокие оценки фильма моими коллегами обезоружили меня, и я не последовал их советам начать конфликт с Георгием Мдивани и не стал доказывать первородство сюжета своего фильма... Когда «Максим Перепелица» появился на экранах Москвы, случай свел меня с Александром Петровичем Довженко. Я сидел в предбаннике ЦДЛовской парикмахерской, дожидаясь очереди к знаменитому цирюльнику Моисею. Довженко, запеленутый в простыню, сидел в кресле мастера. Кто-то обратился ко мне, назвав меня по фамилии.

— Вы Стаднюк? — тут же отреагировал Александр Петрович.— Я смотрел вашего «Перепелицу». Не переживайте... То, что позволил себе Мдивани,— мерзко. Но его фильм — цыганщина дурного вкуса, а «Максим Перепелица» — народная комедия. Ей и суждена долгая жизнь.

Но буквально на второй-третий день в «Комсомольской правде» появилась статейка Галины Колесниковой, в которой критикесса все ставила с ног на голову: доказывала, что не Мдивани у меня, а я у него позаимствовал сюжет кинокомедии.

Вот тут уж отмалчиваться мне было нельзя, и я написал письмо в «Правду».

Мдивани, как помнится, постигли неприятности по партийной линии и в секции кинодраматургов. Через какое-то время он позвонил мне домой и попросил прощения, но делал в нашем телефонном разговоре акцент на то, что, мол, есть бродячие сюжеты и запретов на них нет, а виноват он передо мной лишь в том, что, уже будучи автором тридцати кинокартин, «перебежал» дорогу моему первому фильму. Позже прислал мне с теплой дарственной надписью трехтомник своих пьес.

Я был рад и такому исходу конфликта, тем более

что газета «Красная звезда» опубликовала огромную хвалебную статью о «Максиме Перепелице». Но позабыл о недремлющем оке начальства. Генерал-лейтенант Миронов, прочитав в «Красной звезде» статью, позвонил тогдашнему ее главному редактору генерал-майору Василию Петровичу Московскому и «пожурил» его за то, что неумело воспитывает он молодых писателей: нельзя так захваливать подполковника Стаднюка. Зазнается! Да и фильм ведь не без недостатков. Вот об этих недостатках и надо, мол, рассказывать на страницах газеты, но уже устами самих зрителей (обо всем этом потом поведал мне сам генерал Московский).

И в войска был послан мой давний друг подполковник Геннадий Семенихин собирать критические отклики на фильм «Максим Перепелица». Приказ есть приказ, дружба службе не помеха (Геннадий был литсотрудником отдела литературы «Красной звезды»).

Отклики, если не ошибаюсь, заняли целую газетную полосу. Я даже обрадовался: такое внимание Ивану. Самым главным обвинением в адрес сценариста — пропаганда панибратства в армии. Это панибратство выразилось в фильме якобы в том, что командир роты старший лейтенант Куприянов пригласил Максима, когда тот вернулся с гауптвахты, посидеть рядом с собой на скамейке и при этом дал ему закурить сигарету из своего портсигара.

Вот такие-то дела... Но и на этом моя «перепеличья» одиссея не закончилась. Вскоре фильм показывали по телевидению. Мне и Анатолию Гранику предложили выступить по нескольку минут перед демонстрацией кинокомедии.

Выступили... А на второй день мне позвонил на службу дежурный по приемной заместителя начальника Главпура (или помощник его — не помню) и от имени адмирала спросил, кто разрешил подполковнику Стаднюку выступить по телевидению в военной форме.

— А я что, глупостей наговорил, армию опозорил? И выступал как писатель, а не как работник Главпура,— ответил я.

— Так что передать адмиралу?

— Пошли ты его подальше!..— В сердцах я употребил нецензурное слово.

Через несколько минут позвонил вновь тот же полковник:

— Адмирал всучил тебе десять суток гауптвахты за хулиганство.

— Какое хулиганство?

— Ты же велел послать его...

— И ты передал дословно?

— Как просил...

Я кинул на рычаг телефонную трубку, взял Устав дисциплинарной службы и вычислил, что адмирал имеет право арестовать меня только на пять суток. Тут же позвонил полковнику и, уже совсем не владея собой, заорал:

— Передай своему... адмиралу, что он превышает данные ему права! Может посадить меня только на пять суток! — и положил трубку.

Вновь звонок от полковника:

— Остается в силе десять суток! К своим пяти он попросил еще пять у министра обороны. Так что готовься встречать машину патрулей комендатуры.

Самоуверенности моей как ни бывало. Что делать? Понимал, что правда на моей стороне. Но зачем было хамить начальству, да еще такому высокому? Позвонить и попросить прощения?.. Извиниться?.. Вряд ли это поможет... Обращаться в ЦК партии? Идти на скандал? Но если я и докажу неправоту адмирала, меня все равно не пощадят... А здравый смысл все-таки подсказывал, что надо «обнародовать» атмосферу, в которой находятся писатели-военнослужащие; ведь я не один в армии литератор.

Сила и возможности работников ЦК мне уже были известны. Однажды, уже после просмотра на Старой площади «Максима Перепелицы», меня пригласили в отдел культуры для участия в совещании по проблемам кино. Предложили выступить. С молодым задором я высказал мысль о необходимости введения «государственных заказов» на фильмы. Мол, сценарная коллегия должна отбирать лучшие из поступивших литературных киносценариев, приглашать режиссеров и поручать им постановку. Если режиссер отказывается — посылать его подальше и искать другого. Таким образом, с моей точки зрения, можно было избавиться от режиссерского диктата и создавать фильмы, самые нужные народу. А то даже получалось так, что на последнем курсе Всесоюзного института кинематографии будущий молодой режиссер по своему усмотрению ищет себе сценарий

или пишет его в содружестве с кем-то и, придя на студию, ставит свои условия. Отсюда — полная анархия в создании кинокартин.

После меня поднялся Иван Пырьев и не оставил от моего выступления камня на камне: «Я буду браться за постановку фильма по тому сценарию, какой мне нравится. Ничьих заказов, кроме веления своей души, своей совести выполнять не буду! А то, что предлагает Стаднюк,— это гибельный путь киноискусства...» Разумеется, наш выдающийся режиссер был прав, хотя и в моих суждениях было зернышко истины: возможно, касающееся начинающих режиссеров.

После совещания меня пригласил к себе в кабинет заведующий сектором кино Отдела культуры ЦК Сазонов. Стал расспрашивать, кто я, откуда родом, как мне служится, как живу. Я тут же пожаловался, что живу с семьей, состоящей из четырех человек (двое детей), в одной комнате коммунальной квартиры, пишу по ночам на кухне или в ванной.

— Да, плохо армия заботится о своих писателях,— сказал он и взялся за трубку кремлевского телефона.— Сейчас поговорим с вашим министром обороны.

Я оцепенел от страха. Только и успел ошалело сказать:

— Маршал Малиновский подумает, что я нажаловался! Не звоните!...

А заведующий сектором уже говорил маршалу о моем бедственном жилищном положении. Через несколько дней я переселялся с семьей в отдельную двухкомнатную квартиру в новом доме на 6-й улице Октябрьского поля (ныне маршала Бирюзова).

Прошло еще какое-то время, и последовал новый вызов в ЦК. Состоявшийся там разговор ошеломил меня: мне предложили уволиться из армии и занять пост начальника Главного управления кинематографии Министерства культуры СССР. В кино, мол, надо наводить порядок, а вы, в общем, понимаете суть проблем; надо заняться там обновлением кадров и вам, как «человеку со стороны», это будет делать сподручнее.

Я сразу же понял, какая мне уготована неблаговидная роль, и категорически отказался, сославшись на то, что я кадровый военный и при этом еще учусь в заочном институте...

И вот теперь, когда на пустом месте произошел не-

простой конфликт, я вознамерился писать письмо в ЦК, в тот самый отдел, где меня уже знают. Но ведь можно не успеть! За мной в любую минуту мог приехать комендантский патруль.

Тут я вспомнил о своем знакомстве с военным комендантом Москвы генерал-лейтенантом К. Р. Синиловым, которому помог в издании его брошюры «О поведении военнослужащих вне строя».

Однако дозвониться до Синилова не удалось, и мне вдруг пришла мысль набрать номер телефона заведующего сектором кино Отдела культуры ЦК Сазонова.

— Не может такого быть! — ответил Сазонов, выслушав мой сбивчивый рассказ о случившемся.— За выступление по телевидению — нагоняй?! Наказание гауптвахтой?! А ну, обождите у телефона, я позвоню по «кремлевке» вашему адмиралу.

Их разговор был мне хорошо слышен, и я еще раз убедился, что люди в ЦК имеют немалую власть. Адмирал извинительно доказывал, что подполковник Стаднюк за непочтительность к начальству конечно же заслуживает отсидки на гауптвахте, но согласился отменить свое распоряжение — все-таки речь шла о члене Союза писателей.

10

Казалось, конфликт был исчерпан, я мог спокойно продолжать работу в журнале, но спокойствие мое было призрачным, ибо понимал, что я уже «меченый». Нужен только случай, чтоб свести со мной счеты. Да они, счеты, как мне казалось, уже потихоньку и сводились: давно и не единожды представленный к званию «полковник», я продолжал ходить в подполковниках — документы, как сказал мне приятель из управления кадров, к ним не поступали. Возможно, меня угнетала презренная мнительность. И логика подсказывала: для адмирала я слишком мелкая «сошка», чтоб он занимал мной свои мысли.

Но к истине ведут сомнения. И я поделился ими со своим другом Григорием Поженяном, поэтом, бывшим военным моряком. Пожалуй, человека с более интересным — взрывным, бурным и целенаправленным — характером я в своей жизни не встречал. Да и поэт он, в

моем даже нынешнем понимании, один из крупнейших в советской литературе.

Познакомил меня с Поженяном приехавший тогда из Симферополя Дмитрий Холендро. Мы сидели в гостиничном номере, и Гриша читал нам стихи о море. Я был в восторге и от стихов, и от манеры их чтения автором. Биография поэта тоже впечатляла: заслуженный, орденоносный морской офицер исключался из Литературного института за «политическую неблагонадежность». Когда тогдашний ректор Литинститута Федор Гладков, объявляя ему приказ об исключении, воскликнул: «Чтоб вашей ноги здесь не было!»,— Поженян ответил: «Уже нет здесь моих ног!» — И тут же, в кабинете, встал на руки и так, вверх ногами, вышел из здания института на Гоголевский бульвар и, в сопровождении кого-то из друзей, «дошагал» до пивной на Пушкинской площади... Потом работал в Калининградском порту котельщиком, а со временем был восстановлен в институте...

Я еще продолжал работать в Воениздате и пригласил Поженяна сотрудничать у нас — рецензировать поэтические рукописи — хоть какой-то будет заработок, в котором он очень нуждался.

С каждой новой встречей наша дружба крепла. Некоторые мои друзья тоже подружились с Поженяном, особенно Михаил Алексеев, угадав в нем не только славного, пусть и хулиганистого, человека, но и обладателя истинного таланта.

Многие его стихи и поэмы мы запоминали наизусть, а потом были свидетелями рождения первых стихотворных книг Поженяна — «Ветер с моря», «Штурмовые ночи», «Жизнь живых», «Степкино море»... Еще и еще выходили его сборники, вплоть до избранных изданий. Большую славу принес Григорию Михайловичу художественный фильм «Жажда», поставленный по его автобиографическому сценарию. В народе зазвучали поженяновские песни; наиболее любимыми из них стали песни «Мы с тобой два берега» и «Путь к причалу».

В каждом из нас еще долго жили воспоминания о войне. Сиживая в дружеском кругу, мы часто делились ими. Но то, о чем рассказывал нам Гриша, порой казалось невероятным, хотя боевые ордена (в том числе Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны) и многие медали на груди свидетельствовали о

былых его ратных делах на Черноморском флоте. Мы знали, что Уголек (он же Поженян) участвовал в рискованных морских десантах, в фантастической операции по захвату у немцев Беляевской насосной станции, чтоб дать Одессе воду, оказывался в одиночестве во вражеском тылу и уже был зачислен в «пропавшие без вести»... Не во все из рассказываемого Гришей мы верили, но сомневаться вслух у нас не полагалось; более того, мы даже весело подзуживали друг друга, провоцируя на новые, казалось, фантазии.

Но однажды Поженян поведал такое, во что мы с Алексеевым откровенно ему не поверили. Речь шла об участии экипажа катера, которым Григорий командовал, в знаменитом Эльтигенском десанте. Во время жестокого обстрела немцами приближавшихся к берегу отрядов катеров заместитель Григория Поженяна по политчасти спрятался под тумбой штурманской рубки. Ничего в этом зазорного не было, но замполит... уснул под тумбой! Катер высадил на берег морскую пехоту, экипаж поддержал ее огнем... Шел бой, а замполита не было... Обнаружили его на обратном курсе. И разъяренный лейтенант Поженян приказал матросам выкинуть старшего политрука в бурун (пенистый след катера). «Как очухается, выловите его обратно!..» Приказ есть приказ: выбросили офицера в море, потом вновь втянули на борт.

Разве можно было в такое поверить? Мы не поверили. Григорий это заметил и, как бы в укор нам, прочитал стихи:

Что-то все у меня не ладится.
То весною зима приластится,
То зимой, в декабре, за стеклами
Птиц обманут ветрами теплыми.
Что-то все у меня навыворот.
То за горькую правду выпорют,
То за самую малость малую
Вдруг погладят рукой беспалою.
Да и сам-то я, словно маленький,
То с достоинством губы выпячу,
То, зарывшись в подоле маменьки,
Чтобы люди не знали, выплачусь.
Где ж вы, деды морозы добрые?
Вы такие ж, как я, бездомные.
Где ж ты, палочка выручальная?
Ты такая ж, как я, случайная.
Не встречались вы на роду моем.

Вас такие ж, как я, придумали.
Новогоднею ночью бесснежною,
Чтоб вы стали людской надеждою.

Не стали мы «пороть» Гришу за «горькую правду», более того, притворились, что поверили в истинность его рассказа; на войне, мол, всякое бывало.

Так вот, поделился я с Поженяном своими тревогами, родившимися после конфликта с адмиралом.

— Пустяки все это! — ответил мой дружок.— Давай я тебя познакомлю с моим адмиралом — Октябрьским Филиппом Сергеевичем. Я служил под его командованием, теперь мы иногда встречаемся, пьем по чарке и плачем, вспоминая погибших друзей...

Через какое-то время мы сидели в гостях у адмирала Октябрьского (Иванова), командовавшего в войну Черноморским флотом. Гриша привез ему только что вышедший новый поэтический сборник, а меня отрекомендовал как своего ближайшего друга и автора замеченной зрителем кинокартины «Максим Перепелица».

Мне, «сухопутному» солдату, слушать разговоры о войне на море было очень интересно. Адмирал Октябрьский часто обращался в воспоминаниях к тем боевым операциям, в которых отличался катер Поженяна, и рассказывал о них куда масштабнее, чем это мы слышали от самого Григория Михайловича. Всплывали новые, остродраматичные эпизоды, и я стал убеждаться не только в том, что слышанное от Поженяна — сущая правда, но далеко не полная, обедненная. Вспоминая его «похождения» во время войны, адмирал Октябрьский иногда поругивал Гришу за былые излишние вольности. И вдруг, ткнув пальцем в грудь Григория, пожаловался мне:

— Более хулиганистого и рискованного офицера у себя на флотах я не встречал! Форменный бандит!.. Я его представил к званию Героя Советского Союза!.. Сделал это еще до своего отъезда на Амурскую флотилию. А он потом во время Этильгенского десанта выбросил за борт политработника!.. Естественно, последовала жалоба в Военный совет. Стали затевать трибунал. Но опомнились и ограничились тем, что ликвидировали представление к Герою...

— Насчет Героя Гриша помалкивал,— ошеломленно сказал я.

Затем Поженян рассказал Филиппу Сергеевичу мою

ситуацию: трусит, мол, Стаднюк перед своим главпуровским адмиралом; надо бы заступиться...

Октябрьский нахмурился, долго молчал.

— Тайну умеете хранить? — наконец мрачно спросил он.

Мы отмолчались.

— Ваш адмирал,— Октябрьский устремил на меня печальный взгляд,— еще на прошлой неделе смещен со своего поста и с понижением послан на Дальний Восток.

— Что с ним случилось?! — спросил Поженян, а я даже затаил дыхание от неожиданности. Не знал, как отреагировать на услышанное, почувствовал, что где-то во мне шевельнулась подленькая радость.

— Не с ним, а с линкором «Новороссийск», — сказал Октябрьский.— Взорвался линкор, погибли матросы, офицеры. До сих пор идут спасательные работы... В ту же ночь заседало Политбюро ЦК... А адмирал отвечал за политработу на флотах...

И тут я почувствовал себя непередаваемо мерзко. Мои неприятности — микроскопически-личная мизерь в сравнении с катастрофой на Черном море! Было стыдно... И уже жалко снятого с поста адмирала. Он-то при чем? Политработой диверсию не упредишь, если это действительно диверсия.

И недоумевал, почему случившееся держалось в такой строжайшей тайне даже от нас, служивших в Главпуре?

Только через 33 года страна узнает некоторые подробности этой трагедии из публикаций газет «Правда» и «Красная звезда».

11

Время не стояло на месте. Молодые армейские писатели Михаил Алексеев, Николай Горбачев, Михаил Колесников, Иван Свистунов, Николай Камбулов, Ирина Левченко, Иван Жигалов, собираясь в моем кабинете, размышляли о том, что хорошо бы при Главпуре и Министерстве обороны создать военно-художественную студию прозаиков, поэтов, драматургов наподобие военной студии художников имени Грекова... Обращались с ходатайством к само-

му высокому начальству. Но ему было не до наших забот в условиях «холодной войны» и при постепенном обновлении офицерского и генеральского корпуса армии и флота.

Некоторые надежды на помощь в решении этой проблемы возлагали мы на Михаила Шолохова. Но, к сожалению, я упустил имевшуюся возможность посоветоваться с ним о томившей нас заботе. Сия возможность представлялась в канун пятидесятилетия Михаила Александровича, когда побывал я у него в Вешенской.

Это было уже незадолго до юбилея великого писателя — в последних числах марта 1955 года. Главпур издал директиву широко отметить в армии и на флотах пятидесятилетие Шолохова, а военным печатным органам опубликовать о нем статьи. Мне же пришла в голову шальная мысль позвонить Михаилу Александровичу и попросить у него для нашего журнала отрывок из романа «Они сражались за Родину», над которым писатель работал. По наивности полагал, что Шолохов меня запомнил,— мы дважды сиживали за одним столом в небольшом кругу московских писателей.

Задумано — сделано. Дозвонился до Вешенской. У аппарата Шолохов. Я постарался веско, со ссылкой на директиву Главпура, объяснить ему причину моего звонка, попросил прислать отрывок из романа.

— Полковник,— откликнулся он, повысив меня в звании,— так мы ни до чего не договоримся. Прилетай завтра в Ростов, ищи меня в гостинице... Что-нибудь придумаем.

Прилететь «завтра» я не смог, ибо получил ордер на квартиру. А тогда бытовала у нас поговорка: «Новую квартиру беги занимать впереди ключа, а то ее могут занять раньше тебя...» В Ростов я прилетел через день, отыскал названную мне Шолоховым гостиницу, но его там уже не застал — он срочно улетел с каким-то московским издателем в Вешенскую.

В панике я кинулся в газету Донского военного округа к своим давним знакомым. Из редакции попытались дозвониться к Шолохову домой. Но телефонная связь с Вешенской отсутствовала. И я, вопреки горячим советам друзей, решил на свой страх и риск ехать в знаменитую на весь мир станицу.

Сойдя в Миллерово с поезда, пошел на автобусную станцию. Там меня ждал новый «сюрприз»: мартовская

дорога на Вешенскую размыта, и автобусы туда не ходят. Я будто почувствовал, как у меня в нагрудном кармане кителя зашевелилось командировочное удостоверение, подписанное самим начальником Главпура — генерал-полковником А. С. Желтовым... А ведь это была не простая бумажка, это — приказ, который надо выполнить. Но до Вешенской от Миллерово сто сорок километров! Пешком не пойдешь.

Стал расспрашивать у людей, как в Вешенскую доставляют газеты и письма. И узнал — летает туда почтовый самолет По-2. На почте же услышал от начальника, что посадить меня на самолет он не имеет права,— инструкция!

Оставалась последняя надежда — «верховная власть» района... И вот я сижу в кабинете первого секретаря райкома партии, объясняю ситуацию. Для пущей важности достаю из полевой сумки свою крымиздатовскую книжку повестей и рассказов «Сердце солдата», вышедшую в Симферополе в прошлом году, делаю на ней авторскую надпись и дарю партийному боссу. Показываю ему такую же книжку, подписанную для Шолохова. Уговорил!..

— Ладно, инструкцию мы нарушим,— сказал секретарь райкома.— Прикажу начальнику почты. Но для порядка надо вначале позвонить Михаилу Александровичу, убедиться, что он вас действительно ждет.

Меня это не встревожило: ведь была у нас договоренность... Ох, деревенская наивность!.. Однако, как и в Ростове, телефонной связи между Миллерово и Вешенской не было — весенние воды делали свое дело.

И вот мы в полете. Я сижу рядом со штурманом; он и пилот — молодые, красивые ребята. Оба удивлены, что им посадили пассажира. Но моя военная форма наводила их, как я догадывался, на мысль о какой-то особо важной моей миссии. А я любовался землей — хуторами, холмистой степью, пашнями, лугами, впадинами, залитыми талой водой, в которой отражалось глубокое небо и вспыхивало ослепляющее солнце... Показалась пойма Дона. Могучая река будто вытекала из дымки далекого небосвода и впадала на краю земли в просветленный край неба. Вешенская обозначилась белым двухэтажным домом Шолохова с зеленой крышей. Летчики сделали над ним два круга; я внимательно всматривался в крыльцо, теша себя надеждой, что вдруг сек-

ретарь райкома дозвонился до Михаила Александровича и он выйдет из дома да помашет самолету рукой. Но тщетна была моя честолюбивая надежда.

Сели на «аэродром» — огромную поляну с плотным песчаным грунтом, заросшим прошлогодней травой. На ее краю стояла хата с плетенными из хвороста стенами, местами обмазанными глиной. Внутри нее на столбе висел телефон. Я тут же позвонил Шолохову и, поздоровавшись, обрадованно доложил:

— Подполковник Стаднюк прибыл согласно договоренности!

Шолохов молчал, и я слышал его учащенное дыхание. Потом он с чувством досады сказал:

— Родненький, что же ты наделал?! Я тебя в Ростове позавчера ждал.

— Не смог я! Вселялся в новую квартиру.

— Да?.. Причина уважительная. Но мне сейчас не до тебя.

— А как же быть? Я прилетел! Много времени у вас не отниму. Дайте обещанную главу, и я поверну оглобли...

Шолохов, вздохнув, после томительной паузы приказным тоном промолвил:

— Ну, вот что! Я посылаю машину. Шофер отвезет тебя в Дом колхозника. Устраивайся там и жди моих распоряжений,— и повесил трубку.

Через некоторое время у аэродромной хаты появился газик с моложавым казаком за рулем. Я уселся рядом с ним, и мы поехали по песчаной дороге с глубокими колеями. Шофер с почтением косился на мою военную форму и охотно отвечал на вопросы:

— Чем так занят Михаил Александрович?

— Да он за всех людей болеет! Мешки писем ему привозят! А где взять столько часу, чтоб прочитать их да ответы написать?..

Дом колхозника располагался метрах в двухстах от дома Шолохова. Обыкновенная изба с огромной комнатой, в которой на казарменный лад были расставлены десятка полтора железных, аккуратно застеленных коек. Я снял шинель и, бросив ее на крайнюю койку, попросил шофера чуток обождать, пока я напишу Михаилу Александровичу несколько строчек. Мне только теперь стало ясно, что я действительно свалял дурака и своим прилетом поставил по каким-то причинам в труд-

ное положение Михаила Александровича. Но отступать было некуда и в своей записке откровенно написал об этом.

Шофер уехал и вскоре возвратился. Протянул мне ответную записку, которую бережно храню. Написанная четким почерком, простым карандашом, она гласила:

«Дорогой т. подполковник! Всю жизнь служил Родине и родной Армии. Постараюсь все сделать. Прошу — если не будет вызова раньше — быть у меня завтра утром в 9 ч. С приветом — М. Шолохов. 31-3-55 г.».

Слова «если не будет вызова раньше» привели меня в боевое состояние. Почему-то верилось, что вызов будет! К окнам только-только прильнули сумерки, вечер начинал лишь густеть... И верно, через какое-то время послышался нараставший рокоток мотора, заглохший у дома. Хлопнула дверца машины. Я выбежал на крыльцо и столкнулся со знакомым шофером.

— Ждут! — выдохнул он.

Минуты через две я заходил в просторный шолоховский двор. Михаил Александрович, в гимнастерке и галифе, заправленные в хромовые сапоги, стоял на крыльце и смотрел в мою сторону. Я ускорил шаг, чувствуя, как зачастило в груди сердце... Обнялись, расцеловались.

— Ну, заходи, полковник! — голос у Шолохова был вроде приветливым.

— Пока подполковник,— уточнил я.

— Будешь полковником!

Вошли в обширную прихожую. Слева на стене увидел длинную деревянную вешалку; на ней густо висели плащи, фуфайки, пальто. Под вешалкой много различной обуви. Мне подумалось, что Михаил Александрович принимает сейчас гостей. Но в доме стояла тишина.

Я снял шинель, и мы прошли в столовую. За длинным столом сидел только один человек: худощавое с желтизной лицо, хмурые глаза.

— Знакомьтесь, это Кирилл Васильевич,— сказал Шолохов.

Мы пожали друг другу руки, и я почувствовал, что Кирилл не обрадован моим появлением. Только на второй день узнал, что это — редактор «Правды» по разделу литературы Потапов.

На скатерти возвышалась бутылка шампанского, ря-

дом — продолговатое блюдо с осетровой икрой, хлебница с нарезанным пшеничным караваем...

— Шампанское пьешь? — спросил у меня Михаил Александрович.

Я помедлил с ответом, почему-то смущаясь этого незнакомца Кирилла Васильевича. Мое молчание Шолохов воспринял по-своему и, повысив голос, скомандовал в открытую боковую дверь:

— Тоня! Поставь на стол водку!

Вскоре Тоня (домработница) принесла наполненный графин.

— Ну, вот, теперь есть с кем выпить! — Шолохов скупо засмеялся, откупоривая бутылку с шампанским.— А то этот долдон,— он кинул взгляд на Кирилла,— отказывается.

Я пил водку, Шолохов — шампанское, а Потапов сидел на другом краю стола и ни к чему не притрагивался, мрачно листая какую-то верстку.

После рюмки-второй мое смущение поубавилось, и я охотно отвечал на вопросы Шолохова о своей родословной, фронтовой и послевоенной биографии. И все склонял разговор к тому, что армия будет широко отмечать пятидесятилетие Шолохова и нашему журналу никак не обойтись без отрывка из его нового романа.

— Не торопи! — Михаил Александрович налил мне очередную рюмку, явно проверяя, умею ли я выпить.— Ты казачьи песни знаешь?

— Знаю.

— Откуда?

— У Виталия Александровича Закруткина научился. Мы, когда встречаемся в Москве, всегда поем в застольях.

— Ты с Виталькой знаком?! Ах да! Мы же в гостинице «Москва» все вместе сидели у меня в номере! А я никак не мог вспомнить, откуда мне знакомы твои веснушки и кучери!.. Ну, споем для начала «Пчелушку»...

Голос у Шолохова, как мне запомнилось, не сильный, но очень приятный, по-особому мелодичный. Иногда в нем прорывалась легкая хрипотца, которая часто сменялась песеннозабористым хохотком. В его моложавом лице в эти мгновения проглядывало что-то совсем юношеское. Посветлевшее, оно выражало чуть снисходительное, но очень доброжелательное чувство «к дев-

кам, которые пошли покупаться», к вору Игнашке, который «покрал девичьи рубашки»... Казалось, он видел перед собой вершившееся на берегу реки действо, и рекой этой в его воображении наверное же был Дон...

Затем пели другие песни — казачьи и украинские, пока не зашла в столовую Мария Петровна — жена Михаила Александровича. Смуглолицая, крепкая в теле, плавная в движениях, она смутила меня своей серьезностью и таившейся в глазах легкой насмешкой.

Я почувствовал себя лишним и неуместным в этом загадочном доме с длинной, угловатой трещиной на потолке столовой и вновь несмело напомнил Шолохову о причине своего самовольного визита к нему.

Через минуту Мария Петровна принесла рукопись главы, которую попросил Михаил Александрович, и он начал читать с машинописного листа. Мы все будто перестали дышать. Даже Кирилл Потапов поднял голову, лицо его просветлело, а глаза заблистали чувством восторга. О, как читал Шолохов! Нет, не артистично, а очень буднично. Но надо было видеть его лицо, вздрагивающие брови и веки глаз, присохшие чеканно-красивые губы. Надо было слышать его тихий грудной голос, в многозвучье которого вставали картины полынной степи, неба над ней и Тихого Дона. А какие фразы, слова, слагавшиеся в живое многоцветное полотно жизни! Ни намека на рассказ, а только безбрежно талантливое, волшебное живописание, объемная картинность, неповторимость и яркость человеческих характеров...

Я вспомнил, что на вешалке, в кармане шинели, дожидается своего часа «Сердце солдата» — сборник моих повестей и рассказов с дарственной надписью Шолохову — восторженно-банальной, наивной. И понял, что никогда не осмелюсь преподнести свои первые литературные опыты человеку, умеющему воссоздавать на бумаге все живое и мертвое, как никто. Слушая написанное им, не познаешь, а видишь, откликаешься на услышанное всем своим существом.

Шолохов умолк, положил последнюю страницу главы на стол, обвел нас взглядом. Мы молчали — слова были излишни. После паузы, наполненной для меня потрясеньем, заговорила Мария Петровна.

— Миша, — с какой-то особенной интонацией, поматерински сказала она.— Не торопись публиковать эту

главу. Ты же собирался еще поработать над ней. Мне доставит удовольствие еще раз перепечатать...

Многих других деталей того вечера моя память не сохранила. Возвращался я в Дом колхозника, а во мне звучали слова Шолохова, сказанные на прощанье:

— Поживи у нас, подполковник, с недельку. Дам я тебе машину, свое ружье, патронташ. Поохотишься в степи... Шофер знает мои места. Подыши донскими ветрами, потом, может, напишешь что-нибудь... Ну, завтра жду тебя в девять утра.

Как боялся я проспать назначенное время! Но ровно в девять уже поднимался на крыльцо шолоховского дома. Двери были не заперты, и я вошел в вестибюль. В доме — тишина... Снял шинель, повернулся к зеркалу, чтобы причесаться, и увидел вышедшего из какой-то двери Кирилла Потапова. Он смотрел на меня неприветливо, почти враждебно.

— Подполковник, немедленно уезжай отсюда,— тусклым и усталым голосом сказал он, глядя на меня болезненно.

Во мне взыграло самолюбие:

— Это что, приказ?!

— Да.

— Кто мне приказывает? Кто вы?

— Редактор «Правды»...

Я оторопел... Придя в себя, достал из кармана командировочное удостоверение, протянул Потапову:

— А как прикажете доложить мне генерал-полковнику Желтову? Что редактор «Правды» не позволил мне выполнить его задание?

— Не горячись.

— Как, не горячись? Я — солдат! Сейчас пошлю телеграмму в Главпур. Спрошу, как мне быть.

— Пойми,— Потапов смягчился, посмотрев мой документ,— Шолохову сейчас не до тебя. Я привез ему целую кипу верстох. Он должен читать их, иначе к пятидесятилетию его книги не выйдут... Так у кого задание важнее, у тебя или у меня?

Не знаю, чем бы кончилось наше препирательство, но появилась Мария Петровна и предложила позавтракать.

— Спасибо, я уже перекусил в Доме колхозника.

— Тогда погуляйте часов до двенадцати. Михаил Александрович еще отдыхает.

Гулять мы пошли вдвоем с Потаповым. Забегая вперед, скажу, что со временем мы с Кириллом Васильевичем стали друзьями. В Москве он жил одиноко, и я часто приглашал его к себе домой. Бывал и в его холостяцкой квартире у кинотеатра «Дружба», слушал там, как читал он еще не опубликованный шолоховский рассказ «Судьба человека», держал в руках написанную карандашом рукопись (Шолохов, если не изменяет мне память, написал рассказ в Москве, как говорят, «в один присест»).

Гуляли мы по улицам Вешенской, заходили в магазины, в том числе и в книжный, в котором два пожилых казака, обратив внимание на мою военную форму, стали расспрашивать, кто я и зачем появился в их станице. Запомнилась развеселившая меня мысль о том, что, скажи казакам «я писатель» — засмеют. Для них существовал только один писатель на свете — Михаил Шолохов!

К двенадцати часам мы возвратились в шолоховский дом. Увидели, что Мария Петровна угощала обедом пилота и штурмана, с которыми я вчера прилетел в Вешенскую. Сегодня они должны были возвращаться в Миллерово. У меня мгновенно родилось решение: улететь вместе с ними.

Со второго этажа спустился Михаил Александрович. Я тут же напрямик спросил его — получу ли главу, которую он вчера читал.

— Вон Маша не разрешает,— шутливо ответил Шолохов. А потом уже серьезно заключил: — Подполковник, я над ней чуток поработаю и пришлю вам в редакцию.

— Тогда очень прошу: напишите об этом моему редактору, а то мне непоздоровится.

Через несколько минут Михаил Александрович принес записку, которую цитирую по памяти:

«Дорогой тов. Панов! Подполковник Стаднюк сделал все, что мог. Мы с ним отобрали нужную для «Советского воина» главу. Доработаю ее и обязательно пришлю Вам...»

На прощанье я был «награжден» победной улыбкой Кирилла Потапова. Моему отбытию он радовался вполне искренне.

К концу дня я уже был в Миллерово на вокзале. Дожидаясь московского поезда, коротал время за обедом в совершенно пустом вокзальном ресторане. Вскоре за недалеким столом появились посетители: солдат с матерью. Женщина в летах то ли встретила сына, то ли провожала в часть после побывки дома.

К ним подошла официантка, и солдат заказал обед: борщ, котлеты и бутылку шампанского. Я, внутренне потешаясь над несоответствием борща и шампанского, стал вспоминать, когда и где впервые попробовал этот пенистый напиток.

Официантка принесла шампанское, и солдат под почтительным взглядом матери стал уверенно откупоривать бутыль — расшатывать плотно запрессованную корковую пробку, предварительно сняв металлическую оплетку. Пробка никак не поддавалась, а потом, в сильных руках солдата, ее верхняя часть отломилась.

— Штопор есть? — обратился солдат к официантке.

Получив штопор, он с трудом ввинтил его в тугую пробку. Но она не поддавалась штопору даже тогда, когда бутылка была зажата между ног. Солдат озадаченно и растерянно смотрел на бутылку, затем перевернул ее вверх дном, прижал штопор к полу и сапогами наступил на его «держатели». Потянул бутылку вверх, потом еще прибавил сил, и пробка чуть-чуть выползла из горлышка бутылки. После этого солдат вновь зажал бутылку между ног, потянул вверх штопор. И случилось то, что и должно было случиться: пробка вместе со штопором выстрелила из бутылки, а взболтанное шампанское могучей струей вырвалось наружу. Струя попала под завернувшуюся гимнастерку солдата и, пройдя под поясным ремнем, пробилась из-под воротника у шеи на свободу...

Я никогда так не смеялся и не видел, чтоб так хохотали другие. Официантки, сгрудившиеся у буфета и тоже наблюдавшие за «процедурой откупоривания» шампанского, буквально попадали от хохота на пол...

Очень жаль было сконфуженного солдата и его испуганной матери, но удержать смех было невозможно.

Со временем, когда я увлекся написанием комедийных сценариев, вплел в их драматургию и этот эпизод, но снять его не удалось ни одному режиссеру.

Итак, моя поездка к Шолохову закончилась почти

бесславно, однако память о ней я храню как большую, дорогую удачу в жизни. Шолохов обещанную главу не прислал. Для этого были свои причины, но о них пока умолчу. Не нашел я главу потом и в опубликованном романе «Они сражались за Родину». Что с ней? Так и не знаю. Ведь было еще несколько встреч с Михаилом Александровичем в Москве. Но спросить не решался, а он ни намеком не напоминал о том памятном вечере в Вешенской... Но я не могу не забежать в своем повествовании далеко вперед. Последняя встреча с живым русским классиком была вскоре после празднования его семидесятилетия. Мы, группа друзей, решили преподнести Шолохову коллективный подарок. Анатолий Иванов и Владимир Фирсов заказали в Загорске (ныне Сергиев Посад) у знаменитого мастера-резчика по дереву полуметровую матрешку. Называть так эту ювелирную работу не хотелось бы, но тогда не будет понятен ее смысл. Верхняя «оболочка» являла собой похожего лицом на Михаила Шолохова русского богатыря в шлеме, кольчуге, со щитом и копьем-пером в руке. Вторая, меньшая, изображала Марию Петровну, а остальные — всю шолоховскую «династию» по старшинству. На днище матрешки мы поставили свои автографы.

В субботу, 19 июля 1975 года, Михаил Александрович и Мария Петровна уезжали из Москвы. Мы с Михаилом Алексеевым приехали на Казанский вокзал и, как было условлено, в депутатском зале встретились с Анатолием Ивановым, Владимиром Фирсовым, Юрием Бондаревым и Николаем Свиридовым — председателем Госкомитета по печати РСФСР. Шолоховы почему-то задержались. Потом нам сказали, что они подъедут прямо к поезду «Тихий Дон».

Мы заторопились на посадочную платформу и увидели у вагона поезда черную «Волгу»... Зашли в салон... Приветственные слова, объятия. Анатолий Иванов вручил Михаилу Александровичу наш подарок.

Он сидел у окна напротив Марии Петровны... Гладко побритое, чуть розовое лицо, жидкая белая шевелюра, белая ниточка ровно подстриженных усов (казалось, они наклеены), влажные глаза. Видно было, что Шолохов болен и чуточку во хмелю.

Стали прощаться. Я выходил из купе последним.

— Как хохлу живется в Москве? — спросил Шолохов при прощальном объятии.

— Так я же хохол московского разлива,— банальной шуткой ответил я.— Окацапленный хохол...

Шолохов коротко хохотнул и пояснил Марии Петровне:

— Это Стаднюк... Помнишь, двадцать лет назад мы с ним в Вешенской песни пели?..

Поезд стоял еще минут пять. Мы толпились на перроне у окна купе Шолохова, смотрели на него сквозь грязное стекло. А он ежился под нашими восхищенными взглядами.

Вдруг появился Анатолий Калинин. Торопливо нырнул в вагон и, зайдя в купе, стал о чем-то разговаривать с Шолоховым. Фирсов протер носовым платком оконное стекло и стал их фотографировать.

В сумятице проводов я ощутил на себе несколько непростых взглядов Шолохова — вначале, когда стоял последним у дверей купе, а затем сквозь стекло вагона. Не думаю, что это мне показалось. Пронзительные, таящие какой-то загадочный для меня смысл взгляды... Что они значили? Есть у меня некоторые догадки, но говорить о них не смею... До этого мы не виделись с Михаилом Александровичем лет семь. При последней, предшествующей проводам встрече сидели в номере Шолохова в гостинице «Москва» Виталий Закруткин, Анатолий Софронов, Борис Иванов и я. Шолохов стал нахваливать мой роман «Люди не ангелы» и дружески поругивал Закруткина за главы «Казаки в Болгарии» из знаменитого романа Виталия Александровича «Сотворение мира». Мне было неловко хотя бы потому, что любил я Закруткина не только как талантливейшего писателя, но и как брата. И мучил меня вопрос: читал ли Шолохов мою «Войну»? Я послал ему издание с двумя первыми книгами... С чувством собственной виновности понимал, что именно ему надо было писать эпопею о войне. Это воистину был бы памятник!..

Но вернусь к нашим не сбывшимся тогда из-за непонимания руководства армии мечтам о военно-художественной студии. Только сейчас, в наши дни, она здравствует на благо духовного здоровья российских Вооруженных Сил. Сложилась студия уже из генерации молодых писателей и постепенно, не без успехов, обретает творческий размах.

12

Странное это состояние — искренняя любовь к армии с ее сложной казенной средой обитания, с невероятно трудной жизнью сообщества людей в военной форме, людей разных возрастов и профессий, выполняющих тяжкий и несомненно почетный долг служения народу... Любовь с памятью сердца о напряженной, почти подневольной будничности солдатских казарм, с их жесткими, строго регламентированными порядками... И наряду с любовью, сопереживанием — острое ощущение своей беспомощности перед стоящей над тобой многоступенчатой властью, ощущение зависимости от нее и поэтому неуверенности в завтрашнем дне. Любовь и почтение к профессии воина, сострадание к казарменному люду живут во мне и сейчас.

Но живет и память о своем былом армейском бессилии, угнетенности чужой недоброжелательностью, а порой и откровенной завистью к писательскому положению. Кое-кому очень хотелось, например, проверить, правильно ли я плачу членские партийные взносы, не утаиваю ли величину сумм своих литературных гонораров. Было у отдельных моих сослуживцев острое желание обязательно уличить меня хоть в чем-то. Доходили слухи и о разговорах в некоторых кабинетах: «Да он в отдельные месяцы зарабатывает денег больше, чем получает начальник Главпура...»

Не могу грешить против своих коллег по редакции журнала «Советский воин». Там, в общем, царило взаимное доброжелательство и дружеское понимание. Главный редактор В. В. Панов, а потом и другие редакторы (Б. А. Борисов, Ф. И. Царев), учитывая мое «ключевое» положение в редакции и видя, сколь усердно тружусь я в своем отделе и привлекаю к участию в журнале видных писателей, в канун почти каждого праздника Советской Армии представляли меня к званию «полковник», что соответствовало моей должности. Но документы куда-то бесследно исчезали.

— Вы что, на службе своим сочинительством занимаетесь? — будто в шутку спросил меня однажды генерал Миронов.— Или по ночам пишете?

— По ночам готовлюсь к госэкзаменам,— ответил

я.— Заканчиваю заочный институт. А пишу в выходные дни и во время очередных отпусков.

— Значит, на службу приходите дремать... Не отдаете всех сил делу, которое вам поручено. Не отдохнувший работник — плохой работник.

— Но ведь тысячи офицеров из войск учатся в заочных вузах — военных и гражданских. Это не во вред их службе. А мои повести и рассказы тоже, полагаю, приносят пользу армии...

— Что сейчас сочиняете?

— Написал для «Мосфильма» киносценарий по мотивам своей повести «Человек не сдается». Если примут — это будет первый фильм о начальном периоде войны.

— Кто из режиссеров берется ставить?

— Взялся было Владимир Басов. Но что-то у него не сложилось. Теперь заинтересовался режиссер Дамир Вятич-Бережных. Сейчас он заканчивает снимать фильм о французской эскадрилье «Нормандия».

— Ну, что ж, желаю успехов,— сказал генерал, пожав мне на прощанье руку.

Кажется, именно в тот день я почему-то глубоко почувствовал, что пора мне писать рапорт об увольнении из армии... И это в тридцать шесть лет! Можно было бы еще служить и служить. Да и при том хотелось дождаться присвоения звания полковника, покрасоваться в папахе... Но чутье подсказывало: надо уходить и переводить свою судьбу на другие рельсы.

Рапорт был написан и передан по команде начальнику Главпура генерал-полковнику Желтову. Через несколько дней мне сообщили о его резолюции: «В увольнении отказать. Армии тоже нужны свои писатели».

Но я уже настроился на гражданскую жизнь. Написал второй рапорт с более убедительной мотивировкой: никак не могу совмещать службу в армии с творческой работой. Стал ждать. Отсутствие ответа вселяло надежду, что попаду в очередной приказ министра обороны,— тогда как раз начиналось сокращение армии и флота.

А пока что меня подстерегла неприятность на «Мосфильме». Получил я приглашение на экстренное заседание главного художественного совета студии. Сразу же насторожился: на такой совет приглашают автора

сценария только тогда, когда к нему уже окончательно прикреплен режиссер, и фильм включен в производственный план. И почему заседание экстренное?

Храню стенограмму того памятного совета. Услышал от его членов немало добрых суждений о моем литературном сценарии, советов, умных размышлений и даже мудрствований. В итоге — решение: сценарий одобрить, принять и положить в резерв, выплатить автору гонорар. Ставить по нему сейчас фильм преждевременно. «Еще не настал час,— говорил А. Каплер,— чтоб можно было, не травмируя народ, показывать ему картину о самых страшных, самых кровавых днях начального периода войны». Всему, мол, свое время.

Я, как мог, сопротивлялся такому решению, апеллируя к генеральному директору «Мосфильма». Он заметно колебался, но вопрос был решен голосованием.

Только со временем мне стала известна подоплека «консервации» сценария «Человек не сдается». Оказалось, что К. М. Симонов предложил «Мосфильму» экранизировать его роман «Живые и мертвые».

До сих пор удивляюсь, почему со мной сыграли «благородный» спектакль. Почему побоялись сказать правду, которая конечно же огорчила б меня, но не оскорбила. Ведь состязание в творчестве — дело вполне нормальное. Мне же соревноваться с Симоновым было, разумеется, не под силу, да и не стал бы я этого делать, понимая разность в литературном опыте.

Но, повторяюсь, правда открылась мне гораздо позже. А пока я дал прочитать свой литературный сценарий главному редактору ленинградского журнала «Нева» С. А. Воронину, и он вскоре опубликовал его («Нева», № 2, 1958 год).

Напечатанный в журнале сценарий привлек внимание белорусских кинематографистов: ведь все самые драматичные события, изображенные в нем, происходили на белорусской земле. В Москву приехал главный редактор «Беларусьфильма», знакомый мне по фронту поэт Аркадий Кулешов. Он предложил заключить с его студией договор на постановку кинокартины. Но согласиться на это я не мог: сценарий принадлежал «Мосфильму». Тогда белорусы, с моего согласия, выкупили сценарий у «Мосфильма», и началась трудная для меня эпопея по его переработке согласно требованиям агитпропа ЦК республики, режиссера-постановщика

фильма Иосифа Шульмана (бывшего фронтового авиабомбардира), художественного совета в целом, где первую скрипку играл В. В. Корш-Саблин — известнейший мастер кино. Сценарий пришлось переписать почти заново...

Забегая вперед, скажу, что фильм «Человек не сдается» вышел на экраны страны в 1960 году, обогнав появление симоновского «Живые и мертвые», но, как и следовало ожидать, уступив ему в художественных достоинствах.

«Мосфильм» — лучшая в стране киностудия. И хотя на ней очень трудно прижиться новому человеку, я со временем еще раз рискнул написать для нее сценарий, побывав перед этим в Бакинском округе Противовоздушной обороны. Познакомился там с жизнью солдат-ракетчиков, вник в их работу на огневой позиции, в кабине наведения... И родилась у меня киноповесть «Ключи от неба».

«Мосфильм» и ее принял охотно. За постановку первого фильма о ракетчиках взялся один из лучших комедийных режиссеров Леонид Иович Гайдай. Будучи непревзойденным мастером эксцентрических кинокомедий, он предложил мне переработать сценарий по законам эксцентрики. Но как это делать, я не имел понятия и пригласил Гайдая в соавторы. Он согласился, мы поехали в Дом творчества кинематографистов в Болшево. Месяц «бились» над сценарием, проводя бóльшую часть времени в биллиардной, и не сумели переделать ни одного эпизода.

— Сценарий написан железно по законам лирической комедии,— заключил Леонид Иович.— Эксцентрике он не поддается.— И отказался от постановки фильма.

Раз не взялся за экранизацию киноповести такой мастер, как Гайдай, то другие режиссеры уже и не прикасались к ней. Но я искренне верил в достоинства «Ключей» и предложил руководству «Мосфильма» продать сценарий киевской киностудии имени А. П. Довженко. Незадолго до этого там была поставлена режиссером Григорием Липшицем по моему сценарию кинокомедия «Артист из Кохановки».

Торговая сделка между студиями состоялась, и киевский режиссер Виктор Михайлович Иванов, прославивший себя особенно комедией «За двумя зайцами», взялся за «Ключи от неба».

И заработал студийный механизм, сквозь который должен был пройти сценарий. Трудный и мучительный это процесс. Замечания, рекомендации, непреложные требования — от всего этого нельзя было уклониться; редакторы и члены художественного совета были неумолимы... Начались такие переделки сценария, что от него полетели пух и перья...

Наконец фильм вышел на экраны, имел успех, многие годы в День ракетчиков демонстрировался по Центральному телевидению.

А через некоторое время в Воениздате вышел сборник моих киноповестей в самых первых их вариантах — как они написались, прежде чем попасть в «молотилки» киностудий. Вскоре в моей квартире раздался телефонный звонок из Киева. Я услышал рассерженный голос моего доброго друга, Иванова Виктора Михайловича, поставившего кинокомедию «Ключи от неба»:

— Иван, я купил сборник твоих киносценариев и прочел «Ключи от неба»!

— Ну и что? — удивился я.

— Как что?! Где ты взял этот сценарий?! Почему не показал мне его раньше?! Я бы комедийный шедевр поставил по нему!

На какое-то время я потерял дар речи, ибо в сборнике был опубликован самый первый вариант киноповести, которую Иванов читал на заре нашего знакомства, еще колеблясь — браться за постановку по ней фильма или нет.

Когда я объяснил ему это, он после мучительной паузы со стоном произнес:

— Будь прокляты все сценарные коллегии всех студий вместе с их редакторами! Ведь они никогда серьезно не вчитываются в первые варианты сценариев, не принимают и не утверждают их!

Этот разговор натолкнул меня на мысль поднять из домашних архивов первые варианты сценариев всех своих прежних фильмов. Стал перечитывать их. И мне показалось, что суждения В. Иванова справедливы Ибо первые варианты сценариев и являются подлинным и единственно перводным оригиналом произведения писателя — хорошим или плохим. А уж потом, когда вступает в свои права специфика кино, когда сценарий начинают «подгонять» ко вкусам многих, причастных к созданию фильма людей, к возможностям

студий и творческим особенностям подбираемых на роли актеров, со сценариями происходят удивительные трансформации: бесконечные переделки, перемонтаж эпизодов, подчас включение новых действующих лиц и т. д. Как же к этому должен относиться писатель — автор литературной основы? Ведь подлинный плод его художественного творчества — это только то, что родилось на его письменном столе в первом, пусть много раз исправленном им, но, повторяю, первом варианте. Объясню, почему так твердо придерживаюсь этой точки зрения.

Опираясь на собственный опыт и на размышления о нем, смею утверждать, что непосредственный процесс художественного творчества является таким духовным состоянием писателя, когда он как бы раскрепощается от самого себя, обретая способность перевоплощаться в своих героев и погружаться в новое, озарившее его видение мира, рожденное вдохновенной силой воображения. Именно духовное озарение, особая взволнованность, мысленное видение рождающихся под напором фантазии персонажей, ощущение их человеческих натур, сопереживание им или порицание их — это и есть главная сущность и основа содержания творчества художника слова. К тому же в его воображении должно присутствовать и объемное, наполненное жизнью, пространство, в котором обитают действующие лица произведения.

Все сказанное выше — не самоцель, оно подчинено не только отображению времени, эпохи, но и более конкретным задачам, которые авторское воображение помещает в строгие рамки сюжета, наполненного определенными конфликтными ситуациями и столкновениями характеров героев. И тут с особой целеустремленностью надлежит проявиться идейным позициям писателя, силе его духа, творческой энергии и художественному чувству меры.

Творческое созидание, художественное напряжение — наиболее сложный и ценный вид духовной деятельности человека. Вторжение в эту деятельность другой личности — есть поругание самого смысла творчества, ибо этот другой никогда не сможет проникнуть в духовное состояние творца, в его пафос и мощь внутреннего видения, не постигнет и того подлинного счастья, которое испытывает в процессе творчества ав-

тор, следуя зову вдохновения и интуиции. И касается это, как я полагаю, авторов произведений всех видов искусств.

Своими размышлениями не собираюсь категорично осуждать практику создания художественных фильмов; она себя закрепила и в какой-то мере оправдала, тем более что выходящая из-под пера писателей литературная основа действительно не всегда приемлема для режиссерских разработок. Но я активно ратую за то, что на студиях хотя бы бережнее относились ко всему тому, что рождают писатели «с первым дыханием», ибо при этом они видят живую жизнь, как видит ее, скажем, кинооператор, снимающий документальные кадры, потрясающие нас потом своей естественностью.

Я был свидетелем на даче в Переделкино одного случая. Мой малолетний внук Ванюша сидел на диване и вместе со всеми нами смотрел телевизионный фильм «В мире природы» — о лебедях (сейчас Ваня уже отслужил в армии и учится в университете). Смотрел внимательно, напряженно, пытаясь понять что-то свое. На экране — колонии лебедей, их перелеты, столкновение птицы со скалой... Наконец, лебедь, оживший при помощи человека, одиноко летит над морем. Ванюша следит за ним горящими, подернутыми слезой глазами. Вдруг он порывисто поворачивается к сидящей рядом Гале, падает грудью ей на колени и, зарыдав, одним духом, видимо, неожиданно для самого себя, выкрикивает:

— Мама, я хочу летать!..

Мы все онемели. У меня брызнули слезы, и, чтоб не показать их, я тихо вышел из комнаты.

Трудно передать то, что испытал я в те минуты. Не так часто нам удается быть свидетелями душевного взрыва, рожденного в человеке силой искусства, сплавленного не банальными проявлениями жизни. Как я понимал Ванюшу, был тронут порывом его чувств, как был благодарен создателям фильма, возбуждавшим у зрителя своим мастерством и пониманием природы живого такую чистоту духа, глубину сопереживания, отторжение самого себя от личного и слияние с миром, окружающим нас, частицей которого являемся... Вот бы такую силу воздействия художественному кинематографу!

13

Но я опять опередил события, которыми жил в те далекие дни конца 1957 года. Для меня тогда было важным уволиться из армии, и я продолжал бомбардировать начальство все новыми рапортами. Но ответов на них не получал. Мне, конечно, было ясно, что этому есть какая-то причина. Какая?.. Кто так бдительно «опекал» меня — малозаметного литературного работника в огромном воинском политаппарате, состоящем из множества людей высокого ранга? Людей умных, активно мыслящих, разумно направляющих многогранную партийно-политическую работу в армии и на флоте. Большинство из них прошли кровавую школу войны. Не хотелось верить, что кому-то из солидных людей было интересно так мелко размениваться.

И вел я себя беспечно. Иногда появлялся в редакции в гражданской одежде, отлучался в служебное время в Союз писателей, редакции газет, где печатался, в издательства. Мой отдел при этом работал четко, не нарушая графика участия в планерках и летучках, сдачи рукописей в секретариат, вычитки корректуры. Правда, цивильную одежду я временами носил вынужденно, особенно в те дни, когда предстояло появляться в моем заочном Полиграфическом институте — так чувствовал себя там свободнее.

И однажды попался: последовал в редакцию телефонный звонок: «Подполковнику Стаднюку немедленно явиться к заместителю начальника Главного политуправления генерал-полковнику С. С. Шатилову». Я опешил: такого еще не бывало.

— Могу прибыть через час-полтора,— растерянно ответил я звонившему помощнику генерал-полковника.

— Почему так долго? Вам ехать не более пятнадцати минут, —удивился тот, зная, что наша редакция недавно была перебазирована в Спасские казармы, которые рядом с институтом имени Склифосовского.

— Мне надо смотаться домой и переодеться в военную форму. Я сейчас в гражданском.

— Обождите минуточку у телефона,— озадаченно сказал помощник. И вскоре продолжил разговор: — Генерал-полковник разрешил прибыть в гражданском...

Ехал я в Главпур, как на заклание: это был, навер-

ное, первый случай, чтоб кадровый, состоящий на военной службе, офицер появился в «присутственном месте» одетым не по форме. Но мучил и главный вопрос: что случилось? зачем вызывают к такому высокому начальству?

В коридорах Главпура от меня шарахались как от прокаженного. Одни возмущались, воспринимая нарушение мной устава как небывалую дерзость, другие удивлялись, не находя этому объяснения, а некоторые провожали сочувственными взглядами, полагая, что я тронулся умом.

— У вас что, все там в пиджаках ходят? — встретил меня насмешливым вопросом генерал-полковник Шатилов, выйдя из-за стола на середину кабинета.

Я был озадачен приветливой встречей и по привычке щелкнул каблуками туфель:

— Извините, товарищ генерал-полковник... Сегодня вечером сдаю в институте экзамен. Вдруг провалюсь... Неловко позорить офицерскую форму.

— Разумно. — Шатилов пригласил садиться.— К вам, как писателю, просьба: поехать в Ташкент и помочь выпустить там в свет книгу о боевом пути одной прославленной авиационной дивизии... Не пугайтесь: книга уже написана, подготовлена к печати,— и протянул мне ее верстку.

— А в чем же тогда заключается моя задача?

— Внимательно прочитать ее, поправить языковые огрехи, подшлифовать стиль, если потребуется, дать квалифицированные советы... Словом, чтобы был по-настоящему высветлен боевой путь авиаторов.

— Постараюсь все сделать,— с готовностью пообещал я.

Дальше разговор пошел о другом.

— Что сейчас пишете? — спросил генерал-полковник.

— Главным образом рапорты об увольнении из армии.

— А вот этого не одобряю!.. В вашем-то возрасте! Да и свои литераторы нам очень нужны.

— Были бы нужны, относились бы повнимательней. На мои рапорты даже не отвечают.

— Значит, тоже считают, что не надо увольнять вас.

— Но я же не чурбан — живая душа. Если отказы-

вают, так почему не вызвать меня, не объяснить? Почему я должен томиться в неизвестности?

— Да, непорядок. — Шатилов снял телефонную трубку, набрал чей-то номер.

По разговору я понял, что он требует объяснения о моих рапортах от начальника управления кадров генерал-майора З. Всматривался в лицо Шатилова и видел, как оно в ходе телефонного разговора все больше мрачнело.

Положив трубку, он каким-то потухшим голосом сказал:

— Ладно, поезжайте в Ташкент, а мы тут разберемся с вашими проблемами.

— Заверяю вас, товарищ генерал-полковник, что и вне армии я буду работать на армию, на ее авторитет в народе...

— Не сомневаюсь.

Уходил от генерал-полковника с тяжелым сердцем. Догадывался, что его разговор с нашим главным кадровиком был не в мою пользу. Но почему?

У лифта столкнулся с хорошо знакомым мне еще по Политуправлению Сухопутных войск полковником из управления кадров.

— Ты что, с ума сошел?! — ахнул он, увидев меня одетым не по форме. —На тебя и так собак вешают!

— Тебе что-нибудь известно?

— Поэтому и решил перехватить тебя здесь.

— Откуда узнал, что я в Главпуре?

— Сидел в кабинете нашего начальника, когда ему позвонил Шатилов. Слышал их разговор...

— Я тоже слышал, но ничего не понял. Что говорил твой генерал Шатилову?

Полковник настороженно покосился по сторонам:

— Даешь слово, что не выдашь меня?

— Разумеется.

— Тебя хотят на чем-то подловить. Наш начальник управления, сославшись на генерала Миронова, сказал Шатилову, что если мы и уволим Стаднюка, то только без партбилета... Почему они на тебя так взъелись?

— Понятия не имею... Не нравится, видать, им, что издаю книжки, работаю для кино, получаю гонорары...

— Может, и так, но я догадываюсь, что есть другая причина.

— Какая?

— Помнишь свое выступление на партсобрании в Политуправлении Сухопутных войск? Ты громил тогда полковника Н., который ездил к тебе на родину выяснять твою национальность... И работу отдела печати критиковал.

— Еще бы не помнить!

— Этому полковнику ты здорово подпортил репутацию. А он — шурин нашего генерала... Они друг другу шурины — женаты на сестрах...

— ?!

Как ни странно, услышанное от полковника-кадровика меня несколько успокоило. Когда знаешь, откуда веет грозный ветер, с какой стороны грядет опасность и понимаешь ее причины, она не так страшна. Более того, я как бы внутренне вооружился. Однако ехал в Ташкент не в лучшем расположении духа. Читал в вагоне поезда верстку о боевом пути авиационной дивизии и, к величайшему своему изумлению, все больше убеждался, что имею дело с откровенным плагиатом. Мне хорошо была знакома документальная повесть моего покойного друга Евгения Фотиевича Дырина «Дело, которому служишь», посвященная дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Полбину И. С. и его боевым соратникам. Все главные эпизоды воздушных боев и антураж аэродромной жизни, содержавшиеся в верстке, были целиком переписаны из этой повести. Заменены лишь фамилии летчиков. Такого наглого литературного воровства я еще не встречал.

В Ташкенте начальник политотдела авиационной дивизии встретил меня весьма любезно. Но пришлось огорчить полковника, объяснив, как жестоко его ввели в заблуждение.

А что было делать мне? Позвонил из кабинета полковника в Главпур. Генерал-полковника Шатилова в Москве не оказалось — уехал в командировку. Перезвонил генерал-майору Миронову — ведь он все-таки мой главный начальник. Доложил о случившемся и спросил, как мне быть.

— Я вас в Ташкент не посылал,— неприветливо ответил генерал.— Поступайте, как хотите.— И повесил трубку...

В Москве меня ждали привычные дела в редакции и институтские заботы. Мое студенческое положение об-

легчалось тем, что вместо курсовых работ я представлял в деканат профессору М. В. Урнову свои книги. Со временем отпраздновал с друзьями получение диплома об окончании редакторско-издательского факультета Полиграфического института, имея уже при этом удостоверение о сдаче кандидатских испытаний (бывают и такие парадоксы!).

Наступил 1958 год. Генерал Миронов в Главпуре уже не работал. Сменился и начальник Главпура — вместо генерал-полковника А. С. Желтова пришел Маршал Советского Союза Ф. И. Голиков.

Однажды позвонил мне тот же мой приятель — полковник из управления кадров — и спросил:

— Ты с маршалом Голиковым знаком?

— Не имею чести.

— А он тебя знает?

— Не велика я персона! Откуда ему знать?

— Тогда слушай внимательно. Наш начальник, а твой «доброжелатель» ушел в отпуск. У нас тут составляют списки политработников для включения в проект приказа министра обороны на увольнение из армии по сокращению. Быстренько давай новый рапорт и хоть пустячную справку от врача, что чем-нибудь болеешь.

— Геморрой годится?

— Нет, давай что-нибудь покруче...

Я тут же помчался в нашу военную поликлинику, что на Гоголевском бульваре. Снял в гардеробе шинель и, к удивлению гардеробщицы, сделал с пятьдесят приседаний, чтоб заставить сердце биться в бешеном ритме. Но пока дошла моя очередь заходить в кабинет врача, оно успокоилось.

Пришлось откровенно сознаться врачу, что мне надо уйти из армии, чему он очень удивился: большинство, кому грозило увольнение, старались откреститься от своих болезней, и приходилось посылать офицеров на медицинскую комиссию в госпиталь.

Врач все-таки расслышал какие-то шумы в моем сердце, обнаружил еще что-то и написал ничего не значащую справку...

18 марта 1958 года маршал Голиков подписал приказ о моем увольнении в запас с представлением к званию «полковник» и с правом ношения военной формы одежды.

14

Трудно было привыкать к тому, что не надо каждый день ездить на службу. И незабываемо чувство, когда стал обладателем паспорта: не требовалось, если приедешь в чужой город, бежать отмечаться к военному коменданту. Началась новая, пусть и трудная, жизнь.

Нет, нелегко военному человеку оказаться вне армии, когда она стала твоей судьбой, образом твоей жизни. Последовало ощущение пустоты, ненужности. За письменный стол садиться не хотелось. Мой друг Владимир Солоухин предложил мне приобщиться к его поездкам на рыбалку. Раньше я иронично относился к рыбалкам. А когда любопытства ради поехал с Владимиром Алексеевичем, в компании Александра Яшина, Николая Грибачева и Александра Косицына, на подледный лов, заразился этой страстью, как неизлечимой болезнью. Уже не мог дождаться очередного воскресенья, чтоб испробовать на льду водоема появившиеся у меня в огромном количестве рыболовные снасти.

Не менее увлекательны летние и осенние рыбалки, особенно если у тебя появятся новые удочки, блесны, поплавки, пахучая наживка. Или мелькнет среди рыбаков слух об успешных уловах в каких-нибудь озерах, речках, речушках. Однажды мне позвонил Николай Грибачев и сообщил: был на Птичьем рынке и слышал от рыбаков, что на Волге, у Иваньковской плотины, активно «пошел лещ». Предложил ехать завтра же — на его машине. За рулем — он сам, Николай Матвеевич.

И вот позади Яхрома, Дмитров... Восход солца был хмурым, по небу ползли серые тучи, желтеющие по обочинам дороги от дыхания октября кустарники метались от ветра, показывая серебристую изнанку листвы и открывая мрачные глубины стоявшего за ними леса.

Я размышлял о загадках человеческой судьбы, удивляясь ее превратностям. Например, как могло случиться, что Москва свела меня с Грибачевым. Ведь познакомились мы с ним еще в 1940 году, в Смоленске, когда, руководя курсантским литературным кружком, он наставлял нас азам творчества, печатал в областной газете мои первые рассказы-пробы. Вспоминалось, как однажды я дежурил в проходной будке, а Грибачев пришел в училище вместе со своим малолетним сыном

Юрой. В инструкции же дежурного не значилось, можно ли без пропуска входить на территорию училища детям. Я стал куда-то звонить по телефону, выяснять, стараясь не слушать издевок Николая Матвеевича... Сейчас тот Юра — Юрий Николаевич Грибачев — редактор зарубежного отдела газеты «Литературная Россия», известный публицист-международник.

Николай Матвеевич был отменный автомобилист, но разговаривать за рулем не любил. А мне хотелось поболтать, видя, что зарождавшийся серый день не предвещает удачной рыбалки. Поделился своей мыслью с Грибачевым, пошутив при этом:

— А может, рыба из-под воды не видит, какая погода на поверхности?

— Запомни раз и навсегда,— нравоучительно ответил Николай Матвеевич, не приняв шутки.— Мы ездим на водоемы не за рыбой, а за здоровьем!

— Зачем же тогда так далеко тащиться? — подначил я Николая Матвеевича. — Хапали бы здоровье на Москве-реке!

— Примитивный ты человек! — едковато ответил он.— Каждая рыбалка должна сулить открытия, приключения, неожиданные встречи...

Слова Грибачева оказались пророческими: меня действительно ждала неожиданная встреча, чуть не стоившая мне жизни... И не зря я потом буду часто вспоминать слова всегда любезного мне Ивана Тургенева.

«Человек дитя природы,— писал Иван Сергеевич,— но она всеобщая мать, и у ней нет предпочтений: все, что существует в ее лоне, возникло только на счет другого и должно в свое время уступить место другому — она создает, разрушая, и ей все равно: что она создает, что она разрушает — лишь бы не переводилась жизнь, лишь бы смерть не теряла прав своих...»

Да, в тот памятный октябрь 1958 года я только по случайности «не уступил место другому»...

А пока машина по воле Грибачева несла нас в своем уютном чреве по не очень широкой дороге, ведущей от Москвы строго на север. Дорога взбежала на насыпь и отвернулась от леса крутым изгибом, открыв перед нами неохватные глазом дали. Но далекое берет начало в близком. А близкое, видевшееся нам,— была железная дорога, ведшая, видимо, на древний Углич. Она перемахивала через горбатый железный мост, под кото-

рым серой лентой лежала в невидимом глазу течении очень красивая речка, объятая ровными, еще зелеными берегами.

— Взгляни на карту,— приказным тоном сказал Грибачев.— Как величают эту красотулю?

Я развернул на коленях туристскую карту Подмосковья. Она была очень приблизительной, и для моего, привыкшего к военным топографическим картам, глаза почти лживой.

— Похоже, что это Сестра, впадающая в Дубну.

— А брата нет там? А то пора завтракать, выпили б на троих. Сестра бы скатерку раскинула на траве.

— Приедем в Иваньково, там на берегу водохранилища таких «братцев», охочих «на дурняка», найдется немало.

Под колесами машины прошумел мост через Сестру. Вскоре мы оказались у Иваньковской плотины среди пестрого, оккупировавшего лучшие места на берегу рыбацкого братства. Осмотрелись, заглянули в пустые садки рыболовов и решили вернуться на приглянувшуюся нам по пути речушку.

...Вскоре наша «Волга» уже стояла на берегу в излучине Сестры. Слева от нас, может, в километре, чернел железными крестовинами мост, а напротив, за речкой, начинался смешанный лес. Мы забросили в воду снасти с червями и опарышем на крючках. Я больше надеялся на донные удочки с тяжелыми грузилами: закрепил на берегу два спиннинга и воткнул в землю короткие удилища двух «закидушек» с катушками. Пробовал ловить и на поплавочную удочку. Но поклевки, как и в большинстве случаев, были только у Грибачева — ловилась мелочишка.

Возле нас какое-то время вертелся мальчишка лет десяти — сын, как он сказал, сторожихи из будки, видневшейся на краю железнодорожного моста. Узнав, что мы приехали на рыбалку с ночевкой, он предложил пригнать завтра утром лодку. Но речка была не столь широкой — спиннингом можно было забрасывать блесну или наживку почти к противоположному берегу, и мы отказались от лодки.

Наступил вечер, солнце так и не выглянуло из-за пелены туч. От речки и из леса за ней потянуло сырой прохладой, над луговиной забелели клочки тумана.

Грибачев аккуратно смотал свои снасти и положил

их под машину. А я решил не трогать ни спиннингов, ни закидушек; даже две поплавочные удочки оставил у воды, пригвоздив рогульками удилища к берегу. В тумане они были почти невидимы, да и вокруг было немое безлюдье.

Расположившись в машине, выпили коньяку, поужинали. Потом перевели в горизонтальное положение спинки сидений и улеглись спать.

Только забрезжило утро, я проснулся. Хотелось побыстрее посмотреть, не поймалась ли на мои снасти хоть какая-нибудь рыбина. Грибачев тоже зашевелился, услышав, как я надевал поверх гимнастерки кожаную тужурку, затем обувал хромовые сапоги (я был в военной форме).

— А мне дай еще поспать,— хрипло проговорил Николай Матвеевич.— Баранку до Москвы не тебе же крутить.

Я вышел из машины, взглянул на берег и обомлел: все мои снасти исчезли. Кинулся к воде со слабой надеждой, что их могла утащить крупная рыба. Но сразу все?.. Вспомнился мальчишка, шнырявший вчера здесь и предлагавший пригнать сегодня лодку...

Конечно, особенно было жаль спиннингов. Но в подобных случаях, я утешал себя самим же придуманным поверьем: «Потери предвещают обретения...»

Делать было нечего, и я, приглушив досаду, решил взять одну удочку у Грибачева, хотя знал, что ценит их он выше всего, ибо сам лично отлаживает и оснащает. И когда, подойдя к машине, притронулся к его снастям, он тут же спросил:

— Что ты там шебуршишь?

— Все мои снасти кто-то унес... Одолжу у вас одну удочку — самую плохую.

— У меня плохих не бывает... И я не люблю, чтоб мои удочки оказывались в чужих руках...

Такого крутого отказа я не ожидал. Было смешно, обидно и немножко стыдно. Я посмотрел в строну будки у железнодорожного моста — там было безлюдно. Оглянулся на лес за речкой... И созрело решение: пойти за грибами! Заодно, может, увижу будочницу, когда пойду на ту сторону Сестры, а потом грибов поищу в лесу.

Захватив пустую сумочку из ярко-розового полиэтилена, вырезав ольховую палку, зашагал я к мосту. Будоч-

ка у его начала оказалась пустой, и я, перейдя мост, свернул в лес. Там меня ждало разочарование: лес стоял на болотистом, кочковатом месте. Над кочками под деревьями торчала густая осока — грибами здесь и не пахло. И все-таки я пошел по лесу вдоль речки, заметив, что кое-где кустились малинники. Ягоды на них уже почернели, срывались вместе с сердцевинками, которые надо было выковыривать, прежде чем бросать малину в рот. И я начал «пастись» — вялая малина еще была душистой и кисло-сладкой.

Выйдя на очередную поляну, заросшую островками малины, я оглянулся на речку и увидел сквозь редколесье на противоположном берегу нашу машину, а рядом с ней — Грибачева. Николай Матвеевич старательно делал физзарядку. Хотел подать ему голос, но вдруг почувствовал, что у меня кто-то отнимает сумочку. Глянул вниз и увидел у сапога... медвежонка!.. Он стоял на задних лапах, смотрел мне в лицо, а передними тянул на себя ярко-розовый полиэтилен.

Полыхнулась радость: вот это будет улов! Как отнесется к нему этот скупердяй Грибачев?!

И я стал медленно выпускать сумочку, выбирая момент, чтоб схватить медвежонка на руки! Мне почему-то не пришла в голову мысль, что рядом могла оказаться медведица. А она, еще с несколькими медвежатами, была шагах в десяти; с ее узкой морды угрожающе смотрели на меня два глаза. Когда мы встретились взглядами, медведица злобно зарычала, а я, оставив в лапах медвежонка сумочку, дурным голосом заорал на нее:

— Пошел вон! — и поднял палку.

Медвежонок подбежал с сумочкой к матери и тут же получил от нее шлепок лапой такой силы, что, завизжав, как поросенок, он описал в воздухе дугу и плюхнулся в недалекий куст крапивы.

Я изо всех сил кинулся удирать к речке, надеясь добежать до нее раньше, чем настигнет меня зверюга, собираясь кинуться в воду. Тогда я не знал, что медведи отличные пловцы.

— Медведи! — панически заорал я Грибачеву. Но он безучастно продолжал делать зарядку, полагая, что я валяю дурака.

Я уже достиг берега, собираясь сигануть в воду. Оглянулся назад, но погони за собой не увидел... Навер-

ное, не решилась медведица оставить без присмотра свой выводок. И я побежал по берегу Сестры к железному мосту.

Когда подошел к Николаю Матвеевичу, он уже расстилал у машины коврик и выкладывал на него еду для завтрака.

— Медведица с медвежатами! — прохрипел я, с трудом переводя дыхание.

Грибачев, даже не взглянув на меня, спокойно ответил:

— Под Москвой медведи не водятся...

У меня брызнули из глаз слезы и перехватило дыхание. Я отошел в сторону, чтоб не обронить грубое слово старшему товарищу. Зато демонстративно отказался завтракать с ним и отверг удочку, которую Николай Матвеевич наконец милостиво предложил мне. Я был так удручен, что даже жалел: пусть бы лучше медведица погналась за мной, подмяла меня и, главное, нагнала бы страху на Грибачева.

Возвращались мы в Москву в дурном расположении духа. Николай Матвеевич пытался о чем-то заговорить со мной, а мне слышалось рявканье медведицы и виделись огоньки ее злых глаз. Я оставался глух и нем к его словам.

Когда миновали Дмитров, Грибачев вдруг захохотал и снисходительно произнес:

— Ладно, верю. По дурости забрела медведица из дальних лесов... И у людей такое бывает... Не от ума же лезет на трибуну, не имея, что сказать, поэт Н.,— и назвал известную и звучную фамилию.— Так случается, наверное, и со зверями.

15

Замечу, что встреча с медведицей — не самый драматичный случай в моей рыбацкой биографии. Придется еще мне заплатить ценой куда подороже за свое увлечение. Но об этом расскажу позже. А что касается моих романических планов, то они набирали силу постепенно, пока уступая место написанию мной литературных сценариев для комедийных кинофильмов, да и приходилось безоглядно соглашаться на всевозможные поездки. И зачастил я в род-

ные места — на Винничину, приглашая с собой своего самого близкого друга Михаила Николаевича Алексеева. Правда, вначале мы съездили в его родное село — Монастырское Баландинского района Саратовской области.

Михаил Николаевич водил меня по Монастырскому, показывая место, где когда-то стоял дом, в котором он родился (1918 год), остатки сада, заложенного больше ста лет назад его прадедом. Долго мы бродили над омутом, именуемым в селе Вишневым; он образовался затокой речушки Баландинки. И еще увидел самое страшное: дно человеческой трагедии, разразившейся в тридцатые годы,— мертвые улицы и переулки с высившимися останками домов и хозяйственных построек. Была предвесенняя пора, и над таявшим снегом простирали к небу черные руки прошлогодняя полынь, крапива, лебеда. Десятки и десятки заросших бурьяном руин!.. А ведь когда-то здесь обитало счастье. Его порушили раскулачивание, репрессии, страшный голод. Многие крестьянские семьи, покинув родные гнездовья, разметались по просторам России в тщетной надежде найти новый приют... Сколько же здесь выплакано слез, сокрушено человеческих судеб, сколько обломилось душевных сил и навсегда заледенело человеческих сердец!

Я видел и родную Украину в кровавых слезах, сам погибал от голода, знаю, что на Винничине вымирали целые села, что многие семьи навсегда лишились своих кормильцев, арестованных, сосланных на край света или расстрелянных... Почему-то уничтожали самых хозяйственных, разумных, находившихся в расцвете сил крестьян... Но такого жестого поругания людских обиталищ, как в Монастырском, еще не видел.

Однако Россия есть Россия. Сломить ее навсегда невозможно. Устоявшие под ураганными ветрами лихолетья земляки Михаила Алексеева поддерживали на родной земле огонь семейных очагов и пламя жизни в целом. Мы встречались с ними на улицах села, в поле, в лесу, на берегу речки, в многочисленных щедрых застольях. И сообща пели песни, слушали диковинные были и небылицы... Затем, когда оставались наедине, мой друг поведывал мне многие подробности из тяжких судеб людей, с которыми я познакомился.

С тех пор я не бывал в Монастырском, но с его оби-

тателями имею возможность встречаться каждый день и даже ярко воскрешать в своем воображении все то, что видел в ту памятную поездку; у меня под руками книги Михаила Алексеева — романы «Вишневый омут», «Драчуны», повести «Хлеб — имя существительное», «Карюха», «Рыжонка», дилогия «Ивушка неплакучая». Все, что написано в этих завоевавших популярность произведениях, берет начало в селе Монастырском, в судьбах его жителей и даже родственников писателя, ушедших в небытие или и поныне здравствующих. А если сказать точнее — берет начало в писательском сердце, в котором отстоялась вся жизнь родного села. Озаренная мыслью художника, отфильтрованная требовательностью таланта, эта жизнь в незамутненном зеркале художественного обобщения предстает истинной жизнью русского крестьянства на многих непростых исторических этапах.

Наши с Алексеевым поездки на Винничину, в мое родное село Кордышивку, были не столь печальными. После войны Украина худо ли, бедно ли залечила свои тяжкие раны. В той же Кордышивке почти не осталось хат под соломенными крышами и повырастало много новых домов — каменных, а то и отлитых из цемента, подобно дотам. Только улицы весной и осенью были вязкими, размолоченными, и мне со временем пришлось немало приложить усилий, чтобы помочь колхозу покрыть проезжие дороги хотя бы гравием.

Но в людях так и жила невидимая боль по утратам в тридцатые годы (у нас был репрессирован каждый восьмой крестьянин). А сколько умерло от голода! Скольких проглотила война! Эту боль разглядеть было трудно: такой уж характер украинцев. Она угадывалась разумом и виделась в молчаливости вдов, в приметах села, улицы и левады которого по вечерам не оглашались песнями хлопцев и девчат, как это было до коллективизации и до войны. Чахли без хозяев сады, ветшали ограды и скучавшие без скотины надворные постройки... Село потускнело даже при новых хатах и будто чего-то ожидало в тревоге.

Я, живя в московской квартире, все мечтал приехать в Кордышивку и босиком обойти места, где в детстве пас коров — лес, поля, луга. В один из приездов предложил совершить со мной такую «экскурсию» Михаилу

Алексееву. Он согласился быть сопровождающим, но только обутым...

Так и не состоялась моя прогулка.

Один раз, когда мы по пути в Винницу остановились в Киеве, нам отважился составить компанию Олесь Терентьевич Гончар. Именно отважился, ибо он знал обычаи Подолии — надо было, чтоб, никого не обидев, навестить всю мою родню в Кордышивке, посидеть у всех за щедрым столом, обязательно выпить добрую чарку горилки. И без всяких отказов — хозяева иначе не выпустят из хаты.

С нами напросился ехать и мой старший брат Яков, спасший меня в тридцатые годы от голодной смерти. Ездить в село с Яковом я любил, ибо он избавлял меня от хлопотной обязанности рассказывать в застольях что-либо интересное; непринужденно и неутомимо развлекал он всех забавными воспоминаниями, анекдотами, экспромтами.

Силу юмора Якова мы испытали уже в вагоне поезда. Пока доехали от Киева до Винницы, у нас от хохота вспухли головы... Даже стали просить Якова дать нам передышку.

Но передышки не было и в Кордышивке. Брат Борис, в доме которого мы остановились, наприглашал полную хату гостей. Приезд самого Олеся Гончара (мы с Яковом и Алексеевым считались своими) явился небывалым событием, взбудоражившим все село и районное начальство. Яков был еще в большем ударе. От взрывов хохота, казалось, рухнет потолок. И звенели стекла окон от песен, которых, наверное, нигде так не поют, как у нас. Я стыдился своих слез, но удержать их не мог: вся моя прежняя сельская жизнь вскипала в сердце и памяти.

Олесь и Миша тоже были потрясены...

Лето только разгоралось. Село в такую пору просыпалось особенно рано. А мы, городские жители, привыкли спать подольше. Но спать нам не дал Борис. Окна в хате были открыты, и мы услышали, как он, приглушив голос, шепеляво спрашивал во дворе у своей дочери:

— Ленка, где мои зубы?! Куда они могли подеваться? — Оказалось, что Бориса, крепко вчера подвыпившего, ночью стошнило, и он не заметил, как выронил изо рта зубной протез.

И вдруг слышим испуганный голос Лены:

— Тату, вон сучка грызет под тыном какую-то кость! Может, то ваши зубы?!

Алексеев, Гончар и я грохнули хохотом, а Яков сорвался с постели, будто ему плеснули туда кипятком.

— Это я должен посмотреть! — не сказал, а как-то застонал он, давясь от смеха, и выскочил в сени.

До нас вновь донесся голос Бориса:

— Отдай, чтоб ты подохла!.. Отдай зубы! — Выкрики его стали отдаляться.

В комнату вернулся Яков и притворно-трагическим голосом сообщил:

— Украла собачка Борисовы зубы и побежала в лес продавать их... Как думаете, догонит ее Борис?

Лес был рядом — примыкал к огороду.

Шло время, а Борис все не возвращался. Лена и ее муж Николай уговорили нас садиться за стол завтракать без главного хозяина. Мы уже заканчивали трапезу, как в хату зашел весь взмокший и распаренный Борис.

— Холера, а не собачонка! — стал рассказывать он.— Думала, что я с ней играю... Я к ней, а она от меня!.. Отбежит подальше, бросит мои зубы на землю и виляет хвостом... Я подойду, а она хвать челюсть и драпать!.. Все нервы вымотала. Ног под собой не чую... Еле поймал, заразу! — И Борис, вытерев протез рукавом рубахи, сунул его в рот.

— Что ты наделал! — крикнул ему Яков.— Там же микробы! Взбесишься!

— А я их сейчас водярой! — сев за стол, Борис налил граненый стаканчик водки и одним залпом выпил.

...Потом гуляли по лесу. Я с гордостью показывал моим гостям ту его часть, где густо возвышались могучие ели, выросшие из шишек, посаженных лет тридцать назад нами, учениками начальной сельской школы; их привез откуда-то учитель Зискин Ефим Моисеевич. Затем пошли на противоположную опушку смотреть другое чудо — акациевый лес. К сожалению, акациям цвести было еще рано, и я рассказал, как это выглядит, когда лучи солнца пронизывают белый шатер из гроздей-цветов. В лучах они видятся восково-желтоватыми. А воздух переполняется густым, сладковатым запахом, от которого кружится голова. И в ветвях стоит неумолчный пчелиный гуд, да такой, что человеческого голоса при нем не слышно...

— Хочу увидеть это своими глазами! — взволнованно сказал Олесь Терентьевич.— Давайте приедем сюда, когда зацветет акация.

Но так и не собрались до сих пор.

Стареем...

Читатель вправе спросить: ну, побывали писатели в украинском селе, посмотрели его жизнь, повеселились. Что тут особенного?.. Верно, ничего особенного, но только на первый взгляд. Ведь никто из пишущих не знает, когда именно в закрома его души, в глубины сердца роняются зерна, которым суждено дать ростки. Да и никто преднамеренно не собирает этих зерен, понимая, что, скажем, для написания повести или романа недостаточно одного «посева». Нужна прожитая жизнь, независимо от ее протяженности. Но для толчка к написанию книги иногда достаточно случая, особой ситуации, неожиданного взрыва чувств.

Однажды я, Михаил Алексеев и Владимир Солоухин сидели в ресторане «Арагви», отмечая публикацию второй книги романа Алексеева «Вишневый омут». Скажу откровенно, что у меня по-особому пристрастное отношение к прозе Михаила Николаевича. Она воспринимается мной как весьма яркая, талантливая, наполненная движением жизни. Я убежден, что тот же «Вишневый омут» — одно из самых заметных явлений советской прозы конца пятидесятых — начала шестидесятых годов. Охват исторических событий, сложность и трагичность человеческих судеб, бесхитростная философская наполненность, сливающаяся с взволнованной поэтичностью,— все это позволяет сравнить роман с лучшими произведениями классиков, писавших в предреволюционной России.

Во второй книге «Вишневого омута», где развертываются и события тридцатых годов, Михаил Алексеев, то ли боясь нарушить ритм повествования, то ли полагая, что еще не наступило время, весьма осторожно прикасается к драматичным сложностям, сквозь которые мучительно шла тогда советская деревня. Но со временем, как бы спохватившись, он во всю силу своего таланта развернет эти сложности в повести «Хлеб — имя существительное». Но только потом — в очередной книге, которой еще предстояло родиться. И я откровенно, ссылаясь на судьбу его родной Саратовщины, мо-

жет, без должной деликатности, упрекнул его в этом при Солоухине.

Алексеева уязвили мои слова, и он взорвался:

— А почему же ты сам не пишешь о голоде, расстрелах твоих родичей и земляков?! Почему тратишь время на комедийные сюжеты для кино? Я же знаю, что перенесла в тридцатые и сороковые твоя Кордышивка!..

От сердитой взволнованности глаза Михаила Николаевича побелели, губы пересохли, руки подрагивали.

Его волнение передалось и мне. Ворохнулось сердце, пронизанное внезапной болью. Передо мной тоже вдруг встал вопрос: «Почему действительно не написать мне о том, что видел, пережил, перечувствовал?!» А тут еще Владимир Солоухин бросил какое-то колкое, ранящее слово в мой адрес. И я закипел той страстью, которая неудержимо тянет к письменному столу.

— Напишу! — неожиданно для самого себя твердо пообещал я, будто впервые оглянувшись в прошлое и почему-то обозлившись на самого себя.

Догадываюсь, что, возможно, именно в то самое время и у Алексеева родилось желание засесть за свой «Хлеб — имя существительное».

16

Отцвела весна 1959 года. На «Беларусьфильме» готовились к съемкам кинокартины «Человек не сдается». Чтоб не мчаться в Минск по каждому вызову режиссера Иосифа Шульмана, писавшего режиссерский сценарий, я уехал туда на все лето с семьей, сняв комнату в Ждановичах на берегу Минского моря, в доме железнодорожника Шинкевича. И засел за роман. Писал, как песню пел,— с упоением, с радостью и горестью, воскрешая в себе свое детство, жизнь родного села, назвав его Кохановкой (от украинского слова «кохання», что по-русски значит «любовь»).

За письменным столом часто вспоминал Алексеева и Закруткина. Такие знакомые, близкие, ничем особенным не отличавшиеся, как мне казалось, от меня. А пишут они размашисто, смело, по-простому, не боясь неожиданных сравнений и метафор, смело вторгаются в человеческую психологию, в интимные взаимоотношения людей... Чем же я хуже их? Почему тоже не могу

писать свободно, раскованно, будто творить исповедь? И еще была свежа в памяти весьма похвальная рецензия в «Литературной газете» (1 XI.1958 года) Виталия Закруткина на сборник моих повестей и рассказов «Люди с оружием». В этом сборнике впервые была напечатана и повесть «Человек не сдается», явившаяся потом основой для написания киносценария Я часто вчитывался в эту рецензию, называвшуюся «Живая, светлая книга», вникал в размышления Закруткина о моей прозе. Мне было важно углубленно понять, что именно понравилось крупному художнику в сборнике, какими мерками ценил он достоинства написанного. Я понимал, что Закруткин кое в чем завышал свои оценки, но в то же время как бы указывал мне путь дальнейших писательских исканий.

Сидя над романом, я с великим тщанием старался следовать советам Виталия Александровича, отбросив сомнения и нерешительность, особенно в создании украинского колорита жизни села и украинских характеров.

Когда сложились первые главы, отважился проверить, туда ли иду. Послал рукопись в редакцию газеты «Литература и жизнь». Вскоре получил восторженную телеграмму от ее главного редактора Виктора Полторацкого. Он сообщал, что мои «Семь мам» (так назвал я главы) прочитаны и одобрены редколлегией. Будут скоро опубликованы... Они увидели свет в № 23 и 24 за 1960 год, вызвав большой поток читательских писем. Во многих содержалась просьба к редакции продолжить публикацию романа в газете.

Я поверил, что нахожусь на правильном пути, и с новой энергией продолжил работу, временами уезжая по зову режиссера в Минск, где уже начались актерские пробы.

Приближалась пора натурных съемок, где моя роль, как военного человека, заметно возрастала. Но для начала надо было обратиться к командующему Белорусским военным округом Маршалу Советского Союза С. К. Тимошенко с просьбой выделить для создания батальных сцен кинокартины определенное количество войск, боевой техники, назначить военного консультанта и разрешить вести съемки на окружном полигоне близ Осипович. Министр культуры БССР Микола Садкович написал официальное письмо, адресованное мар-

шалу, и мы с поэтом Аркадием Кулешовым, редактором фильма, отправились в штаб военного округа.

Дежурный по приемной командующего извинительно предупредил нас, что у маршала очень много дел и он может уделить нам всего лишь несколько минут. С естественным волнением вошли мы в кабинет легендарного человека. Он сидел за столом и читал какую-то бумагу. На наше приветствие поднял лицо — такое знакомое по портретам и фотографиям. Мы представились: мол, писатели такие-то. В утомленных глазах Семена Константиновича мелькнуло удивление. Может, потому, что я был в полковничьей форме. Затем он остановил взгляд на Аркадии Кулешове и как-то бесстрастно, однако утвердительно спросил:

— Поэма «Знамя бригады»?

— И многое другое,— со скрытой гордостью за товарища брякнул я. —Лауреат...

Маршал перевел взгляд на меня, и я осекся.

— А среди военных писателей вашей фамилии не помню,— сказал он.

Я со времен войны был наслышан, что маршал Тимошенко вообще не очень ласков с пишущей братией и поэтому, как утверждали иные, его имя не столь широко запечатлено в литературе и журналистике. Внутренне подобравшись и с трудом преодолевая робость, которая укоренилась во мне перед высоким военным начальством еще в годы солдатской и курсантской службы, я положил на стол командующего письмо министра культуры и коротко высказал просьбу киностудии.

— О чем фильм? — хмуро спросил маршал, склонив голову.

— О первых неделях войны,— бойко ответил я.

— А что вы знаете о начале войны?..— В словах маршала прозвучали горечь и раздражение.— Ничего вы толком не можете знать.

И тут меня захлестнула обида, я не сдержался и неожиданно для себя выпалил:

— Товарищ Маршал Советского Союза! Я знаю о начале войны все, что может знать средний командир, прошедший от границы до Москвы!.. От первого артналета немцев...

Маршал откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня взглядом долгим и суровым. Затем не без интереса спросил:

— Вы в какой армии служили?

— В десятой... Семнадцатый механизированный корпус генерала Петрова.

— В какой части?

— В двести девятой моторизованной дивизии. А после выхода из окружения — в шестьдесят четвертой стрелковой...

— Кто командовал двести девятой?

— Полковник Муравьев.— Я начал обижаться еще больше, ибо вопросы ставились так, будто мне не доверяют.

Но тут увидел, как в выражении лица маршала что-то изменилось. Он встал с кресла, вышел из-за стола и приблизился ко мне — высокий, прямой, суровый.

— Вам случайно не известна судьба полковника Муравьева? — спросил маршал, напряженно, с нескрываемой надеждой глядя мне в глаза.

— Видел его тяжело раненным в живот.

И я рассказал, что 25 или 26 июня 1941 года штаб нашей дивизии и ее спецподразделения располагались в лесу севернее городка Мир. В то время командование, видимо, пыталось объединить полки, которые вступили в бои с врагом почти в районах расквартирования.

Я в этот день, раненный в челюсть, пробился с мотоциклистами еще несформированной танковой бригады, входившей в состав нашей дивизии, на высоты, где «дневал» штаб. Разыскал редакцию дивизионной газеты «За боевой опыт». И тут по лесу разнесся слух, что привезли тяжело раненного командира дивизии. Мы с младшим политруком Лбом подошли к остановившейся на опушке эмке. Полковник Муравьев лежал на плащ-палатке, и возле него хлопотали военные медики. Услышали подробности: в полковника выстрелил переодетый в одежду пастуха немецкий диверсант, подкарауливший машину на полевой дороге. Водитель эмки сумел сбить фашиста машиной, однако вражеская пуля тяжело, а может, и смертельно ранила полковника. Вскоре его увезли в сторону Столбцов...

Вот и все, что я мог рассказать о полковнике Александре Ильиче Муравьеве. Сам же не осмелился спросить у маршала, кем ему приходился Муравьев. Возможно, и никем. Молодой полковник перед самой войной был назначен командиром формировавшейся механизированной дивизии, и не исключено, что нарком обо-

роны Тимошенко знакомился с ним и давал напутствия...

В кабинет принесли чай, печенье, разговор наш затянулся. Несколько раз подходил маршал к настенной топографической карте, раздумчиво всматривался в нее.

Поощренный его вниманием, я подробно рассказал о бое с диверсантами и группой немецких танков у деревень Боровая и Валки в ночь на 28 июня (эта драматическая ситуация подробно описана мной в повести «Человек не сдается»). Показывал маршруты и рубежи нашей дивизии...

Мы с Аркадием Кулешовым конечно же понимали, что в Семене Константиновиче болезненно всколыхнулась память и он размышлял о первых приграничных сражениях, проигранных нами немцам, вспоминал о первых оперативных решениях Ставки и Генерального штаба, о тех давних тревогах, которыми жила тогда Москва и он лично как нарком обороны, а потом командующий Западным фронтом.

Маршал словно позабыл о нашем присутствии в его кабинете. Вновь подойдя к топографической карте, он обвел на ней пальцем районы Белостока, Налибокской пущи, скользнул взглядом по Пинским болотам и будто сам себе вполголоса сказал:

— Здесь растаяли главные силы Западного фронта... Пришлось создавать новые рубежи стратегической обороны... Эх, если бы знать... Если б предполье... А могло случиться еще страшнее, введи заранее в действие наш план прикрытия... Да, война — гигантский смертный мешок с загадками...

На боковом столе зазвонил один из многих телефонов, и маршал вырвался из плена мучительных воспоминаний. Коротко переговорив с кем-то, он присел в кресло, начал вчитываться в принесенную нами бумагу.

Мы с Кулешовым сердечно поблагодарили Семена Константиновича — уже не столь сурового — за то, что сполна удовлетворил он просьбу киностудии, и распрощались. Однако уходили из кабинета без особой радости, смущенные, возможно, тем, что стали свидетелями чего-то очень личного в судьбе маршала, что невольно заставили его испытать вдруг воскресшую мучительную душевную боль и будто постигли тревожные тайны, которые знать нам не полагалось...

Уже за пределами штаба, на улице, Аркадий Алек-

сандрович закурил папиросу, посмотрел на меня с пронзительной значительностью и сказал:

— Побегу домой... Я должен записать все это. И ты запиши. Тебе, солдату, это даже скорее пригодится...

В то время я еще не замышлял романа «Война», хотя он подсознательно начинал во мне жить. Дело в том, что в повести «Человек не сдается» мной были выплеснуты на бумагу еще не отстоявшиеся чувства и впечатления, рожденные всем виденным западнее Минска и в Смоленском сражении. Они, эти чувства и впечатления, обнаженно-болезненные, еще не были подкреплены социально-философскими категориями понимания войны, еще не родилось во мне оперативно-стратегическое видение всей грандиозности, сложности и трагичности военного противоборства двух могучих армий. Однако пульсировали чувства, похожие на неутоленную жажду, на вину, что не сделал чего-то самого главного, важного. И эти чувства вспыхивали с особой силой, когда сталкивался в литературе, в военно-исторических публикациях или во время дискуссий за «круглым столом» с суждениями о начальном периоде войны, которые искажали подлинную правду или являлись полуправдой. И в то же время отсутствовало убеждение, что лично я владею знаниями полной правды. Требовалось все вспомнить, выверить в тщательных сопоставлениях и взаимосвязях.

17

Но этому придет время. А пока продолжалась работа над романом, который еще не имел названия. Неспешно созревает на дереве плод; книга же пишется куда более медленно...

Лето 1962 года я с семьей проводил в Сосново под Ленинградом, на даче у моего друга, прекрасного русского прозаика Сергея Алексеевича Воронина, тогда главного редактора журнала «Нева». Недостроенный загородный дом Ворониных стоял на берегу огромного озера, соединенного протоками с другими озерами, простиравшимися по Карельскому перешейку. Лето было дождливым, и писалось особенно хорошо, когда, сидя за столом на втором этаже, меж бревенчатыми стенами, видишь, как небесные струи косо хлещут по верши-

нам елей. Шум дождя располагал к сосредоточенности, воспоминаниям и возбуждал фантазию.

Но очень желанной была ясная погода. Озеро, лежавшее внизу метрах в тридцати от дома, звало на рыбалку — нашу общую страсть. Иногда мы с Сережей, накинув плащи с капюшонами, садились в лодку даже в дождь и плыли к своим заветным местам. Рыба в такую погоду почти не клевала. Мы сидели молча, наблюдая, как вокруг лодки, во всей необозримости, выскакивали из воды мириады будто серебряных гвоздей — так поверхность озера откликалась на потоки дождя.

Я уже жил ощущением того, что подхожу к завершению первой книги романа. И все размышлял над тем, какое дать ему название. Вариантов было много. И вдруг, когда я подумал о том, что́ было главное в характере моего отца, в какой-то мере прототипа героя романа Платона Ярчука, в моей голове, как вспышка пламени,— «Люди не ангелы!»

— Сережа! — окликнул я Воронина, который в это время стоял на корме лодки ко мне спиной и перезакидывал донную удочку.— Люди не ангелы!

— Это точно. Старая истина,— безразлично отозвался он.

— Да я не о банальностях... Роман хочу так назвать!

Сережа, будто его ударили под коленки, плюхнулся на скамеечку, повернулся ко мне лицом. Почудилось, что он сейчас скажет нечто насмешливое. И я на всякий случай уточнил:

— Или что-то в этом роде. Буду еще искать...

А он молчал, глядел на меня с таким вниманием, будто я сморозил невероятную глупость.

— Слушай, Ваня...— после мучительной паузы произнес Воронин.— Если ты назовешь роман по-иному, то я название «Люди не ангелы» дам первой же своей книге!

Издевки в голосе Сергея Алексеевича я не уловил... Да и он, побывавший в тюрьмах и лагерях за свои политические убеждения, не очень был расположен к шуткам, когда речь шла о серьезном.

Через несколько дней, спустившись со второго этажа, я зашел в кабинет Воронина и положил ему на стол

рукопись, перепечатанную Антониной. До этого Сережа не читал ни строчки из нее — так мы условились заранее, ибо я не могу терпеть советов в процессе работы.

Условились еще и о другом: если роман мой покажется Сергею Алексеевичу не на должном художественном уровне, я не буду претендовать на публикацию его в «Неве». Но, несмотря на прежний мужской уговор, я заметил в глазах Воронина смятение, когда он перелистнул рукопись. Мне была очень понятна его тревога: вдруг роман не получился... Сказать об этом другу не так легко. И я, чтоб успокоить Сережу, напомнил ему:

— Договор дороже денег. Мне нужна только правда... Ну, может, еще советы, если понадобятся...

На второй день перед восходом солнца мы с моим сынишкой Юрой, сев в лодку, отправились на рыбалку. Юре было десять лет, и он уже хорошо владел удочкой и веслами. Решили рыбачить на соседнем озере, протолкнув лодку под мостком по узкой протоке. Мыслями я был на даче, представляя, как Воронин читает там мою рукопись...

Рыба, как чаще и бывало, не ловилась. Надеясь на поклевки, мы то и дело перезакидывали удочки во все стороны от лодки, устойчиво державшейся на двух нерасчетливо тяжелых якорях, которые с Сережей отлили накануне из цемента. Они имели вид квадратных плит. Эти плиты плотно всасывались в дно озера, и, чтоб поднять их, требовалось употребить немалые усилия, надеясь на крепость цепей, прикованных к носу и к корме лодки.

Время, как всегда на рыбалке, проходило быстро. На склоне погожего дня мы решили вернуться на «свое» озеро. С величайшим трудом поддались мне «якоря». Перевалив их через борт в лодку, я подумал, что к следующей рыбалке надо отлить новые, меньшие по объему и весу.

И когда протиснулись под мостком в наше неохватное глазом озеро, я заметил кое-где всплески рыбы. Было похоже, что щука или судак охотятся за мальком, В азарте столкнул в воду «якоря», схватил спиннинг и стоя начал полосовать по воде блесной... Вдруг случилось непредвиденное. При очередном забросе я не заметил в спешке, что леска, образовав кольцо, захлестнула верхушку удилища спиннинга, и он, спружинив от раз-

маха, метнул тяжелую блесну с тройником назад. Тут же я ощутил жгучую боль в левой руке: тройник одним крючком вонзился до самой кости в большой палец.

Первая мысль — не напугать Юру, хотя крови не было. Палец только посинел. Пытаясь выдернуть из него тройник, я с вымученной улыбкой стал говорить сыну, что на фронте такая ранка считалась сущим пустяком и на нее не обращали внимания. Крючок же не поддавался — сидел в онемевшем пальце намертво. Тогда я ножом отсек леску от блесны и сказал:

— Юра, давай поднимем якоря и потихоньку погребем домой. Там мама чуток надрежет палец, и дело с концом.

Но даже оторвать от дна тяжелый якорь одной рукой мне было не под силу. Старательная помощь Юры тоже не помогла. А вокруг — ни одного рыбака; до берега не докричишься, да он и безлюден. Как быть? Цепи, державшие якоря, прикованы к лодке намертво.

— Лучше б за ухо или за ноздрю зацепил,— пытался я развеселить Юру.— Блесна особенно в ухе смотрится!

Юра, испуганный, шутку не воспринял. Я начал прикасаться к пальцу ножом. Но он был слишком тупым, чтоб сделать им надрез до кости. Лезвие бритвы бы!

— Юра, покопайся на дне ящика, может, бритву найдешь.— Я всегда брал с собой в лодку ящик для зимней рыбалки, сняв с него полозья; в ящике удобно было держать рыбацкие причиндалы, пакет с едой, термос с чаем.

Через минуту Юра протянул мне чуть ржавое лезвие...

Вскоре мой палец был освобожден от крючка, забинтован, и мы, наконец снявшись с якорей, поплыли к берегу. Издали я увидел, что из дачи вышел Сережа и направился по тропинке к озеру, на небольшой дощатый пирс. И все мысли мои переключились на главное: успел ли он прочитать рукопись? А если прочитал, что я сейчас услышу? Ведь более двух лет работы...

И вот наша лодка уже заплыла в бухточку, в которой чернели над водой толстые пни давно спиленных елей; они очень мешали лодке причаливать к пирсу. Наши с Сережей недавние попытки вывернуть пни не увенчались успехом.

Выбрались из лодки на пирс, я посетовал на то, что

вернулись мы без рыбы, и пытливо посмотрел Сереже в лицо. Заметил в его глазах слезы и внутренне содрогнулся. Зная, что он по натуре очень мягок, жалостлив и даже порой сентиментален, решил, что сейчас услышу тяжкую для меня правду, которую ему трудно сказать. Но Воронин дрогнувшим голосом произнес:

— Ваня... ты не знаешь, что ты написал... О голоде, репрессиях крестьян, принудительной коллективизации еще никто не писал в нашей литературе...

Услышал я и другие его слова, повторять которые неловко.

Со мной в этот момент произошло что-то удивительное. Я неожиданно для самого себя спрыгнул с пирса в воду, добрел до ближайшего, торчащего над поверхностью бухты пня, обнял его верхушку и одним нажимом свалил набок, а потом выворотил из дна... Второй, третий... пятый пни тоже не устояли — поддались! И это при раненой руке!

Сережа и Юра смотрели на меня с испугом и изумлением. А я и сам не понимал, откуда взялось во мне столько сил, чтоб сделать то, чего мы не смогли сделать несколько дней назад вдвоем...

За нашим общим семейным ужином продолжили разговор о романе. Мария Григорьевна, супруга Воронина, женщина строгих правил. Налив нам по рюмке водки, она убрала бутылку в буфет, не догадываясь о том, что мы с Сережей бегали ко мне на второй этаж не перечитывать какие-то «важные» места из романа, как притворялись, а совсем за другим, заметно хмелея.

На следующий день утром я услышал решение Сергея Алексеевича, уже как редактора журнала «Нева»:

— Сегодня же передаю твою рукопись для чтения членами редколлегии... Будем открывать романом «Люди не ангелы» шестьдесят третий год! Напечатаем в январском, первом номере.

Я взмолился:

— Сережа! Если решил печатать, то делай это немедленно. Иначе будет поздно!

— Сумасшедший! — накинулся на меня Воронин.— Сейчас мы посылаем в набор двенадцатый, декабрьский. Сгребаем в него все слабоватые вещи, от которых не могли отбиться.

— Сгреби туда и «Люди не ангелы».

— Ну, почему? Объясни! Первый номер — самый престижный! Ведь открытие года!

Я ничего объяснить не мог, но верил своему чутью: «Медлить нельзя...»

Воронин согласился не сразу — только после того, как рукопись прочитали и одобрили члены редколлегии «Невы» Александр Решетов, Александр Хватов, Елена Серебровская. Они, хотя и не без удивления, поддались на мои увещевания печатать книгу немедленно.

Потом наступил мучительный период работы с редактором отдела литературы. Опытный в схватках с цензурой, он заставлял меня наиболее острые места романа «обкладывать ватой» — вписывать фразы, а то и целые абзацы, хоть как-то смягчавшие напряжение самых драматических сцен, рискованные по тому времени размышления персонажей, остроту их чувств и боль при ломке человеческих судеб. Однако никакое нарочитое возведение «позитивного фона» не могло замаскировать вершившуюся в романе трагедию: преступное раскулачивание крестьян-середняков, повальные аресты в селе безвинных мужиков, невиданный голод, уносивший из жизни целые села, разгул своеволия начальства в Гулагах, репрессии среди руководства металлургического комбината и его подневольных строителей...

Наконец появилась верстка декабрьского номера журнала. Когда она попала, как полагалось, в горком партии, там категорически потребовали выбросить из нее «Людей не ангелов» Но Сергей Воронин уже был непреклонен: «Тогда снимайте и меня с поста главного редактора»,— при этом заявил, что пошлет телеграмму Никите Сергеевичу Хрущеву, который недавно разрешил публикацию в «Новом мире» повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Горком сдался. Не решилась снимать роман и политическая цензура. Это был крохотный период, когда партийные «кураторы» художественной литературы, благодаря Солженицыну, пребывали в растерянности. И мои «Люди не ангелы» в 1962 году успели увидеть свет («Нева», № 12). Именно успели, ибо после их публикации все-таки поступил строгий запрет на подобные вещи. Уже с последующего номера «Невы» (№ 1, 1963 год) была снята вторая книга Леонида Семина «Один на один» — о мытарствах в наших лагерях бывшего военнопленного. Трагические же события тридца-

тых годов вообще оказались на долгие времена непозволительными для печати.

Так что чутье меня не обмануло, да и случайные обстоятельства поспособствовали. Иначе довелось бы прятать рукопись романа более чем на тридцать лет в ящик стола; такая участь постигла книги многих наших писателей.

Но «Люди не ангелы», увидев свет, уже были неподвластны никаким запретительным распоряжениям, зато автор их оставался беззащитен со всех сторон. Впрочем, этой беззащитности вначале я не замечал. Более того, стали появляться в литературных газетах и журналах довольно хвалебные рецензии.

И вдруг получаю письмо от брата Бориса из Кордышивки. В нем ставился кричащий вопрос: «Що тоби тэпэр будэ?» («Что тебе теперь будет?»). Слышал Борис от людей, что роман «Люди не ангелы» читают по радио из-за океана. Я тут же включил приемник со специальной «приставкой», мешавшей глушению голосов из-за рубежа, и поймал «Голос Америки». В это время диктор заканчивал читать из моего романа главу о безвинно арестованном крестьянине Платоне Ярчуке.

— «Вчера — последний, кажется, разговор со следователем,— читал диктор.

— Ярчук, скажите честно, вы что, святой человек? — спросил следователь.

— Если б был святой, на меня б молились...

— Поймите мое положение: два года продержал я вас в тюрьме, а обвинения не подтверждаются. Должен же я чем-нибудь обосновать срок вашего заключения... Сознайтесь в чем-нибудь.

— В чем?

— В чем хотите. У каждого человека есть грехи.

Платон Гордеевич подумал, с немым укором посмотрел в усталое, худое лицо следователя и сказал:

— Мешок семенного зерна украл я в колхозе.— И рассказал, как все было...

— Подпишитесь...»

Вначале в моей груди полыхнулась радость: шутка ли — даже там заметили!.. Но, слушая очередные передачи, я обратил внимание на некоторые сокращения в главах — везде была выброшена та самая «вата», которой по совету редактора я обкладывал «опасные» места

повествования (ничего не значившие «трескучие» словеса). Подумалось, что этого мне не простят.

И верно: было кем-то отменено запланированное в секции прозы обсуждение романа, потом грянула зловещая беседа в партбюро Московской писательской организации: пришлось объяснять его секретарю критику В. А. Сутырину и молодому представителю «со стороны» о том, что «Голос Америки» не спрашивал у меня согласия на радиопередачи и что в романе своем я ничего не придумал — ни голода на Украине, ни репрессий и пыток, ни раскулачивания середняков...

— Но как вы могли написать такую пакость?! — сурово спросил у меня молодой человек «со стороны» — весь наглаженный, чистенький, с искусно завязанным галстуком. Он жгуче смотрел на меня темными глазами.

— Я пакости не писал!.. Только правду!

— Правду?! Послушайте свою правду! — Молодой человек открыл журнал с закладкой.— Подумаешь, ясновидец нашелся! — И стал читать.

«...Придет время, и жизнь заставит людей оглянуться на прошлое. И тогда одним станет стыдно и больно, а другим — страшно. Страшно станет тем, кто причастен к рожденному злу; некоторые будут притворяться, что ничего не помнят. Их придавит страх — за себя, за свое благополучие, за содеянное. Может, и сослепу содеянное... Случается же беда, когда друга принимают за врага. Случается. Но есть предел, за которым такие слепцы уже не могут иметь никакого оправдания...

А жестокость?.. Она ведь не всегда слепая. Тем более жестокость к мнимому врагу.

Придет время, когда те, кто родил жестокость, будут метаться во сне, мня себя на черных диванах или в глухих, обитых войлоком подвалах, или за колючей проволокой... Это начнет вершить над ними запоздалый суд их совесть — суд праведный и суровый, но без жестокости. Все будет».

— Но почему мой герой в тридцать седьмом году, находясь в лагере, не мог размышлять так? — задал я вопрос молодому человеку.

— Сейчас шестьдесят третий, а ваш герой зовет к смуте!

— Он мечтает о справедливости!.. А сейчас новое время.

— Умейте, как писатель, достойно держать себя в «новом времени»!

Как ни странно, атмосфера настороженности вокруг меня подхлестывала к дальнейшей работе. Я неутомимо писал вторую книгу «Людей не ангелов». А тут еще появились просветы: однажды (1963 год) мне позвонили из Министерства внешней торговли СССР и попросили приехать в его управление «Международная книга». Прибыв на Смоленскую площадь и разыскав в «высотке» указанный в пропуске кабинет, я услышал неожиданное: Лондонское издательство «Артур Баркер» предлагает нашей «Международной книге» подписать с ним договор об опубликовании на английском языке романа «Люди не ангелы». Требовалось мое согласие. Гонорар в валюте — в фонд государства.

Я был счастлив: книге на английском языке открыты ворота во многие страны мира... Вышла она в Лондоне в том же году. Роскошное издание, красочная суперобложка! Однако надпись на ней, начертанная будто кровью, встревожила меня: «Это первая книга в России, где рассказана правда о жестокостях Сталина по отношению к украинскому крестьянству...» А ведь имени Сталина я и не упоминал в романе. Просто вел горестную полемику с верховной властью, укоряя ее в беззакониях и творившихся трагедиях.

Вскоре меня вновь пригласили в «Международную книгу» и познакомили с новым письмом из издательства «Артур Баркер». В нем сообщалось, что оно затевает судебный процесс против лондонского издательства «Моно-Пресс» (издатели П. А. Спалдинг и И. Антоненко), самочинно выпустившего в свет роман «Люди не ангелы» в своем переводе. Я должен был письменно подтвердить, что не давал им на это разрешения...

Совсем хорошо! Если вокруг книги рождается скандальная ситуация даже такого рода, ей она только на пользу. Эту мысль подтвердил мне и известный писатель Федор Шахмагонов. Закончив в свое время Высшую дипломатическую школу МИД СССР, он поддерживал связи с бывшими соучениками. От них он слышал, что издание моего романа в Лондоне принесло там немало хлопот нашим дипломатам. Английская пресса

подняла шум вокруг «Людей не ангелов», и будто книгу выдвигают на Нобелевскую премию.

Об этом, последнем, мне надо было, конечно, помалкивать. Но как тут удержишься, чтоб не подзадорить друзей, не похвастаться?! И не удержался, дав повод товарищам потом «отыграться» на мне, о чем расскажу чуть позже.

А тем временем роман «набирал разбег» — его выпустили «Роман-газета», издательство «Молодая гвардия», издали книгу в Словакии, Болгарии, Китае; увидела она свет в Киеве и Вильнюсе. А если к этому прибавить, что и «Максим Перепелица» уже звучал на многих языках, у меня был повод тайно гордиться и своими успехами на «международной литературной арене».

Ох и падка молодость к известности, хоть к какой-то славе! Впрочем, уже тогда я с усмешкой и даже издевкой иногда размышлял над собой: какая, мол, разница для зарубежного читателя, для всех незнакомых мне людей, чьему перу принадлежит та или иная книга, как звучит фамилия ее автора? А все-таки тщеславие грело сердце. Когда в дом приходили гости, я с притворным равнодушием указывал на полку, где выстраивались мои зарубежные издания...

Смешно сейчас, в преклонном возрасте, вспоминать о своей зеленой литературной молодости. Но что было — то было...

Однажды почта принесла мне письмо из Лондона. Издатели П. А. Спалдинг и И. Антоненко («Моно-Пресс») извещали меня о своем желании поделиться со мной своими доходами за издание романа «Люди не ангелы». Спрашивали, куда и как адресовать перевод гонорара. Но ни слова — о своем конфликте с издательством «Артур Баркер». Был ли суд? Впрочем, это меня не касалось. Но в то время получить валюту от буржуазного издательства коммунисту?! Я уже мысленно видел, как меня прорабатывают на партийном собрании и клеят всевозможные ярлыки...

Естественно, я помчался за советом в партбюро московской писательской организации, где состоял на партучете. Секретарь партбюро В. А. Сутырин, выслушав меня, позвонил кому-то по телефону (в райком или горком партии) и объяснил ситуацию: мол, за книгу,

которую «Голос Америки» передавал по радио, англичане, издав ее вторично, предлагают автору гонорар. Как он должен поступить?..

Немедленного совета не последовало. Сутырин сказал мне, что ТАМ спросят у вышестоящего начальства. Надо повременить...

Через несколько дней мне передали, что по интересующему меня вопросу я должен позвонить председателю Правления АПН Борису Сергеевичу Буркову — он имеет соответствующие указания от высших инстанций. Я позвонил ему и вот что услышал:

— Мы не одобряем,— говорил Бурков,— когда наша творческая интеллигенция обогащается за счет подачек из капиталистических стран. И вам тоже не советую клевать на валютную приманку.

— Но оставить письмо без ответа неприлично. Они все-таки сделали для меня благородное дело. Писатель ведь пишет для того, чтоб его издавали и читали.

— Вот и поблагодарите их за издание романа...

Разговор был окончен. Я послал в Лондон письмо, поблагодарил издателей за внимание к моему творчеству и попросил прислать на память экземпляр книги.

Вскоре пришла из Англии бандероль. В ней, к моей досаде, оказался всего лишь один экземпляр романа. А что мне стоило попросить три-четыре экземпляра?.. Постеснялся.

18

Это была счастливая пора, когда я с упоением писал вторую книгу романа «Люди не ангелы», мысленно переносясь на свою родную Винничину, к своим литературным героям и их прототипам. Испытывал то душевно-взрывное состояние, когда раскрепощаешься от самого себя и всего окружающего, погружаешься в былую жизнь, которая брезжит в памяти, наполненная болью, горестями и радостями, окрашенная «музыкой души» — звуками, запахами, многоцветьем, а люди встают во взволнованном воображении со своими характерами, своей судьбой и взаимоотношениями. И при этом надо выстраивать события и проявления человеческих натур в разумные «рамки» драматургии — обостренной, движущейся по извилис-

той, подчас непредвиденной самим автором тропе поступков героев романа и слагающихся конфликтных коллизий.

Возможно, это и есть сила творческого духа писателя (малая или большая), проявление его художнической энергии, азарта созидания, пусть пока с неведомым результатом: нередко написанная в запале глава выбрасывается потом в корзину...

Лето 1964 года, или только его начало, я проводил с семьей в Москве. Писал. Однажды, в разгар «запойной» работы за письменным столом, позвонил мне по телефону Михаил Алексеев (тогда заместитель главного редактора журнала «Огонек»).

— Ваня, сегодня с тебя причитается! — весело сообщил он.— В «Белом ТАССе» есть хорошая информация о твоем фильме «Человек не сдается».

«Белый ТАСС» — это огромная кипа полусекретных бумаг на «голубоватых» тассовских бланках с самой важной международной информацией, предназначенной на выбор для советской печати.

— Ну, прочитай,— попросил я, насторожившись, зная склонность Алексеева к шуткам-розыгрышам.

— Читаю без сокращений,— предупредил Михайло.— «ВД. РД. 314. Багдад, 25 июня (ТАСС). Свыше двух недель на экране багдадского кинотеатра «Ар-Рашид» продолжается показ советских художественных фильмов... Среди них самым большим успехом пользуется художественный фильм «Человек не сдается», посвященный героическим подвигам советского солдата в годы Великой Отечественной войны...»

Должен заметить, что за долгие годы дружбы с Алексеевым мы так и не научились обманывать друг друга, впрочем, иногда притворялись, что верили в услышанную придумку.

— В наличие информации верю,— спокойно сказал я, выслушав прочитанное.— А насчет самого большого успеха — сочиняешь!

— Не веришь? Приезжай в «Огонек»! Подарю тебе эту бумаженцию на память... Заодно где-нибудь пообедаем. Я уже освободился от дел.

Мне стало ясно, что обед был главной причиной телефонного звонка.

— Миша, не могу,— взмолился я.— Заканчиваю главу! Уже перо докрасна разогрелось!

— Вот и дай ему остыть.

— Нет сил оторваться! Ты сохрани тассовскую бумагу, потом отдашь.

Алексеев, обиженный, прервал разговор.

Через какое-то время вновь зазвонил телефон. Сняв трубку, я услышал знакомый, но чуть изменившийся голос Алексеева:

— Ваня, извини, что отрываю. Но тут такая новость, что с ума можно сойти! Твоя фамилия вновь в «Белом ТАССе»!

— Что там еще? Не томи! — Я уже нисколько не сомневался: Миша придумал какой-то скверный розыгрыш.

— Так слушай!... «Как сообщает из Швеции лондонский корреспондент газеты «Санди таймс», советскому писателю Ивану Ф. Стаднюку присуждена Нобелевская премия за роман «Святых людей нет»!..

— Хватит валять дурака! — я рассмеялся, поражаясь изобретательности Алексеева. Но сомнение все-таки холодком притронулось к сердцу: смутило неточно переведенное название романа, да еще «Ивану Ф. Стаднюку» — на английский манер... Странно.

— Что ты будешь делать с такими деньжищами? — не сдавался Алексеев.

— Тебе половину отдам.

— Ты, я вижу, не веришь? Ну, приезжай, взгляни сам на документ,— и положил трубку.

Мое рабочее настроение улетучилось. Я взял английское издание книги, прочитал: «People are not Angels». Все правильно: «Люди не ангелы». Но тут пришла мысль: может, шведы перевели название по-своему; смысл ведь очень близок?

Я, боясь выглядеть смешным, все-таки позвонил Алексееву:

— Миша, если это злой розыгрыш, я тебя разыграю потом еще злее,— пригрозил ему.— Сейчас приеду.

— Я уже вызвал машину,— раздраженно ответил Алексеев.— Мчусь за Поповкиным. Он не такой гордый, как ты, — будем обедать в Центральном Доме литераторов или в гостинице «Украина». Хочешь — ищи нас.

— Но должен же я вначале взглянуть на тассовскую информацию!

— Ладно. Я распоряжусь, чтоб тебе приготовили.

Это же целую гору надо вновь перелистывать. Возьмешь конверт у нашей секретарши — Анны Алексеевны...

Поймав такси, я примчался в «Огонек», взял в секретариате адресованный мне конверт. Вскрыл его без свидетелей — в автомобиле, дав шоферу команду везти меня в ЦДЛ.

Все вроде было без подделки: официальный бланк ТАСС, жирными буквами телетайпа напечатана информация о присуждении премии. На обороте рукой Алексеева сделана карандашная надпись, звучавшая ернически: «Что молчите вы, народные витии?!»

Я был в каком-то оцепенении. Радоваться не спешил. Во мне все-таки гнездилось неверие в случившееся. А если допустить, что сообщение ТАСС — не алексеевская подделка, то лондонский корреспондент мог и ошибиться. Может, действительно произошло невероятное? Тогда надо бежать в ЦК партии советоваться, а то и каяться. Вынудили ведь Бориса Пастернака в 1957 году отказаться от Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго»... Тут было над чем задуматься, тем более при моем совсем небольшом литературном реноме.

В ЦДЛ ни Алексеева, ни Поповкина не оказалось. Устремившись к дожидавшемуся меня такси, я неожиданно столкнулся в вестибюле с Сергеем Сергеевичем Смирновым. И вдруг отважился:

— Сережа! Присядем на минутку. Взгляни вот на эту бумагу.

Сергей Сергеевич прочитал тассовскую телеграмму и потерял дар речи. Потом сказал:

— Вот так Иван!.. Ну, что ж, поздравляю!

— Да ты всмотрись! Может, подделка!.. От Алексеева получил.

— Вроде все по форме,— не очень уверенно ответил мой фронтовой побратим.

— На всякий случай никому ни слова,— попросил я.— Если это не злая шутка, завтра будет сообщено в газетах.

— Ладно, пока помолчим.— Сергей заразительно засмеялся.— Могила!

Но пока я доехал до «Украины», Дом литераторов уже гудел от неслыханной новости... Не сдержал, видать, Смирнов своего слова, кстати, сам очень любивший экстравагантные шутки.

Пройдя холлы гостиницы «Украина», я увидел

сквозь раскрытую дверь ресторана Поповкина и Алексеева. Они сидели уже за накрытым столом в дальнем конце зала и напряженно смотрели на вход. Заметив меня, торопливо взялись за закуски...

«Ясно: разыграли, гады!» — с убеждением подумал я, приближаясь к их столу...

— С нобелевским приветом! — Я пожал друзьям руки и уселся на приготовленный для меня стул.

Лицо Поповкина сияло от удовольствия, глаза блестели. В коварной улыбке подрагивали губы Алексеева, а пальцы рук нервно барабанили по краю стола — знакомая Мишина привычка.

— Ну, что, довольны?! Выманили Ивана из-за письменного стола? — с веселой укоризной сказал я.— А ведь за такие шуточки и в суд можно подать. Насидитесь в каталажке!

— Какие шуточки?! — будто всерьез взъярился Алексеев.— Покажи Евгению Ефимовичу тассовский бланк!

— Я его в туалете оставил.

— Ну и зря! — Миша налил в рюмки коньяк.— Ведь советоваться надо! Тебе в ЦК припечатают такую премию, что и от романа своего откажешься!

— Ладно,— успокоительно сказал Поповкин, подняв рюмку.— За Нобелевскую пить не будем, чтоб не сглазить. А бланк тассовский... Я такой уже видел у Сергеева-Ценского, когда старика выдвигали за «Севастопольскую страду». Но не дали премию... Готовься, Ваня, к тому, что и тебе, полковнику, тоже покажут кукиш. Да еще и виноватым будешь

«Нет, не розыгрыш»,— подумал я с холодком в сердце.

Поповкин, друживший с Сергеевым-Ценским, стал рассказывать занимательные подробности о том, как морочили старика, якобы присудив ему Нобелевскую премию, а потом отменив решение комитета. Обо всем этом я слышал впервые, веря и не веря. Но Поповкин вел разговор очень естественно и искренне, да при этом будто старался подготовить меня к тому, что премия мне не светит. И будто сочувствовал.

«Видимо, все-таки не розыгрыш».— Во мне стала рождаться пусть призрачная, но вера

И вдруг я вспомнил о нашем общем друге — известном литературоведе Барабаше Юрии Яковлевиче, кото-

роге в свое время пригласили из Харькова в Москву на пост заместителя главного редактора «Литературной газеты». А затем перевели в ЦК партии на пост заведующего сектором литературы. Он-то уж должен знать правду! Я, улучив момент, вышел в вестибюль ресторана и позвонил по телефону-автомату Юрию Яковлевичу. Начал объяснять ему суть волнующей меня проблемы, но он перебил:

— Ваня, у нас уже все известно. Теперь ломаем голову, что тебе посоветовать. Но пока прими поздравления!.. Жди моих звонков.

Все точно!.. Я вернулся в застолье, чувствуя себя всамделишным лауреатом премии Нобеля.

Это была пятница. В субботу и воскресенье я размышлял над своим нынешним положением, как бы «вживался» в новую роль. За письменный стол садиться не хотелось. Перед сном глотал по две таблетки снотворного и все равно почти не спал. От премии решил не отказываться и отдать ее на нужды своего кордышивского колхоза Написал письмо на Винничину своему другу, учителю Маюку Дмитрию Федоровичу (кстати, первому переводчику некоторых моих рассказов из «Максима Перепелицы»). Попросил его выяснить у кордышивского председателя номер банковского счета колхоза...

В понедельник надо было идти в ЦК партии согласовывать свое решение. Но в воскресенье вечером позвонил мне Юрий Барабаш

— Как чувствует себя Нобелевский лауреат? — весело спросил он

— Нормально. Привыкаю.

— Придется отвыкать, Ваня.

— Почему отвыкать?!

— Тебя разыграли.

— Брось, Юра, дурачить меня. Я уже родственникам похвалился. О банкете подумываю. Запросил банковский счет своего колхоза...

Барабаш задохнулся в хохоте:

— Ты что, серьезно или шутишь?!

— Какие шутки?! Ты же сам подтвердил, что в ЦК знают!

— А что мне было делать? Алексеев опередил тебя телефонным звонком... Я уже был в курсе...

— Откуда тогда взялась телеграмма ТАСС?

— Миша допечатал ее через копирку на полупустом бланке...

Так и лопнула моя Нобелевская премия! Было досадно и смешно. Но оставаться в долгу перед Алексеевым я, разумеется, не мог и все размышлял над тем, как ему отплатить. Такой случай подвернулся, когда Николай Матвеевич Грибачев предложил нам поехать с ним на Брянщину, в Суземку, удить рыбу на Неруссе — по приглашению тамошнего районного начальства. Я тут же согласился, а Алексеева держали какие-то дела в Москве. Но он попросил: «Если рыбалка будет удачной — дайте мне телеграмму». На том и порешили.

Рыбалка — радующее душу, будоражущее чувство времяпрепровождение. Особенно занятна подготовка к ней, когда мастеришь снасти (вяжешь крючки, взвешиваешь дробинки, подбираешь поплавки)... А мысли в это время уже там, на водоеме,— в лодке или на берегу реки; фантазия рисует поклевки рыбы, удачливые подсечки, ловкое выуживание, приготовление ухи, веселый треп за трапезой под открытым небом...

В Суземку мы ехали поездом. В Брянске к нам присоединился поэт Илья Швец — земляк Грибачева и давний соратник по рыбалкам. Настроение было приподнятым: ведь ехали в незнакомые места, сулящие открытия и удачу. Я даже надеялся (и это мне удалось) написать очередную главу романа, которая горела во мне и звала к письменному столу.

Поселились мы в поселке Усух, состоявшем из одной улицы темных от древности бревенчатых домов, многие из которых пустовали, начали осваивать речные затоны Неруссы. Рыба ловилась плохо. Шел нерест леща, и его легко можно было багрить на мелководье спиннинговой блесной. Но это был браконьерский способ ловли и под строгим, недремлющим оком Грибачева нами отвергался.

Я послал Алексееву телеграмму: «Приезжай немедленно, клев рыбы бешеный, но нечем ее засаливать. Страдают и местные рыбаки. Привези побольше соли».

На второй день последовал ответ: «Приезжаем с Сережей Смирновым. Встречайте...» И указывали номера поезда и вагона.

Сергей Васильевич Смирнов был не только блестящим поэтом, но и отменным рыбаком, искусным паро-

дистом, анекдотчиком. Компания у нас складывалась такая, в которой не заскучаешь. В указанное время мы с Грибачевым приехали на райкомовском газике встречать рыбацкое пополнение. Поезд на станции Суземка стоит всего лишь две минуты, и мы увидели Алексеева и Смирнова уже стоящими наготове в тамбуре вагона у двух объемных чемоданов.

— Соль привезли?! — спросил я, когда поезд остановился.

— Привезли! — весело ответил Алексеев.

— Будь она проклята! — добавил Смирнов.— Надорвались! Еле втянули в вагон!

Алексеев сдвинул с площадки мне на руки чемодан, и я почти уронил его на платформу. Неподъемный!.. Второй чемодан стаскивали вдвоем с Грибачевым; при этом он едко шепнул мне:

— Еще неизвестно, кто над кем будет потешаться.

И он был прав: я уже про себя хохотал, с трудом волоча к машине один из чемоданов: «Сам заварил, сам и хлебай...»

Приехали в Усух. Сергей Смирнов тут же дал ему определение: «Социализм минус электрификация». Задержались у амбара, оборудованного под магазин. В нем, кроме водки, черного хлеба и высохшей сельди, ничего не было. Зато на деревянном полу — гора соли грубого помола, высившаяся до самого потолка.

К моей досаде, Алексеев, зайдя в магазин, никакого внимания на соль не обратил, хотя подножье ее «террикона» начиналось прямо у прилавка. Миша стал покупать хлеб и водку. Тогда я, улучив момент, толкнул его на гору соли. Отступить было некуда, и он, потеряв равновесие, рухнул спиной на «террикон», раскинув руки. И только тогда понял, что он лежит на... соли!

Все мы хохотали до слез. Продавщица смотрела на нас с испугом: чокнутые!..

Но я еще не считал, что «расплата» с Алексеевым исчерпана, о чем предостерегающе сказал ему. Ведь пустые хлопоты Миши с покупкой и доставкой к черту на кулички двух набитых пачками соли чемоданов — ничто по сравнению с тем посмешищем, на какое он выставил меня с Нобелевской премией. Михаил Николаевич взмолился:

— А может, давайте кончать?! Меня тоже в свое

время не менее коварно разыгрывали! Помнишь, с Большим театром?

Я вспомнил! Заинтересовались этим и остальные члены нашей бригады рыбаков-спортсменов. Мы сидели в крестьянском доме за обедом, ели кроме привезенной с собой московской снеди картошку с черемшой которая росла вокруг Усуха на всех луговинах. Вначале пришлось рассказать предысторию того трагикомического события.

Когда мы редакторствовали с Алексеевым в Военном издательстве, он уже был автором нашумевшего романа «Солдаты», выдвинутого на Сталинскую премию. И вот премия ему была присуждена; на следующий день ожидалась публикация в газетах списка новых лауреатов. Выдвигался в том же году на премию и роман Евгения Поповкина «Семья Рубанюк», но был отклонен на заседании Комитета. Об этом откуда-то стало известно Сергееву-Ценскому, жившему в Алуште, и он дал срочную телеграмму Сталину с просьбой от имени всех крымских писателей включить в список лауреатов Поповкина. Сталин пошел на компромисс — позвонил ночью Фадееву и спросил у него, кто самый молодой из тех, кому присуждена премия. Фадеев назвал Алексеева, и Сталин сказал ему: «Алексеев еще напишет новые романы. Давайте заменим его Поповкиным», что и было сделано, хотя Фадеев уже успел поздравить Михаила Николаевича с лауреатским званием.

На второй день в газетах было обнародовано постановление Совета Министров СССР о присуждении Сталинских премий. В нем фамилии Алексеева не оказалось, зато был удостоен высокого звания наш друг, мой фронтовой редактор Евгений Ефимович Поповкин.

Все мы, воениздатовцы, искренне сочувствовали Алексееву. Но розыгрыши уже и тогда бытовали в нашей среде. Один старший редактор, выйдя в соседнюю комнату, позвонил Алексееву по телефону, назвался художественным руководителем Большого театра СССР. Он восторженно отозвался о романе «Солдаты», незаслуженно обойденном в присуждении Сталинской премии, и сказал, что в театре еще до этого было принято решение создать по мотивам «Солдат» оперу (или балет?). И попросил Алексеева принести в Большой театр пять — десять экземпляров своего романа.

По крестьянской простоте и откровенности Алексеев тут же, в нашем редакторском кабинете, похвалился о лестном для него предложении. Никому тогда не пришла в голову мысль, что это была неумная шутка, и мы чуть ли не стали просить у нашего коллеги контрамарки на будущую премьеру «Солдат» в Большом театре.

Там, в Усухе, на берегах древней Неруссы, мы в веселом застолье обговорили эту бывальщину, предали анафеме коварного старшего редактора, признали «моральный урон» Алексеева. А ситуацию с «присуждением» мне Нобелевской премии оценили как вполне позволительно-дружескую, учитывая, что меня вовремя предупредили не идти в ЦК и не шить фрака для поездки в Швецию... Вот так-то... И все равно Михаил Николаевич еще долгое время был настороже, ожидая с моей стороны непредвиденных подвохов.

19

Старая истина гласит, что после мудрости самый прекрасный подарок, сделанный судьбой людям,— это дружба. И тот, кто позволяет зарастать травой забвения пути дружбы, совершает непростительную ошибку...

Эту очевидность всегда настоятельно утверждал ныне покойный Закруткин Виталий Александрович. И утверждал в большей части не словами, а своими поступками. Впрочем, были у нас и разговоры по поводу того, что дружба может сложиться из обоюдного приятия вкусов, характеров, чувств, правил и оценок жизненных явлений. Но об этом мы размышляли как об отвлеченном понятии, не касающемся нас лично. Сейчас же мне кажется, что в тех наших суждениях было и некоторое взаимопрощаемое притворство, мы как бы сверяли свои взгляды на жизнь и, случалось, даже на отдельных наших друзей с качествами их характеров, поступков и степени одаренности. И вот это, последнее, когда в наших оценках брало верх самое положительное, что видели и ценили мы в своих друзьях, являлось главным, цементирующим и нашу дружбу.

Помню, вскоре после того, как уволился я из армии, Виталий Закруткин пригласил меня и Михаила Алексеева к себе в станицу Кочетовская отмечать его пятитидесятилетие. Алексеева удержала служба, а я, «свободный» офицер запаса, поехал.

Не буду описывать, как праздновался юбилей известного писателя; они, юбилеи, во многом похожи друг на друга. Но в нескольких словах расскажу о главных впечатлениях, живущих до сих пор в моей памяти, хотя они и не наполнены значительной событийностью.

После торжественного ужина с тостами и песнями в честь пятидесятилетнего казака-писателя мне было отведено место для ночлега в его кабинете-библиотеке. Проснулся я рано и, включив свет, стал интересоваться библиотечными книгами Виталия Александровича. Сразу же наткнулся на несколько изданных еще до революции томов Артура Шопенгауэра. Сознаюсь, что его писания мне были малоизвестны. Шопенгауэр в те времена отсутствовал в наших учебных вузовских программах, хотя и цитировался в отдельных трудах. Прочитав наугад некоторые страницы томов, я изумлялся не столько их содержанию, сколько форме полемики, например, с тем же Кантом, отрицавшей исследования его материалистических положений. Был поражен суждениями Шопенгауэра о воле как первичной сущности мира и условиях ее проявления, о человеческой жизни как цепи слепых случаев, о движущих мотивах человеческих поступков и их идеалов, о познании мира через страданья и т. д.

Словом, я впервые задумался над тем, что всматриваться в жизнь с ее первичными закономерностями, в судьбы человечества, не всегда слагающиеся в соответствии с его потребностями, давать чисто социальное оценки явлениям в обществе и многое другое можно совершенно по-иному, чем у нас было принято; оказывается, очень важно позволять своей мысли искать истину не только в логически доказуемом, но и в неразрешимостях, подчас нелепых противоречиях и парадоксах...

Закруткин застал меня в своем кабинете совершенно отрешенным от всего окружающего и очумевшим от знакомства с непривычной философией. А когда разглядел у меня в руках Шопенгауэра, расхохотался до слез: «Нашел, мол, что изучать на похмелье».

Потом он взял другой том и то ли наугад, то ли, хорошо зная расположение авторского текста, прочитал в нем нечто о дружбе, которая, по утверждению Шопенгауэра, «основывается на преследовании обоюдного блага, на общности интересов. Но пусть только интересы сделаются противоположными,— утверждал Шопенгауэр,— и прелестная дружба расторгается; ступайте искать ее в облаках».

Нет, я не приемлю наличие главного смысла истинной дружбы в толковании немецкого философа, ибо больше верю в абсолютно бескорыстную дружбу, даже без признаков общности интересов, но обязательно с общностью взглядов на прекрасное и дурное, на проявления человеческой жизни в поступках и привязанностях, на отношения к искренности и притворству. Но меня озадачил глубокий, пусть и метафорический, смысл слов Шопенгауэра: «...Ступайте искать ее в облаках». Эти неожиданные слова дают простор размышлениям о дружбе, раскрепощают привычные границы суждений о ней... Дружба — не только выражаемые в словоизлияниях человеческие чувства, но, что самое главное, в конкретности поступков.

В тот же день Виталий Закруткин подтвердил сии, может, туманные суждения именно непредвиденными своими поступками.

Напомню, что это была вторая половина марта. На Дону — распутица. Вечером Закруткин, надев резиновые сапоги, провожал меня к теплоходу на Кочетовскую пристань. Теплоход уже приближался к причалу, и я стал благодарить Виталия Александровича за гостеприимство. Нечаянно у меня вырвалась фраза:

— Жалко расставаться, не наговорились.

— И мне жалко! — ответил Закруткин. А потом вдруг повернулся к своему недалекому дому, где стояла на крыльце и смотрела нам вслед Наталия Васильевна — жена Закруткина — и повелительно крикнул ей:

— Наташа! Неси, дорогуша, мне хромовые сапоги. Я тоже поплыву в Ростов, провожу Ваню.

Наталия Васильевна знала, что перечить ее мужу было бесполезно, и тут же принесла на пристань сапоги.

Утром мы проснулись в Ростове. На речном вокзале нас встречал полковник Закруткин Евгений Александ-

рович — брат Виталия. Он держал в руке свежий номер «Литературной газеты», в которой, как оказалось, была напечатана огромная статья, посвященная пятидесятилетию Виталия Закруткина. Ее автор — Михаил Алексеев!..

А когда приблизилось время отправляться мне в аэропорт, чтоб лететь в Москву, Виталий Александрович вдруг сказал:

— Ваня, я на полпути не оставляю друзей. Провожу тебя до Москвы!..

Как же были изумлены моя жена Тоня и Михаил Алексеев, встречавшие меня во Внуковском аэропорту, увидев рядом со мной озорно улыбавшегося Закруткина в лихо заломленной папахе и серо-голубой шинели.

Вот таким был в общении с друзьями Виталий Александрович.

20

Однажды позвонил мне главный редактор «Огонька» Софронов Анатолий Владимирович, с которым меня познакомил несколько лет назад его заместитель по журналу Михаил Алексеев.

— Ваня, ты знаешь, что Миша меня покидает? — спросил он.

— Знаю,— ответил я.— Алексеева избрали на съезде секретарем Союза писателей РСФСР, и Леонид Соболев зовет его к себе рабочим секретарем.

Соболев, возглавивший тогда (в 1965 году) Союз писателей Российской Федерации, уговорил Алексеева стать «вторым лицом» в Правлении. Михаил Николаевич согласился занять новую должность, а на свое место в «Огоньке» посоветовал Софронову пригласить меня.

— Скажи откровенно,— стал допрашивать меня Анатолий Владимирович,— у тебя были партийные взыскания?

— Не было.

— А почему тебя уволили из армии?

— По моей просьбе... После седьмого рапорта начальнику Главпура,— спокойно ответил я, уже зная от Алексеева причину задаваемых мне вопросов.— В кадрах армии не приживаются писатели. Слабо щелкают каблуками перед начальством.

— Можешь приехать сейчас в «Огонек»? Для серьезного разговора.

Минут через сорок я уже сидел в служебном кабинете Софронова.

— У тебя в ЦК есть знакомства? — задал он мне многозначительный вопрос.

Я не успел ничего ответить, как в кабинет вошли Михаил Алексеев и Борис Иванов — давний и весьма надежный «огоньковец» (тоже заместитель главного редактора).

— Ваня, здесь все свои, Отвечай на мои вопросы откровенно.

— Насчет знакомств в ЦК? — переспросил я.— Знаю секретаря ЦК Ильичева Леонида Федоровича, помощника Хрущева по сельскому хозяйству Шевченко и помощника по литературе Лебедева.

— Стоп! — Софронов прихлопнул ладонью по столу.— В какой мере знает тебя Ильичев?

— Ехал с ним в его машине на рыбалку в запретную зону на Учу. У меня не было туда пропуска, и Грибачев, когда машины с рыбаками собрались против Моссовета, у памятника Долгорукому, усадил меня в чей-то ЗиМ. Я тогда понятия не имел, в какой оказался компании.

— Давай подробнее,— попросил Софронов, окинув веселым взглядом сидевших в его кабинете писателей.

— Приехали на Учу, спустились на лед, стали сверлить дырки... А на зимней рыбалке все похожи друг на друга — в валенках, меховых костюмах, шапках-ушанках. Расспрашивать, кто есть кто, не принято. А когда уселись на рыбацких ящиках в кружок обедать, начали травить анекдоты. Я стал рассказывать о проделках Кузьмы-лунатика — героя моего романа «Люди не ангелы», а Ильичев вдруг перебивает: «Я читал это в книге Стаднюка». Тогда Грибачев и раскрыл меня, как автора этой книги. Ну, заинтересовались, Леонид Федорович тут же подарил мне катушку западногерманской лески, наговорил много добрых слов...

— Как ты думаешь, Грибачев не мог бы позвонить Ильичеву, чтоб он поддержал назначение тебя моим заместителем? — спросил Софронов.

— Нет, это не в правилах Грибачева,— ответил я. — Да и сам не люблю протекций.

— Понимаешь, ты не в номенклатуре ЦК,— стал оправдываться Софронов.— И я боюсь, что пришлют нам «номенклатурщика», а он ни ухом, ни рылом в журналистике...

Предсказания Софронова сбывались. Посланная им в ЦК бумага-«объективка» с предложением назначить меня в «Огонек» не «сработала»: предлагались на пост заместителя главного редактора другие кандидатуры.

Но вскоре произошло одно важное событие: секретарь ЦК по идеологии Петр Нилович Демичев собрал в своем кабинете группу писателей для разговора о некоторых проблемах литературы. Помню, были там Соболев, Михалков, Софронов, Алексеев, Поповкин... Когда разгорелась дискуссия, попросил слово и я, чувствуя себя в «выигрышном» положении: дело в том, что я только что завершил работу над второй книгой романа «Люди не ангелы» и проблемы села буквально кричали во мне. Без всякого дипломатничания я заявил, что создание двух обкомов партии и двух облисполкомов (промышленных и сельскохозяйственных) серьезно ухудшило положение в стране, хотя бы потому, что промышленность, работающая на сельское хозяйство, неотъемлема в управлении ею от проблем земли. И поставил перед всеми вопрос:

— К сфере какого обкома отнести сахарные, плодоконсервные, спиртоводочные заводы, мясокомбинаты? Ведь они работают на том, что рождает земля. А как можно отучить от земли суперфосфатные заводы или авторемонтные, выполняющие заказы колхозов и совхозов?.. Ведь есть еще и совнархозы, и отраслевые министерства. А теперь в дополнение к ним — два обкома?!.. Это сколько же дармоедства в государстве?!

Это, конечно, была дерзость с моей стороны: произносить такую крамолу в ЦК небезопасно. И писатели глядели на меня со страхом. А я, как говорят, закусил удила:

— Сколько можно терпеть грабительскую практику, когда колхозам и даже целым районам после выполнения ими государственных планов по сдаче хлеба, свеклы, мяса, молока, яиц, навязывают дополнительные — «встречные» и «поперечные» — планы, чтоб область в целом выглядела из цековских кабинетов «благополучной»... Крестьянам вручили акты на вечное пользование землей, а хозяйничать на ней не дают, командуют, что,

сколько и где сеять, а чего не сеять, какую скотину разводить, а такую не разводить. В итоге колхозники в конце года получают дырку от бублика. А тут еще нашлись умники и обкорнали их приусадебные участки, заставили крестьян продать в колхозы своих коров... Теперь у них ни коров, ни обещанного молока нет... И убегают селянские дети в города...

Когда же я заговорил о нашей безмерной щедрости в помощи другим государствам, будучи сами нищими, Петр Нилович деликатно остановил меня:

— Мы уклоняемся от главной темы...

Другие выступающие, словно сговорившись, стали развивать те мысли, которые высказал я.

Многое забылось. Помню только, что Демичеву, человеку умному и интеллигентному (у меня с ним будет еще не одна встреча), пришлось нелегко суммировать все то, что наговорила писательская братия в его кабинете. Прощался он со всеми нами пожатием руки. А когда я подошел к нему, рядом вдруг оказался Софронов и сказал:

— Петр Нилович, я рекомендую Стаднюка своим заместителем в «Огонек». Поддержите, пожалуйста.

— Поддерживаю,— без колебания ответил Демичев.

Так я стал заместителем главного редактора журнала «Огонек», проработав на этом посту семь лет.

Работа в «Огоньке» забирала много сил и времени. Но была она мне по душе не только потому, что каждую неделю выходил журнал, в котором виделись и мои труды. Главное — я почувствовал себя на орбите конкретных литературных дел, отвечая за публикуемые повести и рассказы, стихи и литературоведческие статьи. Номера «Огонька» мы вели поочередно с Борисом Владимировичем Ивановым, работая в дружбе и согласии; я многое перенимал из его богатого опыта. Было также приятно, что непрерывно расширялся круг моих друзей и знакомых. Многим я стал нужным, и пусть иногда ощущал «горчинку» в этой кому-то нужности, но и было чувство удовлетворенности.

Однако личные мои творческие замыслы не угасали. Очень хотелось, чтоб роман «Люди не ангелы», посвященный Украине, был издан в Киеве. Но, как сообщала мне «разведка», там роману был поставлен железный заслон сразу же после его выхода в свет. Секре-

тарь по идеологии ЦК партии Украины А. Д. Скаба трижды, когда вставал вопрос об издании «Людей», произносил одну и ту же сакраментальную фразу: «Что позволено Москве, то не обязательно Украине». И все-таки в 1965 году первая книга романа увидела свет на украинском языке, но только после того, как была опубликована в «Роман-газете».

А меня подогревал для дальнейшей работы обрушившийся шквал писем — откликов на роман. Особенно интересны были послания от украинцев, живущих в других странах — Канаде, США, ФРГ, Словакии. Весьма интересным показалось более позднее письмо из Бруклина от Н. Осыньской. Предлагаю его вниманию читателей в моем переводе с украинского.

23 октября 1967 года. Бруклин, США

Дорогой земляк!

Прочитала я Вашу повесть «Люди не ангелы», и захотелось мне больше узнать о Вас что Вы за человек, что за писатель, почему до сих пор не писали ничего о Вашем творчестве в украинской критике как украинского писателя. В биографической справке, которая сопровождает повесть, написано так невыразительно, что трудно было сложить полное о Вас представление. Обратила я внимание на то, что Вы пишете интенсивно: за 10 лет написали 6 повестей. Но меня сбила с толку последняя фраза: «Член Союза советских писателей»,— почему не сказано «Украины»?

Тот факт, что повесть «Люди не ангелы» — перевод с русского языка, еще всего мне не сказал. Ведь вообще известно, что в России цензурные ограничения намного меньше, чем на Украине, и я подумала было, что это Вы сначала издались на русском, чтобы затем издаться и на родном украинском языке. Так когда-то сделала писательница Тулуб с романом «Людоловы»: когда на Украине это произведение побоялись разрешить, она издала его в России, а затем оно вышло и на Украине на украинском. Эта догадка тем более была возможна потому, что Ваша повесть очень смело написана и для нее нужно было разрешение, если, может, не самого Хрущева, то, во всяком случае, наивысших политических руководителей Советского Союза. Так правдиво о советской действительности до сих пор могли писать только наши эмигрантские писатели,— советские боялись. Не зря ее перевели и издали в Англии на английском языке: в вольном мире какого-нибудь хлама не будут издавать. А Вы же написали не только правдиво, но и талантливо!

Искала я о Вас информацию в Украинской энциклопедии, в справочниках об украинских писателях — нигде про Вас ни малейшего воспоминания! И наконец услышала о Вас правду из уст поэта В. Коротича, когда он был в Нью-Йорке. Коротич сказал (на мой вопрос, который слышали 200 украинцев в зале круглого сто-

ла): «Стаднюк — украинец, но пишет по-русски». Это всех ошеломило. «Как? — удивлялись люди.— Это же не пора Гоголя, когда украинская литература не имела никакой перспективы, а пятый десяток лет после Октябрьской революции, когда украинская литература стала на весь мир известна?!»

Неужели и сейчас возможны такие оборотни, как Гоголь?! Но Гоголя все таки оправдывали исторические обстоятельства, а Вас... исторические обстоятельства могут только осудить! Долго и горько говорили о Вас люди, а я горько заплакала. Вот такой талант — и утраченный для украинского народа! Потом мне захотелось написать Вам, излить жалость, но я не имела адреса. И вот как-то в нашей газете «Свобода» промелькнуло упоминание, что Вы — один из редакторов «Огонька». Теперь мне ясно: Вас подкупили таким высоким положением, Вы соблазнились на славу у чужого народа! Больно это констатировать и хочется обратиться к Вам и просто сказать: «А может быть, Вы еще вернулись бы к своему народу? Вы же еще молодой! И Украину любите, как это видно из Вашей повести. Читайте великого Кобзаря, и Вам станет ясно, что Вы делаете!

Н. Осыньска*

Письмо заокеанской украинки меня, конечно, взволновало, повергло в размышления и немножко рассмешило. Раньше мне и в голову не приходило, что я могу в чьих-то глазах выглядеть предателем украинского народа хотя бы потому, что с ранней юности избрал себе профессию военного человека. Но почему военного? Не потому ли, что моему детству и моей юности на Украине сопутствовали голод, нищета и даже в малой мере не светили перспективы получить высшее образование?.. Армия же обувала, одевала, кормила и давала неограниченную возможность учиться. Наверное, и поэтому, хотя никак нельзя исключить и жившую тогда в сердцах молодежи страсть к какой-то романтике, которая наиболее ярко виделась в военной службе, особенно в авиации и на флоте. Газетным же работником мне посчастливилось стать случайно...

А то, что я соблазнился «на славу у чужого народа» — горькое заблуждение госпожи Н. Осыньской. Верно, что крохотную славу принес мне роман «Люди не ангелы». Но ведь он увидел свет именно благодаря «чужому народу», хотя каждая его страница пронизана моей болью об Украине. Литературная же критика Украины безмолвствовала по поводу выхода первого рома-

* Обратный адрес: N. Osynska, 555, Pine St...Brooklun, 914. USA.

на, повествующего о ее, Украины, страшных временах, в том числе о голоде и репрессиях,— это признает в своем письме и госпожа Осыньска.

Впрочем, русская критика тоже не очень баловала своим вниманием «Людей не ангелов». Зато роман последовательно выдвигался на литературные премии — Ленинскую, Государственную и республиканскую имени Горького, хотя они мне не «светили». Правда, за присуждение «Людям не ангелам» премии имени Горького проголосовало большинство членов комитета. Но под самый «занавес» из отдела культуры ЦК принесли председателю Комитета по присуждению премий записку с требованием непременно присвоить лауреатское звание прекрасному поэту Калмыкии Давиду Кугультинову... Не выполнить распоряжение Старой площади было нельзя, и началось переголосование... Как всегда в подобных ситуациях, проигрывают Иваны... Но к Давиду претензий я не имел: своей поэзией и своей судьбой он заслужил даже непомерно большее. И благодарен ему: со временем он нашел возможным высказать мне свое дружеское сожаление, что невольно стал причиной моего «поражения».

Ну, а вопрос пани Н. Осыньской: «Неужели и сейчас возможны такие оборотни, как Гоголь?!» — это никак не умственная кокетливость и словесное щегольство, а «жемчужина» ее эпистолярного творчества. Назвать великого Гоголя, чьи произведения стали духовным достоянием всего просвещенного мира, оборотнем, это кощунство. Мне бы тысячную толику его художнической силы!..

Фраза: «Неужели и сейчас возможные ТАКИЕ оборотни...» удерживала меня от того, чтоб прочитать письмо кому-либо из своих друзей. Ведь эта фраза давала хороший повод для зубоскальства. Да и меня самого веселила она глобальностью несоответствия в сопоставлении.

Но надо было что-то ответить уважаемой пани Осыньской. И я все-таки решил посоветоваться с друзьями. Когда однажды в «огоньковском» кабинете Анатолия Софронова собрались по какому-то поводу Евгений Поповкин, Аркадий Первенцев, Борис Иванов, Николай Кружков, я дерзнул: попросил Поповкина, знавшего украинский, прочитать адресованное мне из Бруклина письмо. Как я и предполагал, фразы о Гого-

11 Заказ 1387

ле, как «оборотне», вызвали хохот. Но в целом к письму отнеслись с вниманием, а ко мне даже с сочувствием. Когда же я сказал, что размышляю над ответом, Софронов напомнил, что личные письма за рубеж подвергаются цензуре и, поскольку я еще и «номенклатурный работник», не лишне будет посоветоваться с заведующим сектором агитпропа ЦК, который главенствует над журналами, Иваном Петровичем Кириченко. Мое ответное письмо должно быть весьма дипломатичным: его наверняка напечатают в той же американской газете «Свобода».

Иван Петрович Кириченко — коренастый, чернобровый сибиряк с чистым, чуть румяным и улыбчивым лицом, подкупал своей открытостью, прямотой, четкостью суждений. У меня сложились с ним дружеские отношения с самого начала моей работы в «Огоньке». И сейчас будто вижу его доброжелательно-внимательный взгляд и слышу первые вопросы, когда заходил к нему в кабинет в здании на Старой площади: «Что нового?» — «Как дела?» — «В редакции спокойно?..»

Кириченко не любил предполагать, предпочитая знать точку зрения собеседника на тот или иной предмет. В разговоре с ним требовалась только истина. Притворство, неопределенные ответы, дипломатничанье он угадывал немедленно и становился хмурым, неприветливым. Я однажды испытал это на себе, уклонившись от оценки одной приключенческой повести, которая с продолжением печаталась в нескольких номерах «Огонька» при моем негативном отношении к ней. Ивану Петровичу откуда-то стало известно, что я резко высказался на редакционной летучке о состоявшейся публикации.

— А мне доложили, что вы ломали ребра этой повести,— резковато заметил Кириченко.— Надо было настойчивее добиваться ее отклонения.

— Я один перед большинством редколлегии бессилен. Да и автор больно именитый.

— Именитость автора и литературный уровень его конкретного произведения — вещи разные! — энергично и уверенно вразумлял Иван Петрович.— И уж если ваша точка зрения не получила поддержки в редакции, вы все рано не должны отказываться от нее, тем более в ЦК.

Наши оценки иных литературных новинок не всегда

совпадали, и это обостряло обоюдный интерес к нашим размышлениям вслух, к доказательствам без фразерства. Мне нравилось, что Иван Петрович противопоставлял отвлеченным суждениям конкретные понятия, не преднамеренно демонстрируя свое университетское образование. Учитывая все это, я решил, прежде чем идти в ЦК с полученным мной письмом из США, написать на него ответ — чтоб была конкретность в дискуссии, если таковую навяжет Кириченко.

Предлагаю вниманию читателей мое письмо в Бруклин госпоже Н. Осыньской в несколько сокращенном виде:

Добрый день, далекая землячка!

Адресую эти строки Вам и членам Украинского клуба в Бруклине.

Ваше письмо меня взволновало и обидело. Но постараюсь ответить спокойно. Полагаю, что Вы хороший человек и обидели меня нечаянно, приняв во внимание маловразумительный ответ поэта В. Коротича на Ваш вопрос обо мне, а главное, что Вы имеете очень смутное представление о жизни нашей великой многонациональной страны

Конечно же нелепо и необъяснимо, если человек вскормлен и вспоен украинской землей, знает родной язык, **поднялся как художник слова среди своего народа**, и вдруг начинает писать не на родном языке, а на родной его переводят уже другие литераторы...

Но все это ни в какой мере не относится ко мне. И прошу не воспринять мой ответ как попытку оправдаться. Оправдываются виноватые, а я ни в чем не виноват перед родной Украиной, хотя живет в моем сердце боль оттого, что время от времени приходится вот так объясняться.

Кратко о себе. В 1939 году, после окончания украинской десятилетки, я ушел в армию и, став офицером, прослужил в ней двадцать лет (в том числе война: от первого и до последнего дня — на фронте). В армии стал журналистом и до увольнения в запас работал в военной печати. В нашей армии употребляется при исполнении служебных обязанностей только один язык — русский. И, естественно, двадцатилетняя журналистская работа, писание на русском языке, учеба в русских вузах, привели к тому, что я стал хорошо знать русский литературный язык, а знание украинского обогатить не сумел. Тем более что родился я на Подолии, в селе, языковые особенности которого несколько своеобразны.

На этом можно было бы и закончить свое письмо. Но мне хочется чуть пространнее поразмышлять вокруг поставленных Вами вопросов.

Роман «Люди не ангелы» считаю своим пока что главным писательским прозрением, хотя и не сбрасываю со счетов свои военные произведения. Роман о деревне родился для меня неожиданно, как взрыв, как созревшая потребность рассказать о том, что видел и пережил в детстве и юности. Первую книгу романа писал в 1960—1962 годах. Конечно же с запасом украинских слов, которым обладал хлопчик из подольского села, я ничего серьезного не написал

бы. В моем представлении писатель — это звучащая человеческая совесть, выражающая боль и радость, любовь и ненависть, все то сложное, трудно передаваемое, что складывается из взволнованной мысли и ощущений сердца. И хотя человеческие чувства, людская совесть не укладываются в языковые рамки, все-таки они неотделимы от мысли, основную плоть которой составляет язык.

Итак, мысль и слово.. Жизнь моя сложилась таким образом, что они в философском и художественном значении зазвучали во мне по-русски и не хватило у меня сил, а может, и мужества преобразить и обновить языковую основу своего внутреннего мира. А двух жизней, к сожалению, никому судьбой не уготовано.

Далее. Я не знаю, по какому поводу писала Ваша газета «Свобода» обо мне как заместителе главного редактора журнала «Огонек». Но меня очень поразил своей неожиданностью ход Вашей мысли. Вы полагаете, что «меня подкупили таким высоким положением».

Мне легче всего сообщить Вам, что все мои книги, в том числе и «Люди не ангелы», написаны задолго до того, как меня пригласили сотрудничать в «Огоньке» (в журнал я пришел в 1965 году). Но тут есть другая сторона вопроса. Почему Вы не задумались над тем, что в самом популярном в СССР журнале «Огонек», издающемся на русском языке, работает на таком высоком посту украинец? И не только в «Огоньке»: могу привести сотни примеров. Да что там другие примеры! Сам президент Советского Союза — украинец. Министр обороны — тоже *. Вдумайтесь во все это!

Вы упрекаете меня, что я «прельстился на славу у чужого народа»... Ох как же Вы далеки от понимания нашей советской действительности! Во-первых, ни один народ в СССР не считает русский народ чужим для себя. И украинский народ этого не считает.

Живя среди братского русского народа, я никак не чувствую себя оторванным от своего украинского народа. За последние годы на Киевской студии имени Довженко поставлены по моим сценариям два художественных фильма в комедийном жанре: «Артист из Кохановки» и «Ключи от неба». Сейчас в Винницком музыкально-драматическом театре идет моя пьеса, написанная мной на украинском языке по мотивам романа «Люди не ангелы». В этом году я перевел с украинского на русский язык и издал в Москве роман Миколы Зарудного «На белом свете»...

Перееду ли на Украину? Не зарекаюсь, все может быть. Ибо действительно ощущаю боль и вину, да и замечаю, что русская литературная критика не очень балует меня своим вниманием. Роман «Люди не ангелы» не раз выдвигался на литературные премии, но увы... Однако в Москве чувствую себя как дома. И, повторяюсь, не считаю русский народ чужим для себя и для Украины...

Двадцать лет я живу в Москве, и ни единого разу никто мне не дал понять, что я инородец. В Москве продаются книги на украинском языке, а в Киеве, рядом с украинскими книгами соседствуют русские. Мои «Люди не ангелы», например, уже изданы на русском языке тиражом около 4,5 миллиона экземпляров. И каждый экземпляр книги (Вы сами сознаете) — это песнь Украине, песнь, которая звучит от Карпат до Курильской гряды.

Я, конечно, очень сожалею, что мое творчество находится вне

---

* Речь шла о Н. В Подгорном и Р. Я. Малиновском.

поля зрения украинской критики. Посылаю Вам 2-ю книгу романа «Люди не ангелы», прочтите предисловие к ней видного советского литературоведа и критика Юрия Барабаша, кстати, тоже украинца. И посылаю № 41 журнала «Огонек», который посвящен Украине. Там есть и мой очерк «Любовь моя и боль моя» с искренним выражением моей сыновней любви к родной Украине.

Желаю Вам счастья.

Иван Стаднюк. Ноябрь, 1967 года.

Но разве хватит слов, чтоб в одном письме незнакомому человеку выразить все мои чувства к родной Украине, ее песенному характеру, ее веселым и работящим людям, ее великой истории — героической и трагической? Сколько видела и пережила украинская земля, сколько впитала в себя людской крови, скольким сыновьям и дочерям своим даровала бессмертье! А украинская литература в ее исторической совокупности! Она дорога и близка мне, как близка мать или родная хата, в которой родился и вырос. Эту любовь и близость к украинской книге я впервые ощутил, может, в те далекие годы, когда еще детским умом понял, что усатый строгоглазый дядька на портрете, висевшем в нашей горнице рядом с образами (то был Тарас Шевченко), имеет отношение к «Кобзарю» — удивительной книжке, над которой то плакала, то пела моя родня. А может, тогда, когда я подростком переступил в Виннице порог домишки, в котором родился Михайло Коцюбинский, и когда впервые смутно начал понимать, что писатели — это ведь обыкновенные люди, но умеющие острее других различать добро и зло, глубже ощущать любовь и ненависть...

Да, именно украинская книга, как и далекое школярство, перемежавшееся с пастушеством, явились началом и побудительной силой моей литературной судьбы. Эту судьбу я нисколько не отделяю от украинской литературы, ибо в равной мере считаю себя как русским, так и украинским писателем. Именно поэтому с таким праздничным настроением всегда еду в Киев, где ждут меня радостные встречи с друзьями, с создателями тех книг, которые потрясают душу. Их много — друзей и книг. Дорогие, близкие лица всегда живут в моей памяти. Слезы закипают на глазах, когда вспоминаю, например, необыкновенной яркости и лирической чистоты роман Олеся Гончара «Твоя заря», испытываю восторг и удивление, вызываемые высоким ху-

дожническим искусством, которое возвращает и окунает тебя будто в собственную, давно отшумевшую жизнь... Люблю и воспринимаю всем сердцем драматургию и прозу недавно ушедшего в мир иной Миколы Заруднего, моего сердечного друга с довоенной студенческой поры. Я перевел на русский язык три его романа, и когда работал над ними, испытывал счастье, ибо каждый заруднинский персонаж интересен своей судьбой, характером и очень типичен для украинского крестьянства, ибо выхвачен из живой многотрудной жизни. Близки и дороги мне книги Александра Сизоненко, Ивана Чендея, покойного Василия Земляка, историческая проза Павла Загребельного... Всегда с радостным чувством, с изумлением первооткрывательства читаю высокую поэзию Бориса Олейника, Дмитра Павлычко, Миколы Винграновского, Лины Костенко, Ивана Драча, Павла Мовчана... Все они очень разные и именно в этой разности прекрасные — глубиной поэтичности, мудростью образов, мускулистостью и нежностью слова... А сколь талантливая литературная молодежь поднимается на просторах Украины!..

Нет, об Украине одним духом не скажешь, одной песней не споешь и всех слез не выплачешь.

21

Когда мое ответное письмо Н. Осыньской «сложилось» и было перепечатано, я позвонил по «кремлевке» Ивану Кириченко и попросил принять меня в удобное для него время.

— Есть проблемы? — задал мне вопрос Иван Петрович.

— Есть! Международного характера,— шутливо ответил я.— Получил послание из-за рубежа... Приготовил ответ. Надо, видимо, ваше благословение.

— Обязательно надо,— вдруг с суровыми нотками в голосе произнес Кириченко.— Я уже давно жду вашего звонка по этому поводу. Приезжайте сейчас, если можете... — И положил трубку.

Я был крайне озадачен: кто успел проинформировать Ивана Петровича? И зачем? Почему он уже недоволен и раздражен?.. Ведь ничего еще не читал?

Тут было над чем задуматься. Интуитивно я почувствовал какую-то угрозу для себя, хотя причин будто бы не было.

Встретил меня Кириченко сдержанно, сказав иронично после рукопожатия:

— С вами, писателями, не соскучишься. Сами ходите по минным полям и нас за собой таскаете.

— А как же иначе? — удивился я и, открыв папку, положил перед Иваном Петровичем бумаги.— Вы ведь руководители!

— Руководители ходят под руководителями,— многозначительно изрек он, взяв переведенное на русский язык письмо Н. Осыньской. И добавил фразу, прозвучавшую для меня загадочно: — А высшие руководители сами, к сожалению, нуждаются в руководителях...— Затем принялся за чтение письма.

Я видел, как рождалось изумление на гладко выбритом лице Ивана Петровича: брови взметнулись вверх, лицо и даже мочки ушей порозовели.

— Что это?! — И он нетерпеливо посмотрел на вторую страницу, где заканчивалось письмо и стояла подпись.— Я ждал совершенно другого!

У меня дрогнуло сердце: «Чего другого?..»

Кириченко нервно поправил под собой кресло и уже продолжал читать молча. На его молодом лице стала расплываться улыбка, временами он хмыкал себе под нос... Закончив читать, поднял на меня смеющиеся глаза и весело спросил:

— Так в чем же проблема?! Дамочке из-за океана понравился ваш роман, и она задает вам вполне нормальные, с ее точки зрения, вопросы.

— Вот именно: «с ее точки зрения».— Я почувствовал неловкость.— А теперь прочитайте мою «точку зрения».

Иван Петрович взял мое письмо и прочитал его до обидного быстро: мне показалось, что не очень внимательно.

— Нормальный ответ, хотя чувствуется перебор в самооправданиях. Зачем? Не много ли чести?

— Нет, не много. Там у них это — больной вопрос. Тем более что Виталий Коротич подкинул дровишек в национальный костерок.

— Может, вы и правы... Но при чем тут ЦК? Ваше личное дело — отвечать на письмо или не отвечать.

— Но вы же сами сказали мне по телефону, что ждете моего визита. Да еще упрекаете за «хождение по минному полю».

— Верно, говорил. Но я имел в виду другое.— Кириченко поднялся из-за стола, подошел к железному сейфу и взял в нем тонкую папочку.— Неужели не знаете о скандальной статье в болгарской газете «24 часа»? — Усевшись за стол, он открыл папку.— Статья от двадцать девятого ноября прошлого года.

Мне вспомнился уже полузабытый телефонный разговор с Софией. Переводчики моих книг на болгарский язык Мария и Александр Вазовы, с которыми мы подружились семьями, с радостью сообщали, что вторая книга (как и первая) романа «Люди не ангелы» обратила на себя внимание болгарской прессы и была раскуплена читателями за несколько дней. Им, как переводчикам, это весьма приятно, и они просили без промедления присылать все, что я напишу еще. Тогда я не придал особого значения этому разговору; во всяком случае, он меня ничем не встревожил. А сейчас Кириченко протянул мне две страницы машинописного текста, спросив при этом:

— Валидол есть?

— Есть. Всегда ношу при себе.— И я стал читать переведенную с болгарского статью, в которой после двойного перевода не очень точно, но верно по существу цитировалась вторая книга моего романа «Люди не ангелы»:

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК»,—ПИШЕТ АВТОР ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО АНТИХРУЩЕВСКОГО РОМАНА.

Ты можешь осуществлять любые планы, какие хочешь, но только при условии, что мой дом будет стоять в моем фруктовом саду, а мне, чтобы выйти во двор, не нужно будет слазить на землю по лестнице. Не хочу я, чтоб меня отрывали от земли». Эта цитата дает представление о тоне первого антихрущевского романа, вышедшего в СССР. Его заглавие — «Люди не ангелы». Его автор — украинский писатель Иван Стаднюк, уже ранее написавший мрачную картину положения крестьян в России в период сталинской коллективизации до второй мировой войны. Партия изменила тактику после смерти диктатора, но жизнь русских крестьян осталась такой же тяжелой. Хрущев, полный добрых намерений увеличить урожайность, вовлек в переселение русских землевладельцев под лозунгом индустриализации сельского хозяйства. Как говорил Хрущев, чтобы достигнуть этой цели, нужно было оторвать крестьянина от его собственного дома и его земельного участка и помес-

тить в большой коллектив, идентичный рабочему индустриальному центру. Бывший хозяин России думал стимулировать этим рабочее рвение советских крестьян. После него крестьяне, которыми якобы овладели эгоистические настроения, выразившиеся во владении своим домом и садом, быстро увеличат урожайность земель, предназначенных для коллективной обработки.

До романа Стаднюка на Западе не замечали серьезности психологической вины Хрущева перед русскими крестьянами. Сельское хозяйство пришло в упадок, потому что крестьяне были в тяжелом положении. Беспорядок, возникший в связи со слиянием сельского населения с пролетариатом, выразившийся в создании «агрогородов», понизил жизненный уровень крестьян. Одна из заслуг автора — признание необходимости индивидуальных земельных участков, которые являются залогом хорошей жизни крестьян. Во времена Хрущева резко понизился жизненный уровень крестьян, что вызвало их недовольство и исчезновение профессионального сознания.

В своем романе Стаднюк показывает также беспорядки, связанные с решением Хрущева разделить обкомы партии на сельскохозяйственные и промышленные, чтобы усилить роль главы партии. Прочитав роман «Люди не ангелы», представляется, что эта реформа внесла дополнительный беспорядок и непонимание.

«24 часа», 29.11.65.

— Ну как, довольны? — со смешинкой в голосе спросил Кириченко, увидев, что я закончил читать статью и задумался.— И болгары считают вас украинским писателем.

— Доволен,— со вздохом ответил я.— Но они в этой статейке затронули только одну из обочин романа. Разве с такими мерками подходят к оценке художественного произведения?

— Чуть раньше — и этих «обочин» вполне хватило бы для исключения из партии вас и редактора журнала «Нева» Воронина, который напечатал «Люди не ангелы». Хорошо, что статья попала ко мне, да и роман я успел прочитать. Худо было бы! У Хрущева рука тяжелая...

— А сейчас как? — я указал глазами на статью.

— Сейчас надо закрыть «Дело». Распишитесь, что я ознакомил вас с ним...

22

Отправил я письмо Н. Осыньской в Бруклин. Надеялся, что они там в своем украинском клубе прочтут его за круглым столом и, воз-

можно, последует мне новое послание из-за океана. Было любопытно, как воспримутся американскими украинцами мои суждения и доказательства. Но Бруклин не откликался...

А у меня появились заботы более серьезные: готовились самые крупные после Великой Отечественной войны войсковые учения «Днепр» с участием Белорусского, Прикарпатского и других военных округов (Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Войск противовоздушной обороны и Воздушно-десантных войск). Мне было поручено представлять на них «Огонек»; работали мы в паре (отдельно от других корреспондентов) с Николаем Матвеевичем Грибачевым — главным редактором журнала «Советский Союз». Нам предоставили вертолет и дали разрешение появляться в штабах и войсках двух противоборствующих сторон — «восточных» и «западных», разумеется, взяв с нас обязательство держать в тайне замыслы «противников» (друг от друга).

О ходе учений я подробно рассказал на страницах «Огонька» (как и о последующих учениях «Двина» и «Братство по оружию»). Здесь же только вспомню о потрясшем нас форсировании огромным количеством войск Днепра. На наших глазах, в течение одного часа, через могучую, широкую реку было построено несколько наплавных мостов, по которым одновременно прошли железнодорожные эшелоны, колонны танков, автомобилей, артиллерии на гусеничной тяге, ракетных и минометных установок... Мы, бывшие фронтовики, увидели на учениях совершенно другую армию, оснащенную сказочно-грозной техникой. Трудно было предположить, сколь огромные средства тратит наше государство на оборону страны. Поражали своей высокой культурой, образованностью, военной подготовкой офицеры и генералы. Сколько же светлых голов в наших войсках!..

Запомнился один курьезный случай, о котором тогда в печати рассказывать не разрешалось.

Командование «восточного» фронта в разгар учений приняло решение выбросить в оперативной глубине в нескольких районах крупный воздушный десант. За многие сотни километров, из неведомых глубин нашей территории, устремились к местам высадки армады военно-транспортной авиации маршала Н. С. Скрипко. На борту самолетов — крупное авиадесантное соединение войск генерал-полковника В. Ф. Маргелова.

Представьте себе необозримо-обширный луг с редкими копнами сена. На его кромке, с подветренной стороны, были построены на недалеком расстоянии друг от друга две вышки для наблюдения высадки десанта. Вышки были похожи на гигантские, в трех-четырехэтажный дом, этажерки. На их полках — междуэтажных перекрытиях — места для многочисленных корреспондентов, всевозможных гостей, генералов и офицеров, не занятых в учениях. На самом верхнем этаже левофланговой «этажерки» собрался высший генералитет во главе с министром обороны Маршалом СССР А. А. Гречко. С ним — министры стран — участниц Варшавского договора.

Мы с Грибачевым в гуще корреспондентов наблюдали со второго этажа вышки, как наступление прикрывалось с неба истребительной авиацией, а места высадки тщательно обрабатывались бомбардировщиками. Появляются первые самолеты-транспортники; все небо, сколько видит глаз, расцветает белыми куполами. Но это выбросились только разведчики и комендатура десанта... Потом в небе появляются тяжелые самолеты, несущие в своих чревах бронетранспортеры, самоходные пушки, платформы с машинами и различной боевой техникой. И вот флагманский самолет прямо над вышками. Из-под его брюха вываливается темный предмет и несется к земле. Мы следим за его падением, ожидая, когда раскроются парашюты. Слышим нарастающий свист и различаем, что падает бронетранспортер. Но парашюты не раскрываются, и... тяжелая машина, опутанная стропами парашютов, врезается в нескольких десятках метров от нашей «этажерки» в землю и загорается. А над нами — многие десятки транспортников, и из каждого уже сброшена техника — с воем падают темные платформы.

Нервы у людей не выдерживают. Каждый, видимо, подумал про себя: если не раскрылись парашюты первого бронетранспортера, то где гарантия, что раскроются у других. И все стремглав кинулись к лестницам. В выигрышном положении оказались те, кто был на первом этаже. Они перепрыгивали через борты и во всю прыть убегали подальше от места десантирования. По лестницам же с верхних этажей мы скатывались буквально кубарем.

Но опасность миновала. Отбежав от вышки, мы уви-

дели, как ветер относил огромнейшие парашютные системы с тяжелыми грузами на раздолье луга.

А как министр обороны со своей свитой и гостями?.. С самой верхотуры вышки им убегать уже не имело смысла. И они окаменело оставались на своих местах, проявляя выдержку и мужество.

С чувством неловкости и посмеиваясь друг над другом, мы возвратились на свои места. Правда, Грибачев похвалился, что не покидал вышки, когда всех обуял страх. Я имел неосторожность высказать ему недоверие, за что выслушал в свой адрес сердитый критический заряд. А ведь я удирал вслед за ним...

После выброса техники снижались на парашютах командование дивизии и воздушно-десантные батальоны. В эти минуты мы имели удовольствие наблюдать в бинокли и в стереотрубы, как вышедшие по чьему-то разрешению на простор луга фотокорреспонденты и кинооператоры с проворностью зайцев увертывались от падавшей с неба техники, а затем от парашютистов.

На следующий день были свидетелями еще более мощного авиадесантного удара «восточных» в районе узлов шоссейных и железных дорог, по которым «западные» совершали маневр фронтовыми резервами. Крупнейшее десантирование прошло без происшествий.

После учений «Днепр» мы с Грибачевым написали о нем сценарий к полнометражному документальному фильму, который со временем вышел на экраны под названием «Служу Советскому Союзу!». Фильму и его создателям была присуждена Государственная премия СССР. Из списка лауреатов исключили только сценаристов — по той причине, что Николай Грибачев уже до этого был награжден Ленинской премией за участие в публицистической книге «Лицом к лицу с Америкой». А Иван?.. Как всегда — Иваны вынуждены отмалчиваться.

23

Возвратившись с учений «Днепр», я был уверен, что застану дома письмо от пани Н. Осыньской. Все-таки интересно было узнать реакцию на мою «исповедь» заокеанских соплеменни-

ков. Но надежда не оправдалась, вдруг вызвав у меня вопрос: а дошло ли письмо до адресата? Трудно было предположить, что нашей цензуре оно могло показаться крамольным и она задержала его. Не хотелось верить и в наш «железный занавес», о котором непрестанно писала западная пресса. Казалось невероятным, что в СССР в самом деле существуют такое бесправие человека, его беспомощность перед какими-то тайными механизмами государства. Кому могло повредить мое письмо? Кто и на каком основании смел заподозрить дурное в моих, изложенных на бумаге, мыслях?.. Спросить не у кого, и ощущение своей полной беспомощности оскорбляло и унижало.

Нет, верить в нахлынувшие сомнения не хотелось. Кому же еще, как не мне, полковнику-фронтовику, члену партии с 1940 года, литератору, занимающему весьма высокий, как мне казалось, «номенклатурный» пост, можно оказывать доверие? А как тогда поступают с перепиской родственников, просто друзей, наконец — наших видных писателей с зарубежными издателями?

Прошло время, и сомнения мои, к великой печали, подтвердились... Пусть извинит меня читатель, что я позволяю себе включать в свои воспоминания некоторые письма, хранящиеся у меня (я мог бы составить из них много томов). Это же письмо — одно из особо примечательных. Но судите сами...

Г-жа Банин,
ул. Лористон, 40
Париж-16°

Париж, 19 июля 1968 года

Г-ну Ивану Стаднюку
Главному редактору журнала «Огонек»
Москва.

Уважаемый господин!

Нам бы очень хотелось получше познакомиться с Вашим творчеством, которое мы знаем здесь, в Париже, частично и которое мы высоко ценим.

В связи с возможным переводом на французский язык не могли бы Вы прислать нам одну или несколько книг, которые, как Вы считаете, более всего подходят французской публике. Само собой разумеется, что я не могу гарантировать перевод: решение об этом зависит от издателя.

Представляю себя в нескольких словах: я французская писа-

тельница, по происхождению азербайджанка. В Париже мои книги были опубликованы у крупнейших издателей: Галлимар, Жюллиар, Сток. Естественно, я хорошо говорю по-русски, но пишу вам по-французски, потому что у меня нет пишущей машинки с русским шрифтом.

Я хорошо знала Бунина, о котором я написала книгу. Надеюсь, что она выйдет в этом году. Этот писатель, конечно, высоко бы Вас оценил.

Поскольку я работаю редактором и переводчицей в издательстве Сток, я хотела бы представить наиболее характерную Вашу книгу в надежде, что это принесет конкретный результат. В этом случае я думаю, что можно будет увидеть Вас в Париже для того, чтобы обсудить вопросы издания, если о нем будет принято положительное решение.

Такое душевное письмо тронуло бы каждого писателя. Разумеется, я тоже был им взволнован и тут же послал госпоже Банин благодарственный ответ и две свои книги — роман «Люди не ангелы» и однотомник военных повестей. Посоветовал ей присмотреться к роману, хотя бы к первой его книге.

С нетерпением ждал вестей из Парижа. Шел месяц за месяцем, но Париж не откликался.

Однажды вечером позвонил мне на дачу в Переделкино мой добрый друг, ныне художник с мировым именем, Илья Сергеевич Глазунов.

— Ваня, ты разговариваешь по-украински? — огорошил он меня неожиданным вопросом.

— Разговариваю.

— А можно к тебе сейчас приехать с молодым парижанином украинского происхождения? Он не верит, что в Москве найдется хоть один человек, знающий украинский язык...

Минут через сорок мы принимали на даче гостей. Сидели за накрытым столом, и я объяснялся с французом на украинском, хотя он владел им слабовато. Выяснилось, что молодой человек является внуком генерала царской армии Удовиченко А. И., бывшего участника петлюровского движения на Украине в должности одного из заместителей Симона Петлюры. Внук — инжер по автомобильному делу, приехал в Москву как представитель завода «Рено», который принимал участие в пуске нашего тольяттинского автомобильного завода.

Юрий, так, кажется, звали молодого инженера, рассказал, что дед его еще здравствует, издал в Париже на украинском языке книгу о петлюровщине. Я попросил

Юру прислать мне эту книгу. А его одарил двухтомником украинских народных песен, набором патефонных пластинок с записями лучших певцов Украины и попросил выяснить у госпожи Банин (дав ее адрес), получила ли она мою бандероль.

Не получила! — вскоре узнал я из небольшого письма Юры, в котором он сообщал, что посылает мне книгу генерала Удовиченко «Петлюровское движение»... Но и я книги не получил...

24

Когда, продолжая службу в армии, я углубленно изучал историю войн и военного искусства, оперативное искусство, мне хотелось понять, как рождается настоящий полководец, из чего складываются его полководческие качества. А точнее, хотелось исследовать глубины характера и особенности психологии человека, который задает тон событиям на войне, влияет на них с большей или меньшей пользой для подчиненных ему войск. Хотелось также заглянуть в святая святых: в практику разработки штабом плана крупной боевой операции по принятому полководцем решению, понять, как это решение вызревает и что испытывает полководец, управляя сражением в изменчивой драматической ситуации, зная при этом, что на поле боя гибнут люди.

Оглянувшись на свой военный опыт, я, может, впервые стал понимать, сколь он неглубок. Оказалось, что все мы, дивизионные и армейские газетчики фронтовой поры, написавшие сразу после войны свои первые книги, выплеснули на бумагу только то или часть из того, что постигли на фронте и что было доступно там нашему взгляду и нашему пониманию. А доступно было только происходившее в полосе действий роты, батальона, полка, в лучшем случае — дивизии. О работе высших штабов и о деятельности высшего командного состава у нас было смутное представление. Это прозрение, смею утверждать, пришло не только ко мне, а и к другим военным писателям. Все мы начали искать свои новые пути обогащения знаний и представлений, ориентируясь главным образом на изучение архивных докумен-

тов, на встречи и беседы с видными военачальниками, на знакомство с мемуарными новинками.

Я не устаю возвращаться мыслью к словам Бэкона (и уже обращал на это внимание читателя), что и «случай часто служит людям лучше, нежели они желают». Именно случай нередко сводил меня с людьми, причастными к тем событиям, о которых я писал или собирался писать. Очередной из них, происшедший в конце шестидесятых годов, стал для меня особо памятным. В вестибюле издательства «Молодая гвардия» случайно встретился я с одним из старейших (ныне уже покойным) русских советских писателей Сергеем Ивановичем Малашкиным. Сергей Иванович, как мне было известно, внимательно следил за моим творческим становлением, похвально отзывался особенно о романе «Люди не ангелы» и повести «Человек не сдается».

— Над чем сейчас страдаешь? — спросил он.

— Замесил повесть о рождении полководца на фронте,— ответил я, приглашая Малашкина посидеть у курительного столика.— Пока условно назвал повесть «Генералы видят дальше», уже заключил договор с журналом «Октябрь». Хочу посмотреть на войну более объемно, чем видел ее сам.

— С вышки командарма или командующего фронтом? — заинтересованно спросил Сергей Иванович.

— Пока попробую всмотреться в психологию командира механизированного корпуса, который потом станет командующим армией.

— А не стоит ли подняться выше?

— Вряд ли сумею,— усомнился я, вспомнив при этом Петра Андреевича Павленко, который, прочитав в рукописи мою повесть «Человек не сдается», обронил весьма значительную фразу: «Писатель должен в семь раз быть смелее самого себя». И так замахнулся на трудное.

— А ты дерзни! — убеждал меня Малашкин.— Кому-то надо показать, как зарождалась война, что предпринимало наше правительство, чтобы ее избежать... А самую войну ты пережил лично, начиная с первых дней нападения немцев... Попробуй!

— Это очень ответственно и серьезно. К такой работе я не готов, хотя веду записи бесед с некоторыми нашими полководцами.

— А если я познакомлю тебя с Молотовым?

Я знал, что Сергей Иванович дружил с Вячеславом Михайловичем Молотовым, который, как известно, в годы войны был первым заместителем Председателя Совета Министров СССР, заместителем председателя ГКО и наркомом иностранных дел. Дружба Молотова и Малашкина зародилась еще в дооктябрьский период, когда они вместе отбывали ссылку за революционную деятельность.

...И вот мы в подмосковной Жуковке, на даче у Молотова. Сидим за столом на веранде, Вячеслав Михайлович, как мне казалось, посматривает на меня с сомнением, ибо по литературе моя фамилия ему не известна. Расспрашивает о книжных новинках, об «Огоньке» (он уже знал, что я там работаю заместителем главного редактора), при этом не очень лестно отзываясь о некоторых его публикациях и особенно об оформлении, о непомерно большом количестве фотоснимков, на которых запечатлены одни и те же лица руководителей. («В прежние времена за такое чинопоклонение привлекали бы к партийной ответственности...»,— заметил Вячеслав Михайлович.)

От смущения я не находил слов в оправдание и начисто позабыл вопросы, которые готовился задать Молотову.

На выручку пришел Малашкин — разъяснил Вячеславу Михайловичу цель нашего визита. Атмосферу непринужденности постепенно создала супруга Молотова — Полина Семеновна Жемчужина; даже в немолодом возрасте она была очень красива и обаятельно-общительна. Полина Семеновна поставила на стол фрукты, вино и веселыми репликами понуждала Вече — так она звала Вячеслава Михайловича — к более оживленному разговору.

Пока больше вопросов задавал Молотов мне — о первых часах и днях войны. Отвечая на них, я обмолвился, что не слышал его речи от 22 июня 1941 года, потому что в то время уже был в боях. И тут же неожиданно для себя спросил, почему выступил тогда по радио он, Молотов, а не Сталин. И после этого вопроса разговор наш влился в русло, которое для моей памяти и моего блокнота, лежавшего у меня на коленях под столешницей, явилось самым главным.

Молотов стал рассказывать о гигантской работе на-

шего партийного и государственного аппарата, советских дипломатов, направленной на предотвращение войны, о международных загадках, неясностях, о переговорах в Берлине советской делегации (12—13 ноября 1940 года), которую он возглавлял, и в частности о том, как Гитлер горячо его убеждал, чтобы Советский Союз подписал соглашение со странами — участницами тройственного пакта (Германия, Япония и Италия) о разграничении сфер влияния; за месяц до этого правительство Германии уже обращалось в Москву с письмом, предлагая Советскому Союзу свободу действий на юг от своей государственной территории к Индийскому океану в сторону Персидского залива и Индии. Молотов, по его утверждению, решительно отклонил предложения Гитлера и отказался продолжать разговор на сей счет...

— Именно, даже участвовать в подобной дискуссии было бы непростительной ошибкой и непорядочно с нашей стороны,— подытожил эту часть разговора Вячеслав Михайлович и далее стал излагать некоторые факты, дававшие мне возможность представить все те тревоги и заботы, которые томили советских руководителей в канун войны и в ее первые дни. Я мысленно всматривался во все это, как в мощное увеличительное стекло...

Ровно четыре часа провели мы тогда с С. И. Малашкиным в Жуковке. На прощанье я заручился согласием Вячеслава Михайловича позвонить ему, если у меня что-нибудь напишется.

На второй день, выхлопотав себе на службе длительный творческий отпуск, уехал с семьей на Оку, в деревню Соколова Пустынь, где снял комнату в доме крестьян Колотушкиных. Трудился, не разгибая спины, более двух месяцев. Когда стопка машинописного текста заметно выросла, остановился на очередной главе и помчался в Москву, позвонил Молотову и с его согласия нарочным отправил ему несколько глав романа, которому суждено было вопреки моему желанию получить название «Война».

Мне казалось, что для прочтения части моей рукописи Вячеславу Михайловичу понадобится несколько недель. И я, управившись с некоторыми делами, на третий день утром собрался было уезжать в Соколову Пустынь.

И вдруг раздался в квартире телефонный звонок.

— Иван Фотиевич?
— Да, слушаю вас.
— Узнаете мой голос?
— Извините, нет...
— Вы были у меня в Жуковке...
— Вячеслав Михайлович?! — Я обмер.
— Да. Я прочитал ваши главы...
Наступила мучительная для меня пауза.
— Будете ругать? — с робостью спросил у него.
— Нет... Наоборот... Мне сейчас будет интересно с вами разговаривать... Приезжайте...
— Когда?
— Удобно вам завтра в четырнадцать часов?
На второй день, ровно в четырнадцать часов, я подъехал к даче Молотова.

Начался разговор, наверное, самый главный в моей жизни. Будто шла тщательная правка плохо отточенной бритвы. Все, что я написал, было, казалось, и правильно, достоверно, однако в нем недоставало каких-то нюансов, необходимых деталей, оттенков, тонкостей в толковании проблем. Я с жадностью впитывал все услышанное от Молотова и словно поднимался на новые ступеньки видения горизонтов нашей военной истории, государственной политики, деятельности Центрального Комитета партии и его Политбюро. Удивило меня только то обстоятельство, что Вячеслав Михайлович не сделал на рукописи ни одной пометки. Он положил перед собой листочек бумаги с написанными на нем номерами страниц моей рукописи. Взглянув на листочек, он перелистывал рукопись, находил нужную страницу, и я слышал его суждения — литератора, философа, историка, дипломата, человека, мыслящего высочайшими категориями партийного и государственного масштаба...

25

Да, то был, видимо, один из самых важных разговоров. Но самый трудный ждал меня впереди... Ох, как иногда усложняется твое положение излишней осведомленностью! Приехав на этот раз в Жуковку, я уже точно знал, что наши разговоры в даче Молота записываются, но не только в помещении, но и (что меня особенно поразило!) во время про-

гулок по дачному городку, когда я чувствовал себя в полной бесконтрольности и не опасался говорить на сложные и подчас рискованные для меня темы. И эти разговоры читаются потом чуть ли не самим Сусловым и его людьми!

А случилось вот что... Я буквально накануне был в гостях у Анатолия Софронова в его роскошнейшей квартире на улице Невского в новом доме близ Белорусского вокзала. Не помню, по какому поводу собирал Анатолий Владимирович гостей, но их было немало, и все, кроме меня, довольно именитые своей высокопоставленностью. Я тогда занимал должность заместителя Софронова, как главного редактора журнала «Огонек», а в застольных компаниях пользовался вниманием как рассказчик украинских веселых бывальщин и анекдотов.

Вначале мы рассматривали стеллажи, уставленные множеством диковинных сувениров, привезенных хозяином квартиры из многих, главным образом африканских и среднеазиатских, стран, в которых он успел побывать. Нашим гидом была его жена, Эвелина Сергеевна, красивая стройная блондинка, на которую мужчины засматривались с восхищением. Она подвела ко мне представительно-респектабельного Павла Романова и сказала:

— Знакомьтесь. Это Павел Константинович.

Мы, пожимая друг другу руки, оба рассмеялись, ибо уже были хорошо знакомы. Романов возглавлял Всесоюзный «Главлит» — политическую цензуру, которая отвечала за сохранение всевозможных тайн в печати. За свою демократичность Павел Константинович был искренне уважаем многими писателями и редакторами.

— Садись за столом рядом со мной, есть разговор,— как бы между прочим сказал мне Романов.

Я уже не отходил от него, понимая, что услышу что-то важное для себя. И не ошибся. Когда праздничный ужин был в разгаре, Павел Константинович, пребывая в добром расположении духа, с хитрой усмешкой спросил:

— Ну как, доволен встречами с Молотовым?

Я насторожился, но, зная высокую порядочность Романова, ответил откровенно:

— Очень доволен!.. Не могу поверить, что мне так повезло. Боюсь только утомлять старика. Позавчера мы вновь беседовали почти четыре часа.

— Знаю! — Романов посмотрел на меня с улыбчивой значительностью во взгляде.— Читал все, о чем вы говорили... И читали с интересом другие...

Моему потрясению не было предела:

— Но ведь половина разговора у нас была на прогулке!

— Эх ты! А еще военный. Не знаешь, что такое лазерный луч или еще что-то... Но я тебе ничего не говорил....

Потом сведущие люди мне объяснили: лазерный луч из укромного местечка наводится на лицо говорящего и служит своего рода телефонным проводом. Не ведаю, так ли это, но, зная уже точно, что нас подслушивают, чувствовал себя при этой встрече с Молотовым скованно и даже ощущал боязнь.

А Вячеслав Михайлович, будто наперекор моим тревогам, сказал:

— Вы, Иван Фотиевич, судя по тому, что я прочитал из написанного вами, взялись за очень ответственную и трудную тему. В событиях минувшей войны Сталин был главнейшей фигурой среди руководства. Не писать об этом вы не имеете права. А если напишете правдиво, то вас не напечатают, да еще начнут притеснять, преследовать.

— Но я ведь не славословлю Сталина, а пишу о конкретном, опираясь на достоверность.— И при этом указал Молотову на стоявший рядом телефон, обвел выразительным взглядом потолок: подслушивают, мол.

— Такая у них служба,— с горчинкой в голосе откликнулся Вячеслав Михайлович.— Мне-то терять нечего. А вы — солдат в боевом походе. Ваш командир сейчас — ваша совесть. Слушайтесь только ее.

— На том стою.

— Надо устоять. Двадцатый съезд и дальнейшие события показали, что дело Сталина не прочно. Грядут новые разрушительные акции, их будут подогревать антисталинизмом. Так что поддержки не ждите.

— Но я пишу о том, что было и как было. Вся история держится на подобных свидетельствах.

— История истории розны! — перебил меня Молотов.— У истории социализма нет аналогов. Сталин, зная, что главными течениями социализма являются реформизм, анархизм и марксизм, почти не уделял внимания реформизму. А я предвижу, что он главный ко-

нек, на котором наши противники пытаются выехать из социализма, избрав путь сотрудничества классов. Я надеялся, что Сталин поднимет этот вопрос на Девятнадцатом съезде партии. Не случилось этого, а я уже был не у дел... Но мы уклонились. Я согласен с вами, что история слагается из конкретных событий, но, добавлю, рождающих закономерности... Какую связующую закономерность вы видите в деятельности Сталина периода гражданской войны и Великой Отечественной?

Этот вопрос был для меня элементарным. Я отчетливо понимал, что Сталин искусно перенес стратегию политической борьбы прошлых десятилетий в стратегию военного противоборства с фашистской Германией. Ее сущность запросто укладывалась в одно понятие: сосредоточение сил на самых главных направлениях борьбы: было только важным — точно угадать, где находится главное направление в данный конкретный момент. Сталин, готовясь к войне, ошибся в определении места первого главного удара немецких войск. Полагал, что Гитлер вначале обрушится на Украину, и этот просчет Сталина дорого обошелся войскам нашего Западного фронта.

Ну, а как относиться к деятельности Сталина в гражданскую войну? Ее я досконально знал, как и всю военную историю, но только так, как была она истолкована советской военной наукой сталинской поры. Краткий курс истории партии содержал в себе ее главный смысл, будучи своеобразным конспектом всей борьбы за утверждение Советской власти.

А в нашей писательской среде уже проявлялось брожение умов на сей счет. Мне запомнился эпизод, происшедший в ресторане Центрального Дома литераторов. Я сидел за одним столом с Владимиром Солоухиным, Михаилом Бубенновым. И еще кто-то составлял нашу компанию. Почему-то завязался разговор о художественном фильме «Чапаев», и Владимир Солоухин вдруг сказал: «Когда я смотрю, как чапаевская Анка расстреливает из пулемета стройные цепи каппелевцев, у меня сердце обливается кровью. Ведь она расстреливает цвет русской нации...» Михаил Бубеннов вдруг вскочил на ноги и, заорав на Солоухина: «Подлец!», схватил его за грудки... Я, применив силу, разнял дерущихся.

Это был для моего сознания, может, первый серьезный толчок, заставивший размышлять о гражданской войне как о кровавой трагедии русского народа. Я стал

заново перелистывать книги, вчитываться в толкования о заслугах Сталина хотя бы в победах над Колчаком, Деникиным, Врангелем. Ощутил трещину в душе, но окончательные выводы были впереди. Сказать о своих сомнениях Молотову, как и о своем неприятии политики Сталина вскоре после войны, я не мог, иначе это была бы наша последняя беседа. А ведь у меня было много неразрешенных вопросов, которые своей загадочностью притягивали к Вячеславу Михайловичу как держателю ключа для их разгадок.

Однажды, после мучительных колебаний, я напрямик спросил у Молотова, правда ли, что он, по словам Хрущева, своей резолюцией утвердил список из трехсот человек, приговоренных к расстрелу как враги народа. «Правда! — без колебаний ответил Молотов, и глаза его сверкнули такой твердой непреклонностью, что мне стало не по себе. А он продолжил: — Я бы и сейчас подписал тот список, ибо знал, что все эти люди представляли собой. Никаких сомнений!»

Трудно было поверить, что один человек действительно мог удержать в памяти внешность и деяния трех сотен личностей, в один миг воскресить их в сознании, а главное — так легко распорядиться человеческими жизнями... А перед этим был у нас разговор о заговоре Тухачевского. Молотов подробно рассказывал, кто и когда должен был убить его и Сталина, Ворошилова и Кагановича... Посоветовал прочитать книгу Альберта Кана и Майка Сейерса «Тайная война против Советской России», изданную у нас в 1947 году. Книгу эту я читал раньше и вынес тогда же впечатление, что заговор действительно готовился, но не против Советской власти, а против ее сцементировавшейся верхушки — Сталина, Ворошилова, Буденного...

Озадачивала меня и Полина Семеновна — жена Молотова. Четыре года провела она в заключении и была освобождена из лагеря на второй день после смерти Сталина. Как же она относится сейчас к Сталину? Ведь каждый раз, когда мы усаживались за обеденный стол, Молотов выбирал удобную минуту и произносил тост за «великого продолжателя дела Ленина». Все мы вставали, поднималась и она, Жемчужина, чокалась с нами своей рюмкой и добавляла какие-то слова, возвеличивающие Сталина.

Этот вопрос так меня интересовал, что в одну из бе-

сед с Молотовым я спросил у него, как могло случиться, что он, член Политбюро ЦК, позволил арестовать свою жену? Отвечал Вячеслав Михайлович неохотно. Но вот что мне запомнилось из его рассказа. В конце одного заседания Политбюро Сталин вдруг объявил: «А теперь давайте решим вопрос о товарище Жемчужиной». Молотову показалось, что он ослышался. Но Сталин протянул ему папочку с документами: «Почитай, товарищ Молотов...» Вячеслав Михайлович взял папку, раскрыл ее и, прежде чем начать знакомиться с документами, обвел растерянным взглядом членов Политбюро. Понял: все они уже что-то знали, вопрос предрешен. Начал читать страницу за страницей (что там было написано, Молотов мне не сказал). Потом вернул папку Сталину и спросил: «Лично ко мне есть претензии?.. Может, недоверие?» — «Нет»,— ответил Сталин.

Тогда Молотов поднялся из-за стола и позвонил на службу жене. «Полина,— обратился он к ней.— Больше мы с тобой быть вместе не можем».— «Понимаю»,— ответила Жемчужина.

Когда поздним вечером Молотов приехал домой, дочь Светлана сказала отцу, что днем была мама, собрала чемодан и уехала к сестре.

Через месяц Жемчужину вызвали в один из отделов ЦК, предложили сдать партийный билет и там же арестовали...

Однажды в отсутствие Молотова я отважился спросить у Полины Семеновны, что все это значило и как понимать ее доброе отношение к Сталину.

— Я давно жду от вас этого вопроса.— Она ослепительно улыбнулась, и это было тоже непонятным.— Нам надо поговорить, но без Вече: он не любит, чтобы я вспоминала эту трагическую эпопею, в которой замешан и Сталин. Но творец ее — Берия со своими холуями. Они надеялись не только уничтожить меня, но и свалить Вече. Вам мой рассказ может очень пригодиться...

Вошедший Молотов перебил наш разговор. Потом Полина Семеновна несколько раз урывками пыталась рассказать о своей жизни в ссылке, куда она попала по предвзято истолкованным фактам... Завершить наши разговоры помешала ее тяжелая болезнь.

...Итак, Молотов выяснял мое понимание Сталина и мое отношение к нему. Но у меня была задача не испо-

ведоваться, а постигать. Постигнуть же можно было поощряющими размышлениями вслух.

Вторгаться в события давно отгремевшей гражданской войны не имело смысла. Надо было вести разговор о Великой Отечественной! А тут я мысленно стоял на позициях нерушимых. Да, по свидетельствам наших выдающихся полководцев, у Сталина, наряду с ошибками, были немалые заслуги в управлении армиями, фронтами и военной промышленностью. Не признавать это могут только непорядочные люди. Но нельзя, разумеется, утверждать, что, не будь Сталина, те же Шапошников, Жуков, Василевский и другие сами не смогли бы справиться с руководством боевыми действиями войск. Однако никто из упомянутых мною военных, и они все вместе, пожалуй, не смогли бы сделать то, что удалось сделать одному Сталину: сплотить в нерушимый монолит народ и армию, вселить в сознание красного воинства великую веру, небывалые энтузиазм и самоотреченность, с которыми они, добывая победу, шли в бой, на смерть. Сталин не торопился с решениями, но если принимал их, они должны были быть выполненными. Во время войны все государство, весь народ (от министра до рядового крестьянина или рабочего) трудились до последнего предела своих возможностей. И подло лгут те, кто утверждает, что мы не ходили в атаки на врага под лозунгом: «За Родину, за Сталина!» Ходили! Имя Сталина жило в нас, фронтовиках, как понятие родной земли, свободы народа. Возможно, не во всех, но они были ничтожным меньшинством и тщательно таились.

Немцы пробились к самой Москве, и в столице началась паника. Шестнадцатого октября отбыл в Куйбышев (Самару) Генеральный штаб. Там, на Волге, уже был оборудован кабинет и для Сталина. На Ярославском вокзале стоял железнодорожный состав, в который погрузили без ведома Сталина мебель из его Кунцевской дачи. Сама дача была заминирована. Оставалось только известить Председателя ГКО о решении Политбюро, что он должен покинуть Москву. Постановление принималось опросом...

Хрущеву, оказавшемуся в это время в Москве, было поручено известить Сталина. Ох и трудно пришлось Никите Сергеевичу! Когда он спустился на второй этаж, вошел в квартиру Сталина и самым деликатным обра-

зом объяснил Верховному цель своего визита, случилось непредвиденное. В Сталине прорвались все свойства кавказского характера. Как рассказывал Хрущев на одном из партийных пленумов в Казахстане, жалуясь на грубость Сталина, он, Хрущев, был изгруган матерными словами и буквально вышвырнут из квартиры.

Сталин не только не подчинился решению Политбюро покинуть Москву, но учинил разнос Кагановичу за подготовленный железнодорожный эшелон. И в тот же день, именно 16 октября 1941 года, отдал руководству Генштаба приказ величайшей секретности, доведя его до сведения только членов Политбюро: 7 ноября провести военные парады в Москве (принимать парад С. М. Буденному), Воронеже (принимать парад С. К. Тимошенко), Куйбышеве (принимать парад К. Е. Ворошилову). Назвал даже войска, которые должны участвовать в Московском параде. Уже 20 октября (через четыре дня!) они начали заниматься строевой подготовкой, о чем впервые рассказано в центральной печати в 1966 году. Короткая память у некоторых наших ученых!..

Поздно ночью 16 октября Сталин уехал из Москвы, но не в Куйбышев, а в Кунцево, на свою заминированную дачу, и ночевал там в подсобном помещении...

Молотов требовал от меня категорического ответа в моем «всеобщем» отношениии к Сталину, а я задавал ему в тот день единственный вопрос: «Как бы развернулись события, если б Сталин осенью 1941 года покинул Москву?» Ответ был, как сейчас говорят, однозначным: Москва бы пала.

А что бы последовало за захватом немцами Москвы? Напрашивался вывод, с которым соглашаться не хотелось: рухнул бы Советский Союз... Нашлись бы людишки в той же Москве, которые с радостью пошли б в услужение к Гитлеру...

Молотов смотрел шире: если б пала Москва, тут же бы рухнула коалиция антигитлеровских государств. Вот тогда окончательно не бывать бы краху фашистской Германии. Более того — иные наши союзники стали бы на колени перед Гитлером. Ведь и при наших победах, когда Красная Армия, изгоняя поработителей, устремилась на запад, нелегко было внушить заправилам Англии и Америки мысль, что нужен второй фронт. Они

открыли его только из боязни, что Советский Союз станет диктатором для всей Европы.

Итак, вывод ясен: Сталин сыграл самую выдающуюся роль в Великой Отечественной войне. Так я и сказал тогда Молотову, такой точки зрения придерживаюсь и сейчас, за что меня именуют сталинистом.

В моем представлении существуют три Сталина. Первый — предвоенный: повергший народы нашей страны, особенно крестьянство, интеллигенцию, армию и духовенство, в тяжкие страдания своей каннибальской политикой, хотя и успешно руководивший возрождением разрушенной гражданской войной державы. Второй — возглавивший борьбу советского народа и его Вооруженных Сил против самого страшного врага человечества — немецкого фашизма — и сумевший силой своего характера и ума приобщить к этой борьбе все прогрессивные слои человечества. В борьбе с фашизмом имя Сталина было знаменем, а деяния его гранитными плитами улеглись в здание военной истории. Третий — тот, под руководством которого мы после войны успешно поднимали из руин страну, оснащали атомным оружием наши Вооруженные Силы; в то же время не противились возрождению каннибальской политики по отношению к цвету нации — особенно ученым и творческой интеллигенции; слепо верили в правильность нашей внешней доктрины, когда освобожденным от фашизма Красной Армией странам навязывался социализм.

С Вячеславом Молотовым я свободно и искренне мог говорить только о втором Сталине — великом полководце и великом дипломате периода второй мировой войны. Этому убеждению не изменяю и сейчас.

26

А вот как родились при помощи Молотова страницы романа, изображающие приезд в августе 1939 года в Москву Иоахима фон Риббентропа — имперского министра иностранных дел Германии — для подписания пакта о ненападении.

С тем же Сергеем Ивановичем Малашкиным мы приехали на квартиру Вячеслава Михайловича, на улицу Грановского, разумеется, по предварительной телефонной договоренности. Я с восхищением рассматривал бо-

гатую, тщательно подобранную библиотеку, картины на стенах, написанные его братом, художником Николаем Михайловичем Скрябиным, удивлялся тесноватому кабинету с зачехленными в белую парусину двумя-тремя креслами и небольшим столом.

Малашкин и Молотов с веселым оживлением почему-то стали вспоминать двадцатые годы, один из новогодних вечеров, когда к Малашкину на квартиру неожиданно пожаловали Сталин, Молотов, Буденный с гармошкой и еще кто-то. Они принесли с собой плетенку грузинской чачи и бочонок соленых арбузов. Продолжили отмечать Новогодний праздник — с песнями и плясками. А на второй день утром Малашкина потребовал к себе домоуправ. В его кабинете сидел участковый милиционер. Они строго отчитали Сергея Ивановича, ссылаясь на жалобы соседей за то, что в его квартире до самого утра было слишком шумно и что пели не революционные, а церковные песни. Малашкин же не посмел сказать, кто у него был в гостях (не поверили бы!), принес свои извинения и уплатил штраф.

Эти воспоминания друзей мне показались настолько занятными, что я достал блокнот и, зная, что Молотов при виде блокнота или диктофона чувствует себя скованно, все-таки спросил у него:

— Вячеслав Михайлович, разрешите, я немножко посижу над блокнотом.

— Пожалуйста,— и указал на свое зачехленное кресло за письменным столом.

Я взглянул на хорошо отутюженную парусину кресла и заколебался:

— Почему не садитесь? — удивился Молотов.

— Не смею,— ответил я, пытаясь придать своему голосу шутливый тон.— Ведь придет время, и я тоже, как и многие, буду писать мемуары... Разве я удержусь, чтоб не написать, что мне выпал счастливый случай сидеть в кресле бывшего главы Советского правительства?!

Я имел в виду, что с 1930 по май 1941 года Молотов был председателем Совета народных комиссаров СССР.

Вячеслав Михайлович, весело сверкнув глазами, вдруг посерьезнел, помолчал какое-то время и сказал:

— Вы мне напомнили, как в Кремле, после подписания с немцами пакта о ненападении, в моем кресле главы Советского правительства сидел фон Риббент-

роп и разговаривал по телефону с Берлином... С кем, вы думаете, разговаривал?.. С Гитлером!.. Мы со Сталиным ему это разрешили и получили колоссальное удовольствие, подливая ему в бокал шампанское и слушая его болтовню.

Рассказав некоторые подробности этого разговора, Молотов дал мне ключ к написанию одной из важных глав романа «Война».

За двадцать лет я частенько утруждал Вячеслава Михайловича Молотова своими звонками и визитами. Несколько раз бывал и он у меня на даче в Переделкино. И каждое общение с ним, все его суждения о написанном мной необыкновенно обогащали меня творчески и повышали мою ответственность перед читателями.

Все знают, что жизнь Вячеслава Михайловича складывалась не просто. И он, видимо, тревожился, как бы наши с ним встречи и беседы не затруднили публикаций моих книг. Меня тоже навещали эти тревоги, тем более что действительно были сложности с публикациями, особенно первой и второй книг романа «Война», которые прошли сквозь густые сита двух отделов ЦК КПСС, Главного политуправления Советской Армии, Института марксизма-ленинизма, Института военной истории, Главлита, военной цензуры. На этот счет Вячеслав Михайлович как-то даже высказал свои опасения, и я, чтоб между нами было все ясно, давая ему вторично прочесть, уже в верстке, первую книгу романа, написал письмо, которое целиком привожу здесь:

Дорогой Вячеслав Михайлович!

Посылаю Вам верстку 1-й книги романа «Война» (название, возможно, изменится).

К сожалению, мне пришлось пойти на небольшие уступки редактуре в главах, которые вы читали раньше. Но я внес в них и значительные дополнения.

Роман принят журналом «Октябрь» и планируется к выпуску в свет в январском номере 1970 года*. Времени для работы над версткой — в обрез.

Очень прошу Вас, Вячеслав Михайлович, прочесть в первую очередь подвергшиеся доработке главы: 9, 10, 11-ю (стр. 171—187) и две новые главы — (стр. 187—189) и (стр. 228—234). Буду Вам искренне благодарен за любые замечания.

---

* Книга была опубликована в декабрьском, 12-м, номере журнала «Октябрь» за 1970 год.

Еще раз оговариваюсь, что единолично несу полную ответственность за всю историческую и философскую основу романа, в равной мере как и за все художественно домысленное.

Заранее благодарю Вас!
С глубоким уважением

И. Стаднюк.

10 декабря 1969 года.

Кстати, название своему роману я дал такое: «Мир на плахе». Но когда прочитал рукопись первой книги главный редактор журнала «Октябрь» Всеволод Кочетов, он решительно перечеркнул мое название и вместо него начертал: «Война».

— Никогда не соглашусь! — взмолился я.— Есть «Война и мир» Толстого, есть «Война за мир» Панферова, есть, наконец, «Война» — сборник публицистики Эренбурга. Меня же засмеют! Зачем подставлять мои бока для критических жал?

— Нет, только «Война»,— упрямо ответил Кочетов.— Привыкнут!..

Я решил стоять на своем, отложив продолжение спора на момент подписания книги в печать. Но момент этот наступил только через год, когда я был вконец измотан борьбой с цензорами и самыми высокопоставленными рецензентами. Сил и желания спорить с Кочетовым у меня уже не осталось.

Позволю себе затронуть еще один вопрос, касающийся творческой лаборатории. Когда была опубликована первая книга романа «Война», меня пригласил к себе Леонид Максимович Леонов. Сделав ряд замечаний по языку и стилю книги, он вдруг сказал:

— Вы не боитесь говорить о раздумьях, даже колебаниях Молотова, но, кажется, не решаетесь заглянуть, что творилось в душе Сталина в первые дни войны. Почему вы не пишете его «изнутри», не вторгаетесь в его внутренний мир, в его чувства и мысли?

Я ответил Леониду Максимовичу, что Молотова более или менее смело пишу «изнутри», так как встречаюсь с ним, подолгу беседую, ощущаю его характер и, что важно, он потом читает написанное мной и выражает к нему свое отношение. Писать же так о Сталине не решаюсь, а изображаю его через восприятия того же Молотова, Жукова, Шахурина.

— Тогда вы взялись не за свое дело,— жестковато заметил Леонов.— Или бросьте писать роман, или пишите Сталина, как полагается художнику.

Для меня это был великий урок. Я бросил службу в «Огоньке», испросив на это разрешение у секретаря ЦК П. Н. Демичева, долго не садился за письменный стол, постигая все, что было связано с жизнью и деятельностью Верховного Главнокомандующего, начиная с его детских лет, изучая манеру его мышления, его язык и т. д. Затем засел за вторую книгу. Когда она была опубликована, Леонид Максимович позвонил мне по телефону и ободряюще сказал:

— Вот видите! Получается у вас Сталин! Я верю в него.

Урок нашего величайшего мастера пошел мне на пользу.

Но есть потребность вернуться к первой книге «Войны». С ее публикацией в журнале «Октябрь» (№ 12, 1970 год) я каждый день стал получать десятки писем от читателей. В моей квартире не умолкали телефонные звонки. Одним из первых позвонил бывший нарком авиационной промышленности СССР Шахурин Алексей Иванович. Представившись, он сказал:

— Перед войной и в ходе войны я почти каждый день встречался со Сталиным. Поскольку вы продолжаете работу над романом, могу быть вам полезным. Расскажу такое, чего не найдете ни в одном архиве и ни от кого другого не услышите...

Через несколько дней я приехал к Шахурину в Жуковку, захватив с собой массивный «огоньковский» диктофон. (Оказалось, что Алексей Иванович жил в одном дачном поселке с Молотовым.) Начались разговоры. Шахурин держал себя совершенно свободно перед записывающей аппаратурой и действительно открывал передо мной новые «кремлевские тайны», нового Сталина и грандиозные усилия страны в создании могучей боевой авиации... Мысленно я уже переносился во вторую книгу романа, где зазвучат и свидетельства Шахурина...

Непредвиденности всегда поражают. Неожиданностью оказался для меня телефонный звонок генерал-полковника танковых войск Мостовенко Дмитрия Карповича, которого я считал погибшим еще в июне 1941

года. Мостовенко в начале войны командовал на Западном фронте 11-м механизированным корпусом, из всех сил пытался сдержать врага, прорвавшегося из сувалкинского выступа, а затем в составе группы генерала Болдина должен был наносить по немцам контрудар на север, в сторону Гродно, однако приказ командующего фронтом о контрударе до него не дошел.

Мостовенко в какой-то мере бы прототипом моего литературного героя генерала Чумакова. Он звонил из подмосковного санатория «Архангельское», куда приехал отдыхать из Минска.

И опять беседы, воспоминания, возврат мыслями в первые дни войны. Открывалась уйма новых, подчас немыслимых подробностей. Но как их используешь, когда первая книга уже опубликована?..

Не иссякал и поток писем. Одно из них буквально повергло меня в шок. Вдруг объявился первый член Военного совета Западного фронта генерал-лейтенант Фоминых Александр Яковлевич, который чудом избежал трагической участи генерала армии Павлова. Выяснилось, что Мехлис, назначенный вместо Фоминых первым членом Военного совета, приехав 2 июля 1941 года в Гнездово (под Смоленском), буквально прогнал с командного пункта фронта своего предшественника, тогда бригадного комиссара. На попутных машинах Александр Яковлевич добрался до Москвы и со временем был с понижением послан в действующую армию на Южный фронт — начальником политотдела 124-й стрелковой дивизии.

Фоминых писал мне из Ленинграда, где жил после войны. Уж он-то лучше всех знал, как встретил вторжение врага Западный фронт и как сложились обстоятельства, при которых командование фронта было предано суду военного трибунала и расстреляно.

Созвонившись с Александром Яковлевичем, я 18 марта 1974 года поехал к нему в Ленинград... Безрадостными были наши воспоминания. Рассказы генерала Фоминых обоих нас возвращали в страшный день 1941 года, а я при этом мысленно всматривался в первую книгу романа «Война», ставя перед собой вопрос: «Не извратил ли в чем-нибудь истину, правильно ли осмыслил те трагические дни?» К счастью, не подвели меня ни знание обстановки во время боев в пригранич-

ных районах, ни память об их подробностях, ни изучавшиеся документы.

Но знать бы подробнее раньше все то, о чем рассказывал мне Фоминых! Хотя бы о происходившем в штабе Западного особого военного округа в самый канун войны. У Александра Яковлевича имелись записи об этом, и он предложил мне познакомиться с ними. Вот что содержалось в его воспоминаниях (привожу с сокращениями):

Суббота, 21 июня, проходит в том же напряженно-деловом темпе, какой принят в штабе округа уже 4—5 месяцев. Телефонные звонки, доклады, указания о боевой готовности войск, различных учебных сборах, ходе оборонного и жилищно-бытового строительства.

В 15.00 в кабинете командующего собрался руководящий состав штаба и управлений округа. Командующий посмотрел на присутствующих и произнес:

— Начнем. Порядок такой: докладывают разведчики, начальник штаба, начальник Политуправления. У кого будут дополнения, вопросы — в конце.

Начальник разведуправления доложил:

— С утра визуальным наблюдением установлено по ту сторону границы наличие на отдельных участках разрозненных окопов полной профили на отделение и меньше. Расположение бессистемное; в некоторых окопах мелькают каски. Днем окопные работы не производились.

Пограничниками обнаружено более десятка новых наблюдательных постов на чердаках ближайших деревень, в садах, на опушках рощ...

Начальник штаба:

— Сегодня состоялся разговор со всеми штабами армий, корпусов, штабами погранзастав о положении на границе. Кроме уже доложенного заслуживает внимания следующее.

На рассвете наши летчики, барражирующие вдоль границы, наблюдали колонны машин в движении на восток, на Сувалки и Августов, в то же время в трех населенных пунктах, в 40—50 км западнее Бреста, наблюдались хвосты колонн. Днем продвижение войск вблизи западной нашей границы не обнаружено.

Отмечались полеты одиночных разведывательных самолетов вдоль западных границ. Нарушений границы не было. Темп самолето-вылетов — как в последние 2—3 недели.

Изложенное подтверждено полученными донесениями,— закончил доклад тов. Климовских В. Е.

— Тов. Лестев, у вас есть, что доложить? — глядя на начальника Политуправления, спросил Павлов.

— Есть, товарищ командующий. Данные Политического управления подтверждают факты, доложенные здесь. Сообщения из 3-й и 10-й армий говорят, что настроение личного состава все более отчетливо и уверенно свидетельствует о неизбежности скорой войны... Об этом прямо говорят красноармейцы и комначсостав, слышавшие ночью передвижение немецких танков, машин, а также те, кто видел сегодня немецкие окопы с солдатами в них. Из 3-й ар-

мии передают такой диалог красноармейцев. «Договор договором, а винтовку держи поближе», а другой отвечает: «Верно, Петро, она, матушка, никогда не подводила...»

При этих словах командующий встал и, нервно глядя на докладчика, произнес:

— Вы, товарищ Лестев, меньше слушайте всякую болтовню. Надо самим думать, а не пересказывать чепуху. Больше рассказывайте красноармейцам о договоре с Германией.

— Товарищ командующий! Я, как начальник Политического управления, обязан доложить вам о политических настроениях. Это не болтовня двух солдат, а политические настроения...— с обидой сказал Лестев.

— Здесь не клуб... Продолжайте...

— Слушаюсь... Из 6-го кавкорпуса сообщают: казаки без приказаний и советов второй день клинки точат. Эти и ряд других данных в совокупности с прежними подтверждают вывод о приближающейся войне... — с уверенностью закончил свое выступление докладчик.

Ходивший вдоль короткой стены командующий сел, нервно повернулся, снял трубку «ВЧ» и через 2—3 секунды отрывисто бросил: «Москву». В кабинете тишина. Москва ответила быстро. Командующий назвал номер наркома. Сразу ответили из приемной, что наркома нет. Медленно положив трубку и, обращаясь к начальнику штаба, сказал:

— Владимир Ефимович! Отдайте распоряжение, чтобы отпуска комначсоставу приграничных частей в города на 22 июня не разрешать; передайте командармам — усилить наблюдение за границей; непрерывно держать связь с пограничниками. Командармам и командирам корпусов не отлучаться далеко. Узнайте у Цанавы*, что у него есть нового.

— Как с учениями в 4-й армии? — спросил Климовских.

— Перенести на один-два дня, пока выяснится обстановка. То же передайте Коробкову**.

— Товарищ командующий, сборы зенитчиков разрешите продолжать: не срывать программы? — спросил генерал Сафонов.

— Да. Не тяните сборы. Укладывайтесь в программу. Все. Можете идти, только за город офицерам не выезжать. Вообще нам надо быть всем начеку.

В кабинете адъютант Дедевшин докладывает:

— Звонило несколько офицеров; спрашивают: «Собирается ли сегодня член Военного совета на рыбалку?..»

Сегодня в Минском окружном доме офицеров премьера МХАТ. Впервые в Минск прибыл на гастроли Московский Художественный академический театр во главе с Аллой Тарасовой и Хмелевым. Гастроли открывались спектаклем «Анна Каренина». На премьеру собралось городское, республиканское и военное руководство. В кулуарах, как обычно, обменивались мнениями о событиях на Западе, о работе.

Начальника штаба округа в Доме офицеров нет. Не видно начальников разведуправления, оперативного, командующего ВВС и нач. артиллерии. По окончании 1-го действия спектакля я решил поехать в штаб, узнать новости.

---

* Цанава — начальник ГПУ БССР.

** Коробков — командующий 4-й армией.

На втором этаже встретил начальника штаба.

— Владимир Ефимович! Вы почему не на «Анне»?

— Знаете, Александр Яковлевич, тревожно что-то на душе. Звонил в 3 и 10 армии. Докладывают, что пограничники и некоторые передовые части слышат в разных местах шум...— Помолчал, недоуменно пожал плечами.— Да, что-то происходит за последнее время... шум стал отмечаться на западном берегу Бебжа, Нарева, Буга... Свежие окопы... Дал указание: продолжать наблюдение и быть наготове... Звонил в Генеральный штаб.., докладывал оперативному дежурному. Просил разрешения поднять войска. Дежурный, переговорив с кем-то, ответил: «Поднимать войска не разрешается. Не поддавайтесь на провокацию».

Через несколько минут в штаб прибыл командующий и, обращаясь к Климовских, спросил — какие есть новости? Начальник штаба доложил о продолжавшихся шумах и мелких диверсиях. Но звонок ВЧ прервал доклад. Командующий подскочил к аппарату, схватил трубку:

— Павлов... Так точно, товарищ нарком, слушаюсь... С наступлением темноты почти по всей границе начался непонятный шум.

Потом стал говорить нарком...

Во время происходящего разговора мы, все присутствовавшие, впились глазами в лицо командующего, который изредка бросал «слушаюсь», «понятно» и одновременно делал какие-то заметки в блокноте.

Командующий произносит:

— Считаю необходимым поднять войска, выдвинуть соединения на границу согласно плану... «Есть!» — «Слушаюсь!».

Наконец Павлов медленно кладет трубку и медленно обводит всех глазами. Негромко, глядя на Климовских, сказал:

— Владимир Ефимович! Передайте командирам — быть в штабе. Войска не поднимать. Разрешаю поднять только дежурные подразделения... Повторяю, только дежурные подразделения, но не больше. Разъясните это. Втолкуйте всем начальникам штабов, разведчикам, операторам, чтобы все доклады перепроверяли, а то еще спровоцируем их. Пусть все время докладывают и держат нас в курсе всех событий. Огонь, огонь, чтобы не открывали без разрешения.

— Дмитрий Григорьевич, так что же выходит — война?.. — спрашиваю я.— Так, что ли?

— Война, война!.. Раскудахтались... — нервно ответил командующий.— Не один год говорим об этом, а войны нет! А если война, так что? Испугался?!

Такой тон и ответ озадачили. Не верит в возможность войны, что ли? Было ясно — командующий расстроен. И, зная характер Павлова, говорить с ним на эту тему бесполезно... он «не в духе»... Обычная словоохотливость у Дмитрия Григорьевича пропала. На чей-то звонок по телефону ответил: «Да... действуйте по обстановке... да».

22 июня в первом часу ночи начальник 8-го отдела доложил: «Из Москвы начала поступать шифровка, ведем раскодирование... ее параграфов». Было приказано докладывать шифротелеграмму частями, по мере расшифровывания.

Директиву из Москвы закончили передавать около часа ночи 22 июня. Уяснение содержания директивы, двойная ее обработка,

передача в армии и отдельные корпуса закончилась примерно за один—полтора часа до нападения Германии.

Директиву наркома передали в армии и командирам отдельных корпусов с припиской: «Под личную ответственность командиров, войска привести в боевую готовность... усилить наблюдение за границей».

Директиву наркома обороны получить успели не все армии. Однако благодаря беспрерывно действовавшей связи по ВЧ (по другим каналам связь прерывалась) округ успел предупредить и передать суть требований наркома всем командующим армиями, командирам авиационных дивизий и командиру 10 МК. Однако армии и корпуса не успели предупредить всех командиров стрелковых дивизий.

...Около трех часов ночи генерал Григорьев в большом волнении докладывал: «Прекратилась проволочная связь со всеми армиями. Высланы подразделения для устранения повреждений и охраны линий связи. Связь была восстановлена через 30—40 минут. Были вырезаны провода, а на линии Барановичи — Волковыск были спилены столбы, порвана линия связи. Организовано патрулирование на основных линиях связи. В третьем часу ночи в двух районах Белостока и Гродно «портилось» электроосвещение.

Позже стало известно, что в ночь начала войны было переброшено через границу разными способами значительное количество диверсионных групп, часть которых была переодета в форму военнослужащих Красной Армии.

...В 4 часа 22 июня генерал А. А. Коробков докладывал: «...Начался сильный артиллерийский огонь почти по всему участку армии... Шквальный огонь по Бресту и крепости... Войска открыли ответный огонь...»

Связь прекратилась.

Так началась война.

Было немедленно доложено народному комиссару... Через некоторое время был получен ответ: «...Действовать по-боевому...».

27

Известно, что можно заставить молчать общественное мнение, но изменить его силой никто не сумеет. Если же учесть еще, что многие своего мнения не имеют, а многие по расчету или по случайным веяниям держатся собственных точек зрения, то можно представить себе, в сколь сложном положении оказывается автор книги, которая обратила на себя внимание читающих людей и стала предметом дискуссий — с верой, неверием или сомнениями. А тут еще стали подогревать интерес к «Войне» вещающие на СССР западные радиостанции, обвиняя ее автора в сталинизме и в оправдании репрессий в армии в тридцатые годы.

Главными предметами спора были: 1) правильно или неправильно раскрывается в книге и оценивается трагедия командования Западного фронта во главе с Д. Г. Павловым; 2) была ли трусливая самоизоляция Сталина в первые дни войны или это злонамеренный оговор; 3) каково отношение автора книги к репрессиям.

Прежде чем ответить на эти вопросы, выскажусь о следующем: писатель может писать только о том, что велят ему его сердце, совесть и что требует его разум. Не грешить перед историей, правдой жизни, возносясь в своем творчестве до границ доступного ему и подвластного.

Каждый из пишущих знает, что очередная его книга является новым этапом в его жизни. Этот этап имеет внешнюю и внутреннюю сторону — примерно как боевая медаль. Лицевая сторона ее, то есть содержание и художественный уровень произведения, видна всем, пусть и не для всех сверкает с одинаковой яркостью. А тыльная сторона как бы выражает прожитую писателем жизнь, испытанные им взлеты и падения, открытия мысли и заблуждения, отразившиеся в конечном счете на лицевой стороне медали, то есть в книге, что и подтверждает истину: творчество писателя как наиболее трудный вид духовной деятельности человека, неотделимо от его судьбы, жизненных дорог, по которым прошагал он от детского порога, когда мысль его начала обретать силу, а восприимчивость души наполняться впечатлениями.

Все это — в общих чертах. А конкретно: можно ли было мне прикасаться к судьбе генерала армии Павлова и его соратников, конкретно не зная, что произошло в июне 1941 года на всем Западном фронте и как в Москве была оценена деятельность его штаба? Конечно, нет. Помогли мне свидетельства людей — участников изображаемых в книге событий, архивные документы и научные разработки, а также некоторые откровения отдельных мемуаристов и писательская интуиция. Важными для меня оказались посещения Военной коллегии Верховного суда СССР и изучение там «Дела» по реабилитации Д. Г. Павлова. И как свидетельствуют недавно опубликованные показания Павлова в ходе заседания Военного трибунала, я ни в чем не ошибся и при этом избежал тяжких самооговоров подсудимого

о его якобы имевших место связях с «врагами народа».

Но то, что ясно сейчас, тогда вызывало кое у кого недоверие и критические нападки на автора. Не буду трогать имен некоторых академиков и ученых-историков, наносивших по мне удары. Скажу только, что и в отдельных эшелонах высшей власти возникла к автору «Войны» настороженность. Даже довелось однажды объясняться с главным военным прокурором генерал-полковником юстиции А. Г. Горным. Правда, с Артемом Григорьевичем, человеком в высшей степени доброжелательным и образованным, я был знаком и до этого, дарил ему роман «Люди не ангелы», как человеку, расследовавшему в конце тридцатых годов злоупотребления НКВД Винницкой области в репрессиях, особенно крестьян, о чем я писал в романе.

Шел я в военную прокуратуру насторожившись. Горный встретил меня дружелюбно, предложил чай. Я увидел на его столе «Войну» и папку с документами. Понял: ко мне есть вопросы.

И верно, после общих фраз о жизни, о творчестве, Артем Григорьевич взял в руки мой роман и, открыв его на какой-то странице, со спокойной заинтересованностью спросил:

— Иван Фотиевич, вот тут вы пишите об обстоятельствах ареста Павлова. Читаю: «Постановление об аресте утверждено народным комиссаром обороны СССР Маршалом Советского Союза Тимошенко. На левом уголке санкция на арест заместителя Прокурора СССР Сафонова...» Откуда вы это взяли?

— Я в чем-то ошибся?

— К сожалению, ошиблись.— Горный взял из папки белую бумажку с зубчатыми следами обрыва на верхнем краю и протянул ее мне. Это был ордер на арест Павлова, но почему-то подписанный Жуковым. Такой же ордер, однако с подписью «Маршал Тимошенко» я видел в Военной коллегии Верховного суда. В чем же дело? И тут мелькнула догадка:

— Жуков подписал ордер уже после того, как Мехлис уехал на Западный фронт. А там Тимошенко подписал новый ордер... Во всяком случае, Павлову при аресте был предъявлен ордер, подписанный наркомом обороны.

— Вы уверены в этом?

— Не только уверен. Читал тот ордер своими глазами.

— Чудеса! — изумленно сказал Горный. — А откуда вам известны подробности связанные с арестом? И о стычке Павлова и Мехлиса?.. Признание Павловым своей вины?.. Ведь фантазия писателя неуместна, когда речь идет о таких личностях и столь серьезных вещах.

Я мог дать главному военному прокурору исчерпывающие объяснения, но поступил по-иному: достал из портфеля одно читательское письмо и попросил Артема Григорьевича ознакомиться с ним. (Публикую его с сокращениями.)

«...Накануне войны я был назначен начальником особого отдела вновь формируемого мотомехкорпуса в г. Корбине, недалеко от Бреста. Начало войны, в связи с назначением, застало меня в Москве, и я вечером 22 июня скорым поездом выехал в Минск и утром 23 июня, в связи с тем что поезда дальше не шли, на попутной машине стал пробираться в Белосток, в штаб 10-й армии, которой оперативно подчинялся мотомехкорпус, поскольку, как об этом вы достоверно описываете в романе «Война», обстановка с первого дня войны стремительно развивалась, так что к Корбину пробраться уже нельзя было. Связи со штабом 10-й армии уже не было, и где он находился, никто не знал, и мне из района Волковыска, как и многим другим, пришлось возвращаться в район Минска и дальше различным способом.

...В романе «Война» есть и другие, не литературные персонажи, в числе которых б. командующий войсками Белорусского особого военного округа генерал армии Павлов Д. Г., на котором вы сосредоточиваете большое внимание. Это понятно и вполне оправдано всем ходом вашего повествования.

...Я не собираюсь вступать в анализ и оценку личности Павлова — это сделали вы весьма объективно и правдиво в своем романе. Однако мне хотелось бы в настоящем письме внести некоторую поправку и дополнительные данные, относящиеся к обстоятельствам задержания и ареста Павлова, поскольку мне пришлось быть свидетелем и участником этого события. А именно:

Примерно 5 или 6 июля (сейчас точно не помню) поздно вечером, находясь тогда в резерве временно при особом отделе Западного фронта в дачном районе Гнездово под Смоленском, я был вызван к начальнику Управления особых отделов НКО Михееву, который прибыл из Москвы в штаб Западного фронта. Михеев, проверив, есть ли у меня оружие и какое, предложил мне следовать с ним для выполнения особого задания в район Довска. Примерно в 23 часа двумя легковыми машинами Михеев, секретарь Мехлиса — по званию бригадный комиссар (фамилию сейчас не помню), порученец Михеева (фамилии не знаю, звание лейтенант или ст. лейтенант) и я выехали на Довск через Смоленск, Рославль, Кричев. В кратком разговоре со мной перед выездом Михеев объяснил, что выезжаем для задержания и ареста бывшего командующего Бело-

русским особым военным округом Павлова, который к утру, предположительно, должен быть в районе Довска. Из этого разговора я понял также, что возникло большое опасение, как бы Павлов по каким-то обстоятельствам не оказался у немцев.

К утру, примерно часов около 8-ми, мы были в Довске. Остановились на перекрестке дорог 4-х направлений, где рядом находился районный пункт почтовой и телефонной связи. Михеев, его порученец и секретарь Мехлиса пошли в здание отделения связи звонить, а мне было приказано наблюдать за движением транспорта, особенно со стороны Орши — Могилева и в случае появления автомашины с бывшим командующим Павловым задержать ее, а Павлову объявить, что его вызывают на командный пункт, находящийся в здании почтового отделения связи.

Я стал внимательно наблюдать за движением на дороге. Несмотря на то что Довск тогда уже находился сравнительно недалеко от районов, захваченных немцами, движения на автомагистрали почти никакого не было. Спустя минут 30 на дороге, которая хорошо просматривалась вдаль, со стороны Орша — Могилев показалась одиночная, быстро двигавшаяся легковая машина. Я вышел на середину дороги и стал подавать знаки остановиться. Машина резко затормозила, остановилась, и в ней я увидел сидящего рядом с шофером генерала армии Павлова, которого я знал и внешне, так как работал до этого некоторое время в Минске. На заднем сиденье в машине находился порученец Павлова в звании майора в кавалерийской форме (фамилии его не помню), высокий, стройный, лет 35.

Хотя я был в военной форме органов госбезопасности того времени и носил военные знаки различия «капитан», Павлов довольно грубым тоном спросил меня: «Зачем остановили машину?» Я ответил: «Товарищ генерал, вас приглашают на КП». Он выругался и сказал: «Никакого КП здесь нет». Я вторично настойчиво повторил то, что сказал ему в первый раз. В этот момент из почтового отделения связи, располагавшегося у дороги, быстро вышли Михеев и секретарь Мехлиса (оба были в форме и звании «бригадный комиссар») и подошли к машине. Они предложили Павлову зайти в здание отделения связи, где объявили ему об его аресте, а мне было приказано задержать порученца Павлова и отобрать у него оружие, что я и сделал.

Примерно в 16.00 мы были в Смоленске в здании и кабинете нач. управления НКГБ. Через некоторое время в кабинет вошел Мехлис и сразу же с присущей ему резкостью и несдержанностью обрушился на Павлова с гневом и ругательством, допуская такие выражения, как «подлец», «негодяй», «предатель», «изменник», «немцам фронт на Москву открыл» и др. Допускались при этом и нецензурные выражения. Павлов, сидя в кресле, пытался возражать Мехлису, но у него ничего не получилось под градом слов крайне раздраженного Мехлиса. Через минут 10—15 Мехлис и все остальные вышли из кабинета, а мне было приказано произвести личный обыск Павлову, оформить, как это положено, протоколом личного обыска, что я и проделал.

После ухода Мехлиса и других Павлов, оставшись со мной, стал выражать свое возмущение тем, что Мехлис назвал его «предателем» и «изменником», признавая, однако, при этом свою вину за неподготовленность войск округа к отражению нападения немецко-фашистских войск, несмотря на предупреждение наркома оборо-

ны накануне, за потерю почти всей авиации на приграничных аэродромах в момент начала войны, за необеспечение и потерю связи штаба округа с армиями и соединениями войск в первый день войны, что привело к потере управления войсками и незнанию обстановки на границе

В разговоре со мной он часто повторял: «Я виноват и должен нести ответственность за свою вину, но я не изменник и не предатель...»

С глубоким уважением — Гойко Иван Григорьевич, полковник в отставке. 270001, г. Одесса, ул. Бабеля, 36, кв. 25».

Дочитав письмо полковника Гойко и поразмышляв, Артем Григорьевич с печалью в голосе сказал:

— Все-таки судили генералов слишком жестоко.

— Мало того, что расстреляли людей, пусть в чем-то виновных, но оказавшихся в безвыходной ситуации. Они ведь могли потом проявить себя в войне на других постах! — Это была моя изначальная уверенность.— Да и с семьями их расправились... Репрессировали... Семьи-то при чем?

— Это для меня новость! — воскликнул Горный.

Прощаясь с главным военным прокурором, я попросил его помочь мне найти документы о судебном разбирательстве еще одного «преступления» — «Дело» бывшего коменданта Смоленского гарнизона полковника Малышева, который якобы самовольно и без надобности взорвал мосты в Смоленске 16 июля 1941 года...

Помог Артем Григорьевич! По его подсказке нашлась в архивах КГБ интересовавшая меня папка, а в ней я обнаружил документ — приказ командования 16-й армии, в котором требовалось от Малышева при угрозе захвата немцами днепровских мостов уничтожить их, что полковник и сделал. Но иные мемуаристы не знали об этом и в своих книгах возводили на Малышева напраслину.

Теперь о втором предмете спора: имела ли место «самоизоляция Сталина» в первые дни войны. По свидетельству Молотова — это злой вымысел. Я поверил утверждению Вячеслава Михайловича безоговорочно, ибо уже имел точные сведения о том, чем занимался Сталин с первого часа начала войны и до 30 июня, когда был создан Государственный Комитет Обороны.

Но как и когда Москва узнала о начале войны? Молотов взял с меня слово, что я пока буду держать в

тайне подробности, которые тогда, в конце шестидесятых годов, могли наделать шуму за рубежом. Суть этих подробностей в следующем (они уже обнародованы мной печатно: «Вопросы историии», № 6, 1988 год, и не принесли никакого вреда).

Вот что услышал я от Вячеслава Михайловича: 22 июня 1941 года между двумя и тремя часами ночи на даче министра иностранных дел Молотова раздался телефонный звонок германского посла графа фон Шуленбурга. Он просил срочно принять его для вручения важнейшего государственного документа. Молотову нетрудно было догадаться, что речь идет о меморандуме Гитлера об объявлении войны. Он ответил послу, что будет ждать его в Наркомате иностранных дел, и тут же позвонил на дачу Сталину, разбудил его и сообщил о разговоре с Шуленбургом. Сталин ответил: «Езжай в Москву, но прими немецкого посла только после того, как военные нам доложат, что вторжение началось... Я тоже еду и собираю Политбюро. Будем ждать тебя...»

Молотов так и поступил.

— А как же тогда относиться к мемуарам маршала Жукова? — спросил я у Вячеслава Михайловича.— Уважаемый маршал пишет, что он, получив известие о начале немцами военных действий, с трудом заставил по телефону охранников Сталина разбудить его...

— Я тоже об этом размышлял,— перебил меня Молотов.— Полагаю, что дежурный генерал охраны Сталина, получив звонок Жукова, не доложил ему, что Сталин уехал. Не полагалось... И в это же время Сталин позвонил Жукову, тоже не сказав ему, что он в Кремле... Вам же советую писать в книге, что я узнал о намерении Шуленбурга вручить нам меморандум об объявлении войны от позвонившего мне дежурного по Наркомату иностранных дел. А то буржуазные писаки могут сейчас завопить, что никакого внезапного нападения Германии на нас не было, а была объявлена война, как полагалось по международным нормам.

Далее всем известно, что 22 июня Политбюро ЦК совместно вырабатывало обращение Советского правительства к народу, с которым выступил Молотов, был также принят Указ о введении военного положения в западных областях, отправлены на Юго-Западный и Западный фронты маршалы Жуков, Шапошников, Ку-

лик, 23 июня создана Ставка Главного Командования, направлены в действующую армию члены Политбюро Ворошилов, Жданов и Хрущев, отдан приказ об ударе трех танковых и одного кавалерийского корпусов Западного фронта в направлении Гродно. 24-го — совещание в кабинете Сталина с рядом руководителей промышленности, 25-го — сформирована группа резервных армий во главе с Буденным, 27 июня — решение ЦК ВКП(б) о мобилизации коммунистов и комсомольцев на фронт в качестве политбойцов, 29 июня — принята известная директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) и т. д.

Все эти мероприятия не могли совершаться без ведома и участия Сталина, учитывая его тогдашнее положение в партии и государстве. Но ведь кое-чьими усилиями, особенно Н. С. Хрущева, родилась и до сих пор живет ложная версия, будто Сталин, услышав о начале войны, струсил, заперся на своей Кунцевской даче и несколько дней беспробудно пьянствовал, устранившись от всякой деятельности. Сия версия поселилась со всей живописностью и в ряде художественных произведений.

Верно то, что вечером 29 июня Сталин потерял самообладание, узнав, что немцы второй день хозяйничают в Минске, а западнее столицы Белоруссии враг захлопнул капкан вокруг основной массы войск Западного фронта, что значило: путь гитлеровским армиям на Москву открыт.

Не дождавшись очередного доклада наркома обороны Тимошенко и начальника Генштаба Жукова об оперативной обстановке, Сталин с рядом членов Политбюро внезапно появился в Наркомате обороны.

Это был самый опасный момент во взаимоотношениях верховной государственной власти и высшего командования Вооруженных Сил СССР, была грань, за которой мог последовать взрыв с самыми тяжелыми последствиями. Подробно расспросив Молотова о том, как все происходило, я, работая над второй книгой «Войны», написал главу, стараясь не смягчать в ней остроты случившегося, но и не давать неприятных деталей: уж в очень грубых, взаимно оскорбительных и нервных тонах велся разговор, с матерщиной и угрозами....

Ссора закончилась тем, что Жуков и Тимошенко

предложили Сталину и членам Политбюро покинуть кабинет и не мешать им изучать обстановку и принимать решения.

По пути во внутренний двор Наркомата обороны, где дожидались машины, Берия что-то возбужденно нашептывал Сталину. Молотову показалось, что он запугивал Сталина грозившим ночью военным переворотом. Эта догадка особенно усилилась, когда увидел, что машина Берии умчалась в сторону Лубянки, а Сталин, ни с кем не попрощавшись, уехал к себе на Кунцевскую дачу.

Ночь на 30 июня прошла спокойно, хотя, как не очень уверенно утверждал Молотов, Берия поднимал свои войска по боевой тревоге. Документального подтверждения последнему я не нашел.

Сталин вернулся в Кремль ранним утром 30 июня с принятым решением: всю власть в стране сосредоточить в руках Государственного Комитета Обороны во главе с ним самим, Сталиным. В то же время разъединялась «троица» в Наркомате обороны: Тимошенко в этот же день был отправлен на Западный фронт в качестве его командующего, генерал-лейтенант Ватутин — заместитель начальника Генштаба — назначен начальником штаба Северо-Западного фронта. Жуков оставался на своем посту начальника Генштаба под неусыпным оком Берии.

По моему глубокому убеждению, создание ГКО и служебные перемещения в военном руководстве — это следствие ссоры, отполыхавшей 29 июня вечером в кабинете маршала Тимошенко.

Когда Вячеслав Михайлович прочитал написанную мной главу о вышеизложенном, он сказал:

— Не позволят вам напечатать ее в таком виде... Может, если Жуков поддержит или сам Брежнев...

15 апреля 1973 года я написал Георгию Константиновичу письмо и вместе с рукописью главы отправил к нему на дачу. Вскоре позвонил мне его адъютант (полковник, фамилию, к сожалению, не помню) и сообщил: «Маршал тяжело болен. Врачи разрешают ему только пять минут в день просматривать газеты...»

Глава была опубликована в журнале и в книге, как и следовало ожидать, в урезанном контролирующими органами, «дистиллированном» виде.

Присутствие в некоторых главах «Войны» Сталина и прикосновение в романе к трагедии былых репрессий среди командного состава армии вызывали и вызывают кое-чьи нападки на автора. В конце 1973 года, закончив вторую книгу «Войны», я отнес ее в редакцию журнала «Октябрь», где публиковалась и первая книга. В это время главный редактор журнала Всеволод Кочетов уже тяжело болел, но рукопись мою прочитал и одобрил, сделав в ней некоторые стилистические исправления. Редколлегия журнала единогласно поддержала главного редактора, что было зафиксировано в протоколе. Автору был выплачен авансовый гонорар, а рукопись послана в набор.

Но 4 ноября 1973 года Всеволод Кочетов, не выдержав тяжких мучений от раковой опухоли, застрелился. Новый главный редактор Анатолий Ананьев и обновленная редколлегия заново рассмотрели книгу (уже в верстке) и отклонили ее, потребовав коренной переработки. С предъявленными мне требованиями я не согласился и передал верстку в редакцию журнала «Молодая гвардия». Книга была напечатана там без промедления.

И начались новые нападки на «Войну». Наиболее яростным по тем временам оказалось выступление «Комсомольской правды» от 17 сентября 1974 года со статьей доцента Горьковского университета Вадима Баранова «Ответственность перед темой». Отметив в ней отдельные удачи книги, в целом Баранов не оставил от романа камня на камне, обрушив на автора поток политических обвинений.

«Комсомольскую правду» яростно поддержал корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Хенрик Смит в радиопередаче «Голос Америки» от 25 сентября. В других сентябрьских передачах 1974 года публикации Вадима Баранова оказали внимание радиостанции «Би-Би-Си», «Свобода», «Голос Америки» — на украинском языке... В итоге произошло непредвиденное: острокритическая статья в «Комсомольской правде» своей необъективностью принесла роману пользы больше, чем это могли сделать десятки хвалебных статей. Мои друзья даже шутливо спрашивали, не подкупил ли я в этих целях Вадима Баранова, а заодно и «Комсомолку».

На их публикацию откликнулись гневными письмами сотни читателей. Появились статьи в газетах и журналах. В «Красной звезде» профессор генерал армии С. П. Иванов (тогда начальник Военной академии Генерального штаба) опубликовал пространную рецензию на роман «Война», в которой доказал полную несостоятельность оценок доцента Баранова.

Вместе с тем из республик и из-за рубежа начали поступать предложения переиздать «Войну» на своих языках (роман «Война» уже выдержал более тридцати изданий).

В ряду последних атак на мое творчество особо выделяется статья историка Роя Медведева, помещенная в его книге «Они окружали Сталина», изданной Политиздатом. Не буду останавливаться на той части статьи, где Рой Медведев сеет откровенную ложь, приписывая роману «Война» то, чего в нем нет (например, доказывает, что я утверждаю, будто сын Сталина Яков Джугашвили попал к немцам в плен в октябре 1941 года под Вязьмой, хотя в романе точно указывается дата — 16 июля — и изображаются обстоятельства его пленения). Главное в другом: историк утверждает (и тоже облыжно), что «в этом романе не только крайне искаженно представляется обстановка предвоенных месяцев войны, но и недвусмысленно и кощунственно оправдываются жестокие сталинские репрессии против лучших военных кадров страны. О Тухачевском, Якире или Уборевиче Стаднюк пишет так, как будто все они не были уже давно реабилитированы».

Обстановку первых месяцев войны я изучал по самой обстановке, ибо служил тогда в армии, а войну встретил в первый ее час на западной границе. А по каким источникам изучал события тех времен Рой Медведев? Где его доказательства допущенных мной «искажений обстановки»?

Я счел необходимым объяснить в открытом письме ученому элементарное: мои литературные герои перед войной и в начале войны размышляют в романе так, как размышлял тогда я — без понимания истины, но с верой в Советскую власть. Мы не сомневались в наличии у нас врагов, в справедливости вершившихся судебных процессов. Если б мои персонажи в романе «Война» в 1941 году судили о тех событиях с позиций сегодняшнего дня, никто из современных читателей не

поверил бы в их жизненность, не ощутил бы всю трагедийность той эпохи, а меня посчитали бы лгуном и приспособленцем, как считают иных нынешних «историков», злонамеренно перечеркивающих все прошлое нашего народа.

«Ваши обвинения,— писал я историку,— что в романе «кощунственно оправдываются жестокие сталинские репрессии», по меньшей мере, несерьезны; Вы опять же ничем их не подтверждаете. Перечитайте хотя бы воспоминание главного героя романа генерала Чумакова о Якире как командующем Харьковским военным округом; они полны доброжелательства к Якиру (стр. 21—22, «Война», Воениздат, 1980 год), вдумайтесь во взаимоотношения Чумакова и писавшего на него доносы в НКВД Рукатова. Разве ничего Вам не говорит, например, такое место романа (стр. 21): «Федор Ксенофонтович стал размышлять о том, что ...усилия Рукатова не привели к роковой черте, хотя, если б пристальнее всмотреться в послужной список генерала Чумакова, был бы повод заподозрить и его в связях с теми, кого сейчас называют врагами народа. Многие из арестованных когда-то были его сослуживцами или друзьями по учебе в академии».

Или ничего Вам не говорят о позиции автора его строки:

«...Чумаков и Григорьев (при их встрече в Испании. — *И. С.*) уже знали об арестах на Родине и о том, что осуждены и расстреляны (как враги народа) многие военачальники... Трудно поверить в это.

Никто еще тогда из простых смертных точно не знал, где правда, а где неправда. Впереди ждала томящая душу неизвестность...» (стр. 23).

Как Вам, Рой Александрович, удалось рассмотреть здесь оправдание репрессий? Или надо было бы без предвзятостей прочитать, например, еще и 3-ю главу романа (стр. 14—20), вникнуть в разговор маршала Шапошникова и генерала Чумакова, происшедший в самый канун войны, Вы бы увидели все те военно-политические и стратегические концепции, которые иные «первооткрыватели» в «муках» рождают только теперь. А ведь я сформулировал их более двадцати лет тому назад и сейчас не отказываюсь ни от одного своего слова. Попытайтесь доказательно опровергнуть опубликованное мной уже в 1970 году. Или попробуйте оспорить 6-ю главу (стр. 31—38), например, беседу маршала Шапошникова с тем же профессором Романовым. Два бывших царских офицера конечно же смотрели тогда на мир с вершин того времени, тем более что маршал Шапошников верил в «военный заговор» Тухачевского и в ряду других «судей» подписал «заговорщикам» смертный приговор. Но даже и они в романе сомневаются. Вдумайтесь в провидческие слова умирающего профессора Романова:

«...История уже не раз свидетельствовала о непостоянстве обращенных в прошлое суждений и оценок... История знает и такие примеры, когда во времена всеобщего высокого верования иные люди меняли свои воззрения, однако же в века сомнений каждый держался своей веры... Страшно, когда те, которые меняют или склонны менять свои верования, вдруг берут верх над постоянно верующими» (стр. 37).

Разве мы не убеждались в справедливости этих суждений?.. А ничего не говорит ли Вам такое утверждение моего романа:

«...Ведь никакая сталь никаких сейфов не устоит перед стремлением человека к правде. Правда имеет обыкновение подниматься даже из пепла. Рано или поздно она скажет, кто виноват, а кто невиновен, а также направит указующий перст на тех, кто по злой ли воле, в чаду ли безумия или тяжких заблуждений повинен в трагедии невинных».

Эти строки тоже написаны более 20 лет назад автором, которого Вы, Рой Александрович, с необъяснимым упорством обвиняете сейчас как «сторонника сталинских репрессий».

Впрочем, я прекрасно понимаю, что Вас и Ваших единомышленников, уже не единожды яростно нападавших на роман «Война», больше всего раздражает то, что в нем Верховный Главнокомандующий Сталин руководит фронтами не по глобусу, а так, как это запечатлено в мемуарах наших выдающихся полководцев периода Великой Отечественной. Но замахиваться на Жукова, Рокоссовского, Василевского, Конева и других Вы пока не решаетесь. Опасно! Но совсем не опасно (пусть и без конкретных аргументаций) атаковать писателя-фронтовика, не покидающего своего окопа».

Итак, минувшая война, история нашего государства для иных «светлых голов» — не сердечная боль, не трагедия народа, а только пространная арена усердных разысканий чьих-то ошибок, просчетов, преступлений. Поиск врагов, разоблачение их пособников, подозрительность и даже ненависть к тем, кто прошлое и настоящее Родины со всеми ее черными бедами и взлетами считает своей судьбой и судьбой поколения, спасшего мир от фашизма,— все это стало «политическим хобби» тех «прогрессистов», которые ни своей умственной, ни физической энергией не внесли в жизнь народа ничего светлого. Вся нынешняя сумятица умов и утомленная разрыхленность духовности — и на их совести. Они изворотливы, сильны связями, целеустремленностью, умением и желанием сеять зло и неверие. Они, кажется, готовы даже обрывать лучи солнца, светящего над нами.

29

Особую ярость «правдолюбцев» я испытал после публикации первых двух книг романа «Война». Наиболее трудно было бороться с официальными «Заключениями» Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. На каждый их «отзыв» при-

ходилось писать опровержения, вступать в борьбу, которая, пусть и с потерями для содержания моих книг, все-таки завершалась победами. Но за ними уже виделся порог непреодолимости. Все четче, ясней становилось, что дальнейшие пути для творческих исканий и исследований событий начального периода войны мне перекрыты. И тогда, от отчаяния, я решился на дерзкий шаг, почти не надеясь на успех...

16 июля 1975 года послал тщательно мотивированное письмо заведующему Общим отделом ЦК КПСС Черненко Константину Устиновичу с просьбой позволить мне «...познакомиться с архивными документами 1941—1942 годов, относящимися к деятельности Ставки и Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина по руководству фронтами...»

Ответа не было долго, и я решил, что мне отказали. Но в начале января 1976 года последовал телефонный звонок со Старой площади. Мужской голос извещал, что Секретариат ЦК удовлетворил мое ходатайство и я могу начать изучать предоставленные мне документы.

— Куда приезжать? — оторопело спросил я.— И когда?

— Приезжайте в Кремль, когда вам удобно. В Бюро пропусков, что у Спасских ворот, заготовлен временный пропуск.

— Но Кремль большой... Где искать?

— В пропуске все написано...

И вот 6 января 1976 года я появился в указанном в пропуске помещении, уставленном железными шкафами коричневой окраски. За редкими столами — пожилые женщины. Мне тоже был приготовлен стол. На нем — высокая стопа папок.

Встретили меня с некоторым удивлением.

— Вы у нас первый гость,— приветливо сказала седовласая дама с бледноватым благородным лицом (Силина Татьяна Константиновна), указывая на стол у окна.— Вот приготовили вам место. В наших апартаментах еще никто не работал.

Татьяна Константиновна оказалась начальницей этого обиталища, наполненного тайнами.

— А Институт военной истории Министерства обороны? — удивился я.— Разве не вы снабжаете его материалами?

— Нет. В институте сотни людей. Там не уследить

за утечкой информации, если такая произойдет... А тут вы один. Начальство будет знать, с кого спрашивать...— Татьяна Константиновна придвинула ко мне толстую, с пронумерованными страницами, прошитую и опечатанную сургучом тетрадь.— Вам знаком порядок работы с секретными документами?

— Да, знаком. Я же полковник в прошлом...

— Очень хорошо...

Усевшись за стол, я с трепетом стал перебирать папки. В них были сгруппированы документы — оригиналы с красными полосами наверху, а иные даже с резолюциями на углах — Сталина, Молотова, Жукова, Тимошенко; но в большинстве были свежеперепечатанные копии. Мне стала ясна столь продолжительная задержка ответа на мое письмо Черненко: кто-то тщательно отбирал и группировал документы — для этого потребовалось время да и понимание того, что для писателя будет полезным, а чего — знать ему не полагается...

У меня холодело в груди и кружилась голова, вроде я взобрался на огромную высоту, оттого, сколько узнавал нового и важного. Война в целом, деятельность Ставки и Государственного Комитета Обороны открывались в документах неожиданными гранями, немыслимым размахом. Впрочем, кое-какие сведения, содержавшиеся в папках, больше подходили для научных военно-исторических исследований, чем для художественного произведения, ибо за документами не всегда проглядывали люди с их характерами, темпераментом, взаимоотношениями. Но все же передо мной открылся богатый «золотоносный» пласт... Я потрясенно извлекал из него все, что могло затем переплавиться в цельные слитки, обобщающие действительность войны. Делая записи в тетради, старался не закавычивать документов, директив, постановлений, телеграмм. Ставил даты и своими словами пересказывал суть событий, постановлений ГКО, взаимосвязь ситуаций и т. д. Но телефонные переговоры верховного руководства с фронтами записывал дословно, предваряя им такие «литературные» отступления, чтоб терялись границы документальности. Словом, заносил в тетрадь все таким образом, чтоб потом, вопреки инструкциям, добиться в Общем отделе ЦК разрешения взять ее домой (такое разрешение мне потом было дано).

В те годы я курил трубку и, работая над архивами,

время от времени уходил подымить табаком в коридор или в ванную комнату. Однажды вслед за мной вышла одна из работниц архива.

— Иван Фотиевич,— с загадочной улыбчивостью обратилась она.— У нас такое впечатление, что вы не догадываетесь, где именно работаете.

— А о чем догадываться?.. Вот, сорок первая комната.

— Да ведь это бывшая квартира Сталина!.. Ее переоборудовали...

Я действительно был ошеломлен таким неожиданным открытием. Ведь столько дней сижу здесь! А для писателя, в книгах которого обитает Сталин или другой исторический персонаж, важно все, связанное с их личностью и образом жизни,— даже бывшая квартира. И когда вернулся к своему столу, посмотрел вокруг будто другими глазами. Взглянул в окно, против которого за еловым сквером виднелось белое здание Арсенала с черными пушчонками, стоявшими у его подножия со времен войны с Наполеоном. Как все это виделось Сталину — днем и ночью, в разные времена года, в разную погоду?.. Начал расспрашивать женщин, где здесь была столовая, спальня, библиотека, детские комнаты... Посмотрел на сводчатый потолок...

Донесся бой кремлевских курантов, и я стал прислушиваться, какие еще шумы города доносились сюда... Мне уже представлялась квартира Сталина примерно такой, какой она была при его жизни, и, что удивительно, сюда с непостижимостью перекидывались мысленные мосточки от документов, которые лежали в папках на моем столе... Ведь этажом выше находился бывший рабочий кабинет Сталина...

Изучение кремлевских архивов вознесло мое понимание войны в целом, механики управления фронтами и их снабжения, процесса созревания планов боевых операций в Генштабе на многие ступени. Но это важное обстоятельство и усложнило потом работу над очередной книгой. Временами я чувствовал себя неумехой-прорабом, который, мучаясь над возведением дома, не знает, как лучше употребить имеющиеся у него под руками строительные материалы. Книга писалась мучительно трудно, хотя радовали открывшаяся передо мной новизна, возможность к обобщениям, знание последовательности, причинности и взаимосвязи событий.

...Автор — владыка за своим письменным столом. Именно поэтому позволю себе опередить события, о которых сейчас пишу, и сообщить читателю, что, когда завершенная книга проходила уже привычные тогда цензурные рогатки в казенных инстанциях, наиболее критическое отношение встретила она опять же в Институте марксизма-ленинизма со стороны доктора исторических наук Деборина Г. А. Прочитав его заключение и увидя несостоятельность выводов ученого в главном, я позвонил директору института Егорову Анатолию Григорьевичу и попросил пригласить к себе в кабинет меня, Деборина, других ученых, занимавшихся проблемами Великой Отечественной войны, и в его, директора института, присутствии, позволить мне оспорить содержание подготовленного для отправки в ЦК документа. Егоров, человек демократичный, отзывчивый, согласился с моим предложением и назначил время нашей встречи.

Надолго запомнился мне тот день. Собрались мы в кабинете заместителя директора института Педусова. Григорий Абрамович Деборин пригласил с собой двух незнакомых мне ученых. Я — один против четверых. Впрочем, Педусов держал себя как нейтральная сторона, хотя сопровождавшая заключение бумага была подписана им.

Начался разговор. Я предложил дискутировать по каждому пункту заключения, но Педусов внес встречное предложение: пусть Стаднюк вначале выскажется, с какими замечаниями института он согласен. У меня было семь закладок в рукописи: на семи ее страницах я уже сделал некоторые уточнения фраз и формулировок, сокращения отдельных слов, небольшие дополнения... Хватило десятка минут, чтоб я познакомил ученых с внесенными мной в рукопись исправлениями по рекомендациям Г. А. Деборина.

Затем искренне поблагодарил доктора наук за первый пространный абзац — вступительную часть его заключения, где признавались некоторые достоинства моей рукописи, отмечался большой труд, вложенный в написание книги, ее значение в военно-исторической литературе (пишу по памяти). А затем я начал оспаривать заключение в целом, излагая свои точки зрения о начале минувшей войны, ссылаясь на документы и другие свидетельства.

Меня слушали с интересом, задавали вопросы, уточняли истоки некоторых моих концепций, удивлялись тому, что я доказательно опровергал уже печатно закрепившиеся сведения о том, как началась война, что происходило в ее первые часы и дни в Политбюро ЦК, кого и когда принимал тогда в своем кабинете Сталин, чем занимался в этот период Молотов и его дипломатический аппарат.

Победа постепенно клонилась в мою сторону, ибо моим оппонентам опровергать меня было нечем... В конце нашей дискуссии Григорий Абрамович Деборин искренне расхохотался и, как бы идя на уступки, протянул мне страницы машинописного текста — свое заключение.

— Вычеркивайте все, с чем вы не согласны,— добродушно сказал он.

— Вы серьезно?! — не поверил я.

— Вполне серьезно! Мы рады, что вы приняли хоть некоторые наши замечания, а в остальном, если не убедили вас, то озадачили... Во всяком случае, речь идет о художественном произведении, пусть и с исторической основой... Вам за него отвечать!

И тут я проявил неслыханное нахальство: трепещущей рукой перечеркнул все страницы документа, кроме первого абзаца на заглавной «бланковой» странице и подписи на последней...

Когда роман был набран для публикации в журнале «Молодая гвардия», мы с его главным редактором Анатолием Степановичем Ивановым, взяв с собой гранки, явились в ЦК КПСС к заместителю заведующего Отделом культуры Беляеву Альберту Андреевичу. В этом отделе надо было получить окончательное благословение для печатания романа.

— Чудеса! — встретил нас Беляев веселым возгласом.— Впервые за мое здесь пребывание получил из Института марксизма-ленинизма бумагу, в которой нет критических замечаний на рецензируемую рукопись! Удивительно: ни одного возражения!

Тем не менее Беляев, взяв свой экземпляр уже прочитанных им гранок и посматривая в них, стал решительно вычеркивать из нашего набора целые блоки текста, касавшегося главным образом личной жизни Сталина... Перечить в ЦК не полагалось...

30

Но рассказанное мною произойдет потом. Работа над книгой еще продолжалась. Вставали вопросы, на которые надо было находить ответы. На моем письменном столе начали рождаться главы, в которых рычаги управления Западным фронтом брал в свои руки маршал Тимошенко. Я размышлял о нем уже как о старом своем знакомом, держал перед собой давние записи — впечатления, сохранившиеся от первой встречи с Семеном Константиновичем в Минске, когда снимался художественный фильм «Человек не сдается». В сознании постепенно стирались границы между воображением, догадками и подлинностью. Опираясь на записи, не во всем, возможно, совершенные. на архивные документы, вникая в воспоминания военачальников, хорошо знавших Семена Константиновича, постигая биографию маршала, написанную его рукой, я постепенно стал ощущать его как близкого мне человека, с понятным характером, более или менее ясными заботами и тревогами, связанными с теми высочайшими постами, которые занимал он в год начала войны.

Но литература, как известно, дело серьезное и жестокое. Она не идет навстречу читателю, не воспринимается им глубоко, если он, читатель, только узнает что-то из нее, а не «видит» объемности и картинности описываемого. Фон, краска, звук, запах, деталь должны сопутствовать подробностям обстоятельств, помогая рождению видения происходящего и как бы соучастия в нем. Я это особенно ощутил, когда задумался над тем, что пишу наиболее драматичную страницу жизни Тимошенко. 30 июня 1941 года он, будучи наркомом обороны СССР, председателем Ставки Главного Командования, назначается еще и командующим Западным фронтом. Это назначение, как я уже писал, происходило в невероятной ситуации: враг захватил Минск, глубоко проник танковыми клиньями на нашу территорию, окружив главные силы армий Западного фронта. Сталин гневно ставил все это в вину именно Тимошенко...

Сидя за письменным столом, я знал по документам решения Ставки и Государственного Комитета Обороны, направленные на ликвидацию смертельной угрозы Москве со стороны Минска. Их предстояло осуществлять командованию Западного фронта, теперь уже во

главе с маршалом Тимошенко. Был я знаком и с первыми решениями Семена Константиновича по его приезде в Гнездово, где находился штаб. Но нельзя забывать, что часто эмоционально-мыслительная, пусть даже импульсивная, напряженность полководца наиболее высока тогда, когда он только готовится приступить к делу, а тем более столь ответственному, требующему множества оценок, предосторожностей, многокомплексных знаний, интуиции, воинского мужества и т. д.

Мне представилось, что эта внутренняя подготовка маршала, взяв начало в Генеральном штабе, наиболее остро продолжалась в пути от Москвы до Смоленска, особенно на фоне воспоминаний вчерашнего (29 июня) нервного спора со Сталиным. И чтоб наполнить повествование и внешней образностью, надо было хотя бы знать, каким транспортом и в сопровождении кого этот путь преодолевался. Но откуда было почерпнуть информацию? Никакие документы подобного не фиксировали. Поиски же свидетелей ни к чему не приводили. Но «кто ищет, тот всегда найдет» — эта крылатая песенная фраза не суть пустословие. Однажды, листая далеко не свежий военный журнал, я вдруг обратил внимание на статью тогдашнего министра обороны СССР Маршала Советского Союза Гречко Андрея Антоновича, посвященную двадцатипятилетию нашей Победы. В глаза бросились строки, где маршал писал о том, что 30 июня 1941 года он, полковник Гречко, будучи работником Генерального штаба, сопровождал наркома обороны Тимошенко на командный пункт Западного фронта к новому месту службы и тогда же, в пути, пропросил маршала направить его в кавалерийские войска действующей армии.

В тот период, когда попал мне в руки журнал, я состоял в группе консультантов двенадцатитомного издания «История второй мировой войны». Маршал же Гречко был председателем главной редакционной комиссии этого многотомника. И разумеется, я не замедлил воспользоваться столь близким и надежным источником информации: послал записку Андрею Антоновичу. На свой несложный вопрос вскоре получил разъяснение: «Маршал Тимошенко и сопровождавшие его военные 30 июня 1941 года ехали в Смоленск поездом...»

Итак, глава у меня родилась. Опираясь на уже на-

копившиеся в моей памяти и моих ощущениях черты человеческой натуры Тимошенко, я попытался в силу своих возможностей вторгнуться во внутренний мир полководца и как бы заново, его взглядом, мыслью и чувствами охватить все то, что произошло с нашими войсками на Западном фронте после начала вражеского вторжения. Действие в главе развертывалось на фоне салон-вагона — мне приходилось бывать в таких вагонах уже после войны.

Не без тревоги и сомнений послал рукопись главы маршалу Гречко. Вскоре мне ее вернули с его пометками на полях и в тексте — с общим одобрением. Однако, к моему изумлению, весь «салон-вагонный антураж» был им вычеркнут, а с боку страницы рукой маршала написано: «В Смоленск летели на самолете Ли-2 в сопровождении четырех истребителей».

Ну что ж, подумал я, изменила память Андрею Антоновичу. Главу пришлось переделывать, вписывая ее содержание в новое обрамление с иными фоновыми деталями. В конечном счете я был счастлив, ибо в романе «Война» появилась еще одна, почти документальная, глава, достоверность которой засвидетельствовал своей подписью один из исторических персонажей романа...

Но человеческая память действительно не всегда является надежным инструментом. Наслоения событий многих лет нередко делают в ней «смещения». Одно обстоятельство порой заслоняется другим или совмещается друг с другом, рождая в памяти нечто новое или обобщающее.

Вскоре после выхода в свет книги я получил письмо от бывшего адъютанта маршала Тимошенко — Никифора Лаврентьевича Ермака, ныне живущего в Москве. Одобрительно отзываясь о романе, он утверждал, что в главе, где Семен Константинович Тимошенко следует в штаб Западного фронта, допущена ошибка: «Мы не летели самолетом, а ехали машинами». И такие приводились в письме картины дорожного чаепития в деревенском доме и ночевки на сеновале, такой разговор маршала со стариком-крестьянином о войне, что у меня сердце зашлось от упущенной возможности написать главу ярче, сочнее и глубже. Но переписывать ее не стал, ибо роман в целом зажил своей жизнью, а новые творческие планы звали вперед.

31

В процессе работы я обычно не задумываюсь над тем, существуют ли какие-нибудь художнические законы слияния в прозаическом произведении судеб исторических личностей и собирательных персонажей. Больше забочусь о правде происходящего, особенно если в происходящем участвуют реальные люди. Тут я опираюсь на знание факта, на подлинность обстоятельств, на свидетельства документов и на проверенные воспоминания людей, причастных к тем событиям, которые являются полем моих исканий.

А как объяснить появление в романе «Война» немецкого диверсанта, русского по происхождению, графа Глинского Владимира Святославовича («майора Птицына») с очень правдоподобной биографией? И почему он именно граф? На последний вопрос ответить легко: сталкиваясь в первые дни войны с немецкими диверсантами, мы поражались их дерзости, жестокости, бесстрашию; они отлично владели русским языком, знали армейские обычаи и порядки. И мы делали вывод: это наши «бывшие», которые в свое время бежали из России (среди них я не встречал людей моложе сорока — пятидесяти лет). А сейчас, если немцы разгромят СССР, они, видимо, надеются вернуть свои утерянные богатства. Конечно, мыслили мы примитивно, как и примитивно было наше понимание истории Российской империи. Исходили в своих точках зрения из элементарной истины: не будь Советской власти, не светили бы нам, особенно крестьянским детям, перспективы получить образование и выбиться в люди.

«Тема» диверсантов с новой силой запульсировала во мне, когда летом 1960 года я со своим сыном Юрием поехал на запад от Минска, по местам боев. Непередаваемое волнение испытал на дороге между деревнями Валки и Боровая (Дзержинского района): там у нас была наиболее яростная схватка с диверсантами, одетыми в форму командиров Красной Армии. Меня интересовало, где похоронены погибшие в ту ночь мои однополчане, особенно мой коллега по дивизионной газете Григорий Лоб, умерший после смертельного ранения на моих руках. В памяти всплыли подробности той страшной ночи и того рассвета.

Когда из Валок подошли к машине крестьяне и по-

казали на краю деревни братскую могилу, куда они снесли и похоронили всех подобранных на обочине дороги (мы сами этого сделать не успели, спасаясь от подоспевших сюда танков), я ужаснулся от услышанного: оказалось, что селяне погребли в одной яме не только наших бойцов и командиров, но и немецких диверсантов, не разгадав в них врагов...

Не стал я открывать людям правду... Повел Юру к тому месту, где был ранен, показал сохранившуюся «вмятину» — след своего орудийного окопа, близ которого погиб младший политрук Лоб, нашел место одиночной ячейки, где укрывался от гусениц немецких танков.

В последующие годы были еще две поездки по местам боев — на Смоленские возвышенности, на кровавопамятное место Соловьевской переправы и рубежи наших атак в районе совхоза Зайцево на Вопи.

Ходить по тем местам, где ты много лет назад ползал под огнем врага, где видел смерть и кровь, испытывал страх и надежду,— это значило беспощадно тиранить память, всколыхнуть боль души и в который раз спрашивать себя: как уцелел? Потом за письменным столом надо вновь цепенеть от ужаса, мысленно видя огненно-ураганный, кровавый лик войны... Вот охватываю мыслью Смоленское сражение... Как рассказать о нем в книге? Как изобразить гигантское пространство, на котором в надсадном грохоте пылала земля с лесами, селами, городишками, колосилась смерть, унося тысячи жизней, вопила боль, душила злоба, ненависть, отчаяние?.. И безнадежность?.. И надежда?.. Как все это передать читателю, раскрыть перед ним смятенную и обуглившуюся душу воина 1941 года?.. Многоликая, сумбурная, очаговая и неохватная картина битвы... Кто и где имел о ней полное представление?.. Никто и нигде... Пока из штаба в штаб, с фронта в Москву шли донесения, пока разведчики и оперативщики рисовали на картах сводную обстановку на Смоленских и Духовщинских высотах, она, обстановка, уже была другой... Требовались новые решения... Их принимали главным образом там, на местах боев,— каждый солдат и командир переднего края.

Когда пекла в груди боль от воспоминаний о том яростном лете, часто вспыхивала горькая и досадная мысль о немецких диверсантах, их коварстве, о нашей

подозрительности к незнакомым людям, пробивавшимся из окружения. Переодетые агенты врага были для нас как раскаленный осколок в теле, который трудно было извлечь...

— Так почему же вы нарекли диверсанта Глинского графом? — однажды спросил у меня Леонид Максимович Леонов.— Графья в России не были самыми плохими людьми.

— Дьявол его знает! Так получилось,— легкомысленно ответил я.— Теперь думаю, как мне дальше поступить с этим графом.

Леонов посмотрел на меня с изумлением:

— Еще только думаете?!

— Посмотрю, как он будет себя вести дальше.

Леонов даже побагровел от нахлынувшего негодования:

— И этого вы еще не знаете?! Ну, а общий план романа у вас есть?

— А я иду за событиями войны! Вот и весь план.

— Как же тогда вы распоряжаетесь судьбами своих героев?

— Они сами собой распоряжаются.— Видя нарастающее раздражение Леонида Максимовича, я встревожился и сбивчиво продолжил свои объяснения: — Назревает определенная ситуация, и герой поступает согласно своему характеру, но по моей воле.

— Сиюминутной воле?! Ну, знаете, Иван Фотиевич, этак у вашего дитяти, я имею в виду роман в целом, голова может оказаться дегенерата, тело рахитика, а ноги карлика! — Леонид Максимович на минуту отлучился из кабинета и принес прозрачный целлулоидный круг с отверстиями по ободу, линейку и большой лист бумаги, на котором в начертанном круге было множество перекрещивающихся линий и каких-то надписей.

И стал объяснять, как он работает над планом романа. Продумывая сюжет, находит логические точки соприкосновения героев книги в конфликтах, в действии, определяет взаимосвязи событий, композицию и т. д. Все это запечатлевалось им в круге линиями и надписями.

— Пока я не выношу в себе роман в подробностях, не продумаю все, что в нем происходит, его главный

смысл, философию, пока не перескажу все Татьяне Михайловне *, за письменный стол не сажусь!

Думаю, что неуклюже оправдывался я перед нашим живым классиком. Доказывал ему свое: если в деталях знаю, что и как должно случиться в моей задуманной повести или в рассказе, мне писать не очень интересно. А когда на бумаге, под моим пером, начинают появляться картины, характер героя, они уже сами ведут меня... Поступки диктуются рождающейся человеческой натурой...

Леонов не возражал, но смотрел на меня с сожалением.

Но я действительно говорил ему тогда свою правду. Вот и сейчас, работая над этой книгой, я буквально принуждаю себя сидеть за письменным столом. Мне кажется, что в моих усилиях отсутствует элемент творчества, ибо труд мой слагается главным образом из напряжения памяти, пересказа былых, известных мне событий, расшифровки давних блокнотных заметок...

Когда я уходил из дома Леонида Максимовича, он вдруг обратился ко мне с неожиданной просьбой:

— Вы бываете у Молотова. Спросили бы у него, почему во время войны он запретил спектакль по моей пьесе «Золотая карета»?..

Об этом я услышал впервые и поразился: мог ли Вячеслав Михайлович позволить себе такое?..

Обычно, собираясь к Молотову, я готовил вопросы, которые должен был задать ему, исходя из того, какие события войны описывал в то время. Старался избегать в своих вопросах проблем, связанных со злобой дня, дабы не вынуждать Вячеслава Михайловича нелестно высказываться, что он нередко себе позволял о тогдашнем руководстве страны и партии: оба мы знали, что его дача, как и квартира на улице Грановского, прослушивается. Впрочем, Молотов этому, как мне казалось, не придавал особого значения и не стеснялся разного рода критических суждений о событиях в стране и нелестных оценок деятелей Кремля и Старой площади. Я же, как «продукт своего времени» с армейской закваской, побаивался таких разговоров и уклонялся от них.

---

* Татьяна Михайловна — покойная супруга Л. М. Леонова.

На этот раз я застал Молотова стоящим посреди клумбы у крыльца дачи. Он рассматривал цветы.

— Любуетесь? — спросил я, поздоровавшись.

— Коротаю время, вас дожидаясь.

— Извините, чуток опоздал. Охранница не пропустила такси на территорию дачного поселка.

— Я сейчас позвоню! — Вячеслав Михайлович шагнул к крыльцу.

— Спасибо. Не надо. Я уже отпустил машину.

— Тогда идемте в дом или для начала прогуляемся по лесу?

— Давайте прогуляемся,— предложил я.— Только, с вашего разрешения, отнесу на кухню портфель.

— Вы неисправимы,— горько усмехнулся Молотов, догадываясь, что у меня в портфеле, как обычно, вино, фрукты, еще кое-что из съестного. Всем нам, кто навещал Вячеслава Михайловича, было известно, что он получал тогда самую мизерную пенсию (126 р.), жил бедно, и мы не считали возможным приходить к нему с пустыми руками.

Вскоре мы неторопливо шагали по асфальтовой дорожке вдоль забора, отделявшего дачный поселок от железнодорожной платформы Ильинское. В руке у Молотова — изящная темная трость; он любил напоминать, что ее подарил ему бывший британский посол сэр Арчибальд Керр.

— Ну, что нового в литературе? — с привычной для него иронией спросил Молотов.— Новый Чехов не объявился?

Я тут же вознамерился сказать, что на днях гостил у Леонида Леонова и тот интересовался причинами запрета в войну его «Золотой кареты». Но вдруг из кустов, подступавших к дорожке, с треском вырвалась овчарка, зажав в клыках палку и таща за собой мальчишку, который держал собаку на поводке. От неожиданности мы остановились, потеряв нить нашего разговора. А когда зашагали дальше, Молотов спросил:

— Остался у вас в книжке эпизод о Сталине и Берии на Холодной речке?.. Ну, помните, я рассказывал: Коба и Берия, вот так, как мы с вами, гуляли по дорожке, а из кустов вдруг грянули два выстрела?

— Помню! Берия вначале прикрыл собой Сталина, а потом кинулся в кусты и застрелил там двух охранников.

— Верно.
— Изъяли из романа этот эпизод — цензура вырубила.
— А вы знаете, что Сталину тогда откуда-то стало известно, что этим бойцам было приказано пальнуть вверх холостыми патронами — якобы для проверки бдительности и боеготовности охраны?
Мне было об этом известно, однако я спросил о другом:
— Как же Сталин мог простить Берии такую чудовищную провокацию?.. Да еще убить безвинных...
— Берия страшный был человек... Опасный...
— Вы говорили об этом случае со Сталиным?
— Со Сталиным трудно было говорить о Берии. Все мы побаивались Лаврентия... Хитер, коварен, жесток, изворотлив. Догадываюсь, что и Сталин опасался его и чувствовал себя как бы в плену у НКВД...

Поняв непростую значимость слов Молотова, я с сомнением сказал:
— При культе Сталина ему ничто не могло угрожать.
— Верно, культ был броней для него — от заговоров, государственных переворотов, покушений на жизнь. Ему поклонялись как божеству... Но Сталин понимал, что реальная сила, особенно в Москве, находилась в руках Берии. Да и на местах везде были ставленники Берии. Убрать его было не так просто. И кем заменить, кому мог Сталин доверить столь серьезное дело? Ведь к Сталину не попадали даже письма и телеграммы без проверки их людьми Берии... Вот и было проще держать Берию в руках, дружить с ним, крепить авторитет своей личности как самозащиту.
— Но ведь вы говорили, что Берия, по всей вероятности, все-таки приложил руку к смерти Сталина.
— Да, это не исключено. Сталин в последние годы жизни уже начал было подбираться к Берии. Тот почувствовал опасность. Они друг друга стали бояться... И во мне Сталин начал сомневаться, намекал на то, что я будто работаю на английскую разведку. Проживи он дольше, со мной бы, видимо, поступили тоже не лучшим образом.
— Да, жестокое бушевало время,— обронил я фразу, не ощутив в рассказе Молотова новизны для себя,

ибо уже не впервые слышал от него об отношениях между Сталиным и Берией

— Нет, случалось, что и миловали кое-кого, хотя по тем временам надо было расстреливать.— И Молотов вновь рассказал о том, что я уже слышал от него в кругу наших общих знакомых.

Речь пошла о 1944 военном годе, когда у Молотова, наркома иностранных дел, заместителем был прославленный в западном мире дипломат М. М. Литвинов. К нему однажды напросился на прием корреспондент одной американской газеты, известный нашей разведке как матерый шпион. Беря у Литвинова обычное интервью, корреспондент между тем спросил у него, есть ли в нашей стране силы, способные свергнуть Советское правительство. И Литвинов якобы ответил, что внутри Советского Союза таких сил нет. Армия и ее техника — в руках правительства. Офицеры — партийные... Надо искать силы за пределами СССР; пусть, мол, подумают об этом руководители Америки и Англии...

На второй день чекисты положили запись беседы американца с Литвиновым на стол Сталина и стол Молотова.

— Мы посоветовались и решили не трогать Литвинова, хотя кипели от ярости,— рассказывал Молотов.— Помнили, что во всем мире он слыл умнейшим дипломатом. Когда Литвинов был нашим послом в Америке, с ним там считались как ни с кем... Поэтому остался жив.

Когда мы после прогулки сидели в столовой за накрытым столом, я рассказал Вячеславу Михайловичу о недавней встрече с Леоновым и о его вопросе по поводу запрета спектакля «Золотая карета».

— Впервые слышу.— Молотов пожал плечами.— Не запрещал. Да это и не было в моей компетенции.— А потом, поразмышляв, добавил: — А вы бы, Иван Фотиевич, организовали нам личную встречу. Люблю беседовать с писателями. Пригласите Алексеева, Иванова, нашего друга Чуева....

Стиснутый между Киевской и Белорусской железными дорогами зеленый массив с прячущимися в нем дачными постройками считается самым близким от Москвы заповедным райским уголком и именуется Переделкино. Его еще называют «воротами ветров», из-за того что они, ветры, прочесывая переделкинский лес, рощи,

сады, знаменитое кладбище у златоглавого храма, дуют только в сторону Москвы и поэтому всегда чисты, свежи, напоены запахами хвои и трав.

Здесь, среди высоких сосен и елей, тонкостволых берез и тучных кустов орешника, с давних времен основался поселок из нескольких десятков писательских дач — собственных и литфондовских, сдающихся в долгосрочную аренду. Арендные дачи — предмет раздоров между двухтысячным войском московских литераторов.

Я арендую дачу, может, самую скромную в поселке, претерпевшую немало ремонтов и перестроек, которые обошлись Литфонду и мне лично в немалую сумму денег — на них уже можно было давно возвести богатый дворец. Но я дорожил «первородством» дачи: здесь вначале жил старый русский прозаик Бахметьев, потом мой фронтовой побратим Евгений Поповкин, а после его смерти дачу отдали в аренду мне.

Впрочем, «отдали» — не то слово и не то понятие. В 1969 году, после кончины Поповкина, его вдова Людмила Евгеньевна, имевшая право (согласно Уставу Литфонда) еще два года пользоваться дачей, сообщила в секретариат Союза писателей о том, что она готова отказаться от своей привилегии немедленно, если дачу отдадут в аренду кому-то из друзей покойного Е. Е. Поповкина — Ивану Стаднюку или Геннадию Семенихину. Об этом сообщил мне по телефону секретарь по организационным вопросам Союза писателей СССР К. В. Воронков — человек весьма деловой и строгий; он предложил мне написать соответствующее заявление в адрес секретариата. Когда я принес в «дом Ростовых» на улице Воровского бумагу, Воронков, принимая ее от меня, объяснил, что у него таких заявлений много десятков и вряд ли моя просьба будет удовлетворена. Я вспылил, напомнив Воронкову, что принес заявление не по своей инициативе, а по его «просьбе», и покинул кабинет.

Вскоре, в один из декабрьских дней 1969 года, меня пригласили на небольшой прием в болгарское посольство (не помню, по какому поводу). Я немножко опоздал и, когда появился в зале, где проходило торжественное пиршество, направился к хорошо знакомому мне послу Жулеву, чтоб поприветствовать его. Рядом с

Жулевым стоял, уже будучи чуть во хмелю, К. В. Воронков. Увидев меня, он весело сказал послу:

— Можете поздравить Стаднюка! Сегодня наш секретариат постановил отдать ему в аренду дачу в Переделкино.

Я, зная, что в тот день никакого секретариата не было, разыграл сцену взволнованной благодарности, преклонив даже перед Воронковым колена. И тут же объявил, что приглашаю Жулева с супругой в гости, в Переделкино, как только переселюсь туда и приведу дом в порядок.

На второй день, забрав у вдовы Поповкина ключи от дачи, я занял ее и начал обустраиваться. Потом позвонил по телефону Воронкову, еще раз поблагодарил его за благожелательство и сообщил, что уже завез на дачу мебель.

Трудно передать тогдашнюю реакцию Константина Васильевича на мои слова. Вначале он помолчал, потом застонал, будто его пронзила острая боль в интимном месте. Наконец с трудом вымолвил:

— Что же ты, Иван, наделал?! Я ведь пошутил!

— Догадываюсь, что пошутил! — едковато ответил я.— Но такие шутки не для посольских застолий! Я ведь пригласил посла в гости всерьез!.. И вас приглашаю....

Только через полгода усилиями Воронкова секретариат принял решение о предоставлении мне в аренду дачи. Полагаю, Литфонд не прогадал: в Переделкино за тридцать лет я написал три книги романа «Война», романы «Москва, 41-й», «Меч над Москвой», несколько киносценариев художественных фильмов и четыре пьесы. Литфонд получил сумму денежных отчислений, принесенных мной государству доходов, такую, что можно было б построить еще один дачный городок. Только жаль и даже стыдно перед всем миром, что из многомиллионных доходов, получаемых нашим государством от труда писателей, им же, писателям, перепадают жалкие крохи, хотя находятся завистливые борзописцы, готовые выворачивать чужие карманы и возводить иных романистов в ранг миллионеров.

Впрочем, даже грабительская политика Советского государства по отношению к своей творческой интеллигенции все-таки позволяла ей в послевоенные и застойные времена материально жить не в бедности, а то и в достатке...

Так вот, в один из таких майских дней мы ждали в «нашей», не совсем благопристойно арендованной, даче небывалых гостей. Накануне я был на рыбалке, удил «по сезону» только на два крючка, но вернулся с хорошим уловом: Антонина и Галя (жена и дочь) нажарили целый противень карасей в сметане, стол на террасе был щедро уставлен блюдами, вазами, вазочками со всевозможными закусками...

Первым приехал Молотов: на дороге против дачи засигналила машина. Я кинулся открывать ворота, но меня опередил вошедший во двор Шота Иванович Кантилиани — полный, невысокого роста грузин, с которым мы и раньше нередко встречались в Жуковке у Молотова. Сидевший за рулем «Волги» Евгений Джугашвили (сын погибшего в плену у немцев Якова — старшего сына Сталина) медленно зарулил на центральную асфальтовую дорожку дачного участка. Из машины вышел Вячеслав Михайлович Молотов — не по годам стройный, розовощекий, в темном костюме... Объятия, поцелуи. Гость с любопытством оглядывался по сторонам (это был его первый приезд ко мне в Переделкино); как всегда, в его глазах таилась вопрошающая ирония.

У крыльца дома я стал знакомить Молотова с Антониной, Галей, сыном Юрием (тогда еще старшим лейтенантом). Вошли в дом, поднялись по крутой лестнице на второй этаж в мой кабинет. Молотов с интересом осматривал библиотеку, афиши моих фильмов и спектаклей, развернутые на подставке топографические карты, на которых некогда работали цветными карандашами маршал Тимошенко и генерал-лейтенант Лукин, сводки погоды за лето 1941 года, начертанные моей рукой схемы боевых операций начального периода войны. Удивлялся, посмеивался... Затем стал придирчиво расспрашивать о предполагаемых содержании и военно-политических концепциях третьей книги романа «Война».

Вскоре пришел со своей дачи и присоединился к нам Михаил Алексеев, приехали Анатолий Иванов, Владимир Фирсов, Феликс Чуев. Я с нетерпением ждал появления Леонида Максимовича Леонова: он жил на соседней улице. А Молотов переключил свой интерес на Алексеева и Иванова, как главных редакторов журналов, стал расспрашивать их, есть ли в редакционных

портфелях («Москвы» и «Молодой гвардии») новые интересные рукописи.

Наконец появился с палочкой в руке и плащом через плечо Леонов. Мы все спустились на террасу ему навстречу. Взглянув на накрытый стол, Леонид Максимович схватился за голову:

— Батюшка мой! Я ж пообедал!

— Кто же идет в гости к хохлу, пообедавши? — Я искренне удивился и огорчился, посетовав, что не предупредил Леонова, когда говорил с ним по телефону.

Прежде чем сесть за стол, решили сфотографироваться. И тут Молотов неожиданно спросил у меня:

— А где же ваш зять Виктор Петелин? — Мы как-то вместе с Молотовым и Виктором Васильевичем навещали на даче в Новом Иерусалиме Сергея Ивановича Малашкина.

— Отмокает Петелин в море в Коктебеле,— ответил я.— С моим старшим внуком Ванюшкой.

— Значит, не полный сбор,— засмеялся Молотов.— Будут жалеть, что не оказались в таком товариществе.

Вдруг на крыльцо выскочила Галя:

— Папа, Виктор звонит из Коктебеля! Будешь говорить?

— Передай ему привет от всех нас. Пусть идет за вином и выпьет там за наше здоровье!..

Затем, после фотографирования, началось незабываемое застолье. Молотова и Леонова я посадил рядом — через угол стола. Остальные рассаживались кто где хотел — мест хватало. Трудным оказалось наполнить первые рюмки. Вячеслав Михайлович у себя на даче, бывало, мог выпить в нашей компании рюмку-две коньяку, а тут попросил налить ему бокал домашнего квасу из березового сока. Леонид Максимович согласился пригубить рислинга. Я, как хозяин, чувствуя ответственность за происходящее, осторожно попивал смесь шампанского и рислинга. Остальные угощались — что кому желалось: на столе высились бутылки коньяка, водки, вина: то были благословенные времена, когда всем позволялось оставаться самими собой.

Ох, трудно хозяину дать ход посиделкам, когда душа смущена необычайностью происходящего. Если б мне кто-нибудь предрек хотя бы в войну, что в моем доме когда-то будут сидеть рядом Молотов и Леонов, в кругу

известных прозаиков, поэтов, да еще внука Сталина, я бы такого прорицателя посчитал сумасшедшим. Но деваться было некуда. Прозвучали первые тосты. Молотов, будто на заседании, деловито спросил у Леонова, над чем он работает. Леонид Максимович ответил уклончиво и стал нахваливать мою «Войну», особенно сцену в кабинете Молотова, когда германский имперский министр Риббентроп из кремлевского кабинета Вячеслава Михайловича в присутствии Сталина разговаривал по телефону с Гитлером. Слава Богу, похвала прозвучала больше в адрес Молотова, оснастившего писателя подробностями, которых ему не придумать, тем более что, по словам Леонида Максимовича, в этой сцене очень достоверно выписан Сталин.

Я с тревогой ждал главного: разговора о «Золотой карете». Его начал Молотов:

— Леонид Максимович, откуда вы взяли, что я во время войны якобы запретил ваш спектакль «Золотая карета?» Это ни в какой мере не соответствует действительности.

Мне не запомнился ответ Леонова, но очередной вопрос, адресованный ему Молотовым, меня ошеломил:

— А как случилось, что вы написали антипатриотичный рассказ «Евгения Ивановна»? — Так и спросил!

— Почему антипатриотичный? — Лицо Леонида Максимовича покрылось розовыми пятнами.— Я с вами согласиться не могу!

— В прежние времена мы вас бы строго наказали за него.— Лицо Молотова тоже побагровело.

Я почувствовал столь острую тревогу, что заболело сердце: было похоже, что эти два великих человека сейчас схлестнутся в споре, который может закончиться плохо. Особенно пугала жесткость в словах Молотова и исчезнувшее в его глазах обычное выражение ироничности.

— Это уже интересно.— Леонид Максимович вынужденно засмеялся, и всем нам было видно, как он сдерживал себя, чтоб не ожесточиться.— Я, между прочим, все свое творчество рассматриваю в единстве. В том числе и «Евгению Ивановну», судьба которой продолжается в последующем рассказе...

Молотов не очень деликатно прервал Леонова:

— Неужели вы верите в то, что любовь между двумя

людьми может оправдать измену родине одного из них, в данном случае Евгении Ивановны?

Я не смею продолжать рассказ об их дальнейшей дискуссии, боясь быть неточным. Запомнились мне вразумляющие интонации в размышлениях Леонида Максимовича о человеческих натурах, порывах их характеров, о разности отношений отдельных личностей к родному народу, к России и тому общественному строю, который отторгает человека не от народа, не от России, а от чужеродности «нового» бытия, удушливости атмосферы времени.

Надо было разряжать напряженность разговора. И мы, кто был в застолье, наперебой начали требовать вновь наполнить рюмки. Зазвучали тосты, а Михаил Алексеев тут же взял на себя роль «громоотвода» — увел всеобщее внимание в новое русло. Начал вспоминать тридцатые годы, страшный голод в Поволжье, стал рассказывать о своей родной Саратовщине и обо всем поволжском крае, объединившем тогда несколько областей, о царивших там беспорядках, головотяпстве местных руководителей.

Молотов почувствовал, что в словах Михаила Алексеева сквозит прямой упрек тогдашнему Советскому правительству и лично ему, Молотову. И не только не отмолчался, но и перешел в контратаку:

— Молодой человек,— обратился он к Алексееву, и уже от этих слов Михаил Николаевич почему-то побледнел, вызвав во мне необъяснимый приступ беззвучного смеха.— Я прочитал все ваши книги. Да, талатливо. Но в них, а значит, и в вас, есть глубокие внутренние противоречия...

Я понял, что это был упрек и моему роману «Люди не ангелы», а также книгам Федора Абрамова и Сергея Крутилина,— на эту тему у нас с Молотовым уже были разговоры раньше, которые он всегда завершал выводом: «Многие писатели, пишущие о деревне, не понимают учения Ленина о крестьянском вопросе».

Прервав дискуссию, Молотов встал и предложил тост в память о Сталине. Затем Владимир Фирсов и Феликс Чуев поочередно начали читать стихи, которые всех нас будто примирили...

Мои встречи с Молотовым чаще продолжались на его даче в Жуковке.

Несколько раз он еще приезжал к нам в Переделкино.

Но то уже были встречи деловые, без особых дискуссий, пусть и не менее, а порой и более интересные. Для меня, продолжавшего писать о начальном периоде войны, они сослужили неоценимо полезную службу, оказались незабываемыми, о чем я искренне, с глубоким волнением сказал в своей траурной речи на его похоронах 12 ноября 1986 года. Умер он 8 ноября на девяносто шестом году жизни.

32

Природа — это увлекательнейшая книга, которую никогда не надоедает читать. К самым страстным любителям этой книги, посвященным в сокровенные тайны ее увлекательности, относятся рыбаки и охотники. Для меня лучшее времяпрепровождение — рыбалка, ее уединение с полным ощущением свободы. Но я не стану писать о тех чувствах тихого восторга, который испытываешь, готовя рыбацкие снасти, не буду утомлять читателя описанием различных способов ужения рыбы. Обо всем этом уже написано немало и хорошо, хотя только одно Евангелие, как известно, является книгой без недостатков.

Так вот, повторяюсь, уединение при ужении рыбы действительно укрепляет душу, приучая ее к размышлению. Правда, мысли, когда ожидаешь поклевки, часто растворяются, как снежинки на щеке, и порой ты будто исчезаешь для самого себя из земного бытия. Да-да, забываешь, что ты есть, что существуешь, что проходит время, приближая тебя к «пробуждению», когда надо начинать сниматься с якоря, если в бесклевье сидишь в лодке, или по свисту кого-то из сорыбаков — сигнал — узнаешь, что пора покидать насиженное на льду место (если рыбачишь зимой) и волочить за собой ящик на салазках в назначенный пункт сбора нашего уже давно сколотившегося волей случайных и неслучайных знакомств товарищества «хороших людей». Если человек — рыбак, то обязательно человек хороший,— бытовало среди нас льстившее нам поверье.

Мы — это целый «оркестр», состоящий из «личностей», ничем не похожих друг на друга, и эта непохожесть, возможно, была для нас главной цементирующей силой, питавшей интересы друг к другу и потребность

во встречах. Правда, наш «оркестр» время от времени таял и вновь обновлялся — одни умирали (знаменитый в прошлом театральный режиссер Майоров Сергей Арсентьевич, «засекреченный» академик, Герой Соцтруда Семенихин Владимир Сергеевич...), других сковывали болезни, а один из наших побратимов-патриархов — начальник Академии МВД СССР генерал-лейтенант Крылов Сергей Михайлович, вступив в острейший конфликт с высшим руководством своего министерства, застрелился...

Определение «оркестр» я употребил не случайно, ибо чей-либо уход из него сказывался так, будто исчезал из маленького коллектива один из оркестрантов, без которого наша «музыка» была неполноценной — мы сразу же с болью ощущали обедненность наших дискуссий, политических схваток, оценок высшего руководства, событий в стране и за рубежом, и даже на «травле» анекдотов это сказывалось.

Время постепенно врачевало наши душевные раны, тем более что жизнь не обделяла нас новыми бедами и потрясениями, которые мы воспринимали как неизбежные, дожидаясь очередных дней отдыха, чтоб вновь и вновь устремиться на какой-либо водоем Подмосковья, а то и соседней области, благо что кроме собственных машин можно было, чего греха таить, пользоваться и служебным транспортом — для начальства это считалось разумной заботой о его, начальства, здоровье.

На рыбалках, дабы избежать анархии, обязательно должны были быть предводители. Ими у себя мы добровольно признали Николая Матвеевича Грибачева — главного редактора журнала «Советский Союз», а со временем еще и Председателя Верховного Совета РСФСР, Петра Ивановича Морозова — заместителя министра сельского хозяйства СССР. В составе рядовых искателей рыбацкого счастья пребывали доктор юридических наук, профессор, Герой Советского Союза, генерал-майор Косицын Александр Павлович, известный военный прозаик и великий знаток зенитной ракетной техники Горбачев Николай Андреевич, работник Комитета госбезопасности генерал-майор Губернаторов Владимир Николаевич, секретарь Московской писательской организации Кобенко Виктор Павлович и я. Люди все серьезные, дисциплинированные члены Общества рыболовов; не скупились платить за путевки и за ночлег

на спортивных базах, умели там без перебора выпить и закусить. Словом, все было честь по чести.

Не обходилось на выездах и без непредвиденностей. Одна из них запомнилась мне своей необычностью. Во время нашего коллективного ужина на рыбацкой базе, когда каждый выставил на стол свои съестные припасы, приготовленные нашими женами, в столовой появилась еще одна рыбацкая бригада, состоявшая из известного нам высокого начальства. Но мы всегда придерживались элементарного принципа: на рыбалке все равны — и ничем не выказали своей учтивости вошедшим, продолжая ранее начатый разговор. Это, видимо, уязвило одного из самых «высокопоставленных» рыбаков, и он, через какое-то время, приняв дозу спиртного, едковато обратился из-за соседнего стола к Морозову:

— Товарищ заместитель министра сельского хозяйства по живот...новодству! Можно задать вам вопрос?

— Можно, но у меня, между прочим, есть известная вам фамилия, а должность я оставил у себя в кабинете,— ответил Морозов.

— Вопрос такого, понимаете, свойства,— продолжал тот, сделав вид, что не уловил иронии Петра Ивановича.— Как вы полагаете, наши с вами потомки будут пасти скот?

— Почему это вас интересует? — удивился Петр Иванович.

— Мы должны заботиться, чтобы наши потомки не знали этой проблемы.

— Ну и заботьтесь на здоровье! — с откровенной насмешкой ответил Морозов.— А мы заботимся о том, чтоб сытно жилось нашим современникам! Потомки наши будут умнее нас с вами и сами решат, как им быть со скотом...

Мы все дружно, даже чрезмерно, расхохотались под гробовое молчание соседнего стола. А меня, как говорят, черт дернул за язык, и я задал встречный вопрос, не очень оригинальный и грубоватый:

— Скажите, пожалуйста, а в будущем высокопоставленные рыбаки тоже станут возить с собой на рыбалку помощников, которые нацепляют на крючки их удочек червяков? — Я видел, как этого «чина» на озере охаживали помощники.

— Нет, все будет по более высокому классу! — раздраженно воскликнул наш оппонент.— Грядет прогресс!

Нашим потомкам на крючки будут под водой цеплять уже пойманную рыбу.

Теперь взорвался хохотом соседний стол, и тоже с чрезмерностью, явно угодливой.

Тогда Саша Косицын, призвав всех к вниманию, рассказал старую побасенку о том, как в кабинете одного министра собравшиеся служащие надрывали животы от хохота, слушая плоские анекдоты своего шефа. Молчал только один человек. Уязвленный министр спросил у него:

— Вам что, не смешно?

— Нисколько! — ответил незнакомец.

— Почему?!

— А я не из вашего министерства. Я — ревизор и прошу открыть ваш сейф...

Перепалка, а точнее пикировка, закончилась примирением: мы заметили, что у наших «противников» закончился коньяк, и великодушно предложили им в долг водки из нашего завтрашнего запаса. Подношение бутылки совершалось в комически-ритуальной форме. Дело в том, что наш сорыбак Виктор Кобенко в свое время закончил институт имени Гнесиных и обладал таким прекрасным лирико-драматическим тенором, что, когда по случаю пел в нашем кругу, всегда вызывал искренний восторг и изумление... И на сей раз, поставив на поднос булькающий светлой жидкостью сосуд, он направился к соседнему столу и вдруг на всю мощь своего звонкомелодичного голоса запел старую ирландскую песню Бетховена «Налей полнее чары...»

Соседи наши от неожиданности оцепенели. На некоторых лицах промелькнул испуг. Тот, который интересовался проблемой будущих пастухов, вскочил на ноги и схватился за сердце.

Кобенко с достоинством допел песню, поклонился и уже под общие аплодисменты водрузил на стол соседей бутылку водки, напомнив, что завтра их водитель должен съездить в ближайший магазин. Наш самоотверженный жест был воспринят с благодарностью.

Завершив ужин, мы разошлись по спальным комнатам, стараясь побыстрее уснуть, чтоб попасть на утренний клев хоть чуть выспавшимися. Но черт не дремлет, когда мужики выпьют по рюмке. Не так давно, в этом же доме рыбака, я подшутил над генералом Косицыным. Когда он могуче захрапел в своей кровати, не да-

вая мне уснуть, я взял в охапку в вестибюле стоявшее там при входе чучело дикого кабана-секача и тихонько примостил его в постель, рядом с Сашей. Но ожидаемого эффекта не получилось. Как и полагается Герою, он ночью нащупал рядом с собой зверя, сообразил, что это моя шутка, и перенес его в мою кровать. Благо, я тут же проснулся.

И вот профессор Косицын решил повторить эту шутку над, как их сейчас называют, «партократом», затеявшим с нами перепалку. Но в темноте перепутал кровати и положил чучело кабана в постель ни в чем не повинного водителя малолитражного автобуса, в котором приехало высокое начальство. Во второй половине ночи нас всех разбудил истошный вопль... Мы вскочили с постелей, включили свет и увидели лежащего на полу ошалевшего от испуга водителя автобуса... Пришлось успокаивать его валидолом и рюмкой водки из запасов Саши Косицына.

И надо же было случиться такому, что через несколько дней Морозов вместе с несколькими работниками Министерства сельского хозяйства был вызван в Совет Министров. Когда зашли в зал заседаний, Петр Иванович увидел за начальственным столом знакомого рыбака — главу бригады, с которой свела нас судьба на прошлой рыбалке. Поздоровавшись, как добрые знакомые, со смехом вспоминали о чучеле дикого кабана. Потом началось совещание, о котором Морозов рассказывал мне в машине, когда мы в очередной раз ехали на водоем.

— И знаешь, какая была повестка дня? — весело спросил у меня Петр Иванович.— О хлебном квасе!.. Москва, мол, задыхается без кваса, у цистерн стоят километровые очереди, а работники Министерства сельского хозяйства прохлаждаются на рыбалках... Вначале я стерпел обиду, а потом улучил момент и задал нашему знакомцу вопрос:

— А очередей за молоком вы не наблюдали в Москве? Или в любом другом городе?

— Нет, с молоком у нас благополучно,— ответил председатель.

— А что легче — надаивать молоко или изготавливать квас?

— Вопрос не по существу!

— Если не по существу, то зачем вы меня, ведаю-

щего животноводством страны, вызвали на совещание о квасе? — участники собрания заржали, рассказывал Петр Иванович.— А если уж вызвали, то подчините мне производственные мощности, дающие квас, и через неделю мы зальем Москву квасом. Но тогда молоком занимайтесь сами!

— А вы не ерничайте, товарищ Морозов. У нас кроме кваса есть еще другие проблемы.

— Я притих, полагая, что впереди, видимо, что-то будут говорить о животноводстве. Но вдруг председательствующий объявляет:

— А теперь давайте обсудим проблему лука! — В тот год в стране не уродился лук.— На рынках и в овощных магазинах он отсутствует полностью...

Тут я вновь не стерпел, но голоса подавать не стал, а послал в президиум две частушки (кто-то из вас сочинил их, когда мы на рыбалке тоже говорили об отсутствии лука):

Когда ехал я за луком,
По телеге хреном стукал,
По колесам стук да грюк,
Продавайте, бабы, лук!

А обратно ехал с грузом,
Колес больше не вовтузил:
Купил луку я сполна,
Обеднела лишь казна.

Внизу приписал: «Вот единственный выход из «лукового тупика»,— и демонстративно удалился из зала заседаний.

— Первую частушку, кажется, сочинил в несколько ином варианте Михаил Дудин,— объяснил я Морозову.— А вторую слепили мы сообща...

Разговор продолжили, когда, выйдя на озеро, заякорили рядом две лодки и забросили в воду удочки.

— Думаешь, простили мне ваши частушки? — со смехом спросил у меня Петр Иванович.

— А вы что, подписали их?

— Догадались. Пригласил меня на Старую площадь инструктор ЦК, который курирует наше министерство. Вначале затеял разговор об удоях коров, молодняке, кормах, удобрениях. Потом вдруг достал из папочки знакомую мне записку и с издевкой сказал:

— Петр Иванович, такие ваши шуточки могут плохо обернуться.

— А разве над дураками шутить нельзя? — спрашиваю.

— Почему — дураками?

— Зачем же меня, замминистра по животноводству, вызывают на совещание, где решаются проблемы кваса и лука? У меня своей работы по горло! Да у нас есть и своя коллегия.

— Это общегосударственные проблемы, а вы бывший первый секретарь крупного обкома партии и могли бы вспомнить свой прежний опыт, поделиться дельными мыслями,— и отчитал меня как мальчишку.

— Неужели рядовой инструктор ЦК партии выше по положению союзного заместителя министра? — удивился я.

Морозов горько засмеялся, помолчал, а затем, стишив голос, сказал:

— В этом главная беда нашего времени. Назначение всех крупных руководителей — в руках ЦК. Как доложит о тебе заведующему отделом или на секретариате инструктор, таково и будет решение. Хорошо еще, если он смыслит в деле. А то, случается, попадает туда по чьей-то протекции молодой человек, допустим, с комсомольской работы, а профессиональных знаний у него на полгроша. И решает человеческие судьбы, из которых складывается судьба страны... Вот поручили бы тебе, скажем, курировать химическую промышленность...

— Я бы им нахимичил...

— Вот именно. А у нас только болтают о демократизме, выборной системе... Ерунда все это! Если, например, секретарь обкома не захочет, чтоб тебя избрали секретарем райкома, никогда не изберут... Все главные должности в области или крае в его ведении. А проголосуешь против — потом не возрадуешься. Попадешь в категорию «неуправляемых», и карьере твоей конец...

Я понимал, что в рассуждениях Морозова есть немалая доля истины, не раз убеждался в этом на собственном опыте. Но все-таки мне верилось: справедливость можно защитить, если не уступать в борьбе за нее, даже тогда, когда проявляют активность злые, подчас тайные, силы, которым ничего не стоит накинуть

тебе и твоим сторонникам на глаза повязку, употребить власть (прямо или косвенно), оглушить гневной демагогией и направить твою энергию по пути в никуда. И ты будто оказываешься в кромешной тьме, не зная, в какую сторону сделать шаг к выходу. И часто твоя борьба за справедливость превращается в судилище над тобой без всякого права на самооборону.

Именно такое мерзкое состояние испытал я, когда после смерти Всеволода Кочетова новый редактор «Октября» изъял из верстки журнала вторую книгу моего романа «Война». Понимая, сколь беспощадно попрано мое авторское право, я попытался было защитить книгу в самых высоких партийных инстанциях. С нетерпением ждал ответа на свое письмо в ЦК.

В эти дни заехал ко мне в Переделкино председатель одного подмосковного совхоза — Быханов Владимир Иванович. На землях совхоза раскинулось известное озеро Палецкое, где мы иногда рыбачили. Я показал Быханову верстку «Октября» со своей книгой и пожаловался, что она выброшена из этого номера журнала и вряд ли будет возвращена в какой-либо номер.

Быханов — человек душевный, любящий литературу. Он какое-то время молчал, над чем-то размышляя, и почему-то прятал от меня глаза. Потом, тяжело вздохнув, с трудом выговорил:

— Дай Бог мне ошибиться, но боюсь, что больше ни одна ваша книга «Войны» не увидит света...

Я хорошо знал Быханова: он на ветер слов не бросал. И не торопил его с объяснениями.

— На вас навели прожекторы...— болезненно сморщив лицо, продолжил он.— Ждут момента, чтоб дать залп... Остерегайтесь... Берегите себя...

Мы сидели за накрытым столом, угощаясь коньяком. Я налил по очередной рюмке, надеясь, что услышу от Владимира Ивановича какие-нибудь подробности. Но он вдруг строго сказал:

— Только прошу, ни о чем меня больше не расспрашивайте.

— Зачем тогда вы взбаламутили мне душу? — обидчиво заметил я, охваченный закипевшей тревогой.— Если начинается борьба, надо знать, кто противник, где он находится и чем вооружен... Впрочем, догадываюсь, что об этом велся разговор в вашем охотничьем доми-

ке. При вас кто-то из большого начальства, держащего в своих руках запретительную власть, угрожал мне. Но кто именно?.. И какие угрозы?..

И все-таки мне удалось отстоять вторую книгу романа «Война», как и последующие, а также романы «Москва, 41-й» и «Меч над Москвой». Их принял в свое печатное лоно журнал «Молодая гвардия», возглавляемый прекрасным русским писателем Анатолием Степановичем Ивановым.

В ходе борьбы за выход своих книг, бывая на Старой площади, я сделал для себя неожиданное открытие: во многих кабинетах ЦК партии сидели люди с разными, подчас противоположными политическими пристрастиями и ориентациями. Очень нелегко было сообразить, в какую дверь следовало стучаться за помощью, а в какую бесполезно, хотя почти во всех кабинетах встречали улыбкой и крепким рукопожатием... Ох как горько чувствовать себя мелкой и беспомощной щепкой, попавшей в водоворот скрытых «политических игралищ» сильных мира сего.

Радовала только активная поддержка бывших фронтовиков и кадрового военного люда, которая ощущалась в обвале писем и во время моих литературных выступлений в главных штабах родов войск, военных академиях и воинских частях. Особенно придавала сил поддержка маршалов и генералов, хлебнувших тяжких горестей в первые месяцы войны на Западном направлении и в битве за Москву. Могу похвалиться, что от них я не получил ни одного критического замечания.

Но случалось, что я чувствовал себя удрученно...

Вот один из примеров... Когда Михаил Шолохов вернулся из Швеции после вручения ему там Нобелевской премии, правительство дало в его честь в особняке на Воробьевых горах банкет, на который была приглашена и группа московских писателей. Перед началом приема мы, курильщики, толпились в нижнем вестибюле, разговаривали о разном. Выкурив сигарету, я пошел бросить окурок в урну и лицом к лицу столкнулся с маршалом Ворошиловым. Он был одет в темный гражданский костюм, висевший на нем мешковато. Маршал заметно исхудал, постарел, лицо его было дряблым, седые усы, седая и жидкая шевелюра. В глазах грусть и какая-то тяжкая озабоченность.

— Здравия желаю, товарищ маршал! — поприветст-

вовал я Климента Ефремовича, отступив в сторону.

Он остановился и вопросительно посмотрел на меня.

— Маршал плохо слышит! Ты громче с ним,— посоветовал Николай Грибачев, дымивший рядом изящной трубкой.

Я кукарекнул громче:

— Здравия желаю!..

— Зачем ты куришь? — перебил Ворошилов.— Зачем травишь себя?

Я бросил окурок и растерянно заулыбался, вглядываясь в морщинистое лицо легендарного маршала.

— Привычка, Климент Ефремович. Сам бы рад бросить, да не получается.

— Прояви характер!

— Вон у Грибачева характер покрепче моего,— я указал глазами на стоявшего рядом Николая Матвеевича — нарядного, наглаженного; его лысая голова прямо сияла в лучах люстр.— Но ведь тоже курит!

— А в голове что у твоего Грибачева?! — Ворошилов почему-то сердито постучал себя пальцем по лбу.

Послышался чей-то смешок. Грибачев же, обиженно сверкнув глазами, откликнулся:

— Климент Ефремович! У меня в голове не меньше, чем у Стаднюка! Я тоже всю войну прошел!..

— Вы Стадник? — переспросил меня Ворошилов, не обратив внимания на допущенную им бестактность по отношению к Грибачеву.

— Стаднюк! — поправил я маршала.

— Это вы пишете о Западном?.. Вы у Павлова служили в оперативном управлении или разведывательном?

— Никак нет!.. Войну встретил в мотомеханизированной дивизии!

— В дивизии?! — Климент Ефремович смотрел на меня с недоумением и, как мне показалось, с упреком.— С командного пункта дивизии увидишь немногое...

Ничего больше не сказав, он с хмурым лицом направился к лестнице...

Я вначале не понял, что означали слова Ворошилова и чем не понравился ему мой ответ. Потом родилась догадка: кое-кому казалось, что взялся я не за свое дело. Не суйся, мол, со свиным рылом в калашный ряд; мыслить самыми высокими военными категориями тебе не по зубам.

Запомнилась еще одна занятная и несколько загадочная для меня ситуация.

В зале заседаний министра обороны маршала Гречко, кажется в конце 1973 года, обсуждался один из очередных томов Истории Великой Отечественной войны. Присутствовали члены редакционной комиссии многотомника, консультанты и работники секретариата. Когда я, будучи консультантом некоторых томов, вошел в зал, он был уже переполнен. Направляясь в глубину зала искать место, услышал, что меня окликнул генерал армии Иванов Семен Павлович — мой добрый знакомый. Он указал на свободный стул рядом с собой. Я заколебался, смущаясь оттого, что по соседству с ним сидел маршал Москаленко. Но Семен Павлович требовательно и строго указывал рукой, куда я должен сесть. Пришлось подчиниться.

Надо сказать, что за внешней суровостью генерала армии Иванова скрывались необыкновенная сердечность и доброта. Можно было поражаться и его острому уму, весьма натренированному мышлению в оперативно-стратегической сфере, умению очень точно формулировать свои концепции войны и военного искусства, давать объективные оценки полководческим качествам того или иного военачальника, характеристики театрам военных действий.

В то время разнесся по Москве слух, что Молотов якобы издал книгу своих воспоминаний, названную «Тридцать лет со Сталиным». Семен Павлович, зная о моих встречах с Молотовым, стал расспрашивать, что мне известно об этом. Я сказал, что Вячеслав Михайлович еще только собирается сесть за мемуары, но будет писать, как он говорил, о своей жизни в дореволюционный период. А не так давно Вячеслав Михайлович закончил книгу об экономических проблемах социализма и послал ее в ЦК. Но оттуда пока никто не откликнулся.

Маршал Москаленко Кирилл Семенович прислушивался к нашему перешептыванию, а потом, когда понял, что речь идет о Молотове, вдруг наклонился к Иванову и спросил:

— Слушай, Семен Павлович, что это за писатель объявился — Стаднюк? Который о начале войны пишет?

Иванов скосил на меня глаза и хитро заулыбался:

— А в чем дело? Ты побить его хочешь?

— Понимаешь, он рассказывает о Сталине так, как будто у него под столом сидел и подслушивал... Да и о Молотове. Откуда он все знает?! — В словах маршала я уловил явное раздражение и даже недоброжелательность.

— А ты спроси у него самого,— со смешком, но уже встревоженно ответил Иванов.— Вот он между нами сидит.

Москаленко отпрянул от меня, будто обжегся о мое плечо, лицо его порозовело:

— Это вы и есть тот самый Стаднюк? — он смотрел растерянно и как бы с недоверием.

Семен Павлович, чтоб сгладить неловкость, в нескольких фразах рассказал маршалу об источниках моей информированности, давая ему понять, что сомневаться он не должен.

— Ну, тогда будем знакомиться.— Москаленко уже миролюбиво похлопал меня ладонью по коленке.— И запишите мои телефоны. У меня тоже есть что вам рассказать.

Но, к сожалению, не пришлось мне воспользоваться записанными номерами телефонов Кирилла Семеновича. Изучив военные пути-дороги на южном направлении прославленного полководца, я убедился, что перекинуть от них мостки на Западный фронт и соединить его непростую судьбу с судьбами персонажей романа «Война» не удастся — нарушалась стройность сюжетных линий повествования. Да и продожал томить душу неприятный осадок от запомнившегося вопроса о моем «сидении» под столом у Сталина. Скепсис маршала надолго впился острыми коготками в мою память.

33

Давно известно, что в натуре человека дремлет хищник. Он начинает пробуждаться в нас особенно на охоте и на рыбалке, накаляя азарт. Если тебя постигла неудача при блеснении рыбы, но ты почувствовал ее поклевки и уже подтягивал ко льду судака, не сумев направить его в лунку, ты потом ощутишь эти поклевки во сне и рука твоя, смахивая одеяло, будет делать резкие подсечки. И истомишься от нетерпения: скорее бы очередная рыбалка!

Ну, а если уже уходит в дыхании весны лед? К твоему азарту примешивается досада от неутоленности, и сплав этих чувств может толкнуть на безрассудство. Надо, мол, попробовать еще! Авось, можно будет поблеснить хоть с утра, поближе к берегу...

Это случилось 13 апреля 1977 года. Рыбалка уже запрещена. Но какой может быть запрет для Героя Советского Союза генерал-майора МВД Александра Павловича Косицына? Да и для меня, грешного? Егеря Озернинского водохранилища, что за Рузой, хорошо знали нас и могли подсказать, где можно порыбачить вдогонку зиме.

На рассвете того дня, среди недели, мы уже были на Озерне, в ее четвертой зоне. Косицын поставил свою «Волгу» во дворе дачи знакомого министра среднего машиностроения СССР Афанасьева. Дача его высилась на самом берегу водоема. Егерь, опытный рыбак, свел нас на лед, просверлил пробную лунку и уверенно сказал:

— Можете ехать хоть на машине. Лед еще прочный.

Толщина льда была около метра, и мы с Сашей устремились подальше от берега, к своим судачьим местам. Отошли километра на два, просверлили лунки и начали блеснить. Поклевок не было. Тогда Саша перешел на ловлю мормышкой с мотылем и вскоре нащупал стаю плотвы. Саше было все равно, что ловить, лишь бы клевало. А я искал только судака; блесна — мое главное орудие спортивной рыбалки.

Время на водоеме бежит быстро и незаметно. Настала пора завтракать. Я подошел к Саше, уселся на свой ящик с салазками. Достали термосы с чаем и кофе, еду... А вокруг — ни души! Водоем пустынный, и это вселяло тревогу, тем более что мы заметили под салазками появившуюся вдруг воду: она вытекала из просверленных Сашей лунок, а это значило — лед под нашей тяжестью начал прогибаться.

— Давай уходить к берегу,— предложил я Косицыну.

— Что ты! У меня бешеный клев! — Саша был непреклонен и начал обосновывать свою уверенность: — Я недавно читал где-то, что апрельский лед может начать внезапно разваливаться только раз в шестьдесят лет.

— А вдруг этот день настал?! — заметил я.

— Не может такого быть! Мы ведь не самые великие грешники...

Порыбачили еще часа два. Вдруг в одном месте резиновый сапог подо мной нырнул в толщу льда. Я с испугом выхватил ногу и увидел дырку, точно повторяющую форму моего сапога. Да и из-под ледобура выползало на поверхность не ледяное крошево, а выскакивали стрелы, похожие на сосульки.

Надо уходить! Я осмотрелся: лед вокруг чуть потемнел, а в дальнем краю водохранилища поднялась туманная дымка, спрятав противоположный берег.

— Саша! Уходим! — с тревогой крикнул я Косицыну, сидевшему на рыбацком ящике невдалеке от меня.

— Ты тяжелее меня — уходи первым! — ответил Саша, продолжая мормыжить.— Я догоню! Еще половлю несколько минут!

Отошел я метров двести от своего места, как вдруг лед разверзся и я ухнул в ледяную купель. Подо мной глубина в десять-одиннадцать метров. Но особого страха не было — степень опасности еще не ощутилась. На льду, рядом со мной, стоял на салазках мой ящик и лежал шведский ледобур, которого я не выпустил из рук.

— Саша! — заорал я.— Помоги выбраться!..

Косицын бежал ко мне во всю прыть, и я с ужасом заметил, как под ним плясал лед.

— Провалишься!.. Ступай осторожней!..

— У тебя веревка есть?! — на бегу спрашивал Саша, не обращая внимания на мое предостережение.

— Должна быть! — Я держался одной рукой за ледобур, лежавший на закраине образовавшейся проруби, а второй нерасчетливо дернул к себе ящик, и он соскользнул в воду. Переворошив содержимое плававшего ящика, я убедился, что мотка шнура, который всегда там находился, не оказалось... Что за наваждение?! Где шнур?.. Почему он исчез?!

Саша уже был рядом, и я увидел, как при каждом его шаге оседал лед.

— Ложись, а то ухнешь! — вновь встревоженно крикнул ему.

Саша лег и стал подползать ко мне, снимая с шеи серый шарф. Но сколько ни забрасывал его в мою сторону — безрезультатно: не дотянуться мне до шарфа, а если и дотянусь, то стащу Сашу к себе. Лед под на-

тиском моих рук все больше обламывался... Я начал крошить его по кругу все расширявшейся полыньи, надеясь найти крепкое место. Но двигаться в ледяной купели было тяжело: наполнившиеся водой резиновые сапоги тянули ко дну; они были, к счастью, большого размера, надетые на шерстяные носки, и мне удалось легко сбросить их. Сковывали движения и отяжелевший летный меховой костюм — полушубок и просторные штаны на подтяжках и на пуговицах, застегивавшиеся до самой груди. Почувствовал, что ситуация серьезная.

Ледобура не бросал: надеялся использовать его как опору. В одном месте будто наткнулся на прочность льда. Положил на него поперек груди ледобур и начал выжиматься на руках, взбалтывая ногами... Но ледяная стена вдруг отвалилась, ледобур пошел на дно, а я ухватился за новый образовавшийся край... Оглядываюсь на голос генерала Косицына:

— Помогите! Стаднюк тонет! — Он смятенно смотрел в сторону берега, где виднелись несколько человек, наблюдавших разыгравшуюся трагедию. Мне было видно, что лед под Сашей вот-вот рухнет.

— Уходи! — сердито предупредил я его.— Вон следы машин! Там лед должен быть покрепче!

Саша отбежал к старой дороге на льду. А я продолжал крошить рыхлую толщу. Чувствовал, что силы покидают меня, а от холода уже сотрясалось все тело. Не заметил даже крови на льду: лед ноздристый, поверхность его в пузырях, которые лопались под усилием моих рук и резали пальцы... Вот будто опять нашел неподдающееся ломке место. Протянул вперед руки, изо всех сил стал болтать в воде ногами... О боже!.. Уже лежал грудью на льду... Спасен! Сейчас еще чуток отползу, перевернусь на спину и буду откатываться дальше. Но только перевернулся, как почувствовал, что лед под моей спиной оседает... Конец, казалось, неминуем. Сил больше не было. Я вновь в воде... Перестал чувствовать свое тело... Попытался сбросить полушубок, но не вытащить было рук из разбухших рукавов... Может, окунуться под воду и попробовать там раздеться?.. Посоветовался с Сашей.

— Не смей! — строго крикнул он.— Нырнешь и не выплывешь! Держись!.. Да и вода под костюмом у тебя нагрелась!..

Я оглянулся на полынью. Увидел, что выломал рука-

ми метров двадцать квадратных льда. Заметил перед собой кровь и впервые посмотрел на пальцы: из каждого пальца выглядывала косточка. Но боли не чувствовал. И пришло ясное и страшное понимание, в которое невозможно было поверить: придется идти на дно... Неужели такая глупая и постыдная смерть?.. Силы иссякли....

— Саша, больше не могу!.. Прощай, Саша!..

— Не смей, Ваня! Умоляю!.. Подержись еще немножко! — Затем вновь закричал в сторону берега: — Люди!.. Сволочи!.. Да помогите же чем-нибудь! Лодку притолкайте!

Он что-то еще кричал, но у меня уже не оставалось никаких надежд. Осмотрелся вокруг. На ближнем пустынном берегу начиналось поле. На его краю росло крупное дерево — ветвистое, черное, без листьев. Ближе на льду разгуливали на зависть мне вороны. Неужели это последнее, что я вижу на белом свете?..

— Саша, ползи к берегу! — вновь крикнул Косицыну.— Я пошел.

— Держись, тебе говорят!

— Не могу больше!

Вот тогда я познал, что такое смертная тоска. Она так стиснула сердце,— я не удержался от стона... Смертная тоска — это очень тяжело. И страшно... Отчетливо понимал, что сейчас надо будет преодолеть самый мучительный, жуткий рубеж: между жизнью и смертью... Лучше бы потерять сознание... Но оно прозрачно-ясное... И никакой паники. Только мучительно-томящая тоска и, может быть, стыд да чувство своей вины перед близкими, друзьями... Вспоминаю о доме, о внуках, о своей собаке... Вот она-то не поймет, куда исчез хозяин.

Какую же беду принес я всем родным!.. Какая чудовищная нелепость! Во имя чего?.. Идиот!

Вижу себя в гробу, выставленном в Доме литераторов. Слышу горестно-досадливое перешептывание друзей, стоящих у моего изголовья:

«Вот дурак, нужна была ему эта рыбалка...» — «Не говори...» — «Всю войну прошел, уцелел, а тут так по-глупому...»

Я действительно вспомнил о войне, вспомнил атаки, когда каждый миг ждал вражеской пули или осколка. Сколько их было за четыре года, пережитых смертельно опасных и даже безнадежных ситуаций!.. Будто уви-

дел ночную июньскую дорогу под деревней Боровая в Белоруссии. Переодетый диверсант уже резко вскинул пистолет, чтоб выстрелить мне в лицо. Я на долю секунды опередил его ударом саперной лопатки по руке... В боях всегда был порыв, приглушавший страх, оставалась хоть малая надежда, что железная смерть промахнется и не вылущит из тебя жизнь... А тут — никакой надежды... То, что случилось со мной, оказалось страшнее всего пережитого на войне... Невозможно было поверить в дикую реальность происходившего.

— Саша!.. Прощай!..

— Держись! Помощь идет!

Я посмотрел в сторону берега. Какая там помощь! На льду — ни одной живой души. Кто рискнет своей жизнью?.. Но что это? Из-за выступа полуострова, врезавшегося в водоем, показались две темные фигуры. Различил, что пешнями они ударяют по льду, проверяют перед собой его прочность.

«Еще два дурака нашлись! — с безнадежностью подумал я.— Тоже рыбачить приехали».

Рыбаки, осторожно ступая, сделали несколько шагов, и я увидел, что один из них тянул за собой надутую резиновую лодку... Галлюцинация?! Чудо?! Не может быть такого совпадения!

— Эй, люди! — кричал им Косицын.— Спасайте! Ползите сюда с лодкой!..

Крохотная надежда шевельнулась во мне. Но перед глазами пошли темные круги, засверкали искры. Изо всех сил держался я за лед, иногда различая, что один из рыбаков ползет в нашем направлении и волочит за собой лодку.

Бег времени я уже не ощущал, как не ощущал и самого себя. Казалось, мой затуманенный мозг жил самостоятельно, готовый угаснуть в любой миг... Рыбак с резиновой лодкой уже был совсем рядом. Генерал Косицын шагнул ему навстречу и тут же проломил под собой лед, нырнул в воду, успев раскинуть руки и не уйти на дно.

— Кого же мне первого спасать?! — услышал я сиплый голос подползшего незнакомца.

— Давай спасай сначала меня,— заорал Саша.— Ты один не втащишь его в лодку!

Это было разумно. Когда рыбак перевалил еще не потерявшего сил Косицына в лодку, из одежды Саши

хлынула вода, придав лодке устойчивость... Вскоре резиновая «пирога» нависла своим задранным носом надо мной. Меня поймали за воротник полушубка и стали тянуть вверх. Пустая лодка встала бы торчком... Наконец моя правая рука цепко и судорожно обняла округлый нос лодки. Это была мертвая хватка.

— Ни одну бабу в жизни так не обнимал,— с нотками истеричного смеха прохрипел я, чуть оживший, с трудом вползая на резиновое днище...

Теперь надо было добраться до берега в неподвижной на льду «пироге». Горестно-живописное зрелище: Саша Косицын, раздевшись до нательной матросской рубашки, в генеральской папахе, полз впереди лодки, перекинув через плечо привязанную к ее носу веревку. Наш спаситель (это был Евгений Веденеев — молодой рабочий из Подмосковья) сидел в лодке и, зажав в одной руке подкладку моей полковничьей папахи, а во второй свою шапку, отталкивался ото льда. Я тоже толкал — ногами, обутыми в шерстяные носки, лежа грудью на корме.

Откуда взялись силы?! Шерстяные носки не скользили по поверхности зыбкого ледяного покрова, и я чуть ли не был главной двигающей силой.

Когда мы преодолели полпути, к нам примчались с недалекой рыбацкой базы Ремянница аэросани: кто-то дал туда знать о случившемся, тем более что ранним утром мы, на свое несчастье, по знакомству покупали на базе путевки. Запомнилась только очередная опасность: до берега оставалось несколько десятков метров, как аэросани остановились. Мы с Косицыным босыми ногами ощутили нестерпимо ломящий холод и услышали, что откуда-то хлещет вода. Оказалось, аэросани проломили лед, повредили свою обшивку и начали тонуть. Но рядом уже были люди. Нас вовремя выхватили из кабины, усадив в легкую деревянную лодку. Рядом на берегу стояли два газика из воинской части...

В газике, когда он уже мчался к даче министра Афанасьева, я почувствовал, что погибаю,— было холоднее, чем в воде; все мое тело сотрясалось от переохлаждения.

— Спасибо, ребята, за помощь,— с трудом вымолвил я, обращаясь к сопровождавшему меня прапорщику.— Больше не могу... Конец...

— Не дадим умереть, полковник! — беспечно откликнулся прапорщик.— Еще не одну книгу напишете!..

Я впал в беспамятство. Второй раз в жизни потерял сознание. Первый раз — в июне 1941-го, когда санинструктор плоскогубцами, без наркоза, вытаскивал из моей челюсти осколок снаряда...

Пришел в себя часа через три, когда раздетый догола и хмельной от принудительно влитой в меня водки лежал на кушетке в предбаннике, а прапорщик и егерь, намотав на руки махровые полотенца и щедро поливая их водкой, яростно растирали мое тело. Хорошо, что генерал Косицын оказался при деньгах, которых хватило на срочную покупку ящика спиртного.

— Ноги чувствуете? — встревоженно спросил прапорщик, увидев, что я открыл глаза.

Я пошевелил пальцами: ноги вроде слушались. Но выговорить ничего не смог.

— А то были совсем черные,— пояснил прапорщик и вновь силком влил в меня полстакана водки.— Оттерли!

Я опять уплыл в небытие, увидел ворон, нахально прогуливающихся по льду, черное дерево на берегу...

Очнулся от того, что меня куда-то несли. В нос ударил запах распаренной березы. Понял: в парилку тащат.

— Нельзя! — засопротивлялся я.— Сердце не выдержит!

— А генерал уже два часа парится,— сообщил егерь.

— Генерал — бугай! И он только на полминуты окунулся в воду.

Вокруг засмеялись; меня вновь уложили на кушетку. В это время приехала вызванная из Рузы скорая помощь. Наконец перебинтовали кровоточившие пальцы на моих руках...

Когда наши рыбацкие костюмы были подсушены, а я, оживший, обут в чужие тапочки, генерал Косицын сел за руль своей машины, и в три часа ночи мы вернулись в Переделкино. Грозившее, как минимум, воспаление легких обошло меня стороной. Не было даже насморка...

Итак, 13 апреля. Тринадцатое число считается в народе несчастливым. Как же мне к нему относиться? А если б поехали на рыбалку 12-го? Может, не прова-

лились бы под лед? А если б и ухнули, то наверняка не появилась бы на водоеме надувная резиновая лодка. Я потом подробно расспрашивал Евгения Веденеева — что его заставило именно 13-го, когда рыбалка уже запрещена, ехать на Озерну. Он ответил, что выдался нерабочий день, а рыбацкое нетерпение оказалось неудержимым. Словом, он сам толком не понимал, какая сила заставила его устремиться на водоем.

Мы не раз еще встречались с нашим спасителем Женей у меня на даче в Переделкино, у него дома на свадьбе его дочери, на последующих летних рыбалках. Я позаботился, чтобы Веденеева наградили медалью «За спасение утопающих» и до конца дней своих буду хранить благодарность ему.

Но тайна тринадцатого числа остается тайной. И непостижимо уму появление лодки в самую последнюю минуту, когда я уже, казалось, должен был уйти на дно... И куда исчез моток веревки из моего ящика? Тут есть над чем размышлять.

Мне потом пророчили, что моя страсть к рыбалке исчезнет, а на лед я в жизни своей больше не ступлю ногой. Нет, ступил! В том же году, 13 ноября. Я, генерал Косицын и наш общий друг Николай Андреевич Горбачев приехали в четвертую зону Озерны, вышли на уже окрепший лед. Я отыскал свое «лобное место», расстелили там коврик, зажгли и поставили свечку, налили в рыбацкие кружки водки и воздали водоему благодарность за то, что он пусть и жестоко наказал нас, но не поглотил...

34

Пусть извинит меня читатель за написанную выше главу, не имеющую, в общем-то, отношения к моей литературной судьбе. Но ведь жизнь писателя — это не только сидение за письменным столом и творческое осмысление пережитого и почерпнутого из разных источников. Происшедшее со мной на Озерне не осталось в секрете. Ко мне на дачу зачастили друзья и приверженцы моих книг. И хотя трудно было повторяться — рассказывать им о случившемся, отягчая сердце, но приятно было узнать, что кроме близких друзей есть и другие люди (от космонав-

тов до министров), которые озаботились моим состоянием и возможностью продолжить работу над своими книгами о войне.

Понимаю, что дальнейшее мое повествование, в котором ничего особенного не случается и которое не несет событийной драматургии, может не заинтересовать читателя. Но продолжить свой рассказ считаю обязанностью, ощущая, что он близится к завершению.

Итак, участившиеся ко мне визиты хороших и бывалых людей не только заставляли болезненно воспламенять память о перенесенном потрясении, но и укрепляли понимание, что нельзя терять творческого запала. Более того, почти каждый гость привносил свою Мысль, родившуюся от прочитаннных моих книг и как бы своим опытом наращивал ступеньки, с которых мне удавалось заглянуть хоть чуток дальше в отгремевшие пространства войны.

Но и отнимала время будничность — не столь простая. В том же 1977 году меня избрали вторым секретарем Московской писательской организации и депутатом Моссовета. Работа была не из легких, учитывая существовавшие в писательской среде групповщину и амбициозность. Мне удавалось избегать конфликтных ситуаций. В меру своих сил, не допуская различий между драчливой писательской братией, хлопотал об изданиях книг, получении квартир, денежных пособий, поездках в творческие командировки и т. д. Особое внимание уделял проблемам военно-художественной литературы, руководил комиссией, делал доклады, вступал в полемику с критиками и литературоведами, если они безосновательно обрушивались на военных писателей. Отбивался от нападок и на мои книги.

Труднее было давать отпор западным радиоголосам. Они объявили меня, ни много ни мало, главой советского сталинизма, стали утверждать, будто я по официальному поручению высшего руководства пишу биографию Сталина. Все это являлось чушью. Завершив работу над романом «Война» (в трех книгах), тут же принялся за написание романа «Москва, 41-й», нисколько не отступаясь от своих концепций и продолжая повествование о летних боях 1941 года на Западном фронте.

Жизнь не обходит нас неожиданностями. Иные из них потрясают. В середине декабря 1982 года я вдруг

получил из Смоленска правительственную телеграмму. В ней сообщалось, что городской Совет народных депутатов присвоил мне звание «Почетный гражданин Смоленска»... Не поверил! Решил, что друзья мои, убедившись, что роман «Война», при его многотиражных изданиях, не залеживается на книжных полках, решили уязвить меня насмешкой. Я и сам удивлялся популярности своего романа и даже тревожился: почему-то думалось, что успех в одиночку не ходит. Надо ждать какой-то беды. И вдруг наоборот: почетный гражданин Смоленска! Телеграмма со всеми приметами подлинности. Не утерпел и позвонил первому секретарю Смоленского обкома партии Ивану Ефимовичу Клименко. Он подтвердил — действительно, такое решение состоялось и я по счету за всю многовековую историю города являюсь тринадцатым его почетным гражданином...

Опять тринадцатое число!..

Трудно передать мое тогдашнее состояние. Особенно остро переволновался, когда меня пригласили в Смоленск для вручения диплома и ленты почетного гражданина. Состоялся большой литературный вечер с речами и поздравлениями. Но больше всего впечатлила встреча с городом. Прошелся по его восстановленным после войны улицам. В 1940—1941 годах шагал я по ним в курсантском строю в баню впереди роты с барабаном на груди, выбивая в такт шагам четкую дробь. Побывал в чудом сохранившемся здании бывшего военного училища, в своей бывшей казарме, потоптался на месте, где когда-то стояла моя курсантская койка, походил по бывшей спортивной полосе, где учился штыковому бою и где впервые осмелился крутнуть на турнике «солнце»... Будто во сне все. Невозможно было поверить, что бывший ротный барабанщик стал почетным гражданином этого города! Чудеса!.. Сам смеялся над собой, хотя душили слезы. Вот были бы живы отец и мать да услышали бы такую новость!

Не погрешу, если сознаюсь, что из всех моих боевых и трудовых наград (девяти орденов и многих медалей) эта награда — самая дорогая для меня. Ее постарались не заметить наши литературные газеты, зато заметили друзья, поздравили, порадовались со мной и в то же время начали донимать упреками, что я в свое время не приобщился к ходатайствам наших маршалов о присвоении Смоленску звания города-героя, особенно после

того как такими званиями были облечены Новороссийск и Керчь.

Я считал себя очень маленьким человеком, чтоб решиться на такую нескромность, да меня никто и не приглашал подписывать такое ходатайство. Мне было только известно от маршала Чуйкова, что они, группа виднейших военачальников во главе с маршалом Жуковым, уже дважды писали по этому поводу письма в Политбюро. В результате в начале семидесятых годов Смоленск был награжден всего лишь орденом Отечественной войны первой степени, а потом еще орденом Ленина.

Как же надо было понимать такую недооценку Смоленска? Ведь именно он и оборонительные бои на Смоленских высотах в 1941 году спасли Москву. Оказывается, были на то причины, которые выдвигал на заседаниях Политбюро Михаил Суслов. О них мы узнали позже: первая — в Смоленске в 1942 году генерал Власов сформировал Российское правительство (Гитлер разогнал его); вторая — немцам удалось захватить в Смоленске архивы КГБ и партийную документацию. И еще ходила версия, что Смоленск был сдан врагу без боя.

Все это правда, кроме последнего. Действительно Сталин, узнав, что 16 июля 1941 года Смоленск пал, был взбешен и приказал найти виновных, дабы отдать их под суд военного трибунала. Была создана специальная комиссия во главе с начальником артиллерии Западного фронта генералом Камерой. Расследуя обстоятельства захвата врагом города, комиссия установила, что его обороняли всего около семи тысяч человек наших кадровых войск, три истребительных батальона и один батальон милиции. На город же внезапно навалилась мотомеханизированная дивизия генерала Больтерштерна, превосходившая в силах защитников города во много раз.

Я однажды рассказал эти подробности Николаю Грибачеву, бывшему смолянину, и предложил ему как члену ревизионной комиссии ЦК, главному редактору журнала «Советский Союз» написать письмо в Политбюро ЦК и еще раз рассказать в нем о Смоленске. У меня были документальные сведения о том, что с первых же дней войны сто тысяч смолян ушли в ряды Красной Армии. Из них около трехсот человек потом были удо-

стоены звания Героя Советского Союза. Подсчитано, сколько километров траншей и противотанковых рвов было вырыто руками смолян, какое количество создано партизанских отрядов, включившихся без промедления в вооруженную борьбу, и т. д.

Грибачев обрушился на меня с упреками, спрашивая, почему я сам не решаюсь написать об этом в ЦК. Все мои доводы о том, что мое письмо после коллективных обращений в Политбюро группы маршалов не возымеет действия, он гневно отвергал и доказывал, что время уже внесло ясность в понимание роли Смоленска в обороне московского направления. Тем более что городами-героями стали Керчь и Новороссийск, не более отличившиеся в ходе войны, чем Смоленск!

— Но мне, почетному гражданину Смоленска, неудобно хлопотать о своем городе,— считал я.

— Наоборот! Мне неудобно, ибо я там не воевал,— возразил Грибачев.— А у тебя все карты в руках!

— Да не дойдет мое письмо до Политбюро!

— А ты отнеси лично Аветисяну! Он же твой однополчанин.

Грибачев знал, что Степан Петрович Аветисян — первый заместитель заведующего Общим отделом ЦК — служил раньше в Главпуре, и я с ним хорошо знаком.

Этот совет вдохновил меня, и я с великим тщанием потрудился над документом. Его копию отослал первому секретарю Смоленского обкома партии И. Е. Клименко, а оригинал вручил С. П. Аветисяну... Догадываюсь, что Степан Петрович поднял из архивов ходатайства Г. К. Жукова и других маршалов о присвоении Смоленску звания города-героя, и наконец-то вопрос был решен положительно: уже 21 июня 1985 года Николай Иванович Рыжков вручил Смоленску Золотую Звезду.

Смоленск стал моей судьбой. Часто вижу его во сне горящим и в руинах. А вместе с ним — Ярцево, Ельню, Соловьевскую переправу, Вязьму. Понимаю, что роман «Меч над Москвой» не завершает эпопею «Война». Болит душа при размышлениях о Вяземской катастрофе, где погибло в жестоких боях с врагом почти пять наших армий. А оборона Тулы?.. Без них не будет полной картины битвы за Москву. Собрал горы материалов, будоражат сердце воспоминания. Но в какое-то время пришла мысль, что может не хватить времени

написать обо всем задуманном. И эта мысль не от малодушия — все мы смертны. Вот уже восьмой год, как умерла моя жена Антонина, с которой мы прожили сорок два года, ушли из жизни Петр Иванович Морозов и генерал Александр Косицын, недавно похоронили Николая Грибачева. Это — жестокая реальность, которую нельзя сбрасывать со счетов, размышляя над своими творческими планами. Ведь каждая книга — это годы труда. А сколько пережитого останется «за бортом». И решил вначале написать эту фрагментарную воспоминательную повесть-исповедь. Она — без покаяния, ибо все мое поколение жило той жизнью, какую уготовила ему судьба. Жило по большому счету честно, не щадя себя, не смиряясь в меру своих сил и своего понимания происходящего с неправдой и несправедливостями.

Поставив точку над этой бесхитростной книгой, окунаюсь в очередные трудности. О минувшей войне надо писать еще много, постигая и все то новое, что открывает нам время, но нисколько не изменяя истине, не приспосабливаясь к тем «мыслителям», которые унижают нашу историю и оскорбляют память погибших в борьбе в фашизмом.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

Стаднюк Иван Фотиевич

ИСПОВЕДЬ СТАЛИНИСТА

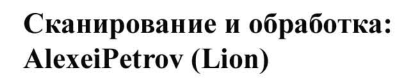
Художественный редактор *Г. Ф. Уборевич-Боровская*
Технический редактор *З. И. Сарвина*

ИБ № 5299

Сдано в набор 01.02.93. Подписано в печать 07.07 93. Бумага типогр. № 2. Усл. п. л. 21,84. Усл. кр.-отт. 21,95. Уч.-изд. л. 23,33. Тираж 30 000 экз. Заказ 1387. Изд. № 1/е-473.

Издательство «Патриот». 129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Издательско-полиграфический комплекс «Омич». 644056, Омск, просп. Маркса, 39.



иван стаднюк / исповедь сталиниста